
**АННА
ВЕЖБИЦКАЯ**



**ЯЗЫК
КУЛЬТУРА
ПОЗНАНИЕ**

АННА ВЕЖБИЦКАЯ

**ЯЗЫК. КУЛЬТУРА.
ПОЗНАНИЕ**

**Ответственный редактор и составитель
М. А. Кронгауз**

**Вступительная статья
Е. В. Падучевой**

**МОСКВА
«РУССКИЕ СЛОВАРИ»
1996**

Перевод с английского

Вежбицкая А.

В-26 Язык. Культура. Познание: Пер. с англ. Отв. ред. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой. — М.: Русские словари, 1996. — 416 с. — ISBN 5-89216-002-5.

Анна Вежбицкая — всемирно известный лингвист, чьи публикации в СССР и России всегда носили случайный и эпизодический характер и не удовлетворяли интереса к ее творчеству. Сфера ее деятельности находится на пересечении лингвистики и ряда других наук, в первую очередь, культурологии, психологии культуры и науки о познании. А. Вежбицкая разрабатывает не имеющие аналогов в лингвистическом мире теории метаязыка и этнограмматики, создает совершенно оригинальные описания различных языков, позволяющие проникнуть посредством строгого лингвистического анализа в культуру и способ мышления соответствующих народов. Первая книга Анны Вежбицкой на русском языке «Язык. Культура. Познание» представляет собой сборник статей, собранных автором специально для издания в России и ориентированных, прежде всего, на русский язык и русскую культуру.

Книга предназначена для очень широкого круга читателей, начиная от специалистов по лингвистике, философии и культурологии и кончая неспециалистами, которые найдут в ней интереснейшую информацию о языке, культуре, мышлении, их связях и взаимовлиянии.

ББК 81

ISBN 5-89216-002-5

© «Русские словари», составление, перевод, оформление, 1996

ОТ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА

Сейчас, когда книга Анны Вежбицкой на русском языке наконец вышла, кажется, что иначе и быть не могло. Действительно, Вежбицкая — одна из самых читаемых и цитируемых (и любимых!) в России западных лингвистов. И при всем этом — лишь редкие и нерегулярные (часто запоздавшие) публикации отдельных статей.

«Книги Вежбицкой должны быть переведены на русский язык». Существование людей, искренне так считавших, и позволило этому тезису хотя бы частично реализоваться. Первая книга А. Вежбицкой на русском языке — у вас в руках. Правда, сначала пришлось решить мучительную проблему: что же переводить? Какая из книг А. Вежбицкой (к слову, довольно многочисленных) должна быть переведена в первую очередь? Ставшая классической «Lingua mentalis» (1980)? Или вызвавшие бурную дискуссию «Lexicography and conceptual analysis» (1985) и «The semantics of grammar» (1988)? Или ... (далее см. список книг на стр. 405)? Окончательное решение оказалось компромиссным и было поддержано самим автором. В «русскую книгу» вошли **НОВЫЕ** (остается надеяться, что издание классических трудов еще последует) работы, посвященные либо **ВАЖНЕЙШИМ ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ**, либо **РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ**. Это и статьи, и фрагменты двух последних книг (*самая последняя* из которых еще даже не вышла).

Впрочем, «создать» и издать такую книгу было совсем не просто. Но сейчас хочется не жаловаться на трудности и разочарования (без которых не обошлось), а просто поблагодарить всех тех, кто работал над этой книгой.

Благодарность Анне Вежбицкой может выглядеть странно, но это благодарность не за ее научную деятельность вообще, а за конкретный интерес именно к русскому переводу и за ее помощь в его осуществлении. Анна Вежбицкая с радостью откликнулась на предложение издать ее книгу по-русски, прислала ряд статей, из которых и были отобраны работы, вошедшие (вместе с главами из книги «Semantics, culture and cognition») в этот сборник, помогла решить ряд технических и финансовых (немаловажных!) вопросов, сама прочла все русские переводы и сделала много принципиальных замечаний (особенно в отношении перевода на русский язык семантического метаязыка). Иначе говоря, А. Вежбицкая была не только автором, чьи работы переводились на русский язык, но и соавтором русского текста, и «соучастником» всего издания. Большую техническую помощь оказала ассистентка А. Вежбицкой — Хелен О'Логлин из Канберрского университета.

Здесь же в Москве над книгой работала небольшая группа лингвистов. Одним из инициаторов проекта была Елена Викторовна Падучева, не только поддержавшая идею перевода А. Вежбицкой и получившая на то авторское согласие, но и участвовавшая в решении всех содержательных проблем. Читатель без труда ощутит любовь и уважение к творчеству Анны Вежбицкой, разделяемые всеми участниками проекта, в ее вступительной статье.

Переводчики работали над книгой не только профессионально, но и самоотверженно. Ведь уверенности в скорой публикации в начале работы ни у кого не было. И действительно, от начала переговоров с автором до выхода книги прошло более трех лет (при том, что русский текст был готов примерно через год).

Среди переводчиков были и опытные профессионалы, и те, для кого эта работа стала, по существу, первой. Отдельно я хочу назвать имя Александра Ивановича Полторацкого. Для него эта переводческая работа стала последней, он так и не дождался выхода этой книги.

Участие в обработке библиографических данных приняли студенты РГГУ: Оля Вуль, Катя Ермакова и Аня Иванова.

Наконец, отдельно нужно поблагодарить издателя этой книги — Елену Александровну Гришину, в решающий момент поддержавшую этот проект и как издатель, безусловно, рисковавшую (но надо надеяться — не зря!). Она же взяла на себя всю техническую работу, связанную с изданием.

Е. В. Падучева

ФЕНОМЕН АННЫ ВЕЖБИЦКОЙ

Передо мной на столе лежат девять книг Анны Вежбицкой — девять моих любимых книг по лингвистике, и переводы семи статей, которые составляют настоящий сборник. О статьях читатель теперь может судить сам. Моя задача — погрузить эти статьи в тот контекст, из которого они были выхвачены случайностью судьбы, т. е. рассказать о книгах. Задача практически невыполнимая, и я ограничусь несколькими кардинальными «сквозными» темами, которые, конечно не охватывают всего созданного гениальной лингвисткой, но ассоциируются в сознании с ее именем в первую очередь. Это, с одной стороны, семантика грамматики (семантический подход к описанию сочетаемостных ограничений в языке — как морфологических, так и синтаксических); с другой стороны — семантика лексики (языковая категоризация явлений внешнего мира; антропоцентризм; связь между языком и национальным характером). Методологическую основу и того и другого составляют семантические примитивы и, вообще, семантический мета-язык; тем самым, он образует третью тему.

В сущности, все три темы сливаются в одну, потому что подлинная стихия Вежбицкой — семантика. Вежбицкая исходит из простого принципа — что язык служит для выражения значения и, следовательно, именно в этом своем качестве он и должен рассматриваться. Вопрос только в том, как описывать значение.

Семантикой, как и многим другим глобальным идеям, лингвистика в существенной степени обязана логике (например, идея о связи значения с синонимией идет от Пирса, Куайна, Черча). Развитие современной лингвистической семантики, по крайней мере поначалу, в существенной степени опиралось на семантику в логике и на знаменитую систему определений, предложенную Чарльзом Моррисом. Язык — это семиотическая система, и, следовательно, в нем есть синтаксис, семантика и прагматика. Синтаксис — отношение между знаками; семантика — отношение знаков к реальности; прагматика — отношение знака к его пользователям.

Вежбицкая отвергает эти определения. Для логики семантика — это отношение между знаками и внешним миром. Между тем значение элементов естественного языка не может быть сведено к отношению между языком и миром. «Сама природа естественного языка такова, что он не отличает экстралингвистической реальности от психологической и от социального мира носителей языка», Wierzbicka 1991:16. Значение антропоцентрично, т. е. отражает общие свойства человеческой природы; более того, оно этноцентрично, т. е. ориентировано на данный этнос. Нельзя на естественном языке описать «мир как он есть»: язык изначально задает сво-

им носителям определенную картину мира, причем каждый данный язык — свою.

Семантику можно разделить только на такие части, которые предопределены структурой самого языка. В языке есть слова, грамматика (синтаксис и морфология), а также разного рода «иллокутивные показатели» — просодия, интонация, порядок слов и под. И то, и другое и третье имеет свою семантику. Соответственно, части, на которые Вежбицкая делит задачу описания семантики языка, это: лексическая семантика; семантика грамматики (или, если угодно, чтобы упростить сопоставление с Моррисом, синтаксиса, поскольку морфология в каких-то языках, в частности, в английском растворима в синтаксисе); и семантика прагматики, или просто прагматика.

Как мы видим, в концепции Вежбицкой оба моррисовских деления исчезают: не существует границы между синтаксисом и семантикой — автономность синтаксиса от семантики оказывается мнимой, поскольку синтаксис семантичен. Мнимой же является и автономность прагматики по отношению к семантике. Языковые значения прагматичны насквозь: с человеком, с речевой ситуацией связаны в языке не какие-нибудь особо выделенные экспрессивные элементы, а значение огромного числа слов или граммем. Заведомо связана с прагматикой и референция. Следовательно, отношением языка к пользователю нельзя пренебречь даже в самом грубом приближении: прагматические значения (т. е. разного рода установочные, сложным образом переплетены в естественных языках со значениями, выразимыми через условия истинности (Wierzbicka 1991:17) — все значения являются ингерентно субъективными, антропоцентричными и этноцентричными. Они не могут быть разделены на референциальные и прагматические; или на денотативные и установочные. «Моррисовское деление науки о знаках на синтаксис, семантику и прагматику, имеющее смысл для искусственных знаковых систем, не оправдано по отношению к естественному языку, где синтаксис и морфология, равно как и иллокутивные показатели, являются сами по себе носителями значения», Wierzbicka 1991: 16.

Радикальное решение проблемы о границах между семантикой и прагматикой связано в концепции Вежбицкой с категорическим отрицанием принятого в логике редукционистского подхода к семантике: значение в естественном языке не может быть определено через отношение между языковыми знаками и элементами экстралингвистической реальности (Wierzbicka 1988: 2), как это предполагается в грамматике Монтэю и в других разновидностях функционально-истинностной семантики. Языковое значение — это интерпретация мира человеком, и никакие операции над «сущностями реального мира» не приближают к пониманию того, как устроено это значение.

Водораздел между лексикой и грамматикой проводится Вежбицкой на практике, впрочем, не совсем так, как между ними обеими и прагматикой. Границу между грамматическими и лексическими значениями определяет различие в способе выражения значения; в

самом деле, лексические и грамматические значения ничем не отличаются друг от друга по существу: разница разве что в том, что одни значения передаются словами (знаменательными), а другие — формами слов, конструкциями, служебными словами, возможно также порядком слов или интонацией¹. Между тем границы прагматики, как она понимается в Wierzbicka 1991, очерчиваются именно характером значения: к сфере прагматики отнесены те языковые элементы, у которых субъективно-экспрессивные компоненты доминируют над денотативными. При этом языковые элементы с таким значением — это не только просодия и интонация, но и слова (субъективно-экспрессивные, типа *almost, only, around, about*), морфемы (димиутивные и проч.), иллокутивные конструкции (например, *Open!* vs. *Would you open!*) — т. е. языковые элементы любого формального типа, объединенные лишь тем, что они несут по преимуществу «прагматическую» информацию.

В сущности, проблема границы между семантикой и прагматикой была получена лингвистикой в наследство от логики. В концепции Вежбицкой она решена радикальным образом — сам этот вопрос не имеет смысла, потому что такой границы не существует: прагматика — это часть семантики, изучающая определенный круг языковых значений.

Вежбицкая считает, что «комплементаристская» позиция по отношению к лингвистической прагматике (Leech 1983) привела бы к тому, что, иллокутивные функции высказываний — такие, как просьба или обещание, — пришлось бы рассматривать в рамках прагматики, а значение слов, таких как *просить, обещать*, — в семантике, как если бы эти задачи не имели ничего общего между собой; между тем, просьба и обещание составляют смысл глаголов *просить* и *обещать*.

Прагматике по Вежбицкой посвящен содержательный обзор Фрумкина 1995. Мы ограничимся грамматикой и лексикой. Но начать следует с семантического метаязыка.

1. Семантический метаязык и проблема толкования значений

1.1. Лексика семантического метаязыка

Главное место в семантической концепции Вежбицкой занимает метаязык описания значений. На одном из этапов формирования этой концепции он назывался «язык мысли» — *lingua mentalis*. Сдвиг, произошедший за самое последнее время, состоит в том, что речь идет уже не просто о семантических примитивах как множестве отдельных слов (Wierzbicka 1972), но о целостном языке, в

¹Различие (сформулированное Боасом — Якобсоном, см. Jakobson 1959), состоящее в том, что грамматические значения выражаются, при определенных условиях, обязательно, и потому в какой-то степени стертые, конечно, остаются.

котором есть не только лексика, но и синтаксис (последний, между прочим, отрицается в модели «смысл↔текст», см. Мельчук 1974).

На протяжении десятилетий концепция семантического метаязыка (СМ) менялась, но два положения остаются неизменными:

1) Семантическим метаязыком должен служить сам естественный язык; точнее, его фрагмент (в Падучева 1974: 16 этот тезис выдвигается как принцип естественности) — не язык деревьев или семантических сетей, как в модели Смысл↔Текст; не язык признаков, *markerese*, как в Katz, Fodor 1964; не язык интенциональной логики, как в грамматике Монтэгу² — СМ «вырезается» из данного языка.

В самом деле, логика может позволить себе пользоваться символами, поскольку их смысл задается аксиоматически или интерпретацией на модели. Смысл слов СМ должен быть понятен сам собой — хотя бы носителю данного языка³.

2) Единный семантический метаязык должен служить для описания как лексических, так и грамматических значений. Более того, в последних работах Вежбицкая подчеркивает, что тот же язык может использоваться и для толкования иллокутивных (и, вообще, прагматических) значений.

В свое время большим достижением было осознание возможности единства метаязыка грамматических и лексических толкований («Никакого особого грамматического значения нет, есть лишь особые знаки, обладающие свойством грамматической обязательности», Weinreich 1963/1970: 197). В самом деле, лексическое и грамматическое значение переводимы друг в друга: то, что в одном языке — грамматика, в другом может быть передано только лексически.

В работах Вежбицкой принцип единства семантического метаязыка распространяется и на иллокутивные значения. Например, *просить, приказывать* — это лексические единицы, а императив и вопрос — иллокутивные функции; но значение этих языковых единиц складывается из одних и тех же компонентов. Так, компонент 'я хочу' входит в семантику императива и в описание слов со значением 'просить', 'приказывать'; компонент 'я знаю' играет важную роль в экспликации декларативной и вопросительной модальности, равно как и лексем со значением 'информировать', 'спрашивать'.

Блестящее подтверждение возможностей единого языка толкований для лексических и грамматических единиц — статья Wierzbicka 1967, которая представляет собой первый опыт толкова-

²Что касается языка классической математической логики, то он — если не считать скобок и референциальных индексов — является по существу фрагментом естественного языка, и имеет только тот недостаток, что ограничен в своих выразительных возможностях, см. Падучева 1974:85.

³Неудобства, к которым приводит использование несамопонятных лексем, очевидны. Например, глагол *начать* моментальный, и смысл его несовершенного вида *начинать* никак нельзя считать самопонятным, что делает это слово плохим кандидатом на роль семантического примитива. Об опасностях, подстерегающих того, кто пользуется фиктивными лексемами, см. Goddard, Wierzbicka 1994.

ния грамматического значения, и не какого-нибудь, а такого сложного, как славянский вид.

Семантическая концепция Вежбицкой во многом сходна, в своих основных принципах, с Московской семантической школой (см. Жолковский 1964; Жолковский, Мельчук 1967, Мельчук 1974, Апресян 1974). Следует, однако, отметить два различия. Во-первых, в Московской школе предполагается, что множество примитивов возникнет стихийно как множество повторяющихся компонентов толкования; у Вежбицкой СМ — это результат сознательного «языкового строительства», он задается, так сказать, априорно. И второе. В Московской школе не имеется в виду взаимопереводимость семантических примитивов в разных языках (см. Апресян 1994); между тем семантический метаязык Вежбицкой по замыслу универсален.

Гипотеза о существовании универсального семантического метаязыка состоит в том, что найдется множество слов данного языка (например, английского), которое удовлетворяет следующим условиям:

1) эти слова сами по себе семантически неразложимы (т. е. являются примитивами), но с их помощью можно осуществить разложение других слов данного языка;

2) эти слова имеют переводы на все другие языки, и в каждом из языков совокупность переводов может играть роль СМ для данного языка.

Соответственно, есть два критерия отнесения слова к семантическим примитивам и включения в семантический метаязык.

Первый критерий — внутренняя семантическая простота (самопонятность) слова; она служит предпосылкой использования слова в качестве адекватного орудия толкования внутри данного отдельного языка. Заметим, что невозможность предъявить для данного слова адекватное толкование еще не свидетельствует о его семантической элементарности: разложимость может быть доказана (предъявлением толкования), а неразложимость недоказуема в принципе. Например, по поводу слова *много* в Goddard, Wierzbicka 1994 приводится два предположительных толкования и доказываются их несостоятельность. Одно — *много* = 'больше, чем ожидалось'; оно опровергается примером *Народу пришло много, но меньше, чем я ожидал*. Другое — принятое в Московской семантической школе и основанное на понятии нормы; оно опровергается примером *Много людей осталось без крова*: трудно представить себе наличие количественной нормы для принципиально ненормативного события. Само по себе развенчание предлагаемых толкований еще не значит, однако, что 'много' — семантический примитив. Единственный законный ход рассуждения — что данное слово участвует в семантическом разложении достаточно большого числа других слов и, следовательно, будет полезно в роли примитива.

Второй критерий — переводимость на другие языки; он обеспечивает семантическому метаязыку универсальность. На основании этого критерия вызывают сомнение в своей принадлежности к примитивам какие-то слова, которые проходят по первому. Скажем,

идея существования безусловно входит в состав значения многих слов и конструкций. Согласно мнению грамматиков Пор-Рояля, существование принадлежит к числу идей столь ясных, что никакие определения не могут сделать их яснее. Тем самым слово *exist* 'существовать' проходит по первому критерию. Однако это слово есть не во всех языках, и потому Вежбицкая не включает его в число примитивов: на роль примитива выбирается не *exist*, а *there is*. Другие слова, наоборот, оказываются подходящими кандидатами на роль примитивов именно по критерию взаимопереводимости; так, например, слова *видеть*, *слышать*, которые есть в любом языке (при том, что в Wierzbicka 1980b они толковались, соответственно, через *глаз* и *ухо*).

Строго говоря, взаимопереводимостью должны обладать не только примитивы, но и аргументация, которая обосновывает их включение в СМ. Так, Вежбицкая, скорее всего, права, что *little* не может быть истолковано как *not much*; но аргументом не может служить недопустимое в английском языке **very not much*; скажем, в русском языке можно сказать *очень немного*.

Гипотеза о существовании универсального СМ, пожалуй, самая сильная из всех, принимавшихся в семантике. Так что замысел Вежбицкой необычайно амбициозен: задача описания семантики данного языка — уже необыкновенно сложная — объединяется с задачей семантического сравнения всех языков друг с другом⁴. Если смысл — это синонимия, то программа, предлагаемая Вежбицкой, означает, что язык должен «прокручиваться» не только сам через себя, но и через все другие языки. Теоретически вообще невозможно представить себе эту задачу решенной. Тем не менее, в Goddard, Wierzbicka 1994 предлагается гипотетический СМ с лексикой и синтаксисом — и, конечно, увиденная своими глазами версия СМ гораздо интереснее любых соображений о том, что это невозможно.

Не исключено, что этот вариант несовершенен, не окончателен; что примитивы будут меняться и что множество их существенно вырастет количественно. В любом случае представляются осмысленными поиски слов, которые в максимальной степени самопонятны и в максимальной степени переведимы на другие языки. Вежбицкая безусловно права в том, что из пары слов, как правило, можно решить, какое понятнее. Например, *человек* понятнее, чем *одушевленный*; *этот* понятнее, чем *дейксис*; *делать* — чем *агентивный*; *говорить* — чем *локутивный*. Ср. также трактовку слов, выражающих параметры объектов и ситуаций, такие как *рас-*

⁴Как это ни парадоксально, отказ от претензий на универсальность не облегчает задачу: в любом случае нельзя выбирать в качестве примитивов для данного языка слова, в наибольшей степени погруженные в культурный фон этого языка (как предлагается в Апресян 1994), поскольку такие слова не только не будут универсальными, но и не будут служить адекватным оружием толкования данного языка: повторяться могут скорее элементарные компоненты, чем блоки. Если главная задача — разложение значения, то в качестве примитивов должны выбираться первичные, максимально элементарные по смыслу слова.

стояние, *величина*, *количество*, *качество* и проч.: параметры задаются в СМ своими крайними точками. В результате, в СМ входят, например, слова *большой* и *маленький*, а не *величина*, поскольку, считает Вежбицкая, идея параметра является для носителя языка сознанием носителя более сложным понятием, чем крайние точки на шкале его значений.

Набор примитивов в СМ подобен вселенной: он то расширяется, то сжимается; так, «Lingua mentalis» (Wierzbicka 1980b) — это точка максимального сжатия, а Goddard, Wierzbicka 1994 — максимального на сегодняшний день расширения. К изменениям в составе примитивов не следует относиться трагически: от каждого пересмотра лексического состава СМ остаются семантические связи между словами, которые никуда не деваются от того, что какое-то слово перестало трактоваться как семантически производное от другого (и даже от того, что направление производности сменилось на обратное): результаты предыдущего этапа языкового строительства не отменяются наличием последующих. Так, определение MOVE 'двигаться' через CHANGE PLACE 'изменить место' сохраняет свою значимость, несмотря на то, что в Wierzbicka (в печати) MOVE переведен в ранг примитивов.

Несколько примеров недавних изменений в составе примитивов.

1) Добавлено в число примитивов слово KNOW 'знать <что>': Wierzbicka 1969 *знает* толковалось как 'может сказать'.

2) Устранен из числа примитивов глагол ВЕСОМЕ 'стать', который теперь толкуется (Goddard, Wierzbicka 1994: 48) через HAPPEN 'произойти':

X became Y =

- (a) at some time X was not Y
- (b) after that something happened to X
- (c) after that X was Y
- (d) I say this after that time.

В этом толковании обращает на себя внимание компонент (b), который кажется избыточным: X стал Y-ом (или X стал Y-овым) значит, что компонент (b), он раньше не был, а теперь является таковым. В комментарии к толкованию говорится, что компонент (b) нужен для того, чтобы показать, что ВЕСОМЕ — это динамическое понятие, т. е. что слово обозначает событие или процесс, а не просто два различных состояния. Но что же все-таки, событие или процесс? Для славянских языков, с их приверженностью к противопоставлению совершенного и несовершенного вида, важно, как происходит переход в новое состояние — постепенно или скачкообразно, т. е. как процесс или как событие. Толкование призвано, видимо, охватить оба случая, хотя выражает, пожалуй, только второй: русским эквивалентом для HAPPEN в составе компонента (b) естественно считать глагол *произойти*, моментальный, который не предполагает 'произойдет' (в отличие, скажем, от *сделать*, который предполагает 'делать'). Если считать переводом для HAPPEN глагол *случиться*, то его парный несов. вид *случаться* вообще имеет только тривиальное — итеративное — значение.

Исключение ВЕСОМЕ 'стать' из числа примитивов следует приветствовать: в Wierzbicka 1980b он употреблялся в толкованиях также и в форме прогрессива (*is becoming*), т. е. в значении 'становиться'. Между тем, глагол *становиться* никак нельзя признать самопонятным: в русском языке глагол *стать*, скорее всего, ментальный (*стал* не значит 'становился-становился, и стал'), так что значение его несомн. вида составляет проблему, см. Падучева 1994.

В Goddard, Wierzbicka 1994 Вежбицкая отказывается от первоначальной идеи о том, что семантические примитивы должны быть взаимно независимы (т. е. не могут иметь общих семантических компонентов): между примитивами может быть интуитивно ощущаемое семантическое сходство. Например, *знать*, *хотеть*, *чувствовать* имеют то общее, что являются ментальными состояниями, хотя все они семантически неразложимы. Возникают некомпозиционные семантические соотношения между словами (видимо, речь идет об однонаправленных импликациях в смысле Dowty 1979). Так, семантическую общность глаголов состояния типа *знать*, *существовать* (которая проявляет себя в общности сочетаемостных возможностей, ср. Апресян 1994) можно трактовать как некомпозиционную.

Идея некомпозиционных соотношений должна вызывать недоверие у приверженцев толковательного подхода к семантике. Приведем в этой связи еще один пример. Для Вежбицкой *say* — безоговорочный примитив. Однако это слово полисемично (см. о двух значениях *say* в Wierzbicka 1991: 11 и о пяти значениях русского *говорить* — в Зализняк 1991), причем у разных значений многие семантические компоненты являются, естественно, общими. Неужели же все соотношения между указанными словами и значениями некомпозиционные?

Одна из главных трудностей при построении СМ связана с тем, что слово, выбранное на роль примитива, может быть, по крайней мере в одном из языков, если не во всех, полисемично. Как говорит Якобсон в известной статье «On translation» (Jakobson 1966), основная проблема при переводе не в том, чтобы выразить смысл однозначно, а в том, чтобы сохранить неоднозначность исходного языка. Когда слово избирается на роль примитива, в нем выделяется одно из его значений, предположительно, главное, а остальные в рамках СМ игнорируются. Данная проблема рассматривается в Goddard, Wierzbicka 1994 под рубрикой резонансного эффекта: пусть слово-примитив языка L имеет перевод на L', но в L оно моносемично, а в L' многозначно; тогда толкование, использующее этот примитив в L', будет иметь не совсем тот же смысл, что в L, поскольку при употреблении этого слова в толкованиях в L' возникают ассоциации, которых не было в L.

В этой связи можно рассмотреть соотношение между англ. *you* и фр. *tu* (или русским *ты*), о котором в Goddard, Wierzbicka 1994: 38 говорится: «Употребляя местоимение *tu* человек дает понять, что не находит нужным выказывать свое уважение к адресату; но отсутствие этого выражения уважения не является частью его

коммуникативного намерения». Отсюда делается вывод, что искомым соответствием для *you* во французской версии СМ может быть *tu*: *вы* — маркированный член противопоставления в паре *ты* — *вы*⁵. Общий принцип здесь таков: наличие другого слова в том же семантическом поле не мешает первому быть примитивом: другие слова — так же как вторичные значения у того же слова — всего лишь порождают резонансный эффект.

То, что на каждое данное значение слова влияют другие значения того же слова, равно как и другие слова в том же семантическом поле — это непреложная истина (сосюрковский структурный принцип!). Так, русское *я хочу* не полностью соответствует английскому *I want* (вопреки тому, что говорится в Wierzbicka 1994: 7), поскольку в русском помимо *Я хочу*, есть еще *мне хочется*, которое занимает определенную часть соответствующего семантического пространства. Тем самым *хочу* оказывается выражением действительного желания.

В Goddard, Wierzbicka 1994 приводится следующий пример: в тайском языке есть слово, которое может рассматриваться как эквивалент для «среднеевропейского» *я*, но оно имеет несравненно более узкую сферу применения, чем наше *я*, поскольку упоминание о себе нормально сопровождается в тайском выражением смирения и приниженности; тем самым *я* в толкованиях будет иметь оттенок высокомерия или грубости.

1.2. Синтаксис семантического языка

СМ Вежбицкой — один из немногих семантических языков, имеющих эксплицитно описанный синтаксис (если не считать языков, которые непосредственно основаны на языках логики, как ИЛЯ, см. Падучева 1974, или таких, которые редуцируют семантику к референции, как семантика Монтэгу).

В Wierzbicka 1991: 14 говорится о том, что соизмеримы должны быть не только слова разных языков, но и грамматические модели. Однако соизмеримость синтаксических моделей получается сама собой, если синтаксис языка не имеет отдельного смысла — что, как мы увидим, достигнуто в СМ почти полностью.

Описание синтаксиса состоит из двух частей: с одной стороны, перечислены «активные» валентности всех слов и указано, какими словами или классами слов они могут заполняться; с другой стороны, для каждого слова описываются роли, которые может выполнять это слово в объемлющих структурах.

Кроме лексики и синтаксиса, СМ имеет зачаточную морфологию — точнее, супплетивизм. Нововведением в Goddard, Wierzbicka 1994 является понятие *аллолекса*, которое демонстрируется на соотношении *someone* — *person*. В СМ имеется продуманная система детерминативов и кванторов, в результате чего каждая имен-

⁵Думается, однако, что противопоставление *ты* — *вы* не привативное. См. о семантике и прагматике русского *ты* в Апресян 1986.

ная группа в СМ имеет эксплицитно выраженный денотативный (точнее будет сказать, референциально-прагматический) статус. Определенный артикль — это единственный из детерминативов, который не имеет в СМ отдельного лексического выражения. Отсюда сложность с образованием конкретно-референтной группы, которая соответствовала бы общему имени *person* 'человек'. Она решается с помощью аллолекса: *someone* рассматривается как слово-гибрид (*portmanteau*) для *some+person*. Тем самым одна и та же лексема может выступать в толкованиях и как обозначение конкретного участника ситуации (как бы с определенным артиклем) и, в сочетании с другими детерминативами, для представления имени любого другого референциального статуса.

Синтаксис СМ, как уже говорилось, чрезвычайно прост. Каждое слово характеризуется набором семантических валентностей — валентным фреймом. Валентность («слот», открываемый в предложении данным словом) задается ролью, которую выполняет (при данном предикате) заполняющий эту валентность терм. Предложение правильно, если 1) каждая лексема заполняет какую-то валентность; 2) заполнены все валентности всех лексем и 3) по крайней мере одна лексема предикатная.

Роли могут быть разной степени детализации. Так, у *think* 'думать' 1-я валентность — 'психологический субъект', 2-я 'объект', 3-я — 'комплемент'; а при *move* 'двигаться' 1-я валентность — 'mover', т. е. 'тот, кто/то, что движется'. Это снимает непростую проблему, связанную с тем, что двигаться может как лицо, наделенное собственной волей (в соответствии со своим намерением), так и палка, брошенная в воду. Впрочем, едва ли с такой неоднозначной лексемой можно работать.

Особый интерес представляет 2-я валентность при глаголе *do* 'делать' — это валентность, раскрывающая само содержание действия (см. об этой валентности, до самого последнего времени остававшейся вне поля зрения лингвистов, в Филипенко 1994, где она названа «валентность состава действия»⁶): в сочетании *сделал нечто* (в абстрактном значении глагола *сделать* — как в *сделал прыжок, сделал поворот* и под.) дополнение указывает состав — т. е. содержание — действия.

В описании синтаксиса СМ особый интерес представляет — особенно в плане сравнения с нормативами Московской школы — тот факт, что возможность сочетаться с обстоятельствами времени и места тоже требует наличия у слова соответствующей семантической валентности. Так, глаголы физического действия имеют валентность на показатель времени и места, а у глаголов ментального состояния валентность на место, как известно (см., например, Апресян 1980 или Кржижкова 1967), отсутствует: **знаю где-то*, **считаю где-то*, и т. д.⁷

⁶Наличие такой валентности позволяет выделить класс, так сказать, абстрактных действий и событий, состав которых не полностью определен семантикой самого глагола (*случиться, свершиться, произойти* и др.).

⁷О том, что обстоятельства времени и места предопределены таксономической категорией глагола, см. Падучева 1993.

Предложения СМ могут быть не только простые, но и сложные: структура предложений с союзами *если, если бы ... то бы, до, после, когда* описывается теми же правилами заполнения валентностей.

В синтаксисе СМ фигурируют, наряду с обязательными валентностями, также факультативные. Так, факультативной считается валентность Адресата у глагола *говорить* — например, предложение *Он сказал, что это хорошо* не является семантически неполным. Факультативному актанту соответствует факультативный же компонент толкования (*Ангел сказал что-то Марии* = 'Ангел сказал что-то, желая, чтобы Мария это услышала').

Независимо от того, принимаем ли мы данный анализ глагола *говорить*, факультативные валентности в семантическом метаязыке представляются важным вкладом в семантику. В модели «смысл↔текст», вообще говоря, не признается факультативных валентностей: в словаре Жолковский, Мельчук 1984 каждый новый набор актантов глагола — это новая лексема. Следствием этого постулата является то, что каждый раз, когда семантическая валентность слова остается в предложении незаполненной (т. е. идентификация участника/параметра ситуации в предложении отсутствует), возникает проблема.

С помощью понятия факультативной валентности можно решить вопрос о толковании таксономических категорий действия и деятельности; ср. толкование глагола *do*, предложенное в Wierzbicka 1980a, и критику этого толкования в Bogusławski 1990.

Понятие факультативной валентности дает возможность обойтись, по крайней мере на семантическом уровне, без понятий актант и сирконстант, порождающих непреодолимые контрверзы в «смысл↔текст»⁸.

Некоторые слова СМ допускают несколько валентных фреймов, при этом не считаясь неоднозначными. Например, *думать* допускает три рамки:

некто ДУМАЕТ нечто,
некто ДУМАЕТ нечто о чем-то,
некто ДУМАЕТ о чем-то.

Два альтернативных фрейма имеет глагол *произойти* — Место может быть альтернативой для Пациенса: *Произошло что-то плохое* значит либо 'здесь', либо 'с кем-то'. Следует, однако, иметь в виду, что альтернативы в одной зоне словаря всегда связаны с альтернативами в какой-то другой, и правила пользования словарем с такого рода коррелирующими альтернативами пока не просматриваются до конца.

Кроме правил, описывающих сочетаемость по активным валентностям, имеются правила касательно пассивных — например, пред-

⁸Любая простая гипотеза об основаниях этого противопоставления проваливается; например, неверно, что актант — это участник ситуации, а сирконстант — параметр; что актант соответствует обязательной валентности, а сирконстант — факультативной; что актант описывает индивидуальную сочетаемость, а сирконстант — сочетаемость с грамматическим классом, и т. д.

усматривается нестандартная сочетаемость субстантивов с атрибутами. Синтаксис SM допускает адьюнкты — слова, которые могут образовывать осмысленные сочетания с каким-то другим словом, не заполняя его семантических валентностей — хотя здесь нет убедительных примеров.

В принципе, каждое слово SM требует индивидуального описания в словаре. Например, для MORE 'больше' надо предусмотреть возможность выступать в контекстах *I want to know more; more things; more than; much more*, которые это слово не делит ни с каким другим. Уникальным набором валентностей характеризуется слово SOMETHING: только оно выступает как комплемент при предикатах и речи, и внутреннего состояния; особую роль играет SOMETHING при абстрактных глаголах типа DO и HAPPEN; уникальным является также сочетание something bad.

Даже личные местоимения не являются единым классом. Так, я не равно по сочетаемости никаким другим личным местоимениям. В японском языке имеется грамматическое правило, согласно которому только я может свободно сочетаться в утвердительном предложении с предикатами восприятия и ментального состояния — Я думаю, Я считаю, Я знаю, Я чувствую, Я слышу и под.; ты и вы в норме сочетаются с этими предикатами только в вопросах, а 3-е лицо требует evidentialных показателей (типа *наверное, должно быть*), которые фиксируют ограниченный характер наших знаний о внутренних состояниях других людей (см. об other minds в Austin 1953). В SM действует соответствующее ограничение сочетаемости, хотя в семантике, в отличие от грамматики, возможны мотивированные отклонения от указанных норм.

В синтаксисе SM есть зависимости, не сводимые к ограничениям на пары слов. Например, существование представлено как предикат, меж тем как на самом деле это оператор более сложного типа — с уникальным запретом на заполнение валентности Темы лексемой SOMETHING, если при ней нет атрибута, см. Падучева 1974:67.

1.3. Проблемы толкования

Один вопрос все-таки не оставляет в покое вдумчивого читателя сочинений Анны Вежбицкой: что значит, что толкование слова выражает его смысл (или значение)? Человек — если он сам случайно не толкователь, принадлежащий к данной семантической школе, — может прекрасно чувствовать, что слова различаются по смыслу, но обычно не может объяснить, чем же они различаются, а тем более — каков этот смысл. Что же (не считая авторитета автора) является залогом того, что толкование выражает смысл слова? В Wierzbicka 1991: 7 говорится, что толкования, написанные на SM, обладают «непосредственной проверяемостью и объяснительной силой». И в самом деле, если взять, например, толкования в словаре глаголов речи (Wierzbicka 1987a), они, действительно, эксплицируют поразительно тонкие различия между словами. Как правило,

однако, это становится ясно только из комментариев, в которых показано, как каждый из компонентов проявляет себя в тех или иных особенностях языкового поведения слова. Но тогда, может быть, и достаточно требовать от толкования, чтобы оно предсказывало и объясняло основные аспекты языкового поведения слова, не вводя лишнего постулата о том, что оно выражает его смысл?

Главное различие между словом и его толкованием состоит в том, что слово выражает свой смысл как правило неэксплицитно. Поэтому остается сильное сомнение в том, что перефразировка действительно выражает смысл. Скорее она «explains it away» — в том смысле, что навсегда уносит его с собой, поскольку эксплицированный, ясно сформулированный смысл по природе не может быть равен смутно понимаемому исходному. Книга Wierzbicka 1972 открывается цитатой из «Логико-философского трактата» Витгенштейна: «Язык скрывает мысль» (4112). Едва ли эта истина устарела к 1994-му году, когда она уже не цитируется. Если мы тайное (скрытое) сделали явным, надо мириться с тем, что, как сказал поэт, «что-то главное пропало». Метод семантической экспликации сочетаемостных ограничений (см. след. раздел) почти не оставляет места для синонимии — всюду смысловые различия. Так неужели может не быть разницы в значении между словом и его толкованием?

Вежбицкая сама задается вопросом, который составляет одну из частей нашего, а именно: как дать понять, что совокупность компонентов, образующих толкование, составляет значение именно одной лексемы? Ведь толкование, в котором есть компоненты 'X сделал нечто' и 'поэтому нечто случилось с У-ом', представляют ситуацию как два каузально связанных события; между тем исходный глагол без сомнения выражал одно событие. Этот вопрос, как и смежные с ним, пока не имеют ответа.

2. Семантика грамматики: семантический подход к описанию сочетаемостных ограничений

Без преувеличения можно сказать, что каждая книга Вежбицкой была событием в русской лингвистике последних десятилетий, и одно из таких событий — появление книги «The semantics of grammar» (см. Wierzbicka 1988), где был изложен в предельно четкой форме намечавшийся еще и ранее (в частности, в Wierzbicka 1980a, Wierzbicka 1980b) семантический подход к морфологии и синтаксису — подход, основанный на идее о том, что сочетаемость — как морфологическая, так и синтаксическая, — может быть предсказана из семантики слов и синтаксических конструкций. Главное, однако, не идея, а ее подтверждение мощным потоком — буквально лавиной — фактов, из которых здесь может быть упомянута лишь ничтожная часть.

Примером семантической экспликации синтаксических ограничений сочетаемости может служить анализ комплетивных кон-

струкций (т. е. маркеров синтаксического подчинения одного предиката другому). В английском языке это конструкции *to* + инфинитив; герундий; подчиненное предложение с союзом *that* и отпредикатное имя. Обычно считается, что комплетивные конструкции, допустимые в контексте данного предиката, либо синонимичны, либо находятся в дополнительном распределении. Вежбицкая показывает, что описание сочетаемости глагола с подчиненным предикатом надо строить совершенно иначе; что эти конструкции, вообще говоря, различаются по смыслу, так что сфера употребления каждой из них может быть предсказана на основе ее собственного значения.

Так, герундивная конструкция выражает одновременность ситуаций, обозначаемых подчиненным и подчиняющим предикатом (существенно, таким образом, что герундий — это «ing-овая форма»: она сходна с причастиями на -ing, которые выражают одновременность — и сами по себе, и в составе форм Прогрессива). Поэтому допустимо *She enjoyed talking to him* 'Ей нравилось говорить с ним', но не **She wanted talking to him* 'Она хотела говорить с ним': глагол *want* ориентирован на будущее и не сочетается с герундием, который ориентирован на одновременность. Так же как *want* ведут себя глаголы *hope*, *plan*, *intend* и другие.

Комплетивная конструкция с союзом *that* возможна только в контексте глагола *know* или таких, которые содержат компонент 'знать' в своем толковании, ср. *Mary says that Stalin was a Georgian* 'Мэри говорит, что Сталин был грузин' и **I want that I get rich*, букв. 'Я хочу, чтобы я стал богатым'. Глагол *hope* допускает *that*, поскольку в его семантическое разложение входит компонент 'не знать'.

В том же стиле предлагается семантическое обоснование выбора между союзом *aby* и беспредложным инфинитивом в чешском языке: беспредложный инфинитив соответствует ситуации полного контроля, а неполный контроль требует союза. Видимо, аналогичное правило верно и для русского языка, ср.:

- (1) а. Побежал предупредить соседей (ср. **чтобы предупредить*);
 б. ⁺Поехал в Китай, чтобы научиться говорить по-китайски (ср. ⁺*поехал научився*, хотя допустимо *поехал учиться*).

Так что поверхностные различия в оформлении подчинения одного предиката другому свидетельствуют, вообще говоря, о различии в грамматическом значении конструкции, а также о «скрытом» (по Уорфу) различии лексического значения предикатов, подчиняющего или подчиненного.

Другой пример семантического объяснения сочетаемостных различий — из области морфологии. Речь идет о выборе числа существительных — названий овощей. Эта проблема давно привлекала внимание лингвистов; почему, например, в (2а) существительное в единственном числе (Sg), а в (2б) — во множественном (Pl); почему (3а) допустимо, а (3б) — нет:

- (2) а. Я люблю *морковку*; б. Я люблю *огурцы*.
 (3) а. Возьми две *свеклы*; б. *Возьми две *капусты*.

Вежбицкая выделяет два диагностических контекста — контекст родового употребления, как в (2), и контекст счета, как в (3). Обнаруживается, что выбор числа существительного определяется следующими двумя признаками соответствующих овощей: 1) размером «овоща» и 2) обычными для данного языкового коллектива способом употребления его в пищу. По первому признаку овощи среднего размера (такие как свекла или морковь) противопоставлены как слишком крупным (как капуста), так и слишком мелким (как горох, фасоль). По второму — овощи, которые в России могут употребляться в пищу целиком в сыром виде (как огурец, помидор) противопоставлены таким, которые употребляются в вареном и измельченном.

Таким образом, получается два крайних класса слов:

класс I — слова, обозначающие овощи среднего размера и употребляемые целиком, допустимы в контекстах типа (3), т. е. счетны, и в родовом употреблении, как в (2), требуют мн. числа;

класс II — это овощи крупного или мелкого размера и употребляемые в вареном или измельченном виде; сюда относятся существительные, которые не счетны, т. е. недопустимы в контексте типа (3), и в родовом употреблении требуют ед. числа.

Промежуточный класс III составляют слова типа *свекла* — среднего размера, но употребляемые в вареном или измельченном виде: они счетны, но в родовом контексте имеют ед. число. Получается следующая таблица:

	Родовое употребление	Счет
I. <i>огурец</i>	Pl	+
II. <i>горох, капуста</i>	Sg	-
III. <i>свекла, морковь</i>	Sg	+

Четвертое мыслимое сочетание <Pl, -> по естественным причинам исключено: мн. число в родовом контексте бывает только у счетных существительных.

Правда, эта классификация дает кое-какие неверные предсказания. Например, слово *баклажан* по своему языковому поведению попадает в класс I, хотя баклажаны не употребляются в сыром виде (см. Бурас, Кронгауз 1990). Другой пример. Бобы в денотативном плане не отличаются от фасоли, так что для объяснения принадлежности слова *боб* к классу I (при том, что *фасоль* — класс II) требуется, по-видимому, особое правило: слово *боб* может употребляться как сингулятив, тогда как от слова *фасоль* образуется *фасолина*. Заметим, что в белорусском языке *боб* ведет себя как *фасоль*, т. е. не употребляется в контексте счета.

Тем не менее, это описание имеет бесспорные преимущества перед таким, когда каждое из употреблений (в качестве названия единичного овоща; родовое; родовое партитивное) рассматривается как отдельная лексема, свойства которой задаются по отдельности

словарем (см. Mel'čuk 1979), равно как и перед таким, где классы слов с грамматически одинаковым поведением просто перенумерованы (как в Поливанова 1983). Так, «словарный» подход дает неоправданное размножение сущностей; а при «списковом» не очевидно, что релевантных контекстов всего два, а классов всего три.

Между тем Вежбицкая предлагает описание, которое предусматривает исходя из семантики, во-первых, выбор числа в родовом контексте, а во-вторых — отнесение существительного к классу счетных или несчетных. Семантически мотивированные правила, хотя бы и с исключениями, заведомо лучше, чем словарный список.

Из рассмотренных примеров ясно, что граница между семантикой грамматики и семантикой лексики может быть проведена лишь с большой долей условности; ведь основное, за счет чего становится возможным объяснение грамматической сочетаемости, — это введение лексических классов, иначе — скрытых, по Уорфу, категорий (ср. понятие грамматически релевантного семантического класса в Кустова, Падучева 1994).

Семантический подход к сочетаемости позволяет приблизиться к ответу на вопрос, каким образом человек — носитель языка способен держать в памяти ту неслыханно огромную информацию, которая составляет такой труд для лексикографов, пытающихся ее эксплицировать.

Идея глобальной семантической мотивированности языковых знаков (как справедливо отмечается в Бурас, Кронгауз 1990) нефальсифицируема: каждое отдельное семантическое объяснение можно опровергнуть, но нельзя доказать, что не существует более удачной семантической интерпретации. В то же время, вопреки Карлу Попперу, в данном случае нефальсифицируемость теории не является средством ее дискредитации: перед нами безусловно плодотворный подход к описанию языка, который дает возможность получать бесчисленное множество новых, ранее неизвестных фактов. О некоторых таких фактах еще будет идти речь.

Сама по себе идея о том, что синтаксис и морфология семантически мотивированы, не нова. Новым является огромный объем исследований, которые уже проведены и которые нацеливают лингвиста на дальнейший поиск семантических интерпретаций грамматического поведения — на выявление лексических противопоставлений, релевантных для грамматики и, тем самым, на поиск *объяснений* там, где раньше считалась возможной в лучшем случае простая констатация разрешений и запретов сочетаемости морфем и слов. С другой стороны, новой является методология, позволяющая выявлять семантические сходства и различия морфем, конструкций и слов (семантический метаязык).

3. Лексическая семантика и принципы концептуализации: антропоцентризм, этноцентризм

Как уже говорилось, семантика по Вежбицкой несводима к референции (см. Wierzbicka 1988:2). Вежбицкая последовательно ис-

ходит из того, что содержанием говоримого лишь в небольшой степени является то, что есть в «объективной» действительности. Во-первых, язык антропоцентричен: он предназначен для человека, и вся языковая категоризация объектов и явлений внешнего мира ориентирована на человека; это общая черта всех языков. Во-вторых, каждый язык национально специфичен. При этом в языке отражаются не только особенности природных условий или культуры, но и своеобразие национального характера его носителей. Никого не удивляет, что в эскимосском языке есть много названий для снега, в арабском — для верблюда, а в китайском для риса: язык отражает условия существования его народа и содержит имена и реалии, специфические для данного народа. Гораздо более удивительно (и именно это демонстрирует Вежбицкая), что языки существенно различаются степенью тщательности разработки вполне абстрактных семантических полей — таких как каузация, агентивность, сфера эмоционального и др. Та или иная концептуализация внешнего мира заложена в языке и не всегда может быть выведена из различий в «условиях его бытования». Различия в концептуализации требуют объяснения, и одно из возможных объяснений — ссылка на национальный характер.

Задача отыскания в том или ином языке черт, а priori приписываемых соответствующему национальному характеру, безнадежна и не представляет большого интереса. Вежбицкая в своей книге «Semantics, Culture and Cognition» (Wierzbicka 1992) открывает такой подход к проблеме связи языка и национального характера, при котором она оживает заново: предлагается выявлять свойства национального характера, вычитывая их из национально-специфического в соответствующих языках. Тем самым сведения о национальном характере оказываются результатом лингвистического анализа, а не его исходной предпосылкой.

В своих исследованиях Вежбицкая является продолжателем таких мыслителей, как Лейбниц, Фосслер, Шпитцер, Балли, Боас; не говоря уже про Гумбольдта, Сепира и Уорфа. В то же время сопоставительное изучение изоморфных семантических полей разных языков примыкает к идеям понятийной грамматики в духе Брюно или Есперсена.

Орудием сопоставления этнографически специфичных концептов служит для Вежбицкой все тот же универсальный семантический метаязык. Вежбицкая вносит коррективы в гипотезу Сепира—Уорфа: нельзя сказать, что системы видения мира, предлагаемые разными языками, несопоставимы; национально специфические концепты сопоставимы постольку, поскольку они переводимы на язык семантических примитивов.

Вежбицкая исходит из того, что каждый язык образует свою «семантическую вселенную», сочувственно цитируя Цветаеву — «иные вещи на ином языке не мыслятся». Не только мысли могут быть «подуманы» на одном языке, но и чувства могут быть испытаны в рамках одного языкового сознания, но не другого. Иными словами, есть понятия, фундаментальные для модели одного мира и отсутствующие в другом.

В Wierzbicka 1992 разбирается несколько примеров слов, традиционно специфичных для русского языкового сознания — прежде всего, это слова *душа* и *судьба*.

Душа — этоместилище для событий эмоциональной жизни и, вообще, внутреннего мира человека. О душе в русском языке можно говорить применительно к любому аспекту человеческой личности (исключая, конечно, тело). Чувства, мысли, желания, внутренняя речь, знания и шире, мыслительные способности — все это сосредоточено в душе. Обычно это то, что скрыто от людских глаз:

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей.
(Пушкин. «Евгений Онегин»)

С другой стороны, в русском языке душа человека — это его морально-эмоциональное ядро. Не удивительно поэтому, что душа выступает как синекдоха (*pars pro toto*) по отношению к личности человека в целом (ср. народную песню *Сколько за душу твою одинокую Много я душ загублю. Я ль виноват, что тебя, чернооую, Больше, чем душу люблю!*).

Вежбицкая обнаруживает принципиальные различия между русской и англо-саксонской психологией: если в русском языке в обычную контрастивную пару со словом *тело* входит *душа*, то в англоязычном мире тело обычно контрастирует с сознанием (*mind*); так, содержание декартовского трактата «*Les passions de l'âme*» (букв. 'страсти души') в обычном учебнике психологии на англ. языке идентифицируется как *mind-body interaction*, т. е. 'взаимодействие тела и сознания', а не 'тела и души', Wierzbicka 1992: 43). Русское *душевнобольной* переводится на англ. язык как *mentally ill*, Wierzbicka 1992: 52. В контексте, где Остин говорит о трудности проникновения в *other minds*, по-русски надо сказать: «Чужая душа потемки».

Анализ слова *судьба* мы не будем пересказывать столь же подробно. Привлекает внимание тот компонент его толкования, который, в отличие от обычных семантических компонентов слова, не содержит переменных: слово *судьба* своим значением отчетливо намекает на то, что скорее можно ожидать наступления чего-то плохого, чем хорошего (хотя в целом жизнь человеческая скорее непредсказуема, чем бессмысленна или необходимым образом трагична). Такой компонент естественно включить в толкование слова, хотя ясно, что он должен иметь особый статус — своего рода аксиомы этнопсихологии. Аналогичный компонент в статусе аксиомы (т. е. не содержащий переменных) Вежбицкая усматривает в семантике русского *авось*: 'No one can think: «I know what will happen to me»'⁹. В отличие от других компонентов, которые содержат переменные и так или иначе обеспечивают семантическую связность текста, компоненты аксиоматического статуса работают

скорее на нужды этнопсихологии — они обеспечивают включенность высказывания в этнический контекст.

Проблема связи между языком и национальным характером обсуждается и в Wierzbicka 1988, где сделано наблюдение о том, что в русском языке необычайно подробно разработано семантическое поле эмоций, особенно таких, которые не имеют определенного каузатора, типа *тоска*. Ясно, что здесь открывается огромное поле для дальнейших исследований. Например, в русском языке гораздо богаче, чем во многих других, поле неопределенности. Речь идет не только о том, что в русском языке на месте одного разряда неопределенных местоимений имеется три — местоимения на *-то*, *-нибудь* и *кое-* (если не четыре, учитывая *некий*, *некто*): обращает на себя внимание отчетливо национально специфичное тяготение русского дискурса к неопределенным модальным показателям: бесконечные *почему-то*, *что-то*, *должно быть* и проч., как правило, опускаются при переводе, скажем, Чехова на европейские языки. Проследить связь между разными аспектами русской картины мира — это задача, которую поставила перед современной русистикой Анна Вежбицкая.

4. Анна Вежбицкая в России

Несомненный факт, что влияние работ Вежбицкой на лингвистику в России (речь идет, прежде всего, об общем языкознании и русистике) заметно больше, чем в какой-либо другой стране. Возможно, здесь сказывается исконная славянская общность, с успехом преодолевающая территориальный и языковой барьер, но скорее всего дело во внутренней созвучности лингвистических концепций, см. обзор ранних работ Вежбицкой в Апресян 1971. Отчасти это может объясняться биографически, см. предисловие Р. И. Розиной к работе Вежбицкая 1994). В русской лингвистике едва ли найдется столь широко и без оглядки цитируемый автор, считая в равной мере как своих (нет пророка в своем отечестве!), так и зарубежных.

Современное поколение московских лингвистов, которое, что называется, с молоком матери впитало модель «смысл+текст», имеет, по-видимому, специальное предрасположение к восприятию концепции Вежбицкой, поскольку она, с одной стороны, во многом близка к этой модели, а с другой — представляет большую свободу личности исследователя, ставя перед ним некоторые внешние и объективно привлекательные цели, помимо внутренней цели уложиться в рамки концепции (тоже, разумеется, привлекательной, что видно на примере концепций Хомского или Монтэгу, где этот внутренний стимул, видимо, основной).

Ниже я приведу заведомо не полный, но, надеюсь, репрезентативный перечень основных направлений, по которым шло влияние Вежбицкой на русистику в России.

Одной из первых по времени работ, развивающих идеи Вежбицкой, была книга М. Я. Гловинской (1982), где был применен — на

⁹Никто не может сказать себе: «Я знаю всё, что может со мной произойти».

русском материале и в широком объеме — метод толкования видовых противопоставлений, впервые намеченный в Wierzbicka 1967¹⁰. Эта небольшая по объему работа Вежбицкой надолго опередила свое время: даже в лексике метод толкований делал лишь первые шаги, а о толковании грамматического значения, да еще столь сложного, как видовое, никто не мог и подумать.

Статья Вежбицкой о виде была в высшей степени влиятельной. Например, в ней содержался намек на возможность использования при описании славянского вида рейхенбаховского понятия точки отсчета (гораздо позднее развитый в Падучева 1986); а проблема запрета на несовершенный вид в предложениях с количественным итогом действия (поставленная, в другой форме, еще Якобсоном), затрагиваемая в этой работе, так и не нашла пока окончательного решения (Булыгина, Шмелев 1988); ср. в Падучева 1995 размышления о том, почему нельзя сказать *Я пью воды*.

В монографии Зализняк 1994 (и еще ранее в работе Зализняк 1983) развивается идея, которая была высказана Вежбицкой еще в книге 1969-го года «*Dosiekania semantyczne*» — о том, что в семантике глаголов *бояться* и *надеяться* следует различать презумптивную и асертивную части; понятие презумпции в то время еще не имело того распространения в лингвистике, которое оно получило в последующие годы, и Вежбицкая выражала это противопоставление описательно: асертивный компонент имел, по Вежбицкой, приставку 'Я хочу, чтобы ты знал, что ...', а презумптивный — 'Я знаю, что ты знаешь, что ...'. Вежбицкая обнаружила, что эти два глагола различаются не только знаком оценки (отрицательным для *бояться* и положительным для *надеяться*), но и различием в коммуникативном статусе эпистемического ('считать вероятным') и оценочного ('хотеть/не хотеть, чтобы') компонентов¹¹. В работах Анны Зализняк была показана плодотворность такого подхода к семантике компактной группы глаголов, когда выделенные «сквозные» компоненты покрывают семантику всей группы с достаточной полнотой, причем различие в коммуникативном статусе тоже сквозное. Главное, в чем работы Зализняк следуют именно за Вежбицкой, — это расчленение слова на отдельные синтаксически независимые компоненты (в противоположность синтаксически связным толкованиям в Московской школе), что прокладывает дорогу к толкованиям с параметризованным компонентом, как в Wierzbicka 1987a.

Вообще, «*Dosiekania semantyczne*» — это настоящий клад семантических идей, не исчерпанный еще и до сих пор. В частности, в этой книге впервые было обращено внимание на семантическую неоднородность агентивных имен, среди которых можно

различить имена с актуальным значением (типа *всадник*), имена, обозначающие деятеля по его актуальному занятию (типа *наездник*), и имена с перфектным значением, типа *автор*. Это семантическое противопоставление было впоследствии изучено на русском материале в работах Шмелев 1983, Шмелева 1983, Шмелев 1989.

В работе Кронгауз 1993, которая вписывается в рамки семантического подхода к грамматике, рассматривается сочетаемость глаголов речи и звучания (типа *ворчать, мычать*) с приставками и показано, что, например, сочетаемость с приставкой *про-* дает разбиение глаголов на семантически релевантные классы. Приставка дает три словообразовательные модели:

1) сообщение информации (*продиктовать, прошептать, проворчать*);

2) просто произнесение текста или сегмента (*Корова промычала: Му-у-у*);

3) возможность восприятия звука, как правило, однократного (*Вдалеке прорычал лев; Прогрежел гром*).

Глаголы разбиваются на семантически осмысленные классы по допустимости одной или нескольких из указанных трех моделей.

В том же русле семантического подхода к описанию ограничений сочетаемости написаны Падучева 1988 (о словах, способных подчинять косвенный вопрос, ср. также Булыгина, Шмелев 1988), Кронгауз 1994 и др.

Одной из самых значительных идей последних лет в плане проникновения в глубинные семантические истоки поверхностных ограничений сочетаемости можно считать понятие таксономической категории. Первая попытка толкования Т-категорий содержится в «*Lingua mentalis*» (Wierzbicka 1980b). Классификация глаголов по Вендлеру оказала огромное влияние на славянскую аспектологию (см. Miller 1970, Mehlig 1981, Булыгина 1982 и др.). Однако аспектуальные классы выделялись на основе той самой сочетаемости, которая была единственным свидетельством в пользу их существования. В «*Lingua mentalis*» было показано, что такие классы глаголов, как состояние, событие, действие, происшествие, — т. е. в сущности вендлеровские классы — это классы семантические. Это породило идею глагольных таксономических категорий, которые различаются форматом толкования. В результате оказалось, что сочетаемостные ограничения, характеризующие четыре знаменитых вендлеровских класса, суть следствия различий в семантике (Падучева 1994). Т-категории, так определенные, ставят на новую базу славянскую аспектологию — наличие vs. отсутствие видовой пары у данного глагола в существенной степени предсказываются его категорией, и более точно — форматом толкования.

Одновременно Т-категории — это мощное орудие описания индивидуальной сочетаемости. Что касается индивидуальной сочетаемости, то в свое время мощный прорыв в этой области был сделан в модели «смысл ↔ текст», когда было изобретено понятие модели управления. Однако модель управления учитывала только так называемые актаны лексемы, а вся остальная сочетаемость молчаливо признавалась свободной. Между тем это допущение весьма

¹⁰Интересные соображения по поводу этой работы Вежбицкой содержатся в Маслов 1976: 45.

¹¹Позднее в Wierzbicka 1972 было предложено толкование большого класса эмоций. Независимым образом анализ предикатов эмоционального состояния был проведен на обширном материале в работе Йорданская 1970, что подтверждает высказанную ранее идею неслучайности схождения и путей развития Вежбицкой и Московской школы семантики.

далеко от истины. Сочетаемость глагола с обстоятельственными времени, длительности, места, цели и многими другими отнюдь не свободна — она основана на принадлежности слова к семантическим классам разной степени дробности, и прежде всего такими классами являются Т-категории. Плодотворный подход к явлениям этого рода был предложен в Wierzbicka 1967. Например, семантической предпосылкой сочетаемости глагола с обстоятельством срока завершения является наличие общих семантических компонентов в толковании глагола и обстоятельства; так, во фразе *Мицкевич написал «Пана Тадеуша» за год* обстоятельство *за год* предполагает глагол со значением 'шел процесс, имеющий предел'; 'процесс достиг предела' — именно таков глагол *написал*.

Книга Wierzbicka 1985 породила серию работ, посвященных предметным именам: целая область исследований возникла как попытка ответить на вопросы, явно или неявно заданные Вежбицкой. В модели «смысл↔текст», в том числе в Апресян 1974, главным объектом исследования была предикатная лексика. Сочетаемость предметных имен является предметом рассмотрения в работе Рахилина 1994, где ставится, например, вопрос: почему миска глубокая, а стакан высокий? Ссылка на «языковую картину мира» сама по себе не способна ничего объяснить. Ответ получается с учетом общих антропоцентрических установок, а именно — способов использования предметов человеком: из миски черпают, поэтому существенно ее внутренняя поверхность, тогда как для стакана она не значима.

Вклад Вежбицкой в прагматику носит, может быть, более фундаментальный характер, чем во все другие области лингвистической семантики.

В философской логике, да и среди лингвистов, долго теплилась надежда сохранить прагматику как отдельную науку, завещанную Моррисом. Книга Wierzbicka 1991, равно как и многочисленные статьи 80-х и 90-х годов, не оставляют этой надежды. В статье «Boys will be boys» (Wierzbicka 1987b, позднее вошедшей в Wierzbicka 1991) Вежбицкая подвергает сомнению возможность интерпретации тавтологий на базе постулатов Грайса, как это казалось возможным на заре лингвистической прагматики: показано, что предложения тавтологического тождества, типа «X есть X», в высокой степени конвенциональны и лингвоспецифичны, т. е. в разных языках имеют разную семантику. Например, русское прилагательное *Что было, то было* означает подтверждение факта, в то время как польское *Co było to było*, будучи пословным эквивалентом русского, понимается в значении 'Что было, то прошло' (конвенция зафиксировала акцент не на глаголе, а на его прош. времени). Мораль та, что и тавтологии имеют в языке конвенциональное значение, так что их интерпретация, вообще говоря, не может быть выведена из принципа кооперации и постулатов Грайса.

Эта мысль Вежбицкой была подхвачена и подтверждена на богатом русском материале в статье Шмелев 1990, где показано, в частности, что тавтологические предложения тождества со связкой *есть*, не равны по смыслу тем, которые содержат вместо связки

это: фраза *Фишер есть Фишер* скорее акцентирует недостатки носителя собственного имени, а *Фишер — это Фишер* — его достоинства.

Удивительно звонкое эхо вызвала в России книга Вежбицкой «English speech act verbs» (Wierzbicka 1987a), см. отклики разной степени вовлеченности в Гловинская 1992, Булыгина, Шмелев 1994. В последней работе содержатся важные критические замечания, касающиеся принятой в книге концепции. Как известно, Вежбицкая обосновывает и последовательно проводит принцип, состоящий в том, что глаголы речи должны толковаться в 1-м лице. Булыгина и Шмелев обращают внимание на существование глаголов речи, которые содержат «интерпретативный» компонент — т. е. требуют принципиально взгляда со стороны и невозможны в 1-м лице (ср. известную работу Vendler 1976 об иллюкузивном самоубийстве; о проблеме неважизаменимости 1-го и не-1-го лица см. Падучева, Зализняк 1982). Это такие глаголы как *донести (на кого-то)*, *выдать*, *настучать*, которые описывают извне ту речевую деятельность, которую изнутри ее субъект мог бы подать словами *изобличить*, *разоблачить*, *сигнализировать*, *сообщить куда следует* и под. Добавим к этому еще одно примыкающее возражение — толкования, предлагаемые в Wierzbicka 1987a, не предсказывают возможность/невозможность перформативного употребления глагола, что представляется свидетельством неполноты толкования.

С пониманием и интересом была встречена в России также и книга «Semantics, Culture and Cognition» (1992). В статье Зализняк, Левонтина (в печати) изучается одна из фундаментальных идей, формирующих семантический универсум русского языка — неагентивность: Вежбицкая пишет о грамматических конструкциях, выражающих непричастность человека к ходу событий; наши авторы показывают, что та же идея с большой полнотой «разработана» и в русской лексике. Рассматривается группа глаголов, значение которых сводится к тому, что событие произошло с человеком как бы само собой — «не потому, что он этого хотел». Это глаголы *собираться*, *постараться*, *удалось*, *успеть / не успеть*, *получилось*, *вышло*, *случилось*, *посчастливилось*, *повезло*, *угораздило*, *умудрился*.

Слову *судьба*, которое занимает важное место в Wierzbicka 1992, была посвящена целая конференция, организованная Н. Д. Арутюновой, см. Арутюнова 1994.

Работа Урысон 1994 позволяет надеяться, что семантику слова *душа* можно представить в духе статьи Успенский 1979 о вещных коннотациях предметных имен: совокупность контекстов употребления этого слова диктует представление о местелище для событий внутренней жизни человека и, более того, об органе, выполняющем важнейшие функции внутренней жизни.

В лингвистической концепции Вежбицкой удивительным образом сочетаются новаторство и традиционность. Ссылка на традицию

увеличивает ценность информации, получаемой читателем: он не просто останавливается, пораженный блестящей идеей, а заодно узнает, что думали по этому поводу Фома Аквинский, Лейбниц, Гумбольдт, Локк, грамматики Пор-Рояля, в крайнем случае — Витгенштейн или Остин.

Цитировать любят все. Люди цитируют, чтобы продемонстрировать свою эрудицию; чтобы приобщиться к авторитету; и, наконец, потому, что авторитет действительно говорит ровно то, что нужно цитирующему. Вежбицкая цитирует всегда только потому, что все великие лингвисты, логики, философы и психологи, как будто спорившись, подтверждают те положения, которые она собирается отстаивать. Впрочем, полемическим стилем Вежбицкая тоже владеет в совершенстве.

Феноменальная работоспособность Вежбицкой, пожалуй, слишком очевидна, чтобы о ней стоило долго говорить. В Wierzbicka 1991 высказано предположение о том, почему потерпела поражение школа так называемой порождающей семантики в Америке (хотя из всех направлений она была в наибольшей степени созвучна самой Вежбицкой): потому, что семантика, — а лексическая семантика в первую очередь — требует массивов интеллектуальных усилий. Это, скорее всего, так и есть: сейчас наиболее заметных успехов в лингвистике достигают научные коллективы. Но, надо заметить, сама Вежбицкая до самого последнего времени работала одна.

Одну менее очевидную черту в индивидуальном почерке Вежбицкой я не могу назвать иначе, как смелость: нужна именно смелость для осуществления такого огромного труда со столь сильными исходными предпосылками.

ЛИТЕРАТУРА¹²

- Апресян 1971** — Апресян Ю.Д. О некоторых польских работах по лингвистической семантике. || Машинный перевод и прикладная лингвистика, вып. 14. М.: МГПИИЯ им. М. Тореца, 1971, с. 184-204.
- Апресян 1974** — Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. М., 1974.
- Апресян 1980** — Апресян Ю.Д. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл»Текст». Wop, 1980, 119 с.
- Апресян 1986** — Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и иная модель мира. || Семантика и информатика, вып. 28, М., 1986, с. 5-33.
- Апресян 1994** — Апресян Ю.Д. О языке толкований и семантических примитивах. // Изв. РАН, сер. лит. и языка, 1994, с. 27-40.
- Арутюнова 1994** — Арутюнова Н.Д. Истина и судьба. // Арутюнова Н.Д. (отв. ред.). Понятие судьбы в контексте разных культур. М.: Наука, 1994, с. 302-316.
- Булыгина 1982** — Булыгина Т.В. К построению типологии предикатов в русском языке. // Селиверстова О.Н. (отв. ред.). Семантические типы предикатов. М.: Наука, 1982, с. 7-85.
- Булыгина, Шмелев 1988** — Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Вопрос о косвенных вопросах. || Арутюнова Н.Д. (отв. ред.). Логический анализ языка. Знание и мнение. М.: Наука, 1988, с. 46-63.

- Булыгина, Шмелев 1988** — Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Вопрос о косвенных вопросах. || Арутюнова Н.Д. (отв. ред.). Логический анализ языка. Знание и мнение. М.: Наука, 1988, с. 46-63.
- Булыгина, Шмелев 1994** — Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Оценочные речевые акты ивне и изнутри. — // Арутюнова Н.Д. (отв. ред.). Логический анализ языка. Язык речевых действий. М.: Наука, 1994, с. 49-59.
- Бурас, Кронгауз 1990** — Бурас М.М., Кронгауз М.А. Концептуализация в языке: все или ничего. || Фрумкина Р.М. (отв. ред.). Язык и структура знаний. М.: ИЯ АН СССР, 1990, с. 50-57.
- Гловинская 1984** — Гловинская М.Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М.: Наука, 1984.
- Гловинская 1992** — Гловинская М.Я. Русские речевые акты и вид глагола. || Арутюнова Н.Д. (отв. ред.). Логический анализ языка. Модели действия. М.: Наука, 1992, с. 123-130.
- Жолковский 1964** — Жолковский А.К. О правилах семантического анализа. || Машинный перевод и прикладная лингвистика, вып. 8. М.: МГПИИЯ им. М. Тореца, 1964, с. 17-32.
- Жолковский, Мельчук 1967** — Жолковский А.К., Мельчук И.А. О семантическом синтезе. || Проблемы кибернетики. Вып. 19. М.: НСК, 1967, с. 177-238.
- Жолковский, Мельчук 1984** — Жолковский А.К., Мельчук И.А. Толково-комбинаторный словарь русского языка. Вена, 1984. 992 с.
- Зализняк 1983** — Зализняк Анна А. Семантика глагола бояться в русском языке. || «Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка», 1983, т. 42, № 3.
- Зализняк 1991** — Зализняк Анна А. Словарная структура глагола ГОВОРИТЬ. || Семантика и информатика, вып. 32. М.: ВИНТИ, 1991, с. 71-83.
- Зализняк 1992** — Зализняк Анна А. Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. München, 1992. 201 S.
- Зализняк, Левонтина (в печати)** — Зализняк Анна А., Левонтина И.Б. Отражение русского национального характера в лексике русского языка (размышления по поводу книги Анны Вежбицкой «Semantics, Culture and Cognition») || Russian Linguistics, v. 20.
- Иорданская 1970** — Иорданская Л.Н. Попытка лексикографического толкования русских слов со значением чувства. || Машинный перевод и прикладная лингвистика, вып. 13. М.: МГПИИЯ им. М. Тореца, 1970, с. 3-26.
- Кржижкова 1967** — Кржижкова Е.П. Адвербиальная детерминация со значением места и направления. || ВЯ, 1967, № 2, с. 32-48.
- Кронгауз 1993** — Семантика русского глагола и его словообразовательные возможности. || Russian Linguistics, vol. 17, 1993, p. 15-36.
- Кронгауз 1994** — Приставки и глаголы: грамматика сочетаемости. || Семантика и информатика, вып. 34. М.: ВИНТИ — Русские словари, 1994, с. 42-57.
- Кустова, Падучева 1994** — Кустова Г.И., Падучева Е.В. Словарь как лексическая база данных. || ВЯ, 1994, № 4, с. 96-106.
- Маслов 1975** — Маслов Ю.С. Русский глагольный вид в зарубежном языковедении последних лет. || Шелкин М.А. (отв. ред.). Вопросы русской аспектологии. Воронеж: Воронежский гос. пед. ин-т, 1975, с. 28-47.
- Мельчук 1974** — Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл»Текст». Часть 1. Семантика, синтаксис. М.: Наука, 1974. 314 с.
- Падучева 1974** — Падучева Е.В. О семантике синтаксиса. М.: Наука, 1974. 292 с.
- Падучева 1986** — Падучева Е.В. Семантика вида и точка отсчета. || «Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка», т. 45, 1986, № 5, с. 413-424.
- Падучева 1988** — Падучева Е.В. Выводима ли способность подчинять косвенный вопрос из семантики слова? || Арутюнова Н.Д. (отв. ред.). Логический анализ естественного языка. Знание и мнение. М.: Наука, 1988, с. 33-46.

¹²Сост. С. А. Крылов.

- Падучева 1993** — Падучева Е.В. Таксономические категории глаголов *imperfectiva tantum* в русском языке. || НТИ, сер. 2, 1993, № 2, с. 17-29.
- Падучева 1994** — Падучева Е.В. Таксономические категории глагола и семантика видовой противопоставления. || Семиотика и информатика, вып. 34, М.: ВИНТИ — Русские словари, 1994, с. 7-31.
- Падучева 1995** — Падучева Е.В. Видовая парность и количественный предел: почему нельзя сказать *Я пью воды? || Русистика сегодня, № 3, 1995, с. 38-50.
- Падучева, Зализняк 1982** — Падучева Е.В., Зализняк Анна А. Семантические явления в высказываниях от 1-го лица. || *Finitis duodecim lustris*. Сборник статей к 60-летию Ю.М. Лотмана. Таллин, 1982, с.142-149.
- Поливанова 1983** — Поливанова А.К. Выбор числовых форм существительных в русском языке. || Проблемы структурной лингвистики 1981. М.: Наука, 1983, с. 130-145.
- Рахилина 94** — Рахилина Е.В. Семантика размера. || Семиотика и информатика, вып. 34. М.: ВИНТИ — Русские словари, 1994, с. 58-81.
- Урысон 1994** — Урысон Е.В. Душа, сердце и ум в языковой картине мира. || Путь. Международный философский журнал, № 6, 1994, с. 219-231.
- Успенский 1979** — Успенский В.А. О вещных коннотациях абстрактных существительных. || Семиотика и информатика, вып. 11. М.: ВИНТИ, 1979, с. 142-148.
- Филипенко 1994** — Филипенко М.В. Логико-семантическое представление наречий образа действия. АКД. М., 1994, 24 с.
- Фрумкина 1995** — Фрумкина Р.М. Прагматика: новый взгляд. || Семиотика и информатика, вып. 34, М.: ВИНТИ — Русские словари, 1994, с. 98-113.
- Шмелев 1983** — Шмелев А.Д. О референции агентивных существительных. || Филологические науки, 1983, № 4.
- Шмелев 1990** — Шмелев А.Д. Парадоксы идентификации. || Арутюнова Н.Д. (отв. ред.). Логический анализ языка. Тождество и подобие. Сравнение и идентификация. М., 1990, с. 33-51.
- Шмелева 1983** — Шмелева Е.Я. Некоторые семантические особенности существительных со значением действующего лица || Русский язык в школе, 1983, № 3.
- Austin 1953** — Austin W. Other minds. || Flew A. (ed.). *Logic and Language* (second series). Oxford: Basil Blackwell, 1953, p. 123-158.
- Dowty 1979** — Dowty D. *Word meaning and Montague Grammar*. Reidel, Dordrecht, 1979.
- Goddard, Wierzbicka 1994** — Goddard C., Wierzbicka A. *Introducing lexical primitives*. || Goddard C., Wierzbicka A., eds. *Semantic and lexical universals: theory and empirical findings*. Amsterdam: John Benjamins, 1994.
- Jakobson 1959** — Jakobson R. Boas' view of grammatical meaning. || *The anthropology of Franz Boas*. Menasha, 1959 (= *American Anthropological Association. Memoir LXXX*) = idem. || Jakobson R. *Selected writings*, vol. 2. *Word and language*. The Hague — P.: Mouton, 1971, p. 489-496. Рус. пер.: Якобсон Р. Взгляды Боаса на грамматическое значение. || Якобсон Р. *Избранные работы*. М.: Прогресс, 1985, с. 231-238.
- Jakobson 1966** — Jakobson R. On linguistic aspects of translation. || R.A. Brower (ed.). *On translation*. N.Y.: Oxford UP, 1966. Рус. пер.: Якобсон Р.О. О лингвистических аспектах перевода. || Якобсон Р.О. *Избранные работы*. М.: Прогресс, 1985, с. 361-368.
- Katz, Fodor 1964** — Katz J.J., Fodor J.A. The structure of a semantic theory. || *Language*, vol. 39, 1963, № 1.
- Leech 1983** — Leech G. *Principles of pragmatics*. London: Longman, 1983. 249 pp.
- Mehlig 1981** — Mehlig H.-R. Satzsemantik und Aspektsemantik im Russischen (Zur Verbklassifikation von Zeno Vendler). || *Slavistische Beiträge*,

- Bd. 147. München: Otto Sagner, 1981, S. 95-151. Рус. пер.: Мелиг Х.-Р., Семантика предложения и семантика вида в русском языке (к классификации глаголов Зино Вендлера). || Булыгина Т.В., Кибрик А.Е. (отв. ред.). *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. 15. *Современная зарубежная русистика*. М.: Прогресс, 1985, с. 227-249.
- Mel'čuk 1979** — Mel'čuk I.A. «Countability» vs. «Non-countability» and Lexicographic Description of Nouns in Russian. || *CLS*, v. 15. Chi., 1979, p. 220-227.
- Miller 1970** — Miller J. Stative verbs in Russian. || *Foundations of language*. *International Journal of Language and Philosophy*, 1970, v. 6, № 4.
- Vendler 1976** — Vendler Z. *Illocutionary suicide*. || *Issues in the philosophy of language*. Ed. A.F. McKay, D.D. Merrill. New Haven; London: Yale univ. press, 1976, p. 135-146. Рус. пер.: Вендлер З. Иллокутивное самоубийство. || Падучева Е.В. (отв. ред.). *Новое в зарубежной лингвистике*, вып. 16. *Лингвистическая прагматика*. М.: Прогресс, 1985, с. 238-250.
- Weinreich 1963/1970** — Weinreich U. On the semantic structure of language. || Greenberg, J.H. (ed.). *Universals of language*. Cambridge (Mass.), 1963, p. 114-171, Рус. пер.: Вейнрейх У. О семантической структуре языка. || Успенский В.А. (отв. ред.). *Новое в зарубежной лингвистике*, вып. 5. *Лингвистические универсалии*. М., 1970, с. 163-249.
- Wierzbicka 1967** — Wierzbicka A. On the semantics of the verbal aspects in Polish. || *To honour Roman Jakobson*, The Hague — Paris, 1967, p. 2231-2249.
- Wierzbicka 1969** — Wierzbicka A. *Dociekania semantyczne*. Wrocław etc.: Ossolineum, 1969.
- Wierzbicka 1972** — Wierzbicka A. *Semantic primitives*. Frankfurt: Athenäum, 1972. 240 pp.
- Wierzbicka 1980a** — Wierzbicka A. The case for surface case. *Ann Arbor: Caroma*, 1980. 182 pp.
- Wierzbicka 1980b** — Wierzbicka A. *Lingua mentalis*. Sydney etc.: Acad. press, 1980. 367 p.
- Wierzbicka 1985** — Wierzbicka A. *Lexicography and conceptual analysis*. Ann Arbor: Karoma, 368 pp.
- Wierzbicka 1987a** — Wierzbicka A. *English speech act verbs: A semantic dictionary*. Sydney: Academic Press, 397 pp.
- Wierzbicka 1987b** — Wierzbicka A. *Boys will be boys*. || *Language*, 1987, vol. 63, № 1.
- Wierzbicka 1988** — Wierzbicka A. *The semantics of grammar*. Amsterdam: John Benjamins. 550 p.
- Wierzbicka 1991** — Wierzbicka A. *Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction*. Berlin, N.Y.: Mouton de Gruyter. 1991.
- Wierzbicka 1992** — Wierzbicka A. *Semantics, culture and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations*. New York: Oxford University Press, 1992. 487 pp.
- Wierzbicka 1994** — Wierzbicka A. *Semantic Primitives Across Languages*. A Critical Review. || Goddard C., Wierzbicka A., eds. *Semantic and lexical universals: theory and empirical findings*. Amsterdam: John Benjamins. 1994., 1994.
- Wierzbicka (в печати)** — Wierzbicka A. *Semantics, Primes and Universals*. Oxford: Oxford University Press (forthcoming).

ПЕРЕВОДЫ РАБОТ А. ВЕЖБИЦКОЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

- Вежбицка 1968** — Вежбицка А. Наброски к русско-семантическому словарю. || НТИ, сер. 2, 1968, № 12, с. 23-28.
- Wierzbicka 1970/1982** — Wierzbicka A. *Descriptions or quotations?* || «Sign. Language, Culture», t. 1. The Hague—Paris, 1970, p. 627-644. Рус. пер.:

- А. Вежицкая. Дескрипция или цитация? || Новое в зарубежной лингвистике, вып. 13. Лингвистика и логика (проблемы референции). М.: Радуга, 1982, с. 237-262.
- Wierzbicka 1971/1978** — Wierzbicka A. *Metatekst w tekście*. || O spójności tekstu. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1971, s. 105-121. Рус. пер.: Вежицкая А. *Метатекст в тексте*. || Новое в зарубежной лингвистике, вып. 8. Лингвистика текста. М.: Прогресс, 1978, с. 402-421.
- Wierzbicka 1972/1983** — Wierzbicka A. *Introduction*. || Wierzbicka A. *Semantic primitives*. Frankfurt: Athenäum, 1972, p. 1-33. Рус. пер.: Вежицкая А. Из книги «Семантические примитивы». Введение. || Семантика. М.: Радуга, 1983, с. 225-252.
- Wierzbicka 1972/1985** — Wierzbicka A. *Acts of speech*. || Wierzbicka A. *Semantic primitives*. Frankfurt: Athenäum, 1972, p. 122-146. Рус. пер.: Вежицкая А. *Речевые акты*. || Новое в зарубежной лингвистике, вып. 16. Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс, 1985, с. 251-275.
- Wierzbicka 1980/1986** — Wierzbicka A. *Chapter 4. Perception: The semantics of abstract vocabulary*. || Wierzbicka A. *Lingua Mentalis*. Sydney, 1980, p. 99-157. Рус. пер.: Вежицкая А. *Восприятие: семантика абстрактного словаря*. || Новое в зарубежной лингвистике, вып. 18. Логический анализ естественного языка. М.: Прогресс, 1986, с. 336-369.
- Вежицкая 1990**. Вежицкая А. *Культурно-обусловленные сценарии и их когнитивный статус*. || Фрумкина Р.М. (отв. ред.). *Язык и структура знаний*. М.: ИЯ АН СССР, 1990, с. 63-85.
- Вежицкая 1992** — Вежицкая А. *Семантика грамматики*. М.: ИНИОН, 1992. 31 с.
- Вежицкая 1994** — Вежицкая А. *Судьба и предопределение* (Предисловие Р.И. Розиной). || Путь. Международный философский журнал, 1994, № 5, с. 82-150.

РУССКИЙ ЯЗЫК*

The Russian language. In: Wierzbicka, Anna. 1992. Semantics, culture and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations. New York: Oxford University Press. Ch. 12. P.395-441.

Культуры в ряде отношений подобны человеческим существам. Они составляют единство, упорно стремящееся продлить свое существование; взаимодействие с окружающей средой является для них жизненно необходимым... Корни всех этих свойств культуры надо искать в коллективной личности, которая, поколение за поколением, отображается в культуре и прежде всего в системе идей и оценок.

Л. Дюмон (Dumont 1986: 587)

1. Культурные темы в русской культуре и языке

Мне уже как-то (Wierzbicka 1990) доводилось писать о том, что в наиболее полной мере особенности русского национального характера раскрываются и отражаются в трех уникальных понятиях русской культуры. Я имею в виду такие понятия, как *душа*, *судьба* и *тоска*, которые постоянно возникают в повседневном речевом общении и к которым неоднократно возвращается русская литература (как «высокая», так и народная). Они были довольно подробно проанализированы мною в других работах, и я не собираюсь ни повторять, ни подводить итог тому, что о них говорилось. Здесь я хотела бы остановиться лишь на нескольких очень важных семантических характеристиках, образующих смысловую универсум русского языка. Речь пойдет о тех семантических свойствах, которые становятся в особенности заметны при анализе слов *душа*, *судьба* и *тоска*; впрочем, проявляются они и в огромном числе других случаев. Я имею в виду следующие связанные друг с другом признаки:

(1) эмоциональность — ярко выраженный акцент на чувствах и на их свободном изъяснении, высокий эмоцио-

* From *Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations* by Anna Wierzbicka. Copyright © 1992 Anna Wierzbicka. Reprinted by permission of Oxford University Press, Inc.

нальный накал русской речи, богатство языковых средств для выражения эмоций и эмоциональных оттенков;

(2) «иррациональность» (или «нерациональность») — в противоположность так называемому научному мнению, которое официально распространялось советским режимом; подчеркивание ограниченности логического мышления, человеческого знания и понимания, непостижимости и непредсказуемости жизни;

(3) неагентивность — ощущение того, что людям неподвластна их собственная жизнь, что их способность контролировать жизненные события ограничена; склонность русского человека к фатализму, смиренности и покорности; недостаточная выделенность индивида как автономного агента, как лица, стремящегося к своей цели и пытающегося ее достичь, как контролера событий;

(4) любовь к морали — абсолютизация моральных изменений человеческой жизни, акцент на борьбе добра и зла (и в других и в себе), любовь к крайним и категоричным моральным суждениям.

Все эти признаки отчетливо выступают как в русском самосознании — в том виде, в каком оно представлено в русской литературе и русской философской мысли, — так и в записках людей, оценивающих русскую культуру извне, с позиции внешнего наблюдателя, — ученых, путешественников и др.

1.1. Эмоциональность

Согласно проведенным в Гарварде исследованиям русского национального характера (Bauer, Inkeles, Kluckhohn 1956: 141), русские являются людьми «экспрессивными и эмоционально живыми», их отличает «общая экспансивность», «легкость в выражении чувств», «импульсивность».

Опираясь на эту и другие подобные работы, Клухон (Kluckhohn 1961:611) отмечает, что «результаты, полученные учеными с помощью различных психологических инструментов, демонстрируют... в определенном смысле замечательную согласованность. Например, русские по сравнению с американцами и другими группами выделяются своим страстным желанием стать членами некоторого коллектива, их отличает чувство коллективизма, принадлежности к определенному сообществу, а также теплота и экспрессивная эмоциональность человеческих взаимоотношений». Клухон приводит также следующее суждение, с которым, как он считает, «согласятся многие»: «Русские по природе своей добросердечны,

но чрезвычайно зависимы от устоявшихся социальных привязанностей; они лабильны, нерациональны, сильны, но вместе с тем недисциплинированы и испытывают потребность подчиняться некоему авторитету». Этот вывод непосредственно подводит нас к следующему разделу.

1.2. Склонность к пассивности и к фатализму

В своей работе о русском национальном характере (1952:74) Федотов противопоставляет «активизм Запада» «фатализму Востока» и видит в последнем один из ключей к «русской душе».

По Достоевскому основу величия России составляет смирение, между тем как, по мнению Л. Толстого, русского человека лучше всего характеризует легенда о приглашении варягов. Их, как писал Толстой, на заре русской истории позвали к себе «жившие на территории России славянские племена, чтобы те правили ими и установили порядок» (замечание переводчика к английскому изданию Толстого, Tolstoy 1928-37, т. 10:429): «Придите править нами! Мы с радостью обещаем вам полное послушание. Мы готовы принять на себя все заботы, унижения и жертвы, но при этом не будем выносить приговоры и принимать решения!». Русский философ 19-го века В. Соловьев противопоставлял Запад, в котором он видел источник «силы и независимости», Востоку как цитадели «подчиненности и покорности».

Обратим внимание также на мысль, высказанную недавно поэтом Е. Евтушенко (Evtušenko 1988:23), по поводу типично русского понятия *притерпелость*: «Не могу припомнить, когда мне впервые довелось услышать это глубоко русское, трагически всеобъемлющее слово *притерпелость*. Оно обозначает уважение к терпению. Есть стойкость и терпение, достойные всяческого уважения, — это стойкость женщины, занятых физическим трудом, это стойкость всех тех, кто умеет переносить трудности подлинно творческой работы, наконец, это мужественная стойкость людей, которые даже под пытками никогда не назовут имена своих товарищей. Но есть и другое, бесполезное и унижительное терпение». Как считает Евтушенко, именно это бессмысленное, унижающее достоинство человека терпение (иначе говоря, притерпелость) может повлечь за собой конец перестройки.

Некоторые ученые искали корни русской «покорности» не только в истории, но и в практике воспитания детей, в частности, в процессе пеленания. Эриксон (Erikson 1963:388) задает вопрос: «Является ли душа русского человека спелену-

той?». И отвечает на него: «Ряд ведущих специалистов — исследователей русского характера... определенно так думает».

В поддержку своей точки зрения Эрикссон, помимо прочего, цитирует следующее высказывание о Л. Толстом М. Горького: «Великая душа Толстого, писателя, национального в самом истинном и полном смысле этого слова, вместила в себя все пороки русского народа, все раны и увечья, которые наш народ получил за годы тяжких испытаний в своей истории, выпавших на его долю; туманные проповеди писателя «неактивности», «непротивления злу», доктрина пассивизма — все это нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фатализмом и едва ли не химически враждебной Западу с его постоянным творческим трудом, с его активным и неукротимым сопротивлением злу жизни».

1.3. Антирационализм

Выше я уже упоминала о том, что Клуцхон описывал русских как «нерациональных», и приводила на сей счет цитату из его работы (1961:611). Русские мыслители нередко придерживались аналогичного мнения, говоря о своей глубокой неприязни к западному «рационализму» и к западной «тирании разума» (Ю. Самарин, процитированный в Walicki 1980:100). Согласно такой точке зрения, «западно-европейская мысль всегда была заражена неизлечимой болезнью рационализма.... Западное христианство также было заражено рационализмом» (Walicki 1980:103).

Характерное для Запада подчеркивание в человеке разумного начала обычно связывают с особым вниманием, которое Запад всегда уделял свободной воле и активной деятельности отдельного индивида. В то же время недоверие русских к логическому мышлению, человеческому знанию и «тирании разума» сопряжено, видимо, с тем значением, которое Восток придает ограничениям человеческой воли и власти. Так, например, В. Соловьев писал: «Проявив силу человеческого начала в свободном искусстве, Греция создала и свободную философию. Содержание главных философских идей здесь не ново: эти идеи были знакомы и Востоку. Но замысел — исследовать своим разумом начала всех вещей ради чисто теоретического интереса, и та форма свободного философствования, которую мы находим в диалогах Платона и сочинениях Аристотеля — это было чем-то новым, прямым выражением самостоятельности человеческого ума, какой на Востоке ни

до, ни после никогда не являлось. Та сверхчеловеческая сила, которой подчинялось восточное человечество, принимала многообразные формы. Восточный человек верил в бытие этой силы и подчинялся ей, но что это за сила — это было тайной и великим вопросом» (1966-70, т.4:27).

1.4. Любовь к моральным суждениям

Ученые, изучавшие русский национальный характер, постоянно подчеркивали стремление русских к «этической манере выражения» (Bauer, Inkeles, Kluckhohn 1956:142). Так же поступают и многие русские мыслители, которые противопоставляют моральную ориентацию русских рациональной ориентации западноевропейцев (ср. Walicki 1980:100-110).

Материал, представленный в работе Bauer, Inkeles, Kluckhohn (1956:136), показывает, что русские в этом отношении сильно отличаются от американцев. «Американцы выдвигают на передний план автономность и общественное одобрение, тогда как русские редко оставляют заметки о своих личных достижениях. От своего окружения русские ждут и часто даже требуют моральных оценок (лояльности, уважения, искренности). Американцев же больше интересует, нравятся ли они другим или нет.... Американцы испытывают гораздо большее беспокойство, претерпевая неудачу в каком-либо предприятии, отклоняясь от общепринятых этикетных норм или сознавая свою неспособность нести определенные социальные обязанности. Русские более глубоко стыдятся нечестных поступков, предательства или нелояльности».

Любовь к моральным суждениям безусловно является одной из самых характерных черт русской литературы, где явно просматривается «исконно русская приверженность к гуманизму» (Sarip 1924, цитируется по Kluckhohn 1961:608). «На страницах произведений Толстого, Достоевского, Тургенева, Горького и Чехова страсти героев бушуют в ужасные минуты игры с преступлением, в моменты депрессий и апатий, в благородном восторге и в идеальных мечтах».

Далее в настоящей главе я хочу показать, что все эти особенности русской культуры и все эти свойства русской души отражаются в русском языке, или иначе, что языковой материал, относящийся к данной теме, полностью согласуется со свидетельствами из других источников и с интуицией как самих русских, так и изучающих русскую жизнь.

2. Эмоциональность

2.1. «Активные» эмоции

2.1.1. Английский язык

Рассмотрим следующую пару английских предложений:

- а. Mary is worrying (about something).
'Мэри беспокоится (о чем-то)'.
б. Mary is worried (about something).
'Мэри обеспокоена чем-то'.

Предложение (а) предполагает некоторое ментальное действие (Мэри 'что-то делает в уме'); предложение (б) обозначает состояние (Мэри нечто испытывает; она 'ничего в уме не делает').

В английском языке эмоции чаще передаются прилагательными или псевдопричастиями, чем глаголами: Mary was sad, pleased, afraid, angry, happy, disgusted, glad, etc. 'Мэри была опечалена, довольна, испугана, сердита, счастлива, возмущена, рада и т. д.' Подобного рода прилагательные и псевдопричастия обозначают пассивные эмоциональные состояния, а не активные эмоции, которым люди «предают» более или менее по собственной воле. (Я оставляю здесь в стороне все различия между прилагательными и псевдопричастиями, сколь бы реальны они ни были.) Напротив, глаголы эмоций подразумевают более активную роль субъекта.

Поскольку все эмоции имеют когнитивный базис (т. е. вызваны определенными мыслями или связаны с ними), их разные концептуализации, отраженные в приведенных двух схемах, могут соотноситься с разными концептуализациями мысли.

З. Вендлер (1967:110-11) выделил следующие два типа «думания»: «Начнем со слова *думать*. Очевидно, что это слово употребляется в двух основных значениях, представленных предложениями *Он думает о Джоунзе* и *Он думает, что Джоунз мошенник*. Первое «думание» — процесс, второе — состояние. Первое предложение может быть использовано для описания действия некоторого лица, второе — нет. Сказанное станет совсем очевидным, если обратить внимание на то, что о крепко спящем человеке мы можем высказать истинное суждение *Он думает, что Джоунз мошенник*, но не можем при этом сказать *Он думает сейчас о Джоунзе*. Этот факт свидетельствует о том, что думание о чем-то или о ком-

то является процессом, длящимся во времени, что оно представляет собой деятельность, которую можно осуществлять сознательно, однако на другой вид думания, на думание, что нечто имеет место, это никоим образом не распространяется. Если истинно суждение, что некто думал о Джоунзе в течение получаса, то также должно быть истинно и то, что он думал о Джоунзе в каждый отрезок этого периода. Однако, даже если верно, что кто-то в течение целого года думал, что Джоунз мошенник, то отсюда не обязательно следует, что этот кто-то думал о Джоунзе, мошеннике, в каждый момент этого времени».

Хотя отмеченные Вендлером две разновидности думания, возможно, и не соответствуют в точности различию в концептуализациях эмоций, представленных такими глаголами, как, например, *беспокоиться*, с одной стороны, и прилагательными или псевдопричастиями, такими, как *печальный*, *довольный*, *испуганный*, *сердитый*, *счастливый* или *возмущенный*, с другой, связь между ними очевидна. Как нельзя, не солгав, сказать о спящем человеке *He is thinking about Jones* 'Он думает <сейчас> о Джоунзе', так нельзя о нем сказать и *He is worrying about Jones* 'Он беспокоится <сейчас> о Джоунзе'. Применимость предложений с эмоциональными прилагательными или псевдопричастиями по отношению к людям, которые в данный момент спят, зависит от вида эмоции. Но в любом случае, глядя на спящего, мы скорее произнесем *He is worried* 'Он <чем-то> обеспокоен', нежели *He is worrying* 'Он <сейчас> беспокоится'.

З. Вендлер рассуждает о двух видах «думания» в терминах процессов и состояний. Очевидно, что противопоставление процессов и состояний еще в большей степени приложимо к двум концептуализациям эмоций: считает кто-либо «мысль, что Джоунз мошенник» состоянием или не считает, он не станет, по всей видимости, колебаться при отнесении в разряд состояний таких слов, как *worried* 'обеспокоен' или *happy* 'счастлив'. Различие между процессуальным значением глаголов типа *worry* и стативным характером прилагательных и псевдопричастий типа *worried* или *happy* отражается в способности первых, но не последних выступать в форме континуатива, продолженного времени; ср. а. *She was worrying / rejoicing / grieving* 'Она была беспокоилась, радовалась, огорчалась' и б. **She was being sad / happy / worried* (ср. *She was being difficult / noisy* — букв. 'Ей было трудно / шумно').

Человек, который в данный момент беспокоится о чем-то, сосредоточенно об этом думает и потому испытывает чувства, сопряженные с его мыслями. Можно, следовательно, сказать, что континуатив *worrying* 'беспокоящийся' предпо-

лагают определенную продолжительность эмоции и внутреннюю активность субъекта, в то время как состояние being worried 'обеспокоенный' выражает, напротив, пассивность и обусловлено внешними причинами и/или причинами, возникновение которых отнесено к прошлому.

В качестве первого приближения предлагаю следующие толкования слов:

- а. X worried 'X беспокоился' (rejoiced 'радовался', grieved 'горе-вал') =
 X думал о чем-то
 X делал это некоторое время
 поэтому X чувствовал что-то
 X чувствовал это, когда думал об этом
- б. X was worried (X был обеспокоен) =
 X думал что-то о чем-то
 поэтому X чувствовал что-то

Нет необходимости говорить о том, что я вовсе не считаю, что эти семантические формулы являются исчерпывающими описаниями значений соответствующих языковых единиц.

И глагольная и адъективная (причастная) схемы толкований — обе предполагают, что чувство порождено мыслью, однако глагольная схема говорит также о том, что думание длится какое-то время, что в течение этого периода времени некая конкретная мысль постоянно возникает в уме X-а и что данное чувство возникает с этой мыслью одновременно. В свою очередь, адъективная схема допускает возможность того, чтобы описываемое чувство следовало за мыслью или время от времени возникало снова.

Тем самым, я полагаю, что глагольная схема, по крайней мере, имплицитно, является «волитивной» (связанной с волей), поскольку согласно этой схеме чувство предстает как сопутствующее некоторой мысли, а мысль — как неоднократно возникающая в определенный период времени: человек, который позволяет, чтобы одна и та же мысль каждый раз возвращалась к нему в течение некоторого периода времени, может рассматриваться как лицо, сознательно и добровольно отдающееся мысли и несущее ответственность за вызванное этой мыслью чувство (ср. Амека 1990).

Имеется, по-видимому, еще один признак, по которому различаются глагольная и адъективная модели. Речь идет, скажем не вполне точно, о противопоставлении чувства и внешнего проявления чувства. Обычно эмоции, обозначаемые эмоциональными глаголами, в отличие от тех, что

передаются эмоциональными прилагательными, проявляются в действиях, причем обычно таких, которые доступны внешнему наблюдению. Например, человек который радуется, скорее всего, производит какие-то действия, порожденные этим чувством, — танцует, поет, смеется и пр. Поэтому можно было бы думать, что приведенное выше толкование эмоциональных глаголов необходимо дополнить еще одним компонентом:

(X чувствовал что-то)
 поэтому X делал что-то

Представляется, однако, что динамический характер описываемых глаголов следует передать чуть более осторожно:

(X чувствовал что-то)
 поэтому X хотел сделать что-то

Если X хотел что-то сделать по причине возникшего у него чувства (петь, смеяться, кричать, разговаривать и т. д.), то отсюда вроде бы следует, что X на самом деле что-то такое сделал. Но этот вывод, однако, останется не более, чем возможностью; действия X не подаются здесь как безусловный, имеющий место факт.

Любопытно, что в английском языке подобного рода переходных глаголов очень мало: worry 'беспокоиться, волноваться', grieve 'горевать, огорчаться', rejoice 'радоваться', pine 'изнывать, томиться' и еще несколько. По-видимому, в современном английском языке постепенно исчезает целый семантический класс глаголов (rejoice, например, является в определенной степени устаревшим и стилистически возвышенным, pine обычно употребляется иронически и т. д.).

Думаю, что это не «случайно», а отражает важную особенность англо-саксонской культуры — культуры, которая обычно смотрит на поведение, без особого одобрения оцениваемое как «эмоциональное», с подозрением и смущением. В этой связи можно обратить внимание на то, что английские переходные эмоциональные глаголы, как правило, выражают негативные неодобрительные оттенки, ср. sulk 'дуться; быть мрачным, сердитым', fret 'раздражаться; беспокоиться, волноваться', fume 'кипеть <от чего-либо>; раздражаться', rave 'неистовствовать, бесноваться, быть в исступлении'. Англичанам не свойственно «отдаваться» чувствам. Сама культура побуждает их be glad, а не rejoice, be sad, но не pine и be angry скорее, чем fume или rage и т. д.

2.1.2. Русский язык

В отличие от английского языка, русский исключительно богат «активными» эмоциональными глаголами. Приведу здесь лишь сравнительно небольшую выборку наиболее типичных глаголов, большинство из которых совершенно не переводимо на английский язык: *радоваться, тосковать, скучать, грустить, волноваться, беспокоиться, огорчаться, хандрить, унывать, гордиться, ужасаться, стыдиться, любоваться, восхищаться, ликовать, злиться, гневаться, тревожиться, возмущаться, негодовать, томиться, нервничать* и т. д.

Я не утверждаю, что все эти глаголы имеют один и тот же тип семантической структуры или что все они в точности соответствуют (по типу семантической структуры) таким английским глаголам, как *worry* или *rejoice*. Тем не менее я приведу ряд фактов, указывающих на их активный, процессуальный и квазиволитивный характер.

Во-первых, многие (хотя и не все) русские глаголы эмоций являются рефлексивными, образованными формально с помощью суффикса *-ся*. Это усиливает впечатление, будто соответствующие эмоции возникли не под действием внешних факторов, а как бы сами по себе.

Во-вторых, многие русские эмоциональные глаголы — в отличие от прилагательных (и наречий, о которых речь пойдет ниже) — способны, как и глаголы мысли, подчинять себе существительное с предлогом *о* (*об*, *обо*). Этот факт служит аргументом в пользу того, что эмоциональные глаголы связаны с чувством через продолжительный и протекающий одновременно с эмоциональным мыслительный процесс. Вот несколько примеров:

Душа грустит о небесах (Есенин).
Не грусти так шибко обо мне (Есенин).
 **Я грустен о тебе*.
 **Мне грустно о тебе*.
Беспокоюсь о тебе (Толстой).
Не тревожься обо мне (Толстой).
Обо мне не тужи (Толстой).
Унываю о том... (Толстой).

В-третьих, активный характер русских глаголов эмоций проявляется в особенностях их употребления — они часто выступают в предложении вместе с глаголами действий, что видно из следующих примеров, взятых из дневников Л. Толстого:

Вчера нагрешил, раздражился о сочинениях — печатании их. Мне не гордиться надо и прошедшим, да и настоящим, а смириться, стыдиться, спрятаться — просить прощение у людей.
Внутренняя работа идет, и потому не только не роптать, но радоваться надо.

В-четвертых, активность русских эмоциональных глаголов выражается, помимо прочего, в том, что многие из них (в форме совершенного вида) могут вводить в текст прямую речь. (Ср. Iordanskaja, Mel'čuk 1981). Например:

«Маша — здесь?» — удивился Иван
«Иван — здесь!» — обрадовалась Маша.

В английском языке тоже есть глаголы, которые могут использоваться для интерпретации речи человека в виде одной из форм проявления чувств. К ним относятся, например, *enthuse* 'прийти в восторг', *exult* 'ликовать, торжествовать', *moan* 'стонать', *thunder* 'гремять, грохотать' или *fume* 'кипеть; волноваться, раздражаться'.

«No prince has ever known the power that I have!» Nero exulted!
 «Ни у одного правителя не было такой власти, какая есть у меня!» — ликовал Нерон' (Ruffin 1985:44; ср. Wierzbicka 1987: 251).

Как правило, однако, такие глаголы имеют чуть негативные или иронические коннотации и в равной мере подчеркивают эмоцию и манеру речи. Русские же глаголы чувств типа *удивляться* или *обрадоваться* используются как «чисто» речевые, а не как глаголы способа ведения речи (*manner-of-speech verbs*). В этом я вижу еще одно проявление упомянутого выше культурного различия: англо-саксонской культуре свойственно неодобрительное отношение к ничем не сдерживаемому словесному потоку чувств, между тем как русская культура относит вербальное выражение эмоций к одной из основных функций человеческой речи.

Следует, наконец, добавить, что представление о том, что русские активно и вполне сознательно «отдаются во власть» стихии чувств, нередко находит эксплицитное подтверждение в самом языке, что ясно видно из следующих примеров:

Часто отдается унынию, негодованию о том, что делается в мире (Толстой).
Не унынию должны мы предаваться при всякой внезапной утрате... (Гоголь).
Не отдаваться чувству досады... (Толстой).

Носители английского языка обычно не говорят о своей «охваченности» тем или иным чувством (не в том смысле, что они пассивно ему предаются, а в том, чтобы активно купаться в его волнах). И сама идея активности и ее языковое воплощение, видимо, абсолютно несвойственны и даже чужды англо-саксонской культуре. Маргинальность глаголов чувств в английском является отражением описанного ранее культурного различия.

Антропологи часто говорят о «западных» языках вообще и английском в частности как о крайне сосредоточенных на эмоциях и как об исключительно богатых терминами, выражающими эмоции (по их мнению, это является результатом западного индивидуализма и склонности к интроспекции; см., например, Howell 1981; Neelas 1984; Lutz 1988). Поэтому, сравнивая английский язык с русским, особенно интересно отметить, что именно русский здесь выступает как язык, уделяющий эмоциям гораздо большее внимание и имеющий значительно более богатый репертуар лексических и грамматических выражений для их разграничения.

2.2. Неконтролируемость чувств

Как мы уже видели, русский язык обладает большим запасом средств, позволяющих носителям говорить о своих чувствах как об активных и будто бы вполне осознанных. Ниже я покажу, что русский язык располагает также богатым арсеналом средств, дающих людям возможность говорить о своих эмоциях как о независимых от их воли и ими не контролируемых.

Говоря о людях, можно при этом придерживаться двух разных ориентаций: можно думать о них как об агентах, или «деятелях», и можно — как о пассивных экспериенцерах. В русском, в отличие от многих других европейских языков, обе ориентации играют одинаково важную роль. Это, в частности, означает, что пассивно-экспериенциальный способ в русском языке имеет более широкую сферу применимости по сравнению с другими славянскими языками, еще более, нежели в немецком или французском, и значительно более широкую, чем в английском.

При экспериенциальном способе представления лица, о котором говорится в предложении, как правило, выступает в грамматической форме дательного падежа, а предикат обычно имеет «безличную» форму среднего рода. Одним из основных семантических компонентов, связанных с таким

способом представления, является отсутствие контроля: 'не потому, что X это хочет'. (См. раздел 3).

Безличная форма глагола и дательный падеж имени в предложениях, где идет речь о человеческих чувствах, тоже выражают отсутствие контроля. В русском языке есть целая категория эмоциональных слов (особого рода наречия и наречные выражения), которые могут употребляться только в синтаксических конструкциях с этими формами и которые обозначают, главным образом, пассивные неволевые эмоции. Нередко такие наречные конструкции морфологически связаны с глаголами «активных» эмоций, например:

- а. Он завидовал.
- б. Ему было завидно.

Аналогично:

- а. Он мучился (скучал, стыдился, грустил, жалел).
- б. Ему было мучительно (скучно, стыдно, грустно, жалко).

Активная глагольная схема, как мы видели, предполагает, что причиной появления у данного лица некоторого чувства является напряженное обдумывание им каких-то мыслей в течение определенного отрезка времени. Дативная (наречная) схема говорит о том, что данное чувство не находится под контролем экспериенцера. Все это можно отразить в толковании таким образом:

- X думал что-то о чем-то
- по этой причине X чувствовал что-то
- X не мог не чувствовать это

Неволевый, неосознанный характер «дативных» эмоций ясно виден в следующих предложениях:

- И не совестно это было ему, ему было завидно (Толстой).*
- Совестно мне очень перед тобой, что тебе скверно, суетно, хлопотно, а мне так прекрасно; но утешаюсь тем, что это нужно для моего дела (Толстой).*

Неволевый характер чувства, передаваемый дативной конструкцией, между тем не означает, что само чувство не может быть вызвано сознательно. Можно, например, сказать:

- Как вы делаете, чтобы вам не было скучно? (Толстой).*
- Как вы делаете, чтобы вам было весело?*

В подобного рода предложениях вопрос, однако, относится к намеренному действию, «деланию» чего-либо, что может привести к возникновению «неодолимого чувства» или, наоборот, воспрепятствовать его возникновению. Когда же чувство уже присутствует, оно (будучи выражено дативной конструкцией) рассматривается как неволевое.

Вместе с тем «адвербиалы эмоций» — это лишь один частный случай языкового выражения категории эмоций, категории, гораздо большей по объему, чем любое наперед заданное множество эмоциональных языковых единиц. Каждое наречие, которое может быть охарактеризовано как оценочное («хорошее» или «плохое»), может употребляться в дативно-безличной конструкции для обозначения неволевого чувства или, еще шире, опыта. Само наречие при этом не обязано выражать чувство; это делает вся конструкция в целом. Например:

Ему было хорошо / прекрасно / холодно.

Английские эквиваленты для таких предложений удается подобрать далеко не всегда, поскольку в английском языке нет универсального механизма, который бы преобразовывал дескриптивные единицы в экспириенциальные. Например, предложение *Ему было трудно* означает, что лицо, о котором идет речь, будучи участником некоторой ситуации, испытывало определенные трудности и что переживаемое чувство им при этом не контролировалось. Между тем буквальный перевод этого предложения на английский язык практически невозможен.

В русском языке чувства людей, а также их жизненный опыт вообще обычно передаются именно таким, не переводимым точно на английский язык, образом. Ср.:

*Пастушонку Пете
Трудно жить на свете (Есенин).*

О личном опыте человека, — о его жизни — можно говорить, используя грамматические формы инфинитива, как в предыдущем примере, или рефлексива, как в следующем:

*Если бы корова
Понимала слово,
То жилось бы Пете
Лучше нет на свете. (Есенин).*

В контексте нашего рассуждения важно то, что обе модели, инфинитивная и рефлексивная, являются безличными и

изображают людей пассивно накапливающими жизненный опыт, экспириенцерами, не способными сознательно пользоваться накопленным опытом, ибо тот не находится под их контролем.

*Мне живется очень плохо, нас в одну комнату набито четыре человека... (Цветаева).
Ей очень тяжело живется... (Цветаева).*

В такого рода предложениях субъективный жизненный опыт человека изображен либо как плохой (тяжелый, трудный, мучительный и т. д.), либо — редко — как хороший. Внешние обстоятельства при этом могут быть упомянуты, но никогда не выступают в предложении в роли исчерпывающей мотивировки данной оценки. Акцент делается не на причинах и следствиях, а на субъективном чувстве. В этом отношении существует разница между номинативными (а. и б.) и дативными (в.) предложениями:

а. *Моя жизнь очень плохая (Цветаева)*
б. *Живу дурно (Толстой).*
в. *Мне живется очень плохо (Цветаева).*

В предложении а. жизненный опыт говорящего представлен как объективный, оценка дается с объективной точки зрения. Предложение б. может быть проинтерпретировано как относящееся к каким-то действиям (за которые несет ответственность некоторое лицо). Наконец, в предложении в. представлена чисто субъективная внутренняя точка зрения — субъект изображен не как активный контролер жизненных ситуаций (например, осмысления 'я живу аморально' или 'я веду распутный образ жизни' здесь совершенно исключены), а как пассивный экспириенцер. По всей видимости, русский язык всячески поддерживает и поощряет именно такую точку зрения.

2.3. Личные имена и отношения между людьми

Русские личные имена и их словообразовательные производные подробно обсуждаются в главе 7. Здесь же я бы хотела сделать лишь несколько важных замечаний общего характера.

Мне уже приходилось писать о том, что стиль преобладающих в данном обществе межличностных отношений находит свое отражение в употреблении имен. Исследование

различий между английским и русским языком в этом плане (вместе со сравнительным анализом английского слова *soul* и русского *душа*) приводит к обнаружению многих интересных расхождений между двумя культурами.

В недавно выпущенном на экран телевизионном фильме о советском шпионе полковнике Владимире Петрове, попросившем в 1954 году в Австралии политического убежища, к главному герою обычно обращаются *Володя* по-русски и *Vlad* по-английски. Эти слова вызывают разные представления о стоящих за ними людях и демонстрируют разные способы социального взаимодействия.

Обе языковые формы являются нормальными и немаркированными: так, по-русски к человеку, которого вы хорошо знаете, принято обращаться с помощью краткой формы имени с мягкой основой, оканчивающейся на *-а* (*Володя*, *Митя*, *Коля* и т. п.). В английском языке абсолютно нормальным признается обращение к хорошо знакомому человеку посредством усеченной до одного слога и оканчивающейся на согласный формой первого имени (*Tom*, *Tim*, *Rod*, *Ed* и т. п.). Очевидно, что русская форма *Влад* построена по той же модели, что *Tom* или *Rod*, и имеет ту же экспрессивную оценку: она выражает «мужественность» (большую, чем полное имя), несентиментальность, неформальность обращения, знакомство с обладателем имени. Я попыталась передать точное значение всех таких форм следующим образом:

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с мужчинами и мальчиками, которых знают хорошо

Немаркированная русская краткая форма имени *Володя* имеет совершенно другое значение. Начнем с того, что она не выражает большей мужественности, чем полное имя *Владимир*. По своему значению краткая форма *Володя* стоит в действительности ближе к женскому имени типа *Надя*, чем полное мужское имя *Владимир* к полному женскому имени *Надежда*. То, что формы, подобные *Володя*, имеют набор окончаний, тождественный окончаниям женских имен, можно рассматривать как иконическое отражение редуцированного противопоставления у этих имен по роду.

Далее, русские краткие формы типа *Володя* не имеют того «анти-детского» оттенка смысла, каковым обладают английские слова *Tom* или *Ed*. Хотя русские по отношению к детям очень часто используют уменьшительные формы имени (ср. *Володенька*, *Катенька* и т. п.), они с течением времени не переходят от форм типа *Володенька* или *Катенька* к формам *Володя* или *Катя*, как это обычно происходит в англо-

саксонском обществе, когда многих мальчиков постепенно перестают называть *Tommy* или *Eddie* и начинают звать *Tom*, *Ed*. Поскольку у русских не существует запретов, мешающих им выразить свою любовь к взрослому человеку, и поскольку мужчины у них в этом отношении не отличаются от женщин, ласкательные диминутивы, такие, как *Володенька* или *Катенька*, не ограничены применением к одним лишь детям, что отличает их от английских «диминутивов» типа *Tommy* или *Eddie*. В результате форма *Володенька*, хотя и очень теплая, не является исключительно детской (подобно формам *Timmy* и *Timmy*), а форма *Володя* вполне может быть использована по отношению к ребенку (хотя она и менее теплая).

Даже менее ласковая, чем *Володенька*, форма *Володя* сохраняет в себе известную степень теплоты, в то время как английские имена *Tom* или *Ed*, хотя и не формальные, совсем не «теплые» (в отличие от имен типа *Cindy* или *Debbie*); см. главу 7.

Я попыталась отразить все эти свойства форм типа *Володя* в следующей семантической формуле (ср. гл. 7, раздел 2.1.2):

я хочу говорить с тобой так, как люди говорят
с людьми, которых они знают хорошо
и по отношению к которым они испытывают какие-то хорошие
чувства, и с детьми

Еще одна проблема весьма общего характера, которая поднималась мною в главе об именах и на которой мне хотелось бы здесь остановиться в связи с обсуждаемыми вопросами, касается чрезвычайно широкой распространенности различных классов экспрессивных имен в русском языке. Как указывали Браун и Форд (Brown, Ford 1964: 238), «мера распространенности личных имен хорошо согласуется с известным семантико-психологическим законом. В языковых коллективах степень лексической дифференциации внутри некоторого семантического поля растет с ростом значимости данного поля для данного коллектива».

Применительно к русским именам и их экспрессивной деривации этот закон, видимо, означает, что в русской культурной традиции исключительно важную роль играет степень интимности личных отношений. Если, находясь с адресатом в определенных личных отношениях, говорящий называет ее *Катя*, *Катенька*, *Катюша*, *Катя*, *Катюшенька* и т. п. в строгом соответствии с силой испытываемого к ней чувства и состоянием отношений между ним и адреса-

том на момент речи (как понимает его говорящий), то это, по всей видимости, означает, что русские считают крайне важным передать все оттенки возникающих между людьми чувств и все перемены и колебания в отношениях между ними. Такой вывод, как кажется, вполне хорошо согласуется с другими данными, как языковыми (см., например, фразеологизмы со словом *душа*), так и социо-психологическими (см., например, работы Bauer, Inkeles, Kluckhohn 1956 или Kluckhohn 1961).

Степень и качество нежности, выражаемые русскими формами *Илюшечка* (в «Братьях Карамазовых» Достоевского) или *Надюшенька* (в романе «В круге первом» Солженицына), точно так же, как и грубое экспрессивное звучание формы *Митюха* (образованной из *Дмитрий*, *Митя* путем прибавления суффикса *-уха*) и ей подобных, просто не могут быть адекватно переданы по-английски.

В романе Л. Толстого «Анна Каренина» противопоставлены два типа людей — те, для которых важнее «брюхо», тем, для которых важнее душа, кто «живет для нее». Отношение автора и его героя к этим двум человеческим типам выражено в противопоставлении непочтительной, невежливой формы *Митюха* ласковой, вежливой форме *Капитоныч*, сокращенной форме отчества. Нравственный экстремизм такой категоризации имен, равно как и ее эмоциональная насыщенность, весьма типичны для русских, а та роль, которую играет экспрессивная деривация личных имен в соответствующем эпизоде романа, служит хорошей иллюстрацией высокой значимости экспрессивной деривации для русского языка и русской культуры в целом.

2.4. Уменьшительные прилагательные

Русский язык исключительно богат уменьшительными формами; кажется, что они встречаются в речи «на каждом шагу». Поэтому я могу здесь выбрать для анализа лишь один их класс. В виду того, что я уже в какой-то мере обсудила диминутивные существительные в главе об именах, остановлюсь здесь на употреблении уменьшительных форм прилагательных и ограничусь одной лишь группой прилагательных с суффиксом *-еньк*. Эта группа по причине своей высокой частотности и чрезвычайно широкой употребительности в речи занимает очень важное место в русском языке. Складывается даже впечатление, что без прилагательных на *-еньк* русская речь вообще была бы иной; ср. Jarintzov 1916: 138. И тем не менее точное экспрессивное значение этих слов описать

крайне сложно, как трудно определить и ту роль, которую они играют в русской речи.

Согласно работе Братус (Bratus 1969: 42-43), уменьшительные суффиксы, будучи присоединенными к прилагательным, придают им разнообразные экспрессивно-эмоциональные оттенки, начиная от «значения низкой степени качества», которое выражено в слове *хитроватый* (от *хитрый*), и кончая «выражением чувств любви, нежности, симпатии и удовольствия»: *родной* — *роденький*, *милый* — *миленький*, *чудный* — *чуденький*, а также «презрения, ненависти, пренебрежения и надменного отношения»: *плохой* — *плохонький*, *дешевый* — *дешевенький*, *поганый* — *поганенький* (в цитируемой книге приведенный отрывок дан в виде таблицы).

Оставим в стороне прилагательные с суффиксом *-оватый* (которые обычно вообще не рассматриваются как уменьшительные) и спросим себя, верно ли, что прилагательные с суффиксом *-енький* могут иметь столь разные экспрессивные значения в диапазоне от любви до ненависти? Если это и в самом деле так, то тогда вроде бы получается, что единственное инвариантное значение, которое можно приписать суффиксу *-еньк*, это значение неопределенной эмоции 'я чувствую что-то (думая об этом)'. А тогда можно считать, что выбор между положительной и отрицательной интерпретацией (например, между 'любовью' и 'ненавистью') частично задается базовой формой, как подсказывают приведенные выше примеры из работы Братус: *миленький* ('дорогой' + уменьшительность) — любовь, *плохонький* ('плохой' + уменьшительность) — ненависть.

В действительности, однако, столь схематичное и поверхностное объяснение языковых данных принять очень трудно, особенно учитывая тот факт, что чисто дескриптивные прилагательные, не являющиеся сами по себе ни 'хорошими', ни 'плохими', получают обычно интерпретацию 'хороших'. Возьмем, к примеру, следующее предложение:

Жениться можно на Ксане — такая она тверденькая и сдобненькая вместе: тверденькая в поведении, сдобненькая на вид (Солженицын).

В «твердости» девушки, казалось бы, нет ничего особенно привлекательного, однако уменьшительная форма *тверденькая* сразу вызывает представление о чем-то приятном и привлекательном.

Ощущение «приятности» и привлекательности выступает на передний план в тех предложениях, в которых определяемое существительное тоже имеет уменьшительный суффикс:

... трудолюбивые светленькие немочки... (Солженицын)

В переводе на английский, который не отражает семантический вклад диминутивов, это ощущение полностью исчезает:

...hard working blond Germans...(Solzhenitsyn 1968).

Впрочем, и без уменьшительного существительного сама уменьшительная форма прилагательного может передавать те же эмоциональные оттенки.

Больше того, форма *плохонький* ('плохой' + уменьшительность) также обычно выражает «хорошее чувство» (например, нежность, жалость или, по меньшей мере, терпимость), как в следующем отрывке о ребенке из одной поэмы Марины Цветаевой:

*Молоденький!
Да роденький!
Да плохонький какой!
В серебряном нагруднике,
и кольчики занятные,
и ничего, что худенький —
На личико приятенький.*

Признавая, что прилагательные с *-еньк* получают интерпретацию «привлекательные», можно, вроде бы, согласиться с русской Академической грамматикой (АН СССР 1960, т. I: 361), которая определяет данный суффикс как «усилительно-ласкательный». Такую характеристику, однако, тоже нельзя считать адекватной, причем сразу по нескольким причинам.

Во-первых, эффект «усиления» еще мог бы возникнуть у качественных прилагательных, но понять, каким образом он мог появиться у прилагательных относительных, таких, как *правый*, *левый* или *первый*, также сочетающихся с суффиксом *-еньк*, крайне затруднительно. Например:

Она раздернула халат, да он сам уже не держался, и, снова кажется плача или стона, оттянула свободный ворот сорочки — и оттуда выдвинулась ее обреченная правенькая (Солженицын).

В этом конкретном случае еще можно было бы говорить о том, что формой *правенькая* передается 'нежность', однако в других примерах из того же романа («Раковый корпус») никакой нежности в прилагательных с *-еньк* мы не видим:

Назвала она и состав крови, плохонький состав, и РОЕ повышенный (Солженицын).

Олег увидел Шулибина. Тот сидел на плохонькой узкодосочной скамье без спинки (Солженицын).

Но если в этих примерах уж точно нет никакой 'нежности', то нельзя ли, по крайней мере, утверждать, что в них во всех выражено просто какое-то никак не определенное 'хорошее чувство'? Кажется, что никакого такого чувства к объекту, по крайней мере, с обязательностью выражаемого прилагательным, тут передаваться не может. Ведь едва ли может возникнуть «хорошее чувство» к плохому составу крови или к плохой скамье, на которой кто-то сидит. И тем не менее я утверждаю, что некое свободно летящее 'хорошее чувство' здесь на самом деле выражено и обычно направлено к лицу, о котором идет речь в предложении. Так, фраза о «*плохой старой скамье*», скорее всего, говорит о том, что сидящий на ней человек вызывает у говорящего или рассказчика жалость, то есть рассматривается как лицо, которому говорящий или повествователь сожалеет или симпатизирует. Переводчик, переведя на английский слово *плохонький* как 'soggy-looking', очень точно уловил этот смысловой нюанс русского текста. При виде *плохонькой старой скамьи*, автора охватило какое-то смутное чувство жалости — скорее всего, не к скамье как таковой, а к реальному или воображаемому человеку, который должен на ней сидеть. Очевидно, что аналогичную интерпретацию можно предложить и для предложения, в котором идет речь о плохом составе крови (*плохой + Уменьш.< состав крови>*).

Для настойчивости в просьбах нужны: наивность, цинизм, бесстыдство... нужно... прикинуться дурачком, убогеньким, нищенским: «подайте, Христа ради!» (Цветаева).

Чувство жалости часто передается прилагательными с суффиксом *-еньк*. Вот еще один характерный пример:

Тот желтенький с обостренным носом несчастный, додедаемый раком легких... сидел в постели и часто дышал с подушки, со слышимым хрипом в груди (Солженицын).

Характерные для русской культуры чувства, такие, как, например, смешанное с теплотой сострадание или чувство жалости, часто эксплицитно выражаются в предложениях, в которых мы не найдем явного упоминания каких-либо бед или несчастий; при этом их английский перевод уже никаких таких смыслов не содержит, ср.:

В общем сапожник запивал. Вот шел он пьяненький...
(Солженицын).

It seemed the cobbler guzzled. He was walking along good and drunk (букв. 'drunk' + Уменьш.) one day...(Solzhenitsyn 1968).

Впрочем, в ряде других случаев обнаружить жалость в языковой форме диминутива нельзя:

Ну, что новенького? (Солженицын).

Вы бы что-нибудь веселенькое нам сообщили (Солженицын).

Итак, мы видим, что уменьшительные формы прилагательных на *-еньк* могут передавать очень широкий спектр чувств: восторг, очарование, привлекательность, жалость, интерес и др. Поэтому, чтобы объяснить столь широкий разброс допустимых интерпретаций, нам не остается ничего иного, как ввести в толкование прилагательного представление о неопределенном свободно плавающем 'хорошем чувстве', не обязательно направленном на человека или вещь. Соответствующий компонент в толковании может иметь следующий вид:

когда я думаю о X, я чувствую что-то хорошее

Возможно, конечно, что «хорошее чувство» выражается в предложении иронически, как в примере

Славенькая логика! А демократия? (Солженицын).

Однако ирония, безусловно, тоже предполагает и эксплуатирует нечто 'хорошее', которое, однако, получает прямо противоположную интерпретацию из-за действия иллюкутивной силы самой иронии.

Следует отметить, что в других славянских языках уменьшительные прилагательные употребляются реже, чем в русском. Так, польские соответствия английских прилагательных типа new 'новый', cheerful 'неунывающий, веселый' или yellow 'желтый' могут употребляться с диминутивным суффиксом только в референции к чему-то очаровательному, но не к жалостному или интересному. Например, поэт Адам Мицкевич мог сказать о молодых полячках, что они *wesolutkie jak mlode koteczki* 'жизнерадостные + Уменьш., как молодые котята' (и, следовательно, очаровательные), но польски нельзя сказать

**Co powiutkiego?* 'Что новенького?'

**Opowiedz nam coś wesolutkiego!* 'Почему бы тебе не рассказать нам что-нибудь веселенькое!'

Поскольку прилагательные с суффиксом *-еньк* очень часто встречаются в русской прозе и в русской бытовой речи и поскольку их сфера употребления необычайно широка, они в значительной мере определяют общую эмоциональную окраску и тональность русской речи. То, какое именно чувство передается, зависит каждый раз от контекста, но в целом эмоциональная температура текста весьма высокая — она гораздо выше, чем у английского текста, и выше, чем в других славянских языках.

3. Неконтролируемость

3.1. Инфинитивные конструкции

3.1.1 Инфинитивные конструкции с предикатами необходимости и возможности

Данные синтаксической типологии языков говорят о том, что существуют два разных подхода к жизни, которые в разных языках играют разную роль: можно рассматривать человеческую жизнь с точки зрения того, 'что делаю я', т.е. придерживаться агентивной ориентации, а можно подходить к жизни с позиции того, 'что случится со мной', следуя пациентивной (пассивной, связанной с пациенсом) ориентации. Агентивный подход является частным случаем каузативного (ср. Bally 1920) и означает акцентированное внимание к действию и к акту воли ('я делаю', 'я хочу'). При пациентивной ориентации, являющейся, в свою очередь, особым случаем феноменологической, акцент делается на 'бессилии' и пациентивности ('я ничего не могу <с>делать', 'разные вещи случаются со мной').

Как я уже упоминала ранее (см. раздел 2), агентивность связана обычно с номинативными и номинативоподобными конструкциями, а 'бессилие' и 'пациентивность' — с дативными и дативоподобными. При этом агентивность и пациентивность находятся в неравном положении: если факторы воли и деятельности играют важную роль во всех языках мира, то этого нельзя сказать о 'беспомощности' или 'бессилии'. И в то же время языки значительно различаются по тому, какое место занимает в них элемент 'бессилия'. Одни

языки в той или иной степени им пренебрегают, принимая агентивный тип предложений как модель всех или большинства предложений, относящихся к людям. В других языках есть два основных типа предложений о людях — номинативный тип, опирающийся на агентивную модель, и дативный, в соответствие с которым люди представлены как лица, не контролируемые событиями.

Синтаксис современного английского языка изобилует номинативными и им подобными конструкциями, а дативные и сходные с ними, такие, как, например, *it occurred to me that 'мне пришло в голову <на ум>, что'*; *it seems to me that 'мне кажется, что'* или *it is necessary / impossible for me to do it 'мне необходимо / для меня невозможно сделать это'*, играют в нем второстепенную роль.

В разговорном английском даже такие значения, как долженствование и невозможность, обычно передаются с помощью личной, номинативоподобной модели: *I have to do it 'я должен это сделать'*; *I cannot do it 'я не могу это сделать'*. Напротив, в русском синтаксисе агентивные, личные, волитивные предложения не образуют какого-либо отдельного класса; кроме того, номинативоподобные субъектные конструкции не охватывают большинства семантических полей. В то же время безличные дативные предложения занимают в русском языке доминирующее положение; более того, их роль в нем постоянно возрастает (тогда как в английском все изменения в этой области идут ровно в противоположном направлении; см. Van der Gaaf 1904 и Elmers 1981).

Английский язык обычно представляет все жизненные события, происходящие с нами, так, как будто мы всецело управляем ими, как будто все наши ожидания и надежды находятся под нашим контролем; даже ограничения и вынужденные действия представлены в нем именно с такой точки зрения. В русском языке мы тоже иногда сталкиваемся с подобным выражением смыслов долженствования и невозможности, по-русски вполне допустимо, например, сказать *Я должен это сделать* или *Я не могу это сделать*.

Но не эти относительно редкие номинативно-субъектные высказывания определяют русскую речь; куда более типичны для нее конструкции с дательным падежом субъекта, в которых все ограничения и принуждения субъекта подаются в пациентивном модусе, формально отличном от агентивного. Так, в русском языке имеется особый разряд безличных модальных предикативов со значением долженствования или невозможности, требующих дательного падежа субъекта. В действительности примеры двух модальных значений, которые выражаются в предложениях, построенных по личной,

номинативной модели, скорее составляют исключение, чем правило. Например, значение необходимости не может быть выражено таким образом. Иными словами, чтобы дать адекватный перевод на русский таких английских предложений, как *I must, I have to*, их следует сначала представить в пациентивной перспективе, подчеркивающей тот факт, что лицо, о котором идет речь, не контролирует ситуацию.

Класс предикатов, с обязательностью требующих датива субъекта, содержит такие слова, как *надо, нужно, необходимо, нельзя, невозможно, не полагается, следует, должно*. Например:

- Ехать мне тридцать первого, в субботу, необходимо* (Цветаева).
 — *Беритесь-ка за лопату, — говорит Карпов.*
 — *Всем надо братья, — усмехаюсь я* (Окуджава).
Пойдем, зайдем в контору, если тебе нужно (Толстой).

Эти способы представления — агентивный и пациентивный — семантически не эквивалентны. Например, фраза *Можно ли мне?*, видимо, выражает просьбу разрешить нечто, а соответствующий ей номинативный вариант *Могу ли я?* является скорее риторическим вопросом о способности, вопросом, который субъект задает сам себе, что-то вроде 'смогу ли я?'. Номинативная фраза *Я не могу* предполагает, что причина невозможности кроется в самом субъекте, что эта невозможность у него врожденная или, на худой конец, приобретена им в результате каких-то собственных действий. Аналогично номинативная конструкция *Я должен* выражает необходимость, признаваемую самим субъектом и внутренне им осознанную, тогда как фразы с дативом типа *Мне нужно, Мне надо, Мне необходимо* все выражают необходимость, навязанную субъекту извне.

В следующей группе примеров предложения а. и б. относятся к личной, пропущенной через сознание субъекта возможности и построены по номинативному типу, а остальные примеры указывают на внешние обстоятельства (в.) или чью-то волю (г. и д.) и построены по дативному образцу:

- а. *Мне живется очень плохо, нас в одну комнату набито четыре человека, и я совсем не могу писать* (Цветаева).
 б. *Была бы я в России, все было бы иначе, но России (звука) нет, есть буквы: СССР, не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гуцу* (Цветаева).
 в. *Можно ли мне надеяться, дорогая Анна Антоновна, устроиться на эти деньги в Праге?* (Цветаева).
 г. *Можно мне вас поцеловать, Софья Николаевна?* (Л. Леонов, цитируется по Scholz 1973: 151).

д. *Можно сесть возле вас? — спросил он наконец* (Тургенев, цит. по Scholz 1973: 177).

Не думаю, однако, что личная номинативная модель семантически сложнее безличной дативной. Напротив, я полагаю, что как раз у предложений, построенных по безличной модели, в толковании имеется дополнительный по сравнению с личной семантический компонент 'не потому, что я это хочу'. Ср.:

Я (им. пад.) должен =
я <неприменно> сделаю это

Мне должно (устар.) =
я не могу думать:
'если я не хочу это, я не сделаю это'
я знаю, что <неприменно> сделаю это

Мне необходимо =
я не могу думать:
'если я не хочу это, я не сделаю это'
я знаю, что я не могу не сделать это

Не могу =
я не могу

Мне невозможно =
я не могу думать:
'если я хочу это, я сделаю это'
я знаю, что я не могу не сделать это

Мне нельзя =
я не могу думать:
'если я хочу это, я сделаю это'
я знаю, что я не могу не сделать это
я знаю, что было бы плохо, если бы я сделал это

Мне надо =
Я не могу думать:
'если я не хочу это, я не сделаю это'
я знаю, что было бы плохо, если бы я не сделал это

Внешний по отношению к субъекту характер необходимости или невозможности, передаваемый дативно-инфинитивной конструкцией, хорошо виден в предложениях с отрицательными местоимениями и местоименными выражениями (см. Rappaport 1986; Апресян, Иомдин 1989):

некогда = 'я не могу, потому что нет времени, когда бы я смог (сделать это)';
негде = 'я не могу, потому что нет места, где бы я смог (сделать это)';
некуда = 'я не могу, потому что нет места, куда бы я смог (пойти)'.
'если я не хочу это, я не сделаю это'

Употребление такого рода выражений иллюстрируют следующие примеры:

Просить мне не у кого (Цветаева).
Никуда не хожу, п. ч. нечего надеть, а купить не на что (Цветаева).
Знаете русское выражение: некогда о душе подумать (Цветаева).
Он ничего не говорит, потому что нечего ему сказать (Окуджава).

Важно подчеркнуть, что подобные предложения, субъект которых (в форме датива) представлен как не контролируемый происходящие события, в русском языке не только возможны, но и типичны; именно они в значительной степени определяют колорит подлинно русской речи. (Например, в знаменитом «слове к народу» А. Солженицына на трех страницах содержится около двадцати таких предложений и среди них само название обращения «Как нам обустроить Россию?».)

3. 1. 2 Инфинитивные конструкции без модальных слов

В русском языке имеется также очень много разнообразных инфинитивными конструкций, значение которых связано с модальными категориями необходимости и невозможности, но в состав которых не входят модальные слова, такие, как *не могу, обязан, следует* или *должен*.

В работе Boguslawski, Karolak (1970: 35) наличие предложений с этими конструкциями отнесено к числу главных особенностей русского языка. Вот одна из таких конструкций:

Не бывать Игорю на Руси святой...

Или еще один пример (А. Солженицын приветствует намечающиеся процессы дезинтеграции в Советском Союзе):

Все уже видят, что вместе нам не жить!

Ниже я остановлюсь еще на нескольких конструкциях подобного типа. Одни из них передают значение 'беспомощного хотения', другие — значение 'бессильного желания или неосознанного предчувствия', третьи — 'обязанности', четвертые говорят о бесплодных раскаяниях или сожалениях, пятые — о необходимости. Ниже предлагается краткий обзор всех таких конструкций, которые я разделила на четыре класса в соответствии с четырьмя модальными значениями: 'я хочу', 'было бы хорошо / плохо', 'мне следовало бы', 'я обязан <должен>'.
 Этот и следующий за ним параграф (3.2), посвященный рефлексивным синтаксическим единицам, содержат анализ примерно двенадцати различных синтаксических конструкций со значением отсутствия контроля над событиями.

Читатель, который не хочет вдаваться во все тонкости и детали нашего анализа, может перейти непосредственно к разделу 3.3 и к последующему обсуждению того, как в синтаксисе естественного языка отражаются различные культурные позиции и оценки (некоторые примеры, взяты мной из работы Галкина-Федорук 1958).

— 'Я ХОЧУ'

(КТО-ТО) НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ХОТЕЛ БЫ

Примеры:

Ни пройти ни проехать (Чехов).

Не догнать тебе бешеной тройки (Некрасов).

А ведь, действительно, вином пахнет... Только вина нам не пить.

Оно в бочке. И пробка величиной с кулак (Окуджава).

Без всенародного голосования — этого не решить (Солженицын).

Да уже во многих окраинных республиках центробежные силы так разогнаны, что не остановить их без насилия и крови — да и не надо удерживать такой ценой! (Солженицын).

Структурная формула:

Отрицание (Neg) + Инфинитив агентивн. (+ Датив человек.)

Толкование:

(кто-то) не может думать: 'если я хочу это, я сделаю это'
 он не может сделать это

Комментарий:

На первый взгляд может показаться, что приведенные выше предложения неотличимы от дативно-инфинитивных построений, передающих смысл 'смирения перед судьбой'. Действительно, второй пример вне контекста вполне может

пониматься, как выражающий 'покорность судьбе' ('тебе не было назначено судьбою догнать — когда-нибудь — этот экипаж лошадей'). Между тем первый пример такой интерпретации получить не может, на что указывает различие в структурах: конструкция со значением 'смирения перед судьбой' с обязательностью требует датива субъекта, в то время как в рассматриваемую здесь конструкцию этот падеж входит лишь как факультативный. Второе структурное различие у этих примеров связано с характером глагола: в дативно-инфинитивных предложениях 'смирения' глагол либо агентивный, либо нет (чаще неагентивный), а в предложениях, построенных по данной модели, глагол, как правило, агентивный. Наконец, третье различие касается времени описываемого события: в конструкции 'смирения' оно должно быть неопределенным (что часто передается итеративной формой глагола), тогда как в настоящей конструкции время события строго фиксированное, хотя нередко и задается контекстом (и, по сути дела, временной отрезок, который здесь, как правило, имеется в виду, это 'сейчас').

ТО, ЧЕГО Я ХОЧУ, МОЖЕТ НЕ ПРОИЗОЙТИ

Примеры:

Быть первым, вольно одиноким!

И видеть, что близка мета,

И слышать отзвуком далеком

Удары ног и щелк хлыста! (Брюсов).

Структурная формула:

Инфинитив + экспрессивная интонация

Толкование:

я хочу это: X случится со мной

я знаю, что я не могу думать: 'если я хочу это, это случится'
 по причине этого я что-то чувствую

Комментарий:

В данной конструкции глагол не обязан быть агентивным и, фактически, таковым обычно не является. В конструкции нет места для датива или еще какого-нибудь субъекта или квазисубъекта, а интонация тут экспрессивная. Значение, передаваемое данной конструкцией, — это значение желания, не обязательно контрафактического, но и не безусловно реализуемого. Экспрессивная интонация (выступающая как необходимый составной элемент конструкции) показывает, что желание всегда сопровождается здесь некоторой эмоцией.

— 'БЫЛО БЫ ХОРОШО / ПЛОХО...'

ЖЕЛАНИЕ ЧЕГО-ТО САМОМУ СЕБЕ

Примеры:

Сейчас бы покурить... (Окуджава)

Закусить бы, — говорит Сашка (Окуджава).

Структурная формула:

Инфинитив + бы (+ я / мы — Датив человек.) + восклицательная интонация

Толкование:

было бы хорошо, если бы X могло случиться со мной (нами) я знаю, что я не могу думать: 'если я хочу это, это случится'

Комментарий:

Данная конструкция тесно связана с предыдущей, но отличается от нее в следующих двух отношениях. Во-первых, она содержит частицу *бы*, указывающую на то, что статус желаемого положения дел рассматривается как чисто гипотетический. Во-вторых, в данной конструкции есть место для датива (*мне/нам*), тогда как в конструкции без частицы *бы* говорящий не может быть упомянут эксплицитно. По-видимому, если говорящие выражают страстное желание, это мешает им думать о себе как об отдельных элементах ситуации (ср. Langacker 1983: 136), однако если их желания и чувства не столь определены, то они в состоянии размышлять о себе точно так же, как о других людях, возможно, с одной только разницей, что гипотетическое желание, касающееся нас самих, скорее всего сочетается с некоторой эмоцией, а гипотетическое желание, направленное на другое лицо, может быть бесстрастным (ср. со следующей конструкцией).

ЖЕЛАНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ДРУГОЕ ЛИЦО

Примеры:

Елена, тебе бы в министрах быть! (Фурманов).

Ну что вы сидите дома? Ехали бы на теплые воды... (Толстой).

Структурная формула:

Датив человек. + бы + Инфинитив

Толкование:

было бы хорошо, если бы X случилось с лицом Y я знаю, что я не могу думать: 'поэтому X случится'

Комментарий:

В этой конструкции, которая может употребляться в самых разнообразных актах речи, говорящий представляет некое положение дел как желательное, хотя и не обязательно достижимое. Если высказывание направлено на собеседника и если положение дел, о котором идет речь, можно интерпретировать как реализуемое, то тогда такое высказывание можно, хотя это и не обязательно, рассматривать как совет. Интонация здесь может быть как экспрессивной, так и не экспрессивной, а эмоция не составляет отдельного компонента толкования — смыслового инварианта всех речевых реализаций рассматриваемой конструкции.

ОПАСЕНИЕ

Примеры:

Часы коммунизма — свое отбили, но бетонная постройка его еще не рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами (Солженицын).

— *Поезд в три?* — *спросил немец.* — *Как бы не опоздать* (Толстой).

Безобразно дрожали руки. «Стакан бы не выронить»... (Довлатов).

Структурная формула:

Отрицание + Инфинитив + бы (+ Датив человек.)

Толкование:

было бы плохо, если бы X случилось со мной поэтому я хочу что-то сделать

я знаю, что я не могу думать: 'если не хочу этого, это не случится'

поэтому я чувствую что-то

Комментарий:

Употребляя данную конструкцию, говорящий рассматривает гипотетическую ситуацию, которая была бы для него плохой, и выражает опасение, что эта плохая для него ситуация может возникнуть. Кроме того, как указывала еще Галкина-Федорук (1958: 228), подобного рода предложения выражают желание говорящего сделать что-нибудь, чтобы помешать наступлению этой неприятной ситуации.

— 'МНЕ СЛЕДОВАЛО БЫ'

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ

Примеры:

Может быть, мне вернуться, товарищ младший лейтенант?
(Окуджава).

Пора идти нам с тобой. Хватятся тебя (Окуджава).

Ну, барин, обедать! (Толстой).

— *Завтракать, барин,* — *сказал старик.*

— *Разве пора? Ну, завтракать* (Толстой).

Не «гордиться» нам; не протягивать лапы к чужим жизням — а осознать свой народ в провале измощающей болезни, и молиться, чтобы послал нам Бог выздороветь, и разум действий для того (Солженицын).

Структурная формула:

(Ну) Инфинитив агентивный (Датив человек.)

Толкование:

я обязан сделать X <сейчас> (если я это не сделаю, будет плохо)
я не могу думать: 'если я не хочу этого, я не сделаю это'
я сделаю это

Комментарий:

Как показывают приведенные выше примеры, изолированный инфинитив агентивных глаголов может также использоваться для указания на то, что некоторое лицо обязано нечто сделать и для побуждения некоторого лица (обычно того же самого) к выполнению своих обязанностей. Трудно понять, если оставить в стороне интонационные различия, как отличить предложения с инфинитивом обязанности ('обязан') от предложений с инфинитивом команды. Впрочем, кажется, что инфинитивы команды в действительности не сочетаются с адвербиальными зависимыми, в особенности с препозитивными, в то время как инфинитивы обязанности крайне редко, если когда-либо вообще, выступают в предложениях без каких-то зависимых и, в сущности, отдают предпочтение единицам препозитивным. К этому можно было бы добавить, что инфинитивы обязанности обычно имеют референцию к говорящему, и даже в тех случаях, когда они соотносятся с адресатом, все равно обязанность, по всей видимости, затрагивает также и говорящего. Часто подобного рода высказывания начинаются с предикатива *пора* или частицы *ну*, побуждающих говорящего/адресата к действию, и передающих сообщение о том, что настало время что-то сделать и что для этого нужно начать шевелиться. Тем самым идея 'обязанности' в них сочетается с идеей 'побуждения' ('давай' или 'давай я').

НЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ИЛИ КАК

Примеры:

Но что делать? что делать? — с отчаянием говорил он себе и не находил ответа (Толстой).

Что мне было делать? Как подать ей помощь? (Пушкин).

Не уйти ли?... Не подождать ли еще? (Достоевский).

Структурная формула:

Q + (Интонация специального вопроса) (Датив человек.) Инфинитив агентивный

Толкование:

Мне следует сделать что-то (если я чего-то не сделаю, будет плохо)

я не могу думать: 'если я не хочу этого, я не сделаю это'
я не знаю, что мне следует сделать

Комментарий:

В предложениях такого типа говорящий сообщает, что не знает, что ему нужно <с>делать или как (где «как» включает в себя также когда, где и др.). Очень часто такие вопросы бывают риторическими и передают смысл вроде 'почему я должен?'. Например:

Может быть, все это хорошо; но мне-то зачем заботиться об учреждении пунктов медицинских, которыми я никогда не пользуюсь? (Толстой).

— 'МНЕ НЕОБХОДИМО'

НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Примеры:

Пусть Аля не обижается, что не пишу ей сегодня отдельно, сейчас купать Мура, готовиться к завтрашнему изданию, мыть голову, писать С. письмо — так, до глубокой ночи. Сплю не больше пяти часов вот уже полгода (Цветаева).

Нам ехать-то всего сорок километров (Окуджава).

Мне ведь уезжать, — *говорю я,* — *ты скажи, напишешь мне?*
(Окуджава).

Ты не пей много, Федосеев, — *говорит Карпов,* — *тебе машину вести* (Окуджава).

Структурная формула:

(Датив человек.) Инфинитив агентивный

Толкование:

X делает/сделает Y

X не может думать: 'если я не хочу этого, я не сделаю это'

Комментарий:

Мы уже раньше видели, что инфинитивы агентивных глаголов могут передавать значение текущей обязанности ('я/ты обязан сделать X; пора делать X'). Предложения рассматриваемого здесь типа передают похожее значение, но подразумевают еще меньшую степень контроля над событиями. По существу различие между первыми и вторыми определяется разницей в смыслах между 'мне следует (я обязан)' и 'мне необходимо (я должен)'. Поскольку обе конструкции имеют одну и ту же синтаксическую (структурную) формулу, можно было бы считать, что они в действительности образуют один класс. Тем не менее я полагаю, что есть много достаточно убедительных доводов в пользу того, чтобы рассматривать эти конструкции как представляющие отдельные самостоятельные типы.

Во-первых, предложения обязанности обычно начинаются с побудительной частицы *ну* (или с другого аналогичного языкового элемента) и побуждают к действию, между тем как предложения необходимости не имеют такого «побудительного» значения. Во-вторых, значение 'обязан', но не 'необходимо', очевидным образом содержится в вопросительных предложениях с дательным падежом субъекта, таких, как, например, *Что мне делать?* Отсюда следует, что, по крайней мере некоторые предложения обязанности должны быть отделены от предложений необходимости. В-третьих, отрицательные предложения с дативом субъекта, такие, как *Ни пройти ни проехать 'нельзя пройти'*, очевидно означают, что некую вещь невозможно сделать, а не то, чтобы ее не нужно было делать. Этот факт является еще одним свидетельством того, что смысл 'обязан' следует признать отдельным грамматическим значением русского языка, а не просто считать его контекстно обусловленным вариантом некоторого, точно не определенного, модального значения.

Любопытен в этой связи пример двух стоящих рядом предложений, инфинитивные предикаты которых имеют явно разные модальные значения:

Все уже видят, что вместе нам не жить ('не можем', 'невозможно'). *Так и не тянуть взаимное обременение* ('не следует', 'не должны') (Солженицын).

3.2. Рефлексивные конструкции

НЕСПОСОБНОСТЬ СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ХОЧЕТСЯ

Примеры:

Не спится ей в постели новой (Пушкин).

О здешней жизни уже не пишется, я уже еду (Цветаева).

Структурная формула:

Отрицание Глагол — Зл.ед.ч.(Ср. род)Рефл.(Датив человек.)

Толкование:

X хочет сделать Y

(не потому, что X хочет, чтобы что-то случилось с чем-то другим)

поэтому X делает что-то

X думает что-то вроде этого:

я чувствую, что я не могу сделать это

я не мог бы сказать почему

не потому, что я не хочу этого

Комментарий:

В этой конструкции лицо, обозначаемое существительным в дательном падеже (которое, в случае, когда лицом является говорящий, может опускаться), представлено как экспериментер, который по каким-то малопонятным психологическим причинам неспособен сделать то, что хочет «сделать». Чаще всего предполагаемые для этого действия сами по себе не составляют особой сложности и фактически заключаются в том, чтобы поддерживать некоторое состояние (например, чтобы сидеть, лежать или спать, ср. Апресян, Иомдин 1989: 86). Глагол здесь должен быть непереходным или должен употребляться как непереходный, а неспособность экспериментера, как она тут представлена, может быть отнесена всецело на счет его внутреннего состояния (как правило, настроения) и никак не связана с целевым объектом, если таковой имеется. Например:

Мне сегодня не читается. = 'Почему-то я чувствую, что я не могу сегодня читать'.

**Мне сегодня не читается книги/книгу.*

НЕПОСТИЖИМАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО

Примеры:

— *Писалось тебе?*

— *Чудесно писалось* (Вересаев)

Структурная формула:

Глагол агентивный — 3л.ед.ч. (Ср. род) Рефл. Датив человек.
Наречие ('хорошо')

Толкование:

X <сейчас> делает что-то
не потому, что X хочет, чтобы что-то случилось с чем-то еще
X думает что-то вроде этого:
я чувствую, что могу <с>делать это хорошо
я не могу сказать почему
это не потому, что я хочу это

Комментарий:

В рассматриваемой конструкции человек представлен как лицо, которое, делая нечто, по какой-то непонятной причине не испытывает при этом никаких затруднений. Агнс чувствует, что предпринятая им деятельность протекает гладко ('хорошо'), но, сколь бы рад он этому ни был, заслуги его в этом нет, так как успех достигается не в результате затраченных им самим усилий, а скорее благодаря действию каких-то непостижимых сил. Ср.:

Мне чудесно писалось. = 'Я чувствовал, что мое писание шло исключительно хорошо; я не знаю почему'.

**Мне чудесно писалось статью.*

Внешняя цель тут семантически не исключается, но ее нельзя ни упомянуть, ни выделить еще каким-то иным способом, поскольку сама конструкция предназначена для описания субъективных сторон конкретной ситуации. В данном случае реальное положение дел соответствует желаемому, однако подчеркивается здесь как раз имеющееся у экспериментера ощущение того, что между этими положениями дел нет причинно-следственной связи.

НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ МЕНТАЛЬНЫЕ АКТЫ

Примеры:

Ему хотелось слышать звук ее голоса (Толстой).

Все новости — при встрече. Теперь уже мало осталось, хотя и самой не верится (Цветаева).

Помнится, уложила (как сокровище) именно в сундук, но память податлива, и у меня тождественна воображению, потому раньше посмотрите в книгах (Цветаева).

Сегодня мне вспомнилась Прага — сады (Цветаева).

Структурная формула:

Датив человек. Глагол ментальный — 3л.ед.ч. (Ср. род) Рефл.

Толкование:

Мне не верится (ср. с Я не верю) =
что-то во мне говорит: я не верю в это
не потому, что я хочу это
я не хочу сказать: я не верю в это

Мне хочется (ср. с Я хочу) =
что-то во мне говорит: я хочу это
не потому, что я хочу это
я не хочу сказать: я хочу это

Мне помнится (ср. с Я помню) =
что-то во мне говорит: я помню X
не потому, что я хочу это
я не хочу сказать: я помню X

Комментарий:

В английском языке оказываются противопоставленными контролируемое осознанное и неконтролируемое неосознанное (неволевитивное) думание, а также осознанное думание и чувство, за которое говорящий не несет никакой ответственности:

a. I think/believe/recall... 'Я думаю/верю (полагаю)/вспоминаю'...

b. It occurred to me... 'Мне пришло в голову...'

It seemed to me... 'Мне <по>казалось...'

Между тем, «дативная» модель имеет в английском весьма узкую сферу применимости, и нельзя, например, сказать

*It believes / doesn't believe to me...

В русском же языке дативная модель является достаточно продуктивной: именно таким способом русские очень часто рассказывают о событиях своей ментальной жизни, подразумевая при этом, что эти события просто «случаются» в их умах и что они не несут за них ответственности.

По-видимому, дативная модель является семантически отмеченной по отношению к номинативной. Номинативная форма представления обычно предполагает ответственность субъекта за ментальные действия, но действия эти не обязательно должны быть преднамеренными ('я думаю/верю и т. д., потому что хочу'). В то же время дативная схема эксплицитно отрицает подобную ответственность: мысль, акт веры или иное ментальное состояние или событие представ-

лены как возникающие в наших головах спонтанно, причем мы не ощущаем себя связанными по отношению к ним какими-то обязательствами. Так, например, я могу знать, что скоро уезжаю, но все же сказать *не верится*, то есть, 'что-то во мне говорит: я в это не верю'.

Самое важное русское выражение такого рода — это чрезвычайно широко употребляемое *хочется/не хочется*. Индекс его частоты по словарю Засорина 1977, имеющему корпус в миллион слов, составляет 247, тогда как у его ближайшего английского эквивалента, книжного и высокого по стилю английского глагола *desire* этот индекс всего 41 (Kučera, Francis 1967). Несоответствие этих цифр становится еще более разительным, если вспомнить, что *desire* является почти точным переводом русского глагола *желать* с частотой 185 (частоты *хотеть* и *want*, соответственно, 1295 и 573). Правда, русское *хочется* можно иногда перевести на английский выражением *feel like*, однако сфера употребляемости последнего намного уже и синтаксически ограничена предложениями, описывающими действия субъекта ('X хочет (feels like) <c>делать Y). Напротив, *хочется* может выражать страстное, неконтролируемое желание наступления некоторого события, которое бы произошло, например, с другими людьми, о чем свидетельствует следующий отрывок:

- *А ты уж думаешь, что он нынче сделает предложение? — прибавил он, помолчав.*
— *И думаю, и нет. Только мне ужасно хочется* (Толстой).

Следовательно, семантически *хочется* ближе стоит к *desire*, чем к *feel like*, хотя оно гораздо более разговорное. В английском языке просто нет идиоматичного и точного способа выражения этого понятия.

Как указывает Яринцов (Jarintzov 1916: 121), слово *хочется* «передает неопределенное желание чего-то, как бы управляемого извне некоей силой». Она правильно отмечала, что предложения с этим словом «стоят в одном ряду с многочисленными языковыми единицами, использующимися в повседневной речи и выражающими подсознательное непреднамеренное желание, какого бы рода оно ни было. *Хочется любви* — подобные предложения часто встречаются в стихах и песнях».

3.3. Русский язык в противоположность английскому

Мы уже видели, что русская грамматика изобилует конструкциями, в которых действительный мир предстает как противопоставленный человеческим желаниям и волевым

устремлениям или как, по крайней мере, независимый от них. В английском же языке таких единиц крайне мало, если вообще есть. Зато в английской грамматике имеется большое число конструкций, где каузация позитивно связана с человеческой волей. Особенно отчетливо прослеживается взаимодействие каузации и воли в конструкциях типа

- X made Y V int ('интенциональный')-инфинитив.
(например, X made Y wash the dishes 'X заставил Y вымыть тарелки').
X had Y V int-инфинитив
(например, X had Y wash the dishes букв. 'X сделал так, чтобы Y вымыл тарелки').
X had X's Z V int «-ed»-форма
(например, X had her boots mended букв. 'X сделал так, чтобы ее сапоги починили').
X had Y V non-int ('неинтенциональный') «-ing»-форма
(например, X had Y crying букв. 'X сделал так, чтобы Y заплакал').
X had Y V int -ing-форма
(например, X had Y staying with her букв. 'X сделал так, чтобы Y осталась у нее').
X got Y to V int -инфинитив
(например, X got Y to wash the dishes букв. 'X убедил (заставил, уговорил) Y вымыть тарелки').
X got Y Adj
(например, X got Y furious 'X привел Y в ярость').
X V int -ed-форма Y into doing Z
(например, X talked / tricked Y into doing Z 'X уговорил/хитростью уговорил Y сделать Z').
X V aspect ('видовой') -ed-форма Y V -ing-форма
(например, X kept Y waiting 'X заставил Y ждать').

Мы могли бы добавить, что для английского языка, видимо, чрезвычайно характерны — не только в сравнении с другими европейскими языками, но и относительно всех языков мира вообще — подчеркнутый акцент на каузальных отношениях и повышенное внимание к различным стратегиям взаимодействия между людьми.

На первый взгляд попытка интерпретации подобных расхождений между языками путем обращения к другим аспектам культуры и общества может показаться глупой. Однако, если речь идет о лексике, то здесь колебания едва ли будут уместны. Самоочевидным считается тот факт, что в области культурно значимых объектов и концептов языка обладают особенно богатым словарным запасом. Как отмечает Кеннет Хейл (цит. по Dixon 1980:108), «естественно искать следы культурного развития и совершенствования в лексических

структурах языка». Присоединяясь к этому бесспорно справедливому суждению, я бы, однако, дополнила его, сказав, что «культурное развитие» отражается не только в лексических, но и в грамматических структурах. Сам Хейл обращается прежде всего к терминам родства и связывает расцвет «буйной, полной жизни номенклатуры родства» в австралийском языке варлпири с той важной ролью, которую играет «алгебра родства» в социуме народа варлпири.

Впрочем, родственные отношения занимают важное место не только в словарях языков аборигенов Австралии, но и в их грамматиках. (См., например, Hale 1966; Dench 1982 и 1987; Heath, Merlan, Rumsey 1982.) Вообще говоря, участки, которые Хейл называет областями «культурного развития», а Диксон (Dixon 1980:103) — «областями семантической спецификации», расположены не только на границе между словарем и грамматикой; они пронизывают весь язык насквозь. Хотя этого, быть может, нельзя утверждать о физических объектах или о характеристиках окружающей среды (верблюды, северные олени, снег, песок, рис и др.), но применительно к понятийным полям особой культурной значимости, я думаю, сказанное безусловно справедливо. Развитие лексикой для различных понятийных полей, как нам представляется, фактически часто идет параллельно с развитием грамматики. Термины родства в языках Австралии — это один такой пример; явно ощущаемое наличие тесных связей между волей и каузацией, как те отражаются в словаре и грамматике английского языка, — другой; наконец, отчетливо наблюдаемое отсутствие таких связей в грамматике и словаре русского языка — третий.

В заключение обратимся еще к одному примеру, проясняющему, на наш взгляд, обсуждаемое здесь различие между русским и английским языками:

- а. He succeeded — 'букв. 'Он преуспел <в этом>'.
 He failed — букв. 'Он не преуспел <в этом>'.
 б. Ему это удалось.
 Ему это не удалось.

Английская номинативная конструкция а. перелагает часть ответственности за успех или неуспех некоторого предприятия на лицо, которое его затевает, в то время как русская дативная конструкция б. полностью освобождает действующее лицо от какой бы то ни было ответственности за конечный результат (какие бы вещи с нами ни происходили, хорошие или плохие, они не являются результатом наших собственных действий). В русском языке нет средств, чтобы

идиоматичным способом передать точное значение предложения а., тогда как в английском отсутствуют идиоматичные средства для точного выражения значения б. Данный факт представляет собой резюмирующий итог описания различий в этнофилософиях, отраженных в этих языках.

4. «Иррациональность»

4.1. «Иррациональность» в синтаксисе

Синтаксическая типология языков мира говорит о том, что существует два разных способа смотреть на действительный мир, относительно которых могут быть распределены все естественные языки. Первый подход — это по преимуществу описание мира в терминах причин и их следствий; второй подход дает более субъективную, более импрессионистическую, более феноменологическую картину мира (ср. Bally 1920).

Из европейских языков русский, по-видимому, дальше других продвинулся по феноменологическому пути. Синтаксически это проявляется в колоссальной (и все возрастающей) роли, которую играют в этом языке так называемые безличные предложения разных типов. Это бессубъектные (или, по крайней мере, не содержащие субъекта в именительном падеже) предложения, главный глагол которых принимает «безличную» форму среднего рода. Как указывала Яринцов (Jarintzov 1916: 122), «безличная форма глаголов сквозной линией проходит через весь язык и составляет одну из наиболее характерных особенностей русского способа мышления».

В предыдущем разделе мы уже рассматривали ряд безличных конструкций, представляющих людей не агентами, не активными действующими лицами, а пассивными и более или менее бессильными, не контролирующими события экспериенцерами. Ниже мы остановимся на тех безличных конструкциях, которые предполагают, что мир в конечном счете являет собой сущность непознаваемую и полную загадок, а истинные причины событий неясны и неосуществимы. Например:

*Его переехало трамваем.
 Его убило молнией.*

В этой конструкции непосредственная причина событий — трамвай или молния — изображена так, как если бы она

была «инструментом» некоей неизвестной силы. Здесь нет явно выраженного субъекта, глагол стоит в безличной форме среднего рода («безличной», потому что она не может сочетаться с лицом в функции субъекта), а незаполненная позиция субъекта (см. Мельчук 1974) свидетельствует о том, что настоящая, «высшая» причина события не познана и непознаваема. «Субъект удален здесь из поля зрения... как неизвестная причина явления, описываемого глаголом.... Именно поиск истинной причины явления и признание того факта, что эта причина неизвестна, составляют основу всех безличных предложений» (Jarintzov 1916: 122).

Пешковский (1956) указывает, что такое же свойство «загадочности» присутствует в предложениях типа

Стучит! = 'Что-то стучит (нельзя понять что и почему)', которые в этом отношении в корне отличаются от предложения с идентифицированным субъектом типа

Стучат! = 'Кто-то стучит'.

Галкина-Федорук (1958: 139) замечает, что безличные предложения, в которых делается акцент на неизвестном и на необъяснимом, являются исключительно частыми в фольклорной литературе, в частности, в народных загадках.

Альтернативная номинативная конструкция, не имеющая такого значения, тоже, конечно, допустима:

*Его переехал трамвай.
Его убила молния.*

В русской разговорной речи, однако, чрезвычайно распространены как раз предложения первого, бессубъектного, типа. Советские грамматисты часто выказывали смущение при встрече с этим, не совместимым с официальным «научным взглядом на мир» свойством русского языка, относя его к реликтам прошлого. Так, академик Виноградов (1947:465), говоря о некоторых интересующих нас конструкциях, утверждал, что «языковая техника здесь использовала как материал отжившую идеологию».

Вся ирония тут состоит в том, что языковые конструкции, о которых идет речь, показывают, что «отжившая идеология» не только не проявляет признаков утраты продуктивности, но, напротив, продолжает развиваться, захватывая все новые и новые области и постепенно вытесняя из многих районов тех своих конкурентов, которые не предполагают, что природа событий может быть непознаваемой (ср. Галкина-Федорук 1958:148). И это вполне согласуется с общим направлением эволюции русского синтаксиса, отражающего рост и все более широкое распространение всех типов

«безличных» предложений, в особенности предложений с дательным падежом субъекта, представляющих людей не контролирующими события, и бессубъектных предложений, представляющих события не полностью постижимыми.

Галкина-Федорук (1958:151) пишет: «Количество безличных предложений в современном русском языке все время возрастает. Этот рост следует объяснять не только постоянным развитием и совершенствованием форм мышления, расширяющимся репертуаром средств выражения, но и различными грамматическими процессами, природа которых, в конце концов, тоже подчинена растущей сложности содержания речи. Наши данные показывают, что многие личные глаголы начинают употребляться по типу безличных. С другой стороны, некоторые виды безличных предложений остаются в языке в виде реликтов более старых форм мысли».

Пешковский (1956:345) был особенно поражен непрерывным ростом безличных конструкций в русском языке: «Таким образом, безличные предложения, по-видимому, отнюдь не есть остатки чего-то убывающего в языке, а наоборот, нечто все более и более растущее и развивающееся». Тем не менее есть одна вещь, которую, по всей видимости, Пешковский не учел. Я имею в виду то, что рост безличных конструкций, вытеснение личных предложений безличными является типично русским феноменом и что в других европейских языках — например, в немецком, французском и английском — изменения обычно шли в противоположном направлении (как указывал Балли (Bally 1920); см. также Elmers 1981). Это дает все основания думать, что неуклонный рост и распространение в русском языке безличных конструкций отвечали особой ориентации русского семантического универсума и, в конечном счете, русской культуры.

Чтобы показать точное значение описываемых конструкций, я бы предложила для них следующие толкования:

Его убило молнией.

что-то случилось в том месте в то время
не потому, что кто-то хотел этого
(была вспышка молнии)
нельзя было сказать почему
потому он был убит (он умер)

Стучит!

что-то случилось в этом месте
не потому, что кто-то делает что-то
нельзя было сказать почему
(можно слышать что-то, как будто кто-то стучал)

Его знобило/лихорадило/мутило.

что-то случилось с ним
не потому, что он хотел этого
не потому, что кто-то делал что-то
нельзя было сказать почему
поэтому он чувствовал холод/лихорадку/тошноту

Как показывают приведенные экспликации значения, все предложения такого типа являются неагентивными. Таинственные и непонятные события происходят вне нас совсем не по той причине, что кто-то делает что-то, а события, происходящие внутри нас, наступают отнюдь не потому, что мы этого хотим. В агентивности нет ничего загадочного: если человек что-то делает и из-за этого происходят какие-то события, то все представляется вполне ясным; загадочными и непостижимыми предстают те вещи вокруг и внутри нас, появление на свет которых вызвано действием таинственных сил природы.

В русском языке предложения, построенные по агентивной личной модели, имеют более ограниченную сферу употребления в сравнении с аналогичными предложениями в других европейских языках, значительно более ограниченную, например, по сравнению с английским языком. Богатство и разнообразие безличных конструкций в русском языке показывают, что язык отражает и всячески поощряет преобладающую в русской культурной традиции тенденцию рассматривать мир как совокупность событий, не поддающихся ни человеческому контролю, ни человеческому разумению, причем эти события, которые человек не в состоянии до конца постичь и которыми он не в состоянии полностью управлять, чаще бывают для него плохими, чем хорошими. Как и судьба.

4.2. Русское *авось*

В русском языке имеется огромное количество частиц, передающих оценки и чувства говорящего и придающих особую окраску стилю речевого взаимодействия между говорящим и слушающим (см., например, работы Николаева 1985; Rathmayr 1986; Université de Paris VII 1986). Из европейских языков единственным языком, который в этом отношении мог бы составить конкуренцию русскому, является немецкий. (См., в частности, Weydt 1969; Weydt et al. 1983; Kemme 1979; Altmann 1976.)

Однако среди русских частиц есть одна, о которой сами носители языка говорят, что она очень точно отражает ряд особенностей русской культуры и русского национального характера. Речь идет о частице *авось*.

Согласно данным толковых словарей (см., например, Ахманова и др. 1969) *авось* означает просто 'возможно, может быть', а связанное с этим словом выражение *на авось* имеет значение 'в надежде на ничтожно малый шанс'. Между тем в русском, как, впрочем, и в большинстве других европейских языков, имеется еще одна модальная частица, гораздо ближе, чем *авось*, стоящая к таким английским словам, как *perhaps* и *maybe*. Я имею в виду *может быть*. Слово *авось* означает нечто иное, это не просто слово со значением 'возможно', и, хотя при переводе на английский за неимением лучшего эквивалента мы обычно пользуемся словом *perhaps* 'возможно', есть достаточно много контекстов, в которых слова *perhaps* и *maybe*, видимо, не могут быть переведены на русский как *авось*. Ср., например:

Perhaps John did it?

и

**Авось Иван это сделал?*

Чтобы у читателя сложилось представление о том, как употребляется слово *авось*, приведу вначале два примера, взятые из Академического словаря (АН СССР 1957 — 61):

У меня голова болит; я вышла на воздух — авось пройдет (Тургенев).

Дороги [через реку] нечего было искать; ее вовсе не было видно; следовало идти на авось: где лед держит пока ногу, туда и ступай (Григорович).

Обратим внимание также и на пример из «Капитанской дочки» Пушкина:

Лучше здесь остановиться, да переждать, авось буря утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам (Пушкин).

То, что частица *авось* занимает важное место в русской культуре, и в частности, в русском способе мышления, отражается в ее способности аккумулировать вокруг себя целую семью родственных слов и выражений. Так, имеется, например, наречное сочетание *на авось*, означающее 'действовать в соответствии с отношением, выраженным в слове *авось*'; есть существительное *авось*, обозначающее то самое отношение, о

котором идет речь (так сказать, *авось*-отношение); есть глагол *авоськать* со значением 'иметь обыкновение говорить *авось*' (ср. Даль 1955 [1882]: 4); есть существительное *авоська*, обозначающее сетчатую сумку (которая могла бы, возможно, оказаться она под рукой, пригодиться), и др.

Чтобы понять ту роль, которую частица *авось* играет в русской народной философии и русском самосознании, рассмотрим следующие характерные примеры:

[Врач-онколог не хочет признаться себе, что у нее есть симптомы рака]. *Сама-то для себя она пробавлялась русским авосем: а может быть обойдется? а может только нервное ощущение?* (Солженицын).

Да понадеялся он на русский авось (Пушкин, цит. по Даль 1955 [1882]).

[Мальчик шестнадцати лет с опухолью кости отказывается от ампутации ноги, а друг мальчика пытается убедить его, что это необходимо]:

— А какая альтернатива?

— Что?

— Или нога или жизнь?

— Да на авось. А может — само пройдет?

— Нет, Дема, на авось мостов не строят. От авоськи только авоська осталась. Рассчитывать на такую удачу в рамках разумного нельзя (Солженицын).

[Реакции на Сталинградскую победу]:

Сперва, в пору отступления, это слово [русский] связывалось большей частью с отрицательными определениями: российской отсталости, неразберихи, русского бездорожья, русского авось... Но, появившись, национальное сознание ждало дня военного праздника (Гроссман).

Об огромной роли, которую «*авось*-отношение» играет в русской культуре, говорит бесчисленное количество передаваемых из поколения в поколение народных пословиц и поговорок (часто даже рифмованных). Даль (1955 [1882]) приводит (среди многих других) следующие примеры:

Авось, небось, да третий как-нибудь.

Держись за авось, поколь не сорвалось.

Авосьевы города не горожены, авоськины дети не рожены.

Кто авосьничает, тот и постничают.

Так что же все-таки означает «*русское авось*»? По существу это отношение, трактующее жизнь как вещь непредсказуемую: «нет смысла строить какие-то планы и пытаться их

осуществлять; невозможно рационально организовать свою жизнь, поскольку жизнь нами не контролируется; самое лучшее, что остается делать, это положиться на удачу». Предлагаю следующее толкование частицы *авось*:

я бы хотел этого: X случится со мной

поэтому я сделаю Y

я не могу думать: 'я знаю, что если я сделаю это, случится X'

никто не может думать: 'я знаю, что случится со мной'

Таким образом, русская частица *авось* подводит краткий итог теме, пронизывающей насквозь русский язык и русскую культуру, — теме судьбы, неконтролируемости событий, существованию в непознаваемом и не контролируемом рациональным сознанием мире. Если у нас все хорошо, то это лишь потому, что нам просто повезло, а вовсе не потому, что мы овладели какими-то знаниями или умениями и подчинили себе окружающий нас мир. Жизнь непредсказуема и неуправляема, и не нужно чересчур полагаться на силы разума, логики или на свои рациональные действия.

5. Категорические моральные суждения

5.1. Негативные оценки

Каждого англо-саксонского читателя русских романов поражает, вероятно, обилие абсолютных моральных суждений, в особенности относящихся к людям — по большей части к адресату, но нередко также и к другим лицам. Существенным моментом здесь является то, что все слова, выражающие категорическое моральное осуждение, относятся к разряду существительных. Охарактеризовать действие некоторого лица как подлое или сказать, что кто-то поступил подло, это означает дать этому человеку вполне негативную оценку, однако значительно хуже, конечно, назвать человека подлецом.

И тем не менее кажется, что русские очень часто употребляют это слово. Ближайшее к нему английское параллель, которая первой приходит на ум, это *bastard*; в английском языке оно используется как бранное. Но *bastard* является грубым словом, и на его употребление по сей день наложены определенные ограничения. Русское же *подлец* в этом смысле никоим образом не является табуированным. Например, для романтической героини Достоевского Катерины Ивановны совершенно естественно назвать Дмитрия Карамазова под-

лицом (после того, как тот совершил по отношению к ней низкий поступок), но, конечно, она бы никогда не смогла произнести русский эквивалент английского *bastard*.

Ах, какой вы, говорит, подлец (так и сказала)! Какой вы злой, говорит, подлец! Да как вы смеете! (Достоевский).

В этом значении *подлец* ближе стоит к английскому *scoundrel*, нежели к *bastard*. Однако слово *scoundrel* является довольно тусклым, литературным, да к тому же несколько архаичным вариантом в английском языке, между тем как русское *подлец* — это яркое, разговорное слово языка повседневного общения людей. О разном статусе этих слов говорит и статистика. В Засорина 1977, например, в мегакорпусе русских слов (основанном на миллионе широко распространенных в каждойдневной речи единиц) имя *подлец* встречается целых тридцать раз, тогда как в соответствующем американском корпусе слов (Kučera, Francis 1967) слово *scoundrel* встречается лишь дважды.

Более того, *подлец* — это не единственное русское слово, выражающее категорическое моральное осуждение человека. Имеются, например, такие слова, как *негодяй* или *мерзавец*, которые являются столь же экспрессивными, разговорными и обиходными. В корпусе Засориной частота этих слов вполне сопоставима с частотой слова *подлец*; для *мерзавец* эта цифра составляет двадцать пять, а для *негодяй* — двадцать. В английском, напротив, *scoundrel* — фактически единственное слово такого рода. Так, приводящиеся рядом со *scoundrel* в тезаурусе Роже (Roget 1984) слова *ascal* и *villain* являются еще более архаичными и не используются в целях серьезного морального осуждения (общепринятого британского жаргонного употребления слова *villain* мы здесь не касаемся, поскольку оно не имеет прямого отношения к обсуждаемой проблеме).

В действительности, в длинном списке слов и выражений тезауруса Роже, стоящих под рубрикой 'плохой человек', единственные единицы, которые хоть сколько-нибудь близко соответствуют по силе словам *подлец*, *негодяй* или *мерзавец*, это зоологизмы типа *gertile* 'рептилия', *viper* 'змея' и, можно сюда добавить еще, *swine* 'свинья', т. е. метафорические обозначения людей с помощью имен животных. Однако для них уже есть соответствия в русском в виде зоологизмов типа *гад*, *свинья* и в особенности *скотина* (от русского *скот*).

Таким образом, можно заключить, что в русском языке имеется по крайней мере три широко употребляемых нетабуированных имени, служащих для выражения категориче-

ского морального осуждения (*подлец*, *мерзавец* и *негодяй*), в то время как английский язык обладает только одним, да и то довольно сомнительным, словом подобного рода (*scoundrel*), при этом суммарная частота трех русских слов в соответствующем корпусе данных составляет семьдесят пять на миллион, а английское слово имеет частоту всего лишь два на миллион словоупотреблений. Все это очень яркие различия.

Русский	Английский
<i>подлец</i> 30	<i>scoundrel</i> 2
<i>мерзавец</i> 25	
<i>негодяй</i> 20	
общая 75	2

Каково же точное значение русских существительных, выражающих категорическое моральное осуждение? На этот вопрос ответить очень сложно, и существующие русские словари едва ли могут оказать нам тут какую-либо помощь. Очевидно, что русская языковая интуиция дает возможность почувствовать близость этих трех слов друг к другу, потому что они часто выступают вместе, так, как если бы они были квазисинонимичными. Например:

Заметил, подлец! — подумал Пустяков. — По рожке вижу, что заметил!! А он, мерзавец, кляузник. Завтра же донесет директору! (Чехов).

Какой мерзавец! Боже мой! Какой неслыханный негодяй! (А. Н. Толстой, цит. в АН СССР 1957-61).

Негодяй, подлый человек, но ведь — благодетель... (Чехов).

Тем не менее значения у этих трех слов не полностью тождественны. Разницу между ними помогают понять различия в их этимологии. Существительное *мерзавец* этимологически соотносится с глаголом *мерзить* 'вызывать отвращение' и с прилагательным *мерзкий*, которое Даль (1955 [1882]) толкует как 'отвратительный'. Слово *подлец* относится к человеку не столько омерзительному или отвратительному, сколько бесчестному (и потому низкому).

В этом отношении русское слово *подлец* ближе, чем все другие слова, стоит к английскому *bastard*. Подобно слову *bastard*, слово *подлец* также часто произносится импульсивно, как мгновенная реакция на единичный акт — неожиданно плохой и бесчестный. При полномесном употреблении этого слова (а не в качестве общего применяемого ко всем случаям ругательства) оно вызывает в сознании образ лица, оценка которого говорящим падает от нормального (ожидаемого) уровня до сравнительно низкого. Даль (1955 [1882]) приводит

следующие пояснения к этому слову: 'низкий, бесчестный, грязный, презренный', и все это весьма полезные намеки на то, как должно выглядеть точное толкование данного слова.

Так, например, героине Достоевского Катерине Ивановне лихой молодой офицер Дмитрий Карамазов поначалу казался человеком честным, и только после того, как тот, предприняв очевидным образом бессовестную попытку воспользоваться ее безвыходным положением, сразу резко упал в ее глазах, она бросает ему: «Подлец!»

Далее, слова *подлец* и *подлый* в русском языке часто противопоставляются слову *благородный*: если первые два указывают на моральную низость человека, на его деградацию, то последнее говорит о его моральном весе, о морально высоком облике². Например:

Красива она была тем в ту минуту, что она благородная, а я подлец, что в величии своего великодушия и жертвы своей за отца, а я клоп. И вот от меня, клопа и подлеца, она вся зависит, вся кругом и с душой и с телом (Достоевский).

В этом примере говорящий постоянно применяет слово *подлец* к самому себе, типично русский жест морального битья себя в грудь.

Относительно слова *негодяй* заметим, что этимологически оно связано с прилагательным *негодный* и с выражением *не годится*, каждое из которых указывает на то, что какая-то вещь или событие «не соответствуют» определенным нормам и тем самым «бесполезны». Так, Даль (1955 [1882]) следующим образом описывает слово *негодяй*: 'ни к чему или никуда неспособный, дурной, плохой; человек негодный, дело негодное, сапоги негодные'. Если человек характеризуется как негодяй, то это предполагает глубокую аморальность, моральную гнилость лица, типичную для такого человека, каким был Федор Карамазов, от которого «нельзя было ожидать ничего хорошего».

Можно было бы даже сказать, что эти три существительных со значением обвинения связаны с разными чувствами: *мерзавец* предполагает нечто вроде отвращения, *подлец* — что-то типа морального негодования, соединенного с чувством презрения, а слово *негодяй* связано с чем-то вроде морального отбрасывания, сопровождаемого гневом.

Для того, чтобы показать общие компоненты значений слов *подлец*, *мерзавец* и *негодяй*, мы можем предложить следующие три семантических выражения:

- (а) X — очень плохой человек
- (б) X может делать очень плохие вещи
- (в) Когда я думаю об X, я чувствую что-то плохое.

Чтобы эксплицировать различия между ними, можно предложить для каждого из них дополнительные смысловые компоненты. Например, для слова *мерзавец* я в порядке гипотезы хочу предложить выражение 'Я не хочу быть рядом с этим человеком', для слова *подлец* — компоненты 'X не такой, как другие люди' и 'X может делать плохие вещи, которые другие люди делать не могут', для слова *негодяй* — компоненты 'нельзя думать: X будет делать хорошие вещи' 'можно думать: X будет делать плохие вещи'.

Эти компоненты не мотивированы этимологией (которая может не только снабжать нас полезными отмычками, раскрывающими толкование слова, но и сбивать с толку, предлагая ложные ключи); их появление объясняется несколько различающимися сферами использования описываемых слов, а также тем, что лучшие образцы их употребления (например, в литературе), несмотря на возможные пересечения, тоже отличаются один от другого.

5.2. Позитивные суждения

В заключение нужно отметить, что русские точно так же эмоциональны и склонны к крайностям при выражении морального восторга, как и при выражении морального осуждения. Например, Марина Цветаева в одном из своих писем так описывает своего мужа:

Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне... Он блестяще одарен, умен, благороден. Если бы Вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша!

Подобным образом, когда Цветаева описывает свою двадцатилетнюю дочь Алю, она характеризует ее не только как «умную» и «ребячливую», но также говорит о ней как о «великодушной» и «благородной». По всей видимости, многие англичане описывают своих супругов или детей в подобных выражениях. Вспомним также предложение из «Войны и мира»: «Это была такая благородная, такая возвышенная душа!»

Отсутствие каких-либо ограничений на выражение русскими морального восторга отражается в высокой частоте таких прилагательных, как *благородный*, — по данным словаря Засориной (1977) пятьдесят четыре раза против двадцати трех для английского эквивалента *noble* по словарю Kučera, Francis (1967) — и прежде всего в исключительно

высокой частотности слова *прекрасный*, которое обычно используется для выражения «морального восторга».

Очень часто встречающееся выражение *прекрасный человек* означает буквально 'красивое человеческое существо', а поскольку прилагательное *прекрасный* может также применяться и по отношению к вещам, которые являются красивыми (или замечательными) в других отношениях, высокую частоту употребления слова *прекрасный* в моральном смысле трудно документально обосновать, опираясь на работы типа словаря Засориной. И все же следующие цифры, я полагаю, чрезвычайно убедительны:

beautiful	127
красивый	190
прекрасный	130

Эти статистические данные показывают, что основное русское прилагательное *красивый* употребляется чаще, чем его английский эквивалент beautiful, и что к тому же в русском языке есть еще одно прилагательное, *прекрасный*, которое может означать либо 'красивый', либо 'красивый морально' и которое также обладает очень высокой частотой.

Тем не менее, поскольку и в английском и в русском языках имеются некоторые другие прилагательные, которые также могут использоваться для выражения обобщенного восторга по поводу некоего лица (ср. *Она чудесный человек*), расхождения между языками в сфере выражения предельного морального восторга менее очевидны, чем различия, касающимися сферы морального осуждения. К этому следует также добавить, что при передаче отрицательных оценок в английской речи имеется тенденция прибегать к разного рода смягчающим выражениям (по всей видимости, это делается с целью не нарушить общественную гармонию), а при выражении положительной оценки некоторых, как правило, обыкновенных вещей (но все же не для поощрения серьезных моральных добродетелей) охотно прибегают к гиперболе (по-видимому, ради той же самой социальной гармонии). Ср. *Восхитительное платье!*, *Какие великоленные розы!*, *Эта кастрюля роскошная!*; см. Wierzbicka 1985 и Wierzbicka 1991). Русская же речь отдает предпочтение гиперболам для выражения любых оценок, как положительных, так и отрицательных, и, в частности, моральных. Такая любовь к категорическим моральным суждениям, конечно же, является отголоском моральной и эмоциональной ориентации русской души.

6. Выводы

Наша предварительная попытка охарактеризовать русский язык как семантический и культурный универсум может показаться делом абсолютно безрассудным. Я согласна с тем, что подобного рода предприятия требуют определенного интеллектуального риска, который полностью отсутствует как в накоплении позитивистских языковых и иных сведений, так и в играх генеративистов (а также других лингвистов) с формальными моделями. Я думаю, однако, что стоит пойти на такой риск и хотя, возможно, благоразумно было бы избегать его в тот период, когда еще не выработаны адекватные исследовательские приемы в этой области, постоянные неудачи в их разработке едва ли будут составлять предмет вечной гордости лингвистов. Что же касается генеративистских и иных формальных моделей, то здесь прямым следствием отказа от риска явилось полное отсутствие сколько-нибудь серьезных результатов на пути более глубокого понимания сути культуры и каких-либо надежд на продвижение по этому пути.

О чем нельзя говорить, о том следует молчать, что нельзя исследовать, то не может стать объектом научного анализа. Но границы области, открытой для серьезного изучения, могут распространяться значительно дальше тех мест, которые, как принято считать под воздействием авторитетов современной лингвистики, являются предельными. В работе Nymes 1961:46 говорится: «Интерпретация когнитивных стилей и даже само признание факта их наличия сильно пострадали как от тех друзей, которые слишком часто рассматривали проблему в отрыве от различных типов контроля, характерных для культурно-исторических изысканий, так и от тех, кто придавал контролю чересчур большое значение, настолько большое, что при этом, казалось бы, многие хорошо известные исторические факты придется явно отбрасывать как ложные. Данную проблему следует освободить от всякой зависимости подобного рода, в первую очередь признав ее как таковую: как проблему описания и интерпретации аспекта культуры, одного из тех многих аспектов, которые могут и должны быть описаны и эмпирически и исторически, если соответствующая историческая или эволюционная теория культуры претендует на то, чтобы быть вполне адекватной. Пример соединения проблемы когнитивных стилей с типологией мы находим в работе Сепира. Обоснованность и важность такого соединения подтверждаются, с одной стороны, тем, что типологический контекст может придать необходимую силу собственно анализу когнитивного

стиля, а, с другой стороны, должное внимание к когнитивному стилю может усилить роль в типологии семантических параметров языка. Возможно, что, опираясь на понятие когнитивного стиля, связанного непосредственно с типологией, а также на некоторую теоретическую конструкцию, в рамках которой языки представлены как продукты исторического развития, удастся быть одновременно философски нейтральным, лингвистически точным и вместе с тем чуть рискованным» (Hymes 1961: 46).

Я согласна, что изучение связей между языком и культурой вообще и языком и «национальным характером» в частности в прошлом пострадали от друзей так же (по крайней мере, не меньше), как от врагов. Однако я полагаю, что естественный семантический язык, построенный на базе универсальных семантических примитивов, предоставляет нам более совершенный методологический инструмент, чем то, что было у наших предшественников, и что потому настала пора, когда «опасные», но исключительно важные и чрезвычайно привлекательные проблемы, с которыми мы здесь имели дело, снова должны попасть в центр внимания лингвистов.

Примечания

¹Я благодарна Юре Апресяну за то, что он привлек мое внимание к этому высказыванию.

²В современном русском языке слово *благородный* не используется так широко, как раньше, но все же встречается даже в разговорной речи. Согласно Засориной (1977) в корпусе, основанном на миллионе последовательных словоупотреблений, объединенная частота слова *благородный* и его дериватов равна 105 и, следовательно, может рассматриваться как относительно высокая.

Библиография

- АН СССР 1957-61. Словарь русского языка. 1957-61. 4 т. М.
 АН СССР 1960. Грамматика русского языка. М. 1960.
 Апресян, Ю.Д., Иомдин, Л.Л. 1989. Конструкции типа «негде спать»: синтаксис, семантика, лексикография. Семантика и информатика. Вып. 29: 34-92.
 Ахманова, О.С. и др. 1969. Русско-английский словарь. М.: Сов. энциклопедия.
 Виноградов, В.В. 1947. Русский язык. М.: Учпедгиз.
 Галкина-Федорук, Е.М. 1958. Безличные предложения в современном русском языке. М.: МГУ.
 Даль В.И. 1955 (1882). Толковый словарь живого великорусского языка. 4 т. М.: Гос. Изд-во Иностранных и Национальных словарей.
 Засорина, Л.П. и др. 1977. Частотный словарь русского языка. М.: Русский язык.
 Мельчук, И.А. 1974. О синтаксическом нуле. Типология пассивных конструкций. Ред. А.А. Холодович. Л.: Наука.
 Нисолаева, Т.М. 1985. Функции частиц в высказывании. М.: Наука.

Пешковский, А.М. 1956. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Учпедгиз.

Соловьев, В. 1966-70. Собрание сочинений. 14 т. СПб.: / Брюссель: Foyer Oriental Chrétien.

Федотов, Г. 1952. Новый град: сборник статей. Нью Йорк. Издательство имени Чехова.

Altmann, Hans. 1976. Die Gradpartikeln im Deutschen: Untersuchungen zu ihrer Syntax, Semantik und Pragmatik. Tübingen: Niemeyer.

Ameka, Felix. 1990. The grammatical packaging of experiencers in Ewe. Australian Journal of Linguistics (special issue on the semantics of emotions) 10, 2: 139-182.

Bally, Charles. 1920. Impressionisme et grammair. In: Mélanges d'histoire littéraire et de philologie offerts à M. Bernard Bouvier. Geneva: Sonor. Microfilm, British Museum 1976: 261-279.

Bauer, Raymond; Inkeles, Alex; Kluckhohn, Clyde. 1956. How the Soviet system works. Cambridge, MA.: Harvard University Press.

Boguslawski, Andrzej; Karolak, Stanislaw. 1970. Grammatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym. Warsaw: Wiedza Powszechna.

Bratus, B.V. 1969. The formation and expressive use of diminutives. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, Roger W.; Ford, Marguerite. 1964. Address in American English. In: Language in culture and society. Dell H.Hymes, ed. P.234-44. New York: Harper and Row.

Dench, Alan. 1982. Kin terms and pronouns of Panyjima language of Northwest Australia. Anthropological Forum 1:109-120.

Dixon, Robert M.V. 1980. The languages of Australia. Cambridge: Cambridge University Press.

Dostoevsky, Fyodor. 1974. The brothers Karamasov. Constance Garnett, transl. London: Heinemann

Dumont, Louis. 1986. Are cultures living beings? German identity in interaction. Man 21: 587-604.

Elmers, Willy. 1981. Diachronic grammar: The history of Old and Middle English subjectless constructions. Tübingen: Niemeyer (Linguistische Arbeiten 97).

Erikson, Erik H. 1963. Childhood and society. 2nd ed. New York: W.W.Norton.

Evtušenko, Evgenij. 1988. We humiliate ourselves. Time, June 27, 1988: 23-24 (перевод из «Литературная газета» № 19, Май 11, 1988).

Hale, Kenneth L. 1966. Kinship reflections in syntax: Some Australian languages. Word 22: 318-324.

Heath, Jeffrey; Merlan, Francesca; Rumsey, Alan, eds. 1982. Languages of kinship in Aboriginal Australia. Sidney: University of Sydney Press.

Heelas, Paul. 1984. Emotions across cultures: Objectivity and cultural divergence. In: Objectivity and cultural divergence. S.C.Brown, ed. P.21-42. Cambridge: Cambridge University Press (supplement to: Philosophy 1984).

Heelas, Paul; Lock, Andrew, eds. 1981. Indigenous psychologies. London: Academic Press.

Howell, Signe. 1981. Rules not words. In: Indigenous psychologies. Paul Heelas and Andrew Lock, eds. P.133-43. London: Academic Press.

Hymes, Dell H. 1961. On typology of styles in language (with examples from Chinookan). Anthropological Linguistics 3, 1: 22-54.

Hymes, Dell H., ed. 1964. Language in culture and society. New York: Harper and Row.

Iordanskaja, Lidija; Mel'čuk, Igor. 1981. On a class of Russian verbs which can introduce direct speech: constructions of the type 'Ostav'te menja! — isupugalsja bufetčik': lexical polysemy or semantic syntax? In: The slavic verb: An anthology presented to Hans Christian Sørensen. Per Jacobsen and H.L.Krag, eds. P.51-66. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger (Københavns Universitets Slaviske Institut, Studier 9).

Jarintzov, Nadine. 1916. The Russians and their language. Oxford: Blackwell.

Kemme, Hans-Martin. 1979. Ja, denn, doch usw.: Die Modalpartikeln im Deutschen. München: Goethe-Institut.

Kluckhohn, Clyde. 1961. Culture and behavior. New York: Free Press of Glencoe.

Kučera, Henry; Francis, Nelson. 1967. Computational analysis of present-day American English. Providence, R.I.: Brown University Press.

Langacker, Ronald. 1983. Foundations of cognitive grammar. Bloomington: Indiana University Linguistics Club.

Lutz, Catherine. 1988. Unnatural emotions. Chicago and London: University of Chicago Press.

Rappaport, Gilbert. 1986. On the grammar of simile: Case and configuration. In: Case in Slavic. Richard D. Brecht and James S. Levine, eds. P.244-279. Columbus, Ohio: Slavica.

Rathmayr, Renate. 1986. Les particules ont-elles une signification propre? Une approche pragmatique de la question. In: Université de Paris VII. Les particules énonciatives en russe contemporain. P.53-64. Paris: Département de Recherches Linguistiques (DRL), Laboratoire de Linguistique Formelle (ATP nouvelles recherches sur le langage, Coll. ERA 6432).

Roget's thesaurus of English words and phrases. 1984. Rev. ed. Susan M. Llood, ed. Harmondsworth: Penguin.

Ruffin, Bernard. 1985. The days of the martyrs. Huntington, In.: Our Sunday Visitor Inc.

Sapir, Edward. 1924. Culture, genuine and spurious. American Journal of Sociology 29: 401-429.

Scholz, Friedrich. 1973. Russian impersonal expressions used with reference to a person. The Hague: Mouton.

Solzhenitsyn, Aleksandr. 1968. The cancer ward. Rebecca Frank, transl. New York: Dial Press.

Tolstoy, Lev. 1928-37. Tolstoy centenary edition: The works of Leo Tolstoy. Louise Maude and Aylmer Maude, transl. 21 vols. London: Oxford University Press.

Université de Paris VII. 1986. Les particules énonciatives en russe contemporain. Paris: Département de Recherches Linguistiques (DRL), Laboratoire de Linguistique Formelle (ATP nouvelles recherches sur le langage, Coll. ERA 6432).

Van der Gaaf, W. 1904. The transition from the impersonal to the personal construction in Middle English. Anglistische Forschungen 14 (reprinted 1961, Amsterdam: Swets and Zeitlinger).

Vendler, Zeno. 1967. Linguistics in philosophy. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.

Walicki, Andrzej. 1980. A history of Russian thought from the Enlightenment to Marxism. Oxford: Clarendon Press.

Weydt, Harald. 1969. Abtönungspartikel: Die deutschen Modalwörter und ihre französischen Entsprechungen. Bad Homburg: Gehlen.

Weydt, Harald; Herden, Theo; Hentschel, Elke; Rösler, Dietmar, eds. 1983. Kleine deutsche Partikellhre. Stuttgart: Klett.

Wierzbicka, Anna. 1985. Different cultures, different languages, different speech acts: Polish vs. English. Journal of Pragmatics 9, 2: 145-178.

Wierzbicka, Anna. 1987. English speech act verbs: A semantic dictionary. Sydney: Academic Press.

Wierzbicka, Anna. 1990. *Duša* ('soul'), *toska* ('yearning'), *sud'ba* ('fate'): three key concepts in Russian language and Russian culture. In: Z. Saloni, ed., *Metody formalne w opisie języków słowiańskich*. Białystok, P. 13-36.

Wierzbicka, Anna. 1990. Prototypes save: On the uses and abuses of the notion of 'prototype' in linguistics and related fields. In: Meanings and prototypes: Studies in linguistic categorization. S.L. Tsahatzidis, ed. P.347-371. London: Routledge and Kegan Paul.

Wierzbicka, Anna. 1991. Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction. Berlin: Mouton de Gruyter.

ЛИЧНЫЕ ИМЕНА И ЭКСПРЕССИВНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ*

Personal names and expressive derivation. In: Wierzbicka, Anna. 1992. Semantics, culture and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations. New York: Oxford University Press. Ch.7, P.225-307.

Во многих языках, например во многих славянских и романских, экспрессивное словообразование играет роль, которую трудно переоценить. В частности, просто огромна функциональная нагрузка так называемых уменьшительных суффиксов. Однако семантика таких суффиксов (и других связанных с ними морфологических средств) никогда не была предметом глубокого изучения, не разработана и методология, обеспечивающая их строгое исследование. Ярлыки вроде 'уменьшительный' или 'увеличительный', которые могут быть полезны в качестве указателей на определенные области значений, оказываются совершенно неприменимы в качестве инструмента серьезного семантического анализа. Даже в рамках одного языка за каждым подобным ярлыком скрывается широкий спектр различных функций, природа и взаимодействие которых остаются загадкой (как правило, не признаваемой). Когда же дело доходит до межъязыковых сопоставлений, неадекватность таких ярлыков как инструмента анализа оказывается еще более очевидной.

В этой главе я попытаюсь разработать методологию, обеспечивающую исследование экспрессивного словообразования. В качестве материала для иллюстраций я в основном буду использовать русский и польский языки. Но, чтобы облегчить понимание предлагаемого здесь подхода читателю, незнакомому с этими языками, я начну с анализа данных английского языка. В некотором смысле, необходимость именно такой методологии в случае английского менее очевидна, чем для языков типа русского. Ограниченное число случаев, в которых английский использует экспрессивное словообразование, позволяет думать, что нескольких условных ярлыков вроде 'формальный' и 'неформальный', 'ласка-

* From *Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations* by Anna Wierzbicka. Copyright © 1992 Anna Wierzbicka. Reprinted by permission of Oxford University Press, Inc.

тельный' и 'нейтральный' вполне достаточно. Тем не менее ниже я попытаюсь показать, что даже для английского эти ярлыки не дают адекватного описания. В то же время относительно скромная роль экспрессивного словообразования в английском в сочетании с доступностью данных этого языка делает английские личные имена прекрасным полигоном для предварительного исследования.

1. Английские личные имена

Ван Бурен (Van Buren 1977:112) делит американские первые личные имена на мужские и женские, а внутри каждого из этих макроклассов вводит деление на полные имена (например, Thomas 'Томас', Pamela 'Памела'), уменьшительные имена (например, Tom 'Том', Pam 'Пэм') и ласкательные уменьшительные имена (например, Tommy 'Томми', Pammie 'Пэмми'). При этом он пытается приписать каждой из этих трех категорий постоянное прагматическое значение (такое, как формальность, неформальность и мужские, женские и детские коннотации). Его цель — показать, что «инвентарь и употребление американских имен» образуют систему, которая, как любая система, может быть усвоена носителями других языков (1977:128). Я согласна с тем, что, несмотря на индивидуальные, социальные и местные различия, существует базовая система, и поэтому исследование Ван Бурана кажется мне достаточно ценным и педагогически полезным. Однако, с моей точки зрения, его описание слишком упрощенно и механистично, чтобы адекватно объяснить, как же на самом деле функционирует система американских личных имен.

Прежде, чем показать, в чем именно состоит упрощение и механистичность, я бы хотела указать на несколько простых фактов, которые могли бы смутить читателя и исказить системную природу обсуждаемого явления.

Во-первых, в этой области так же, как и в любой другой, различные местные варианты могут отличаться друг от друга. Так, например, Dave 'Дейв' — стандартная краткая форма имени David 'Дэвид' для американского варианта английского языка, но не для австралийского. Подобные различия заслуживают отдельного исследования и здесь обсуждаться не будут.

Во-вторых, каждое собственное имя имеет собственную историю, собственную частотность и собственные ассоциации. Например, Pammie обычно считается более детским именем, чем Katie 'Кэти', хотя обе эти формы являются дет-

скими именами. Такие индивидуальные различия, бесспорно, существуют и заслуживают изучения, но они представляют собой непрерывную шкалу, и поэтому их надо отличать от дискретных категориальных различий типа противопоставления Pam и Kate 'Кейт' с одной стороны и Pammie и Katie 'Кэти' с другой (ср. раздел 3.5.2.).

В-третьих, семантика личных имен слишком обширная область, чтобы мы могли обсудить ее здесь во всех деталях. Поэтому то, что покажется читателю примерами, противоречащими предложенным здесь обобщениям, в действительности может оказаться примерами более частных закономерностей, которые из-за ограниченного объема просто не обсуждались. Например, если формы Jimmy 'Джимми' или Gracie 'Грэси' несколько отрубленно описываются как 'детские', может показаться, что это противоречит их обычному использованию по отношению к таким известным людям, как Джимми Картер (Jimmy Carter) или Грэси Аллен (Gracie Allen). Однако, на самом деле, имена политиков и других знаменитых людей образуют отдельную категорию, в которой действуют особые правила (ср. Rounton 1982:265).

Я предвижу еще одно возражение: «разные формы имен распространены в разных слоях общества и выбор между формами Patricia 'Патриция', Pat 'Пэт', Trish 'Триш' и Patty 'Пэтти' осуществляется так же, как выбор форм Mum, Mother или Mummy (мама, мать, мамочка), т. е. в зависимости от социального статуса говорящего — так что все это не имеет никакого отношения к семантике». На самом деле семантические и социальные объяснения несколько не противоречат друг другу. Наоборот, социальные различия можно объяснить через семантические. Например, в подязыке данного социального слоя модальные компоненты в Mum (или в Pat) могут выделяться яснее, чем модальные компоненты в Mother или в Patricia (см. раздел 1.1.).

И так далее. Здесь невозможно обсудить все, и тем более невозможно обсуждать все одновременно, поэтому я попрошу читателей набраться терпения и не забывать о системном характере использования личных имен только потому, что различия в их употреблении бывают (или кажется, что бывают) разнообразны, несистемны и недискретны.

С учетом всего сказанного почему все же следует считать три категории Ван Бурана (полные имена, уменьшительные имена и ласкательные уменьшительные имена) упрощением и свидетельством механистического подхода?

Для начала можно отметить, что такие полные имена, как Thomas и William 'Уильям' имеют другое прагматическое значение, чем, например, Andrew 'Эндрю', Martin 'Мартин'

или Matthew 'Мэттью', точно так же и женские имена Pamela и Katherine 'Кэтрин' имеют другое прагматическое значение, чем, например, Helen 'Элен', Ruth 'Рут', Janet 'Дженет' или Clare 'Клэр'. Чаще всего полные имена маркированы тогда, когда у них есть немаркированные стандартные сокращения (например, Tom вместо Thomas, Bill 'Билл' вместо William, Pam вместо Pamela и Kate вместо Katherine), и немаркированы, если таких сокращений нет (например, Martin или Clare). Если в обращении используются полные имена Thomas или Pamela, создается впечатление, что они выбраны специально с какой-то целью вместо ожидаемых стандартных сокращений (Tom и Pam), чего нет в случае с употреблением полных имен Martin и Clare. Иногда, впрочем, полные имена могут употребляться как немаркированные, даже несмотря на наличие стандартных немаркированных сокращений, например, Michael 'Майкл' — Mike 'Майк', Matthew — Matt 'Мэтт', Stephen 'Стивен' — Steve 'Стив', David — Dave).

Рассмотрим в качестве примера первый абзац подлинного письма, которое автор получил из бухгалтерской фирмы:

Дорогой Клиент,
уведомляем Вас, что Крис Фирон (Chris Fearon) и Стивен Бреннан (Stephen Brennan) совместно с Биллом Боудом (Bill Bowd) открывают практику в Дикине с 1-ого июня 1988 г.

Имена Christopher 'Кристофер' и William маркированы, и поэтому в письме употреблены сокращения Chris и Bill, тогда как имя Stephen немаркировано и поэтому приведено полностью. Впрочем сокращение Steve тоже немаркировано, и это же письмо так и подписано (от руки): Steve Brennan, Chris Fearon.

Аналогичным образом 'уменьшительные' Tom, Bill или Bob 'Боб' отличаются по значению от имен Ger 'Джер' или Ter 'Тер', хотя Ван Бурен и относит их к одной категории. И точно так же женские «уменьшительные» Pam, Kate или Sue 'Сью' отличаются по значению от Deb 'Деб', Pen 'Пен' или Beck 'Бек', а их Ван Бурен также относит к одной категории. Причина этих различий в том, что Tom, Bill и Bob — немаркированные краткие формы имен Thomas, William и Robert 'Роберт', а Pam, Kate и Sue — тоже немаркированные краткие формы имен Katherine, Pamela и Susan 'Сюзан', в то время как Ger и Ter вообще не являются стандартными и немаркированными сокращениями, так же, как и Deb, Pen или Beck. Для имен Deborah 'Дебора' или Penelope 'Пенелопа' формы на -ie/-y (Debbie 'Дебби' или Penny 'Пенни') следует, скорее, считать стандартными немаркированными сокращениями, чем

«ласкательными» или «детскими» производными от Deb или Pen. Так же Terry 'Терри' и Gerry 'Джерри' выполняют роль стандартных сокращений от Terence 'Терренс' и Gerald 'Джеральд', а не 'ласкательных' или 'детских' производных от Ter и Ger.

Таким образом, несмотря на все индивидуальные, социальные и местные различия, мы все же можем утверждать, что в некотором смысле Bobby 'Бобби' = Jimmy или Pammy = Ruthie 'Рутти', но никак не можем сказать, что Bobby = Terry или Debbie = Pammy. Следовательно, нам необходимо выделить не три категории (полные имена, уменьшительные имена и ласкательные уменьшительные имена), а по крайней мере шесть: немаркированные полные имена (например, Martin, Clare) и маркированные полные имена (например, William, Deborah); немаркированные краткие формы (например, Tom, Pam) и маркированные краткие формы (например, Ter, Ger, Deb, Pen); немаркированные формы на -ie/-y (например, Penny, Debbie, Terry, Jerry 'Джерри') и маркированные формы на -ie/-y (например, Jimmy, Bobby, Pammy, Ruthie).

Я говорю «по крайней мере», потому что возможны случаи, когда мужским и женским именам приписываются разные значения. Так, Ван Бурен утверждает, что у сокращений типа Bob, Bill или Tom есть дополнительное мужское значение, и это наблюдение кажется мне вполне справедливым. Краткость этих форм и характерная для них фонетическая структура (CVC) как бы подчеркивают идентификацию самих имен с лицами мужского пола. А поскольку стандартные сокращения многих женских имен имеют другую фонетическую структуру (два слога с конечным суффиксом -ie/-y, например, Debbie или Cindy 'Синди'), то кажется, что в значении односложных сокращений подчеркивается некий мужской компонент.

С логической точки зрения мне вполне понятно, почему Ван Бурен выделяет мужской компонент в значениях кратких форм некоторых женских имен, например, Pam, Jill 'Джилл', Kate или Sue. Они тоже состоят из одного слога и противопоставлены таким чисто женским именам как Debbie или Cindy. Однако, кроме теоретических рассуждений, основанных на механическом сравнении форм, вряд ли можно привести еще какие-либо факты, подтверждающие эту идею. А интуиция носителей языка работает в несколько ином направлении. Все носители языка, с которыми я консультировалась, согласны, что имена Pam, Jill, Kate или Sue не являются нежными, детскими или типично женскими именами (по

сравнению с Дебби или Синди), но мужского в этих именах также ничего нет.

Данные, полученные от информантов, показывают, что хотя и имеется определенная симметрия между внешними и функциональными свойствами имен, но эта симметрия гораздо менее механистична, чем предполагает Ван Бурен. В односложных кратких формах нас должно интересовать не присущее им особое значение, а результат морфологического процесса сокращения. Похоже, что сокращение типично мужских имен (например, Robert, William или James 'Джеймс'), так сказать, подчеркивает их мужской характер, в то время как сокращение типично женских имен (например, Pamela, Katherine или Susan) приводит, скорее, к снижению их «женственности». Оба эти эффекта носят иконический характер и основаны на звуковом символизме, но не так, как предполагает Ван Бурен:

William (мужское имя) — Bill (подчеркнута идея «мужественности»; прототип: мужчина или мальчик)

Pamela (женское имя) — Pam (ослаблена идея «женственности»; прототип: человек)

Deborah (женское имя) — Debbie (подчеркнута идея «женственности»; прототип: женщина, девочка или ребенок)

Соответственно, я истолковала краткие формы мужских имен типа Bob, Bill или Tom в терминах 'мальчики и мужчины', краткие формы женских имен типа Debbie или Cindy — в терминах 'женщины и девочки' (а также 'дети'), а краткие формы женских имен типа Pam или Kate — в терминах 'люди'. Разумеется имена Pam и Kate могут относиться только к лицам женского пола, но это определяется тем, что соответствующие полные имена относятся к женщинам или девочкам. В самих же кратких формах идея соотношенности с лицами женского пола не содержится. Позже в этом разделе я вернусь к данной проблеме.

Более того, я думаю, что женским формам на -ie/-y (Debbie или Penny) и мужским формам на -y (Gerry или Jerry) надо приписывать разные значения. Правописание форм мужских имен через -y, а не через -ie подтверждает это предположение. Такие «детские» мужские имена как Billie 'Билли', Eddie 'Эдди' или Frankie 'Фрэнки' могут писаться и через -ie, и через -y, но эти формы воспринимаются как производные от Bill, Ed 'Эд' и Frank 'Фрэнк'. Стандартные же формы на -y Gerry или Jerry не воспринимаются как производные от Ter или Jer. Таким образом, произведя соответствующие изменения, мы видим, что краткие мужские формы на -y (Gerry, Jerry) имеют

то же прагматическое значение, что и женские краткие формы, оканчивающиеся на согласный (Pam, Kate). Мужские краткие формы с «немужской» фонетической структурой частично теряют мужской характер, присущий соответствующему полному имени, так же, как женские краткие формы с «неженской» фонетической структурой частично теряют женский характер, присущий соответствующему полному женскому имени:

Gerald (мужское имя) — Gerry (мужской характер имени не подчеркнут; прототип: человек)

Pamela (женское имя) — Pam (женский характер имени не подчеркнут; прототип: человек)

Тот факт, что мужские краткие формы Gerry (Jerry), Terry могут использоваться для называния женщин тоже говорит в пользу именно такого понимания.

Прежде чем предложить толкования и показать, как прагматические значения, скрытые в личных именах, могут быть выражены на естественном семантическом метаязыке, я бы хотела сделать несколько общих замечаний, без которых эти толкования могут оказаться непонятными. Во-первых, значение данной формы, представленное в толковании, зависит от того, с какими формами она конкурирует или, точнее, какие формы воспринимаются как конкурирующие с данной. Так, кажется, что форма James (в качестве обращения или в конкретно-референтном употреблении) конкурирует с формой Jim 'Джим' и с формой Mr Herriot (Mr X) 'мистер Херриот (мистер Икс)', но не с Jimmy, поскольку выбирая в качестве обращения форму James, говорящий тем самым показывает, что Mr Herriot в этой ситуации было бы слишком официально, а Jimmy, наоборот, слишком неофициально и подошло бы, скорее, для обращения к мальчику. Употребление формы Jimmy подразумевает выбор между ней и формой Jim, а не формами James или Mr Herriot, и точно так же употребление формы Jim обычно означает, что эту форму предпочли именно форме Jimmy.

Разумеется, в реальном общении между людьми могут существовать особые соглашения, противоречащие тем, которые характерны для системы в целом. Например, если мать обычно называет своего маленького сына Jimmy, и только изредка Jim, то в ее речи Jim воспринимается как маркированная форма по отношению к Jimmy. Однако и факт постоянного предпочтения формы Jimmy тоже значим (грубо говоря, такое обращение показывает, что она относится к нему как к ребенку, а не как к мужчине или «большому мальчи-

ку»), и значим именно потому, что существуют определенные постоянные значения, присущие формам Jimmy или Jim. Значения эти определяются самой системой и не зависят от личных соглашений. В системе Jim не маркировано по отношению к Jimmy или James; Pam не маркировано по отношению к Pamela или Pammie, Cindy не маркировано по отношению к Cynthia 'Синтия'; Debbie не маркировано по отношению к Deborah или Deb; Andrew не маркировано по отношению к Andy 'Энди' и т. д. Личные соглашения могут накладываться на соглашения, принятые в обществе, но не могут их отменять.

Второе общее замечание касается экспрессивных возможностей разных имен. На первый взгляд может показаться, что одно полное имя, например Andrew, ничем не отличается от любого другого, например, Timothy 'Тимоти', а «уменьшительные» на -ie/-y в свою очередь не отличаются друг от друга, например, Debbie от Pammie. На самом деле это не так. Timothy — это маркированное полное имя, и как форма обращения оно получает определенное экспрессивное значение, которого нет у немаркированного полного имени Andrew. Сходным образом Debbie — это немаркированная краткая форма имени Deborah (хотя в нем и присутствует определенная эмоциональная теплота и апелляция к «женственности» собеседницы), следовательно, оно обладает таким экспрессивным значением, которого нет у имени Pamela, так как немаркированная краткая форма этого имени Pam, а не Pammie. Pammie звучит ребячливо и тепло, тогда как Debbie может звучать просто тепло без какого бы то ни было оттенка детскости.

Называя своих детей, родители, конечно, могут принимать во внимание степень экспрессивности разных имен, но не могут изменять ее по своему желанию.

В-третьих, утверждение о том, что разные формы имен образуют систему, в которой определенным категориям соответствуют постоянные значения, вовсе не противоречит тому, что некоторые имена или группы имен обладают особыми индивидуальными свойствами. Например, редкие имена вроде Prudence 'Пруденс' или Gertrude 'Гертруда' могут восприниматься как более «маркированные» по сравнению с распространенными Deborah или Thomas. Так же для некоторых людей значения ветхозаветных имен, таких как Joshua 'Джошуа' или Jonathan 'Джонатан' могут иметь «совершенно другое значение», чем новозаветные Peter 'Питер', (т. е. *Петр*) или Paul 'Пол', (т. е. *Павел*), а христианские имена, такие, как Mary 'Мэри' или Clare могут иметь «совершенно другое значение», чем «придуманные» имена вроде Raylene 'Рейлен' или

Kelly 'Келли'. Имена французского происхождения, такие, как Michelle 'Мишель' или Nicole 'Николь', могут восприниматься иначе, чем, скажем, русские заимствования вроде Natasha 'Наташа' или Tanya 'Таня' и т. д. Я отношусь не отрицаю существования таких различий, но думаю, что они не зависят от дискретных категориальных различий в системе, например, от различий между маркированными полными именами (типа Pamela или James) и немаркированными полными именами (типа Mary или John 'Джон').

И наконец, надо отметить, что полисемия распространена среди имен так же, как и среди других слов естественного языка. Например, Sally 'Сэлли' может быть и немаркированным полным именем, и краткой формой имени Sarah 'Сара'; Suzie 'Сьюзи' может быть немаркированной краткой формой аналогичной Debbie или Cindy или маркированной 'детской' формой аналогичной Pammie или Ruthie; Vic 'Вик' может быть стандартным сокращением имени Victor 'Виктор' или вторичным образованием от Vicki 'Вики' (от полного Victoria 'Виктория'). Естественно, таким формам надо приписывать не одно значение, а два. Но это не значит, что формы вроде Sally или Vic «расплывчаты и не поддаются описанию».

Теперь, после этих основных замечаний, я предлагаю следующий набор толкований:

Стандартные мужские краткие формы (например, Tom, Jim, Bill)

я хочу говорить с тобой так, как говорят с мужчинами и мальчиками, которых знают хорошо

Стандартные женские краткие формы (например, Pam, Kate, Sue)

я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо

Ориентированные на обращение к детям формы на -ie/-y (например, Jimmy, Tommy, Pammie, Ruthie)

я хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми, которых знают хорошо и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства

Стандартные женские формы на -ie/-y (например, Debbie, Pammie)

я хочу говорить с тобой так, как говорят с девочками и женщинами, которых знают хорошо, или с детьми

Формы на -у с невыраженным полом (например, Terry, Jerry)
я хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых знают хорошо

Нестандартные краткие формы, вторичные образования от
форм на -ie/-y (например, Deb от Debbie, Pen от Penny, Sal
'Сэл' от Sally)

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых знают хорошо
я не хочу говорить с тобой так, как говорят
с девочками и женщинами, которых знают хорошо, и с деть-
ми
я испытываю какие-то хорошие чувства по отношению к тебе, не
такие, какие испытывают по отношению к детям

Немаркированные полные формы мужских и женских имен
(например, Ruth, Clare, Andrew, Martin)

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых не знают хорошо

Маркированные полные формы мужских и женских имен
(например, James, Deborah)

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых не знают хорошо
я не хочу говорить с тобой так, как говорят
с мальчиками и девочками
я хочу говорить с тобой так, как не говорят с детьми

Теперь, по порядку, некоторые комментарии и объясне-
ния. Прежде всего, эти формулы составлены для употребле-
ний имен в качестве форм обращения. Когда же имя
употребляется референтно, мы просто должны в толковании
заменить слова 'с тобой' на слова 'об (человеке) X', например:

'я хочу говорить с тобой так, как говорят с мальчиками...' →
'я хочу говорить об X так, как говорят о мальчиках'

При этом я не имею в виду, что любая форма, например
Janey 'Дженни' или Deb, всегда воспринимается одинаково,
независимо от того, как она употреблена (в качестве обра-
щения или как конкретно-референтная форма). Обычно в
речи чувства выражаются, скорее, по отношению к собесед-
нику, чем по отношению к третьему лицу, и ласкательное
имя, употребленное референтно, будет звучать непривычно и
получит дополнительную эмоциональную нагрузку по срав-
нению с употреблением этой формы как обращения. И дей-
ствительно, некоторые очень экспрессивные формы имен

(такие, как *Светик* или *Люсик* в русском языке или *Basiulka*
'Басюлька' или *Ewulka* 'Эвулька' в польском) нормально
употребляются только как формы обращения. Это, однако,
не означает, что модальность, содержащаяся в форме, ис-
пользуемой в качестве обращения, должна быть предствима
в семантической формуле иначе, чем модальность соответ-
ствующей референтной формы.

Более того, хотя мы и говорим, что имена образуют си-
стему, на самом деле они входят в более широкую систему
форм обращения и референтных форм, которая включает в
себя также комбинации имен с фамилиями, фамилий с титу-
лами, просто титулы и т. д. Например, формы обращения
James или Pamela противопоставлены не только кратким
формам Jim или Pam, но и комбинациям, например James
Herriot или Mr Herriot. Если не учитывать этого, то непонят-
но, почему таким полным именам, как James или Pamela,
приписывается еще и компонент «квази-близости»: 'Я не хочу
говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых не
знают хорошо'. Это, однако, не мешает полным именам вроде
James или Pamela обозначать «дистанцию», «официаль-
ность», «отсутствие близости» и т. п. Но, во-первых, я не
приписала этим именам компонент близости: 'Я хочу гово-
рить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хо-
рошо' (как именам Bob или Sue), а только компонент квази-
близости: 'Я не хочу говорить с тобой так, как говорят с
людьми, которых не знают хорошо'. И, во-вторых, впечатле-
ние серьезности и официальности, возникающее от этих
имен, нужно относить на счет компонента 'Я хочу говорить
с тобой так, как не говорят с детьми'.

Ван Бурен (Van Buren 1977: 114) подчеркивает, что по от-
ношению к детям полные имена звучат неодобрительно и что
«чем детей сильнее ругают, тем более полные формы имен
при этом используют». (Например: Jessie, no 'Джесси, нет',
Jessica, don't do that! 'Джессика, не смей этого делать!') Кроме
того, что таким свойством обладают только маркированные
полные имена, у которых есть немаркированные краткие
формы (т. е. James или Jessica, но не Martin или Clare), надо
отметить также, что 'неодобрительная' коннотация никак не
может являться частью инвариантного значения таких форм.
Отец может похвалить сына, сказав: Well done, James! 'Моло-
дец, Джеймс!', но может также и одернуть: Stop it at once,
James! 'Прекрати сейчас же, Джеймс!'. То общее, что есть в
обоих употреблениях, как раз и содержится в компоненте 'Я
хочу говорить с тобой так, как (обычно) не говорят с детьми'.

Подобную семантику взаимодействия до некоторой сте-
пени можно объяснить как существованием устойчивых лич-

ных соглашений, так и вариативностью употребления имен. Например, если при определенных отношениях мальчика называют Jim, James или Jimmy, то выбор одной из форм в зависимости от настроения говорящего ясно описывается предложенными здесь семантическими формулами. Но и при особых отношениях (как, например, между Элен и Джеймсом Херриотом в рассказах Джеймса Херриота (1986) «Собачья история» и в телесериале по мотивам этой книги), если один человек всегда называет другого James (а не Jim или Jimmy), то такое употребление также может быть объяснено в терминах этих семантических формул. Например, компонент 'Я хочу говорить с тобой так, как не говорят с детьми' очень хорошо укладывается в общий жанр этих особых отношений. (Когда у Джеймса и Элен появляется сын, которого тоже зовут James, естественней всего предположить, что обычно они называют его Jimmy, а не James.)

Выбор значений взаимодействия, однако, не всегда оказывается свободным. Например, если какую-то женщину нам представили как Katie и если она сама называет себя Katie и ожидает от нас того же, то, говоря с ней или о ней, мы чувствуем себя обязанными употреблять эту форму, даже если нам кажется, что к нашим отношениям лучше подходит какое-то другое значение взаимодействия (например, характерное для полного имени). То же самое, если маленькая симпатичная девочка настаивает, чтоб ее называли Cynthia, мы считаем, что так мы и должны ее называть. Но это не значит, что в этом случае у форм Katie или Cynthia нет никакого прагматического значения взаимодействия или есть какое-то другое значение по сравнению с той же формой, но выбранной говорящим по своему желанию. Выбор определенного слова или выражения может диктоваться обстоятельствами или нормами, принятыми в обществе (например, *Очень приятно Вас видеть* или *Очень приятно было познакомиться*). Но это не значит, что первоначальное значение исчезло.

В отличие от маркированных полных имен вроде James, немаркированные полные имена, такие, как Matthew или Ruth, не воспринимаются как взрослые и серьезные, их достаточно часто применяют и к детям. Соответственно, в них я не постулирую компонента 'Я хочу говорить с тобой так, как не говорят с детьми' (см. раздел 1.1). Но зато им приписан компонент квази-близости 'Я не хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых не знают хорошо'. Я не приписала им и компонента истинной близости 'Я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают

хорошо' с тем, чтобы таким образом отличить их от кратких форм (вроде Bob или Kate).

Кроме того, надо сказать, что предложенные толкования, в основном, сформулированы не как необходимые условия, а, скорее, в терминах прототипов. Например, я не утверждаю, что, называя кого-то Jimmy или Bobby, говорящий передает сообщение 'Я думаю о тебе, как о ребенке' или 'Я испытываю какие-то хорошие чувства по отношению к тебе'. Скорее, говорящий передает более косвенное сообщение: 'Я хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми, которых знают хорошо или по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства'. Если адресат — маленький ребенок (а говорящий — взрослый), то обращение в форме Jimmy или Bobby, конечно, может передавать некую теплоту и отношение старшего к младшему. Если оба (и адресат, и говорящий) — дети, то формы Jimmy или Bobby не маркированы, они не подразумевают никакой теплоты и даже могут быть совместимы с «плохими чувствами». Но все же основной смысл 'Я хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми, которых знают хорошо' совместим и с таким употреблением. Если же речь идет о взрослом человеке (или если адресат — взрослый), то формы Jimmy или Bobby могут звучать покровительственно и восприниматься как обращение сверху вниз или иметь оттенок пренебрежительности (как, например, в пьесе Александра Бузо «Мальчики из передней», когда форма Penny используется для обращения к мелкой служащей), но и в этом случае такое впечатление совместимо со смыслом 'Я хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми' и объяснить его можно в тех же терминах.

С другой стороны, вторичные образования (Beck от Penny, Vic от Vicky, Deb от Debbie) тоже выражают «хорошие чувства» и своего рода претензию на «особые отношения». Случайные или недавние знакомые легко могут начать называть женщину Penny, Vicky или Debbie, но никогда не назовут ее Pen, Vic или Deb. Вторичные образования такого рода несут на себе оттенок игривого отрицания, как если бы говорящий хотел сказать: «Я не хочу употреблять эту скучную и конвенциональную форму на -ic/-y, которую кто угодно может употребить по отношению к знакомой женщине или к ребенку; у нас особые отношения, и я хочу употребить что-нибудь особенное». Например, в лобной англо-саксонской школе девочки могут называть своих близких друзей Pen, Deb или Vic, но учителя будут называть их Penny, Debbie или Vicky, а не Pen, Deb или Vic, потому что учителю неудобно устанавливать «особые отношения» с учеником.

Личные отношения «особого рода» предполагают и такие австралийские имена как Johnno 'Джонно', Sallo 'Сэлло' или Bronno 'Бронно' от Bronwyn 'Бронвин', а также такие формы на -z или -za, как, например, Baz, Bazza 'Баз, Базза' от Barry 'Барри', или Kez, Kezza 'Кез, Кезза' от Kerry 'Керри' (см. также Poynton 1982).

Как уже говорилось, Ван Бурен (Van Buren 1977:122) утверждает, что «уменьшительные имена имеют мужские коннотации, а ласкательные уменьшительные имена — женские, в особенности это касается взрослых имен», в подтверждение чего он приводит обращение к президенту США Джону Ф. Кеннеди, которого «в народе и в средствах массовой информации называли President Jack 'Президент Джек', но никогда Jackie 'Джеки'; а его жену, наоборот, — Jackie, но никогда Jac 'Жак' (уменьшительное имя от Jacqueline 'Жаклин').

Это наблюдение весьма интересно, но из него сделан не совсем правильный вывод. Когда президента Никсона называли Tricky Dick 'Хитрый Дикки', то это, конечно же, выражало пренебрежение по отношению к нему, но отнюдь не женские коннотации. Этот эффект имени Dick достаточен хорошо объясняется детскими коннотациями, свойственными именам вроде Bobby, Jimmy или Johnny 'Джонни', в особенности в сочетании с прилагательным tricky.

Точно так же было бы неправильно утверждать, что в английском языке все «уменьшительные» (т. е. краткие формы Kate, Sue, Bob или Liz 'Лиз') имеют мужские коннотации. Если нам кажется, что в формах Kate, Sue или Liz содержатся мужские коннотации, то только потому, что в них не выражены женские коннотации, свойственные женским формам на -ie/-y вроде Debbie, Vicki или Penny. Поэтому при описании последних форм мы включаем в их толкование отсылку к 'девочкам и женщинам', но при этом не следует включать отсылку на 'мужчин' в толкование первых. Существует разница между наличием мужских коннотаций и отсутствием женских: выбирая форму, в которую не включены женские коннотации, вместо формы, в которой такие коннотации есть, мы создаем стилистический эффект чего-то 'анти-женского'. Но с точки зрения семантики в формах Kate, Sue, Liz или Pam мужских коннотаций нет.

Это же касается и вторичных образований вроде Deb, Vick, Pen или Beck: у них нет мужских коннотаций, хотя они и противопоставлены Debbie, Vicki, Penny или Beckie, поскольку в формах на -ie/-y содержатся женские коннотации, а у вторичных образований их нет.

Что же касается того, почему пресса не называла Жаклин Кеннеди Jac, то, по-моему, дело здесь не столько в «мужских свойствах» английских «уменьшительных», сколько в особом ласковом отношении, которое имплицировано во всех вторичных образованиях (Deb, Pen, Beck или Jac (Jack)), очень распространенных в австралийском английском. В австралийской школе, в которой училась одна из моих дочерей, была девочка Jackie, которую близкие друзья, в отличие от учителей, часто называли Jac/Jack; то же самое и с девочками Lydia 'Лидия' и Alison 'Элисон', которых друзья часто называли Lyd 'Лид' и Al 'Эл', а учителя — никогда. Мне кажется, что вторичные образования такого рода распространены в Австралии шире, чем в США, но в любом случае, ограничения на их употребление связаны не с их мужскими коннотациями, а с тем, что такие имена подразумевают наличие «особых отношений».

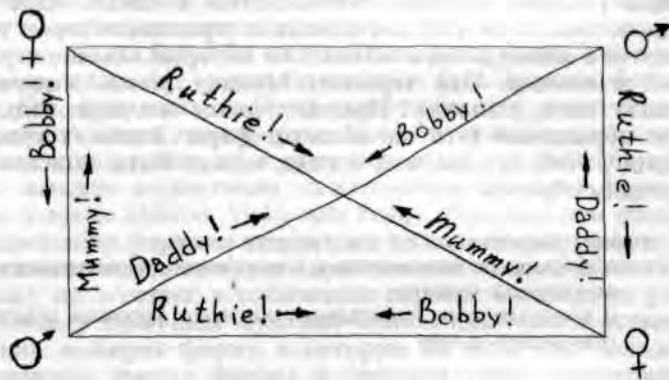
1.1. Термины семейного родства

Семантическая система, к которой принадлежат личные имена, в качестве подсистемы включает в себя также и термины родства, которые используются в семье. Ядро этой подсистемы образуют два основных термина, которые усваиваются в самом начале жизни и на которых обычно строятся все остальные. Это термины Mummy 'мама, мамочка' и Daddy 'папа, папочка'. Прагматическое значение этих слов как обращений (это же касается форм Auntie 'тетушка' и Granny 'бабуля'), на мой взгляд, может быть описано следующим образом.

я хочу говорить с тобой так, как дети говорят
с людьми, по отношению к которым они испытывают какие-то хорошие чувства
и которые сами испытывают какие-то хорошие чувства по отношению к ним

Разумеется, совсем маленький ребенок может не знать о таком значении форм Mummy и Daddy. Предположительно, этот имплицитный смысл Mummy и Daddy становится для ребенка частью его семантической системы только после того, как он усвоил альтернативные формы Mum 'мама' — Dad 'папа' и mother 'мать' — father 'отец'. Но сейчас нам важно знать, что представляет из себя само это значение, а не то, когда и каким образом оно усваивается.

С культурной точки зрения важен тот факт, что значение, приписанное формам Mummy и Daddy, может быть также приписано и формам Auntie и Granny (и устаревшей форме — nanny), в то время как для терминов «дядя» и «дед» соответствующих мужских форм не существует (естественно, что Granny не может пониматься как форма grandfather 'дед'). Также значимо (хотя культурно менее специфично; ср. Greenberg 1980) и то, что ни для родственников по «горизонтали», ни для родственников по нисходящей линии подобных параллельных форм тоже нет: см. brother 'брат', sister 'сестра', daughter 'дочь', grandson 'внук', granddaughter 'внучка', nephew 'племянник' и niece 'племянница'. Для сына в английском языке есть форма sonny, но она редко употребляется по отношению к собственному ребенку и имеет другое прагматическое значение, ср. Zwicky 1974:790. В этом отношении формы Mummy, Daddy, Auntie и Granny отличаются от ориентированных на обращение к детям личных имен вроде Bobby, Johnny или Ruthie, поскольку последние могут употребляться как горизонтально (между детьми), так и вертикально; однако во втором случае (прототипически) это будет употребление сверху вниз, а не снизу вверх (см. схему).



Таким образом, и термины родства на -ie/-y Mummy, Daddy (а также Auntie и Granny), и имена на -ie/-y (такие, как Bobby или Suzie) сосредотачиваются вокруг ребенка; однако обращения первого типа — это обращения ребенка к близкому и опекающему его взрослому, тогда как обращения второго типа направлены ребенку от любого близкого человека. Это различие отражено в следующих толкованиях:

Имена, адресованные детям (ребенок-цель; например, Bobby, Ruthie)

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с детьми, которых знают хорошо
и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства

Семейные термины, употребляемые детьми (ребенок-источник; Mummy, Daddy, Auntie, Granny)

я хочу говорить с тобой так, как дети говорят
с людьми, которые не являются детьми, которые делают им
что-то хорошее
и по отношению к которым они испытывают какие-то хорошие чувства

Я полагаю, что термины Mum и Dad надо рассматривать на фоне других обращений, которыми дети пользуются в более раннем возрасте. В сущности, эти термины представляют собой отказ от 'детских' форм Mummy и Daddy, но с признанием все еще существующей несимметричности отношений и сохранением какой-то близости, свойственной отношениям между детьми и родителями.

Будучи употреблены взрослым, эти формы звучат тепло (особенно, по сравнению с формами mother и father, о чем будет сказано чуть позже), но даже в речи подростка, несмотря на отказ от 'детских' отношений с родителями, сохраняется компонент значения: 'по отношению к которым они испытывают какие-то хорошие чувства'. Это двойное сообщение, содержащееся в формах Mum и Dad (употребленных в качестве обращений) может быть представлено так:

Не детские, но интимные (Mum и Dad)

я не хочу говорить с тобой так, как дети говорят
с людьми, которые не являются детьми
(и которые делают им что-то хорошее)
я не хочу говорить с тобой так, как люди, которые не являются
детьми, говорят с людьми, которые не являются детьми

Совершенно другой тип отношений между детьми и родителями представлен в формах Mother и Father, когда они употребляются как обращения. В них содержится утверждение равных отношений взрослого со взрослым и прямой отказ от проявления каких бы то ни было 'хороших чувств'. Это может быть представлено следующим образом:

Не детские, не интимные семейные термины (Mother и Father)

- я не хочу говорить с тобой так, как дети говорят с людьми, которые не являются детьми (которые делают им что-то хорошее и по отношению к которым они испытывают какие-то хорошие чувства)
- я хочу говорить с тобой так, как люди, которые не являются детьми, говорят с людьми, которые не являются детьми
- я не хочу проявлять хороших чувств по отношению к тебе

Из этой формулы ясно, что термины Mother и Father в некотором роде аналогичны маркированным полным именам, как, например, James или Deborah, употребленным в качестве обращения. Но смысл «отказа» у них разный: в выборе терминов Mother и Father вместо Mum и Dad содержится отказ от юношеской зависимости, тогда как формы James и Pamela отрицают саму возможность обращения к молодежи таким образом (поскольку они побеждают в конкуренции как с формами Jim или Pam, так и с обращениями типа Mr Herriot и Mrs Brown 'миссис Браун').

Структурное сходство между семейными терминами родства и личными именами, в самом деле, замечательно. Поэтому довольно соблазнительной кажется идея установить следующие семантические пропорции:

Mother : Mum : Mummy =
 Pamela : Pam : Pammy =
 Father : Dad : Daddy =
 James : Jim : Jimmy

В сущности, Ван Бурен (Van Buren 1977:123) и поддается этому соблазну, когда он пишет: «Даже термины, ... которые употребляются в рамках семьи, имеют ту же парадигму (полные имена, уменьшительные имена, ласкательные уменьшительные имена), а также обладают теми же коннотациями и образцами употребления, что и обычные личные имена».

Сказанное, однако, неточно и вводит в заблуждение. Mum и Dad замещают более ранние формы Mummy и Daddy и воспринимаются как проявления взросления. 'Уменьшительные' же имена вроде Jim или Pam вовсе не замещают Jimmy или Pammy (вряд ли, познакомившись с Jimmy или Pammy, мы потом переключимся на более «зрелые» формы Jim и Pam). В некотором смысле, формы Mum и Dad — анти-уменьшительные, поскольку они построены путем отбрасывания суффикса -ie/-y, который использовался до этого. И

здесь в большей степени есть аналогия с вторичными ласкательными образованиями (Deb, Vick, Beck или Pen), чем с немаркированными краткими формами (Jim или Pam). Но, с другой стороны, формы Mum и Dad — не обязательно ласкательные. Следовательно, ни с ласкательными вторичными образованиями, ни с немаркированными краткими формами точной параллели провести нельзя. Сходство есть, но есть также и различия. Поэтому неверно, что семейные термины «обладают теми же коннотациями и образцами употребления, что и обычные личные имена».

Категории «полные имена», «уменьшительные имена» и «ласкательные уменьшительные имена» слишком примитивны, чтобы с их помощью можно было адекватно описать или сравнить употребление семейных терминов родства и «обычных» личных имен в английском языке. Когда же дело доходит до межъязыковых сопоставлений, неадекватность этих категорий становится еще более очевидной.

2. Русские полные имена

В языках с таким богатым экспрессивным словообразованием, как в русском, любое трехчастное деление имен, аналогичное делению на полные имена, уменьшительные имена и ласкательные уменьшительные имена, просто немислимо из-за величайшего разнообразия альтернативных форм обращения (и референции), которое носителям «умеренного» языка, вроде английского, просто трудно себе представить. Например, исследование русской разговорной речи в городе Пензе и его окрестностях (Бондалетов, Данилина 1970) показало, что там используется не менее 80 различных экспрессивных суффиксов, каждый из которых имеет свое собственное прагматическое значение. В литературном языке число общепотребительных форм личных имен, вероятно, ближе к двадцати.

Что особенно важно, одно и то же имя, например Иван, может иметь довольно большое число разных производных форм, из которых говорящий выбирает наиболее подходящую. Этот выбор может в большей степени зависеть от ситуационного настроения говорящего и от особого отношения, которое он хочет выразить именно в этот момент, чем от каких-то постоянных жестких соглашений (как это обычно бывает в английском).

Некоторые исследователи пытались разобраться с этим богатством экспрессивных возможностей, постулируя большее число аналитических категорий. Например, Витковский

(Witkowski 1964) предложил для немецких и славянских имен более десяти категорий, среди которых *Koseform* (ласкательная), *Schmeichelform* (льстивая/вкрадчивая), *Scherzname* (шутливая), *Spottname* (дразнящая), *Stichelname* (язвительная), *Stochelname* (насмешливая) и *Scheltname* (ругательная) (ср. Бондалетов, Данилина 1970:195). Для русского языка Суперанская (1969) предлагает другую сеть значений:

1. Краткое имя (без «эмоционально нагруженных» суффиксов), например, *Юра*

2. Формы с суффиксами «субъективной оценки»:

- (а) ласкательная, например, *Юрочка*
- (б) уменьшительная, например, *Юрик*
- (в) фамильярная/вульгарная, например, *Юрка*
- (г) поддразнивающая, например, *Юрище*
- (д) пренебрежительная, например, *Юрашка*
- (е) уничижительная, например, *Юришка*
- (ж) презрительная, например, *Юрище*

(впрочем, мои информанты отрицают существование некоторых из этих форм). В любом случае, однако, переводить десятки экспрессивных категорий в описательные прилагательные типа «ласкательный» или «поддразнивающий» — занятие безнадежное и неблагодарное. Между экспрессивными суффиксами и описательными прилагательными не существует взаимно-однозначного соответствия, а попытки установить его, предпринятые Витковским и Суперанской, приводят к решениям, произвольность которых очевидна.

Если форма *Юрочка* — 'ласкательная', то то же самое мы можем сказать и про формы *Катенька* или *Илюшечка*, однако все три формы имеют разное экспрессивное значение. Точно так же, если *Юрик* — уменьшительное (ср. *сад* — *садик*), то то же можно сказать и про форму *Юрочка* (ср. *звезда* — *звездочка*).

В качестве основы для межъязыковых сопоставлений семантические схемы, подобные тем, что предлагают Витковский или Суперанская, оказываются еще более бесполезными. Совершенно непонятно, каким образом можно узнать, как соотносятся, например, «*Spottname*» и «*Stochelname*» Витковского с «поддразнивающим» и «пренебрежительным» именами у Суперанской. Такие условные лингвистические пометы как «уменьшительное» или «уничижительное» оказываются абсолютно бесполезными при описании языка вроде русского, в котором имеются десятки различных «уменьшительных» и «уничижительных» форм.

Кроме огромного богатства экспрессивных форм, для которых невозможно найти соответствия в типологически отличных языках вроде английского, есть еще одна не меньшая сложность, заключающаяся в изменчивой природе этих форм, некоторые из которых имеют громадное количество возможных интерпретаций (в особенности это касается суффикса *-ка*, который подробно разбирается в разделе 2.3.).

Помимо диалектных особенностей, непостоянство значения данной экспрессивной формы, до некоторой степени, можно объяснить иронией, сарказмом, шуткой и т.п. Например, немаркированное значение форм на *-енька* (например, *Наташенька*, *Катенька*) можно, говоря упрощенно, назвать нежным и ласкательным, но несмотря на это Васенька Весловский (один из персонажей романа Л. Толстого «*Анна Каренина*») — малопрятная личность, и употребление имени *Васенька* производит в этом случае эффект пренебрежения, почти презрения. Однако это противоречие легко объясняется иронией, и основное положительное значение имен на *-енька* остается вне сомнений, так как ироническое употребление предполагает именно такое основное значение.

И наоборот, формы с отрицательным оттенком, как, например, *Катюха* или *Андрюха*, могут употребляться ласково, шутливо выражая грубоватую нежность. Тем не менее, совершенно неправильно было бы утверждать, что один и тот же суффикс может принимать положительное или отрицательное значение в зависимости от идиолекта, контекста или ситуации и что подобным экспрессивным формам нельзя приписать никакого постоянного значения. Бондалетов и Данилина достаточно ясно высказываются на этот счет, когда пишут: «Своим будет деление на положительные и отрицательные формы и на уровне индивидуального языка — идиолекта. Здесь общепринятые ласкательные формы (типа *Николенька*, *Петрусь*, *Леночка* и др.) нередко выступают в качестве именованных, а в качестве ласкательных имен употребляются формы с пейоративными суффиксами (*Катька*, *Катюха* и др.)» (1970:198).

Важно подчеркнуть, что такого рода изменения — независимо от того, являются они обычными или спонтанными — не отменяют основного социального значения формы, а только разрабатывают его для дальнейшего экспрессивного употребления. Точно так же, как в австралийских дружеских ругательствах (например, «*You old bastard!*» букв. 'Ты, старый ублюдок' что-то вроде 'Ах ты мерзавец!') дружеский эффект зависит от буквального значения ругательства, но вы-

текает из особого оттенка «matey» грубоватой ласки, так и возможный особый ласковый оттенок форм типа с *Катюха* или *Андрюха* зависит от буквального отрицательного значения этих форм, при этом, скорее, развивая его, чем отменяя.

Такие экспрессивные средства, как шутка или ирония, следует отличать от подлинной неопределенности значения (допускающей большее или меньшее число разных интерпретаций), а неопределенность, в свою очередь, следует отличать от многозначности. Например, в австралийском английском слово *bastard* с точки зрения заключенной в нем оценки (оставив в стороне значение 'незаконный ребенок') ни неопределенно, ни многозначно (это не 'либо плохое, либо хорошее'). Это значение всегда плохое (пейоративное), хотя оно и может использоваться в шуточных оскорблениях для выражения хороших чувств.

Я бы считала, что формы типа *Катюха* или *Андрюха* функционируют так же, как *bastard*, в то время как *Катюшка*, которую Бондалетов и Данилина перечисляют в одном ряду с *Катюхой*, ведет себя по-другому. Подробнее это будет разобрано ниже (см. раздел 2.3.1).

Хорошей иллюстрацией полисемии русских экспрессивных форм может служить суффикс *-ик*. Некоторых мужские имена, например, *Станислав*, *Владислав* или *Александр*, образуют с помощью этого суффикса немаркированную краткую форму: *Стасик*, *Владик*, *Алик* (ср. Сулова, Суперанская 1978: 109). Однако в других мужских именах, например, *Марк*, этот суффикс используется для образования ласкательных форм: *Марик* (для *Александра* существует еще одна форма на *-ик*: *Шурик*, которая может употребляться и как ласкательная). Женские формы на *-ик* могут быть ласкательными даже в большей степени, чем мужские, например *Светик* (*Светлана*), *Люсик* (*Людмила*). Таким образом, для суффикса *-ик* надо постулировать три прагматических значения: два для мужских имен и одно для женских.

Прежде чем предложить подробный семантический анализ различных экспрессивных типов, я должна предупредить читателя, что рассматриваемые значения настолько сложны и богаты, что вряд ли следует ожидать, что их можно представить с помощью ярлыков типа 'ласкательный', 'презрительный' или 'ругательный'. Часто для одной экспрессивной категории будет приведено не менее шести разных компонентов, каждый из которых занимает по одной-две строки (несмотря на то, что будут введены более удобные сокращения). Размер предложенных толкований может шокировать некоторых читателей и показаться им чересчур большим. Но я думаю, что это отражает богатство самих концептов —

богатство, которое ярлыки 'уменьшительный', 'увеличительный' или 'пейоративный' не в состоянии отразить даже приблизительно.

Дальнейшее описание будет состоять из трех частей: 2.1., полные и краткие формы имен; 2.2., значения экспрессивных суффиксов (которые прибавляются либо к полным, либо к кратким формам имен); 2.3., семантика универсального суффикса *-ка* в именах. Кроме того, надо сказать, что предложенный здесь обзор экспрессивных типов ни в коей мере не претендует на исчерпывающую полноту.

2.1. Полные формы и краткие формы

2.1.1. Полные формы

Носителю английского языка легче всего понять, как используются в русском языке полные имена, поскольку именно их употребление ближе всего к употреблению английских полных имен. В русском языке, как и в английском, есть два типа полных имен: маркированные и немаркированные. По-русски обращение *Константин*, *Николай*, *Наталья* или *Евгения*, звучит примерно так же, как по-английски *James* 'Джеймс', *Nicholas* 'Николаас', *Deborah* 'Дебора' или *Pamela* 'Памела' (это, впрочем, не означает, что они употребляются в совершенно одинаковых условиях или что они означают в точности одно и то же). В зависимости от контекста полные формы такого рода могут означать гнев, неодобрение, холодность, дистанцию, торжественность, гордость, уважение и т. п.

Однако инвариант русских полных имен можно сформулировать так:

- a. не хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых не знают хорошо
- b. Я хочу говорить с тобой так, как не говорят с детьми или с людьми, которых знают хорошо и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства

Компонент (а), который в точности совпадает с первым компонентом маркированных полных имен в английском, отвечает за противопоставление просто полных имен и полных имен вместе с отчествами. Последние не маркированы в том случае, когда имеется определенная социальная дистанция (*Константин* vs. *Константин Петрович*, *Евгения* vs. *Евге-*

ния *Ивановна*). Компонент (b) отвечает за противопоставление маркированных полных имен и немаркированных кратких форм (*Константин vs. Костя, Николай vs. Коля, Наталья vs. Наташа, Евгения vs. Женя*). Причем в русском языке употребление маркированного полного имени по отношению к друзьям или родственникам еще менее принято и более маркировано, чем в английском, если не рассматривать случаи, когда таким образом достигается какая-то сиюминутная цель (например, выражается гнев, гордость или какие-то торжественные чувства). Так, например, в романе Достоевского «Братья Карамазовы», двух братьев Алешу и Митю, к которым автор (или рассказчик) относится как к близким людям, он никогда не называет полными именами (*Алексей и Дмитрий*) в то время, как третьего, более далекого и в чем-то загадочного, он всегда называет полным именем: *Иван*. Тем, как сформулирован второй компонент, я как раз пытаюсь объяснить такую сильную маркированность этих форм: 'Я хочу говорить с тобой так, как не говорят с детьми или людьми, которых знают хорошо и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства'.

Немаркированный тип полных имен, например *Андрей, Игорь, Вера, Нина*, в какой-то мере соответствует английским немаркированным полным именам, например, *Andrew 'Эндрю', John 'Джон', Mary 'Мэри' или Clare 'Клэр'*. Они подразумевают какую-то близость, поскольку противопоставлены сочетаниям с отчествами (*Андрей Петрович, Вера Ивановна*), но при этом не слишком фамильярны, так как не имеют никаких экспрессивных суффиксов, которые во взрослом фамильярном общении были бы вполне естественны.

Когда эти имена употребляются по отношению к взрослым, они не имплицитно ничего более и поэтому их значение примерно совпадает со значением имен типа *Ruth 'Рут', Clare или John* в английском. Однако если такого рода имена употребляются по отношению к детям, они воспринимаются совершенно по-другому. Дело в том, что в английском или американском детском саду вполне принято называть маленьких детей *Ruth, Clare или John*, но в русском детском саду употребление имен *Вера* или *Нина* по отношению к трех-четырехгодовалым детям нельзя считать немаркированным. Для маленьких детей эти имена звучат слишком по-взрослому и они более маркированы, чем соответствующие уменьшительные *Верочка* и *Ниночка*. В разговоре взрослого со взрослым формы *Вера* и *Нина* воспринимаются как нейтральные, но при обращении взрослого к ребенку они воспринимаются на фоне более обычных форм *Верочка* и *Ниноч-*

ка. На мой взгляд, чтобы учесть обе эти возможности, такие имена надо описывать следующим образом:

Вера, Нина

а. я не хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых не знают хорошо

б. я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми

Первый из двух компонентов — это компонент 'квази-близости', который я также приписала и английским полным именам (а кроме того, русским и английским маркированным полным именам). А поскольку в русском языке такого рода формы меньше подходят детям, чем соответствующие английские типа *Ruth* или *Matthew 'Мэттью'*, и, следовательно, существуют какие-то причины предпочесть именно эти формы вполне пригодным уменьшительным (например, *Верочка* или *Ниночка*), то я также приписала им квази-серьезный компонент 'Я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми'. Но этот квази-серьезный компонент не столь серьезен, как тот, который я приписываю маркированным полным именам: 'Я хочу говорить с тобой так, как не говорят с детьми'.

Двойное отрицание в компоненте (а) может показаться чересчур сложным: почему бы не сказать просто 'Я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо'? Но ведь как раз это двойное отрицание и позволяет нам отличать квази-близкие имена (*Нина, Вера* или *Андрей*) от действительно маркирующих близость производных имен типа *Лидя* (от *Лидия*) или *Люба* (от *Любовь*), о которых и пойдет речь в следующем разделе.

2.1.2. Краткие формы с основами на мягкий и на твердый

В кратких формах надо различать, по крайней мере, три типа: имена с конечным мягким (палатализованным) согласным основой: например, *Костя* (от *Константин*), *Ваня* (от *Иван*), *Катя* (от *Катерина*); имена с конечным твердым (непалатализованным) согласным основой, например, *Лева* (от *Лев*), *Дима* (от *Дмитрий*), *Юра* (от *Юрий*), *Лидя* (от *Лидия*), *Люба* (от *Любовь*), *Лара* (от *Лариса*); имена с расширенной основой (основой, к которой добавлен суффикс *-и*), например, *Гриша* (от *Григорий*), *Маша* (от *Мария*), *Наташа* (от *Наталья*).

В литературе, посвященной русским именам, эти типы с семантической точки зрения обычно не различаются, хотя

они и выделяются как субкатегории исходя из морфологии (ср., например, Benson 1967 или Stankiewicz 1968). Причина этого в том, что с функциональной точки зрения, действительны следующие пропорции:

Катерина:Катя = Лидия:Лидка = Наталья:Наташа

Катя — немаркированная краткая форма имени *Катерина*, *Лидка* — имени *Лидия*, а *Наташа* — имени *Наталья*, тем самым, эти краткие формы и структурно, и функционально занимают одно и то же место в релевантных образцах. Однако это не означает, что у этих разных форм одна и та же семантика. В целом можно сказать, что имена с основой на мягкий предполагают какой-то оттенок 'мягкости', которого нет у имен с основой на твердый, а имена с основой на *-ш* структурно и семантически занимают как бы промежуточное положение между ними.

«Мягкие» формы типа *Ваня* или *Катя* можно рассматривать параллельно с «мягкими» семейными терминами, например, *тетя*, *дядя*, *няня*, которые по своей 'теплоте' близки к английским *Auntie*, *Granny*, *Mummy* или *Daddy*. В экспрессивном словообразовании символический эффект мягких согласных проявляется также у уменьшительных прилагательных и наречий: это легко видеть на примере экспрессивных уменьшительных суффиксов *-енький/-онький* или *-енько/-онько* (например, *белый* > *беленький*; *молодой* > *молоденький*; *легкий* > *легонький*).

«Твердые» краткие формы (*Лидка*, *Людка*, *Лара*, *Люба*, *Лева* или *Юра*) не вызывают таких ассоциаций, и кажется, что они ближе к немаркированным полным именам (например, *Вера*, *Нина*). А их употребление по отношению к маленьким детям ощущается как маркированное «взрослое». Нет ничего необычного в том, чтобы обращаться к маленьким детям *Митя* или *Соня* (хотя в этой ситуации вполне нормально употребить и более ласковые формы *Митенька* и *Сонечка*), но обращение *Лидка*, *Лара* или *Лева* в этой ситуации менее обычно и более маркировано. Таким образом, получается, что такого рода именам надо приписывать тот же «анти-детский» семантический компонент, что и полным именам вроде *Вера* или *Нина*: 'Я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми'. Однако структурно имена вроде *Лидка* или *Любка* занимают другое место, чем немаркированные полные имена вроде *Вера* или *Нина*, так как *Лидка* и *Любка* занимают промежуточное положение между полными именами *Лидия* и *Любовь* и «уменьшительными» *Лидочка* и *Любочка*, но при этом имеют ту же семантику, что и немаркированные полные име-

на. Вопреки исследователям семантических полей можно сказать, что семантическое значение единицы не всегда определяется ее местом в поле соотносимых единиц.

Упрощенно говоря, только то, что кажется большим, нуждается в «уменьшении». Полные имена (например, *Вера*, *Нина*) типичны для взрослых и поэтому нуждаются в уменьшении, когда используются для обращения к детям (*Верочка*, *Ниночка*). То же (хотя и в меньшей степени) относится к твердым кратким формам (*Лидка* > *Лидочка*, *Люба* > *Любочка*). А мягкие краткие формы (например, *Катя*, *Митя*) не типичны для взрослых и поэтому не нуждаются в «уменьшении», будучи использованы как обращение к детям. С другой стороны, иногда и их требуется заменить на что-то более нежное и ласковое, это осуществляется с помощью суффикса *-енька* (*Катенька*, *Митенька*).

В подтверждение своей идеи о различии твердых и мягких кратких форм я могу привести еще один факт (его значение станет яснее чуть позже): твердые краткие формы обычно выбирают уменьшительный гипокористический (ласкательный) суффикс *-очка*, тогда как мягкие краткие формы выбирают неуменьшительный суффикс *-енька*:

Лидка > *Лидочка*
Лева > *Левочка*
Катя > *Катенька*
Митя > *Митенька*

Из этого правила есть исключения, но здесь я не буду о них говорить.

В этом отношении твердые краткие формы ведут себя так же, как немаркированные полные имена:

Вера > *Верочка*
Нина > *Ниночка*

Я упомяну еще один факт, чье значение также станет яснее позже: обычно только к кратким формам с основой на мягкий присоединяется 'серьезный и интимный' суффикс *-уша* (*-юша*):

Катюша ср. ?*Лидюша*
Ванюша ср. ?*Левуша*
Нанюша ср. ?*Ларуша*

Я объясняю это тем, что формы типа *Лидка*, *Лева* или *Лара* сами по себе уже достаточно 'серьезны', чтобы не нуждаться в таком производном или, по крайней мере, нуждаться в нем

меньше, чем краткие формы вроде *Катя*, *Ваня* или *Надя* (к формам на *-ша* (*Наташа* или *Гриша*) суффикс *-уша* (*-юша*) не присоединяется по фонетическим причинам).

2.1.3. Краткие основы с суффиксом *-ша*

Для многих имен (например, *Григорий*, *Наталья* или *Мария*) основными и немаркированными являются как раз формы на *-ша*. Поэтому функционально они параллельны «мягким» кратким формам типа *Катя* или *София* и твердым формам типа *Лиди* или *Свети*, которые также являются основными немаркированными краткими формами соответствующих имен (*Катерина* и *София* или *Лидия* и *Светлана*). Например, в романе «Война и мир» Толстой одновременно описывает двух девушек Натану и Соню, и их имена (*Наташа* и *София*) воспринимаются как одинаково интимные (по сравнению с именем старшей дочери Ростовых, героиней, к которой автор относится более отчужденно и называет ее немаркированным полным именем *Вера*). То же мы видим и в «Анне Карениной», когда Таня и Гриша, двое старших детей Облонских, воспринимаются как равные, так же, как и их имена (мягкая краткая форма и краткая форма на *-ша*).

Тем не менее, я не согласна, что с семантической точки зрения краткие формы на *-ша* (*Наташа*, *Гриша*) эквивалентны формам типа *София* или *Таня*. Фонетически в русском согласный [ш] — твердый, и, оставив в стороне таких привлекательных персонажей, как Наташа из «Войны и мира», можно сказать, что имена на *-ша*, например, *Миша* или *Саша*, звучат не так «мягко» и ласково, как мягкие формы вроде *София* или *Митя*.

Чтобы более точно определить семантическое значение форм на *-ша*, полезно рассмотреть, какое структурное место занимает [ш] в звуковой системе русского языка. Фонетически [ш] твердый, и поэтому формы на *-ша* (*Гриша* или *Саша*), скорее, напоминают твердые краткие формы вроде *Лиди* или *Лева*, чем мягкие формы вроде *Митя* или *Катя*; но морфологически [ш] ведет себя как мягкий и, например, имена на *-ша*, так же, как и мягкие формы, присоединяют ласкательный суффикс *-енька*, а не ласкательный суффикс *-очка*, характерный для твердых форм:

Катя > *Катенька*
Митя > *Митенька*
Лиди > *Лидочка*
Лева > *Левочка*

Гриша > *Гришенька*
Маша > *Машенька*

Поэтому с точки зрения формы имена на *-ша* находятся как бы между мягкими краткими формами и твердыми краткими формами. Я бы считала, что и семантически они занимают промежуточное положение: они чуть менее 'мягкие', чем мягкие формы, и чуть менее серьезные, чем твердые. Чтобы поймать этот промежуточный оттенок, я предлагаю толкование, включающее отсылку к детям, но не включающее отсылки к 'хорошим чувствам':

Саша, Маша, Наташа
 я хочу говорить с тобой так, как говорят
 с людьми, которых знают хорошо, и с детьми'

Отсылка к детям позволяет отличить эту формулу от формулы для твердых кратких форм:

Лиди, Лева, Люба
 я хочу говорить с тобой так, как говорят
 с людьми, которых знают хорошо
 я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми

Отсутствие отсылки к хорошим чувствам отличает формулу, приписанную формам на *-ша*, от формулы, приписанной мягким кратким формам:

Катя, София, Митя
 я хочу говорить с тобой так, как говорят
 с людьми, которых знают хорошо
 и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие
 чувства, и с детьми

2.1.4. Полные и краткие формы русских имен. Заключение

Краткие формы на твердый согласный и *-а* (например, *Лиди*, *Лева*)

я хочу говорить с тобой так, как говорят
 с людьми, которых знают хорошо
 я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми

Краткие формы на мягкий согласный и *-а* (например, *Катя*, *Ваня*)

я хочу говорить с тобой так, как говорят
 с людьми, которых знают хорошо

и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства, и с детьми

Краткие формы на суффикс *-ш-* и *-а* (например, *Гриша, Маша*)

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых знают хорошо, и с детьми

Маркированные полные имена (например, *Константин, Евгения, Ольга*)

я не хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых не знают хорошо
я хочу говорить с тобой так, как не говорят
с детьми или людьми, которых знают хорошо
и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства

Немаркированные полные имена с твердой основой (например, *Вера, Нина*)

я не хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых не знают хорошо
я не хочу говорить с тобой так, как говорят
с детьми

2.2. Русское экспрессивное словообразование

2.2.1. Суффикс *-очка*

Для многих имен, в особенности для тех, у которых основа краткой формы оканчивается на твердый согласный, основная немаркированная ласкательная форма чаще всего образуется с помощью суффикса *-очка*. Например:

Лидия > *Лидя* > *Лидочка*
Любовь > *Люба* > *Любочка*
Юрий > *Юра* > *Юрочка*

Тем не менее, я думаю, что формы на *-очка* передают нечто большее, чем просто 'хорошие чувства'. Братус (Bratus 1969:36) пишет, что их «основное значение уменьшительно-ласкательное, иногда просто ласкательное, в особенности при обращении к детям». Я полагаю, что это справедливо в той части, где предлагается считать, что суффикс *-очка* наряду с 'хорошими чувствами' предполагает 'что-то маленькое', но я не думаю, что этот компонент нерелевантен или менее релевантен по отношению к детям. Наоборот, формы на

-очка сочетают 'что-то маленькое', хорошие чувства, и ориентацию на детей.

С точки зрения морфологии суффикс *-очка* — дважды уменьшительный, и это значимо также семантически, поскольку он предполагает маленький (относительно данного вида) размер и хорошие чувства, которые связаны не просто с детьми, а с маленькими детьми:

кровать > *кроватька* > *кроватьочка*
лошадь > *лошадка* > *лошадочка*

Имена на *-очка* особенно часто употребляются в речи, обращенной к детям, так как естественно считать, что детский мир наполнен вещами, которые встречаются во взрослом мире, но в уменьшенном варианте. Если говорить об эмоциях, то *-очка* как раз подразумевает 'хорошие чувства' вроде тех, которые связаны с маленькими детьми. Такие формы как *кроватьочка* или *лошадочка* вызывают в памяти мир маленьких детей и ту эмоциональную ауру, которая возникает при общении с маленькими детьми. Входя в этот мир и пытаясь общаться с его обитателями, взрослый испытывает смесь нежности, умиления, игривости, несерьезности и т. п.

Эта аура переносится и на имена на *-очка*, когда они не употребляются в разговоре с детьми или о маленьких детях. Например, в слове *парочка* (в смысле 'двое влюбленных') очень ясно выражен этот оттенок легкости, некоторой игривости и в то же время какой-то снисходительности (как если бы серьезные взрослые говорили о людях, которые немножко дети — что-то трогательное, но несерьезное). Слово *мордочка* обычно употребляется по отношению к «милым» маленьким зверькам, таким как белки или щенки (или шутливо о детских лицах).

Я предполагаю, что основная специфика суффикса *-очка* сохраняется также и у личных имен с этим суффиксом, независимо от того, употребляются они по отношению к детям или ко взрослым. Чтобы отразить эту специфику, я предлагаю следующее толкование:

Лидочка, Любочка, Левочка

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают, говоря с маленькими детьми

Незачем говорить, что эта формула не означает, что такого рода формы употребляются только (или в основном) по отношению к детям. Скорее, таким образом я пытаюсь пока-

зять ту особую экспрессивность, которая возникает при употреблении этих имен, независимо от того, используются они в разговоре с детьми (о детях) или со взрослыми (о взрослых). Например, в романе Солженицына «Раковый корпус» старый доктор Орещенков называет Людмилу Донцову — женщину-врача средних лет (бывшую его студентку) — *Людочка*, и это абсолютно нормально, более того, при таких отношениях это самая подходящая форма, которую он мог бы употребить, несмотря на ее легкий, немного игривый и в то же время ласковый характер или, наоборот, благодаря ее характеру.

2.2.2. Суффикс *-енька*

Для многих имен суффикс *-енька* играет ту же структурную и функциональную роль, которую для других имен играет суффикс *-очка*: маркированное полное имя (например, *Катерина*, *Лидия*, *Любовь*), немаркированная краткая форма (*Катя*, *Лидя*, *Люба*), основная ласкательная форма (*Катенька*, *Лидочка*, *Любочка*). Поэтому неудивительно, что имена на *-очка* и на *-енька* часто относят к одному прагматическому уровню. Например, в трилогии Толстого «Детство, отрочество, юность» двух девочек, к которым он относится в точности одинаково, автор называет *Катенька* и *Любочка*.

В целом, действительно, к именам с мягкой краткой формой (*Катя*, *Митя*) обычно присоединяется суффикс *-енька* (*Катенька*, *Митенька*), тогда как к именам с твердой краткой формой (*Люба*, *Юра*) обычно присоединяется суффикс *-очка* (*Любочка*, *Юрочка*). Однако в том случае, если мягкая краткая форма оканчивается на *-н* (так как сочетание *-енька* обычно нежелательно), вместо ожидаемого суффикса *-енька* появляется *-ечка* (вариант суффикса *-очка*):

Аня > *Анечка*
Ваня > *Ванечка*
Соня > *Сонечка*

Такое замещение суффикса *-енька* суффиксом *-ечка* (*-очка*) еще более усиливает впечатление, что эти суффиксы семантически эквивалентны.

Тем не менее, я утверждаю, что это впечатление обманчиво и что точно так же, как формы типа *Катя* или *Люба*, даже составляя пару, не становятся семантически равными, не эквивалентны и формы *Катенька* или *Любочка*. Часто оказываясь прагматически эквивалентными, они все же не вполне

эквивалентны с точки зрения их семантики; следовательно, они выражают разные оттенки.

Краткие формы на *-ша* могут присоединять оба суффикса (например, *Наташенька*, *Наташечка*), но в этом случае формы на *-енька* более общепотребительны и менее маркированы, чем формы на *-ечка*. Поэтом такие формы как *Наташечка* кажутся более ласковыми и более личными, чем формы на *-енька*. И кроме того, *Наташечка* звучит чуть более игриво.

Может показаться, что разница между этими формами яснее всего видна в тех именах, от которых могут образовываться и формы на *-очка* (или вариант *-ечка*), и формы на *-енька* (с вариантом *-онька*). Например, когда основа немаркированной полной формы оканчивается на *-j*: *Зоя* или *Рая*. И соответственно, мы имеем *Зоенька*, *Раенька* с одной стороны, и *Зочка*, *Раечка* — с другой. То же и в случае твердых кратких форм: *Лидя*, *Рита*, и, соответственно, либо *Лидочка*, *Риточка*, либо *Лидонька*, *Ритонька*. Для форм на *-ша*, например, *Наташа*, также имеем либо *Наташечка*, либо *Наташенька*. На самом деле такого рода минимальные пары не слишком нам помогут, так как в каждом случае более употребительна только одна из двух ласкательных форм и выбор ее немаркирован. Например, *Ритонька* употребляется реже, чем *Риточка*, и несет большую экспрессивную нагрузку, а в случае форм *Наташечка* и *Наташенька* все наоборот — менее употребительна и более экспрессивно нагружена форма на *-ечка*. Кроме того, поскольку формы на *-ша* уже сами по себе применимы к детям (даже к маленьким) и при этом не создают «увеличительного» эффекта, то «уменьшительный» эффект суффикса *-очка/-ечка* в этом случае заметнее. Тем самым, *Наташечка* звучит более ласково и трогательно, чем *Риточка*, а *Ритонька* может звучать ласковее и трогательнее, чем *Риточка*. Поэтому, вопреки ожиданиям, минимальные пары типа *Риточка* — *Ритонька* или *Наташечка* — *Наташенька* дают для нашего анализа меньше, чем мы бы ожидали.

В русском языке для диминутивов (слов с уменьшительным значением) существуют и другие минимальные пары, например, *мамочка* vs. *маменька*, *папочка* vs. *папенька* или *душенька* vs. *душечка*, но они тоже дают не так много, как можно было бы ожидать, поскольку члены этих пар обычно различаются более, чем по одному признаку. Чуть больше мы извлекаем из сравнения лексического значения форм *девка* и *девочка*, а также из того факта, что к именам «серьезных» и «больших» явлений иногда может присоединяться суффикс *-енька* (*-онька*), но никогда *-очка* (*-ечка*), например,

боженька (детское слово для Бога) vs. **божечка*; *зоренька* (поэтическое/народное слово для зари) vs. **зоречка*.

Очевиднее же всего «ласкательный» характер суффикса *-енька (-онька)* и «уменьшительно-ласкательный» характер суффикса *-очка (-ечка)* следуют из того факта, что вне области личных имен *-очка* указывает на маленький размер (а также на хорошие чувства), а *-енька* для этих целей никогда не используется. Академическая грамматика русского языка (1960:267, 269) описывает значение *-очка* как «уменьшительно-ласкательное», а значение *-енька* как просто «ласкательное». По сути, я считаю такое различие правильным, и — в какой-то мере — оно касается и соответствующих форм личных имен. Это, конечно, не значит, что *Любочка* меньше, чем *Катенька*, но зато значит, что экспрессивное содержание имен вроде *Любочка* больше связано с взаимодействием взрослых и детей, чем экспрессивное содержание имен вроде *Катенька*.

Дальнейший ключ к содержанию суффикса *-енька* дает анализ прилагательных, к которым присоединяется предположительно тот же самый суффикс *-еньк*, например, в таких формах как *беленький* (от *белый*) или *желтенький* (от *желтый*). Значение таких прилагательных сложным образом зависит от значения основы и от других факторов, которые здесь не обсуждаются, но в случае нейтральной основы (ни 'хорошей', ни 'плохой'), как, например, в цветообозначениях, суффикс *-еньк* имплицитно хорошие чувства, а также своего рода удовольствие от восприятия некоего объекта или от мысли о нем. Если говорящий называет объект *желтеньким*, то тем самым он имплицитно, что при мысли об этом объекте и при виде его желтого цвета, который он находит приятным, он испытывает расположение по отношению к нему и ощущает легкий наплыв чего-то напоминающего наслаждение. Чтобы уловить основную особенность прилагательных на *-еньк*, я предлагаю следующее толкование:

желтенький, первенький, правенький

я думаю об X-е как о Adj

я испытываю какие-то хорошие чувства по отношению к нему

я испытываю какие-то хорошие чувства, думая о нем

Я считаю, что похожее отношение выражают и термины родства на *-енька*, например, *доченька* (от *дочь*), *тетенька* (от *тетя*), *дяденька* (от *дядя*), но в случае прилагательных экспрессивность связана с каким-то определенным признаком, а в случае существительных — с самими взаимоотношениями. Это может быть представлено следующим образом:

доченька, тетенька

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства потому что ты моя X

я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой

Я полагаю, что более или менее то же отношение выражено в именах вроде *Катенька* или *Митенька*:

Катенька, Митенька

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой

Если от разговора с тобой я испытываю какие-то хорошие чувства, это значит, что ты мне нравишься, возможно даже, я люблю тебя; от общения с тобой во мне просыпается какое-то счастливое чувство. Сочетание компонентов

a. я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства

b. я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой

может показаться избыточным, но я не думаю, что это действительно так. Грубо говоря, компонент (a) представляет собой попытку уловить нежность говорящего к адресату, а компонент (b) удовольствие, которое говорящий испытывает от общения с этим конкретным адресатом. Нам нужны оба эти компонента, чтобы отразить интуитивно ощущаемую разницу между формами на *-енька* (например, *Зоенька*) и формами на *-ечка* (например, *Зочка*), а также между соответствующими правилами их употребления.

Я не предлагаю считать, что у всех имен на *-енька*, например, *Зоенька*, *Катенька* или *Наташенька*, одно и то же значение; это не так, хотя бы потому, что в каждом случае суффикс прибавляется к разным основам (к полной форме *Зоя*, к мягкой краткой форме *Катя* и краткой форме на *-иа* *Наташа*). Но значение самого суффикса *-енька* в каждом случае одно и то же. Он выражает ласковое отношение, но иначе, чем *-очка*. Разница эта, скорее, качественная, чем количественная: можно сказать что *-енька* более 'ласкательный' и более интимный, чем *-очка*. Поскольку *-енька* никогда не используется для обозначения маленьких детских вещей (как, например, *кроваточка* или *рубашечка*), то он никак не ассоциируется с миром маленьких детей, милым и трогательным, но не вполне серьезным. В то же время *-енька* предполагает личную реакцию на общение с другим человеком.

Здесь я еще могу заметить, что все русские родители, к которым я обращалась с вопросом, какую из форм в парах

Зоечка — Зоечка, Наташенька — Наташечка и Ритонька — Риточка они выберут для обращения к очень большому ребенку, а какую — для обращения к здоровому и веселому, ответили, что в первом случае они, скорее, употребили бы форму на *-енька* (*-онька*), а во втором — форму на *-очка* (*-ечка*). Я думаю, это объясняется игривыми коннотациями форм на *-очка* (*-ечка*) и более личными и интимными коннотациями форм на *-енька* (*-онька*).

2.2.3. Суффиксы *-ик* и *-ок*

В сочетании с основами некоторых мужских имен суффикс *-ик* может образовывать немаркированную краткую форму (чаще всего это касается многосложных имен польского происхождения, например, *Владислав* > *Владик*, *Станислав* > *Стасик*); но обычно этот суффикс используется для образования ласкательных форм из кратких, в особенности от основ на *-р*, например, *Марк* > *Марик*, *Лаврентий* > *Лаврик*, *Юра* > *Юрик* или *Шура* > *Шурик*.

Так же, как у ласкательных имен на *-очка*, у имен на *-ик* есть аналоги среди существительных-димиутивов, обозначающих «маленькие вещи», например, *мост* > *мостик*; *холм* > *холмик*; *ковер* > *коврик*; *хвост* > *хвостик*.

Братус (Bragus 1969:18) пишет, что формы на *-ик* вовсе не всегда предполагают маленький размер чего-то. Так, например, форма *билетик* (от *билет*) в предложении *Купите билетик!* не означает маленький билет (билет может быть обычного размера), а добавляет эмоциональный оттенок 'Будьте добры, купите...'. На самом деле *билетик* все же относится к чему-то маленькому, хотя интерпретировать такое употребление можно, только рассматривая весь речевой акт в целом. Примерно так:

купите билет! = я хочу, чтобы вы сделали нечто (купили билет)
купите билетик! = я хочу, чтобы вы сделали нечто «маленькое»
 (незначительное) (купили билет)

Но, в отличие от обычных форм на *-очка*, формы на *-ик* никогда не бывают двойными уменьшительными, предполагающими не маленькие, а очень маленькие размеры неких объектов:

кровать > *кроватька* > *кроватьочка*
лошадь > *лошадка* > *лошадочка*
мост > *мостик*
холм > *холмик*

Следовательно, формы на *-ик* (*мостик* или *холмик*) не так связаны с миром маленьких детей, как формы на *-очка* (*кроватьочка* или *лошадочка*).

Тем самым, из двух ласкательных форм *Юрочка* и *Юрик* (обе к тому же еще и уменьшительные), для первой характерны более детские ассоциации, а для второй — более мальчишеские. Это впечатление усиливается еще и тем, что *-ик* в основном мужская форма, а *-очка* может относиться к обоим полам. Конечно, формы на *-ик* можно образовывать и от женских имен, например, *Света* > *Светик*, *Люся* > *Люсик*, но такие формы ощущаются как ласковые игривые «искажения», которые используют для экспрессивных целей чисто мальчишеский характер суффикса *-ик*. Однако такого эффекта не возникает в случае применения форм на *-очка* к мужчинам и мальчикам: *Левочка* и *Юрочка* имеют точно такое же значение, что и, например, *Лидочка* или *Любочка*.

Экспрессивное значение женских форм типа *Светик* или *Люсик* отличается от экспрессивного значения мужских форм типа *Юрик* или *Марик*. Женские формы на *-ик* подразумевают «особые отношения», отношения личные и игривые, в то время как аналогичные мужские формы ничего такого не подразумевают.

Для описания этих фактов я предлагаю следующие толкования:

Юрик, *Марик* (мужские имена, формы на *-ик*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
 вроде тех, которые испытывают по отношению к маленьким
 мальчикам

Светик, *Люсик* (женские имена, формы на *-ик*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
 я испытываю хорошие чувства, говоря с тобой
 я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди
 я хочу говорить с тобой так, как если бы ты была маленьким
 мальчиком, а не девочкой

Добавлю также, что аналогичный механизм использования чисто мужских форм для выражения особого отношения к девочкам мы наблюдаем в женских ласкательных формах на *-ок*, например, *Нинок* (от *Нина*) или *Ирок* (от *Ира*). Они образуются по модели мужских ласкательных имен типа *Игорек* (от *Игорь*) или *Димок* (от *Дима*).

Формы вроде *Нинок* также звучат ласково и одновременно игриво и также подразумевают «особые отношения», но все же они звучат чуть более грубо, по-мальчишески и чуть веселее, чем женские формы на *-ик* вроде *Светик* или *Люсик*.

Я связываю этот грубоватый характер форм на *-ок* с тем промежуточным положением, которое занимает суффикс *-ок* между основной формой и формой на *-очек*:

ветер > *ветерок* > *ветерочек*
голос > *голосок* > *голосочек*
день > *денек* > *денечек*
час > *часок* > *часочек*

По отношению к основной форме форма на *-ок* является уменьшительной. Например, форма *часок* значит что-то вроде 'всего лишь час', т. е. час осмысливается как нечто маленькое (и приятное). А форма на *-очек* обозначает что-то еще меньшее (и еще более приятное). Этим формы на *-очек* напоминают формы на *-очка*:

кровать > *кроватька* > *кроватьочка*
час > *часок* > *часочек*

Если рассматривать эти формы в такой последовательности, то получается, что *-ок* уменьшительный суффикс, но «большой» уменьшительный, а *-очек* — «маленький» уменьшительный. Про суффикс же *-ик* мы не можем сказать, что он занимает такое же промежуточное положение:

мост > *мостик*
билет > *билетик*

Соответственно, формы на *-ик* не воспринимаются как «большие» уменьшительные.

То, что применимо к обычным существительным, с соответствующими поправками применимо и к личным именам на *-ок* типа *Нинок* или *Лизок*: они воспринимаются не только как ласковые и игривые уменьшительные, построенные по модели мужских имен, но и как «большие» уменьшительные. Отсюда и более веселое и грубоватое звучание этих имен по сравнению с именами *-ик* (*Светик* или *Люсик*). Наверное, чтобы отразить это в толкованиях, нам надо просто заметить в четвертом компоненте слова 'маленький мальчик' на слово 'мальчик', но, возможно, надо также убрать второй компонент:

Нинок, *Лизок* (женские имена, формы на *-ок*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
 (я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой)
 я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди
 я хочу говорить с тобой так, как если бы ты была мальчиком

Предположительно, мужские модели на *-ок* и *-ик* отличаются друг от друга по тем же признакам:

Юрик, *Марик* (мужские имена, формы на *-ик*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
 вроде тех, которые испытывают по отношению к маленьким мальчикам'

Игорек, *Димок* (мужские имена, формы на *-ок*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
 вроде тех, которые испытывают по отношению к мальчикам

2.2.4. Суффиксы *-енок* и *-еньши*

Шутливо-ласковое «искажение» есть также в формах на *-енок*, например, *Катенок*, *Никитенок*, и в формах на *-еньши*, в которых адресат уподобляется детенышу животных:

свинья > *свиенок*
мышь > *мышенок*
Катя > *Катенок*
Никита > *Никитенок*.

Станкевич (Stankiewicz 1968:167) пишет, что в личных именах суффикс *-енок* «выражает ласковое и покровительственное отношение». Однако мне интересно, не выводится ли это «покровительственное отношение» из других компонентов значения: если ребенок ласково уподобляется детенышу животного, то это можно интерпретировать как импликацию покровительственного отношения, но можно также интерпретировать как ласковое шутливое отношение, а не покровительственное.

Суффикс *-еньши*, который, как и *-енок*, используется для образования слов, обозначающих детенышей животных, может употребляться таким же образом, как, например, видно из предложения, взятого из романа Солженицына «В круге первом»: «Решила выбор Динера — она очень настаивала в письмах и заезжала проститься перед фронтом — чтобы Клареньши поступала на литературный».

В этом отрывке любящая старшая сестра берет на себя ответственность за будущее своей младшей сестры, и ее отношение заключено и подчеркнуто в употреблении формы *Клареньши* ('маленькая сестра Клара', 'тенец-Клара').

Однако у суффикса *-еньши* несколько другое содержание, чем у суффикса *-енок*. В формах на *-еньши* не так явно выражена нежность, в них больше шутливости, которая имеет

слегка покровительственный, поддразнивающий оттенок. В парах типа *свиенок* — *свиненьи* (от *свинья*) формы на *-енок* предполагают наличия каких-то типичных хороших свойств детеньшей, а формы на *-еньи* не обязательно воспринимаются таким образом. Например, *змееньи* может быть не очень маленькой змеей и вовсе не обязательно симпатичной.

Это различие между формами типа *змеенок* и формами типа *змееньи* используется в личных именах для экспрессивных целей. Форма *Клареньи* (так же, как *Никитенок*) — ласкательная, но в ней ласковое отношение маскируется поддразнивающим и покровительственным шутливым тоном.

Я объясняю эту разницу в содержании форм на *-енок* и форм на *-еньи* следующими толкованиями:

Катенок, Никитенок

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты был детенышем животного, а не ребенком

Катеньи, Клареньи

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты был молодым, не совсем взрослым животным!

Формам на *-енок* я приписала компонент 'я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой' и положительную соотношенность с детенышами животных и не приписала этого формам на *-еньи*.

2.2.5. Суффикс *-ушка*

Суффикс *-ушка* (с ударением на последнем гласном основы) представляет собой особый тип экспрессивности, он выражает положительное отношение, не будучи ориентирован на детей.

Чтобы это увидеть, полезно сравнить обычные семейные термины на *-ушка* с аналогичными формами на *-енька*:

матушка маменька
мамочка
батюшка папенька
папочка
*бабушка *бабенка*

*дедушка *деденька*
тетушка тетенька
дяденька
нянюшка
доченька

Итак, во-первых, формы на *-ушка* есть только для обозначения взрослых и старых людей, тогда как употребление форм на *-енька* не ограничено только взрослыми, и при этом они не применимы к старым людям (родителям родителей).

Во-вторых, семейные термины на *-ушка*, скорее, образуются от «взрослых» слов вроде *мать* или *дед*, тогда как формы на *-енька* производятся от детских слов вроде *мама* или *папа*.

В личных именах формы на *-ушка* обычно (или, по крайней мере, очень часто) образуются от основы полных имен, т. е., от форм, которые маленький ребенок может даже и не знать, а формы на *-енька* и *-очка* обычно являются производными от кратких форм, которые употребляются дома: например, *Авдотья* > *Авдотьюшка* (ср. *Дуня* > *Дунечка*), *Анна* > *Аннушка* (ср. *Аня* > *Анечка*), *Никита* > *Никитушка*, *Егор* > *Егорушка*, *Максим* > *Максимушка* и т. д.

Важно и то, что формы на *-ушка* (даже больше на *-ушко*; ср. Вгатов 1969:32) особенно типичны для деревенской речи и фольклорной литературы, в то время как формы имен на *-енька* имеют более литературный оттенок и, похоже, редко использовались в деревне (Сулова, Суперанская 1978:116).

Кроме того, имена на *-ушка* так же часто (если не чаще) употребляются при обращении ко взрослым (или при упоминании взрослых), как и при обращении к детям (или при упоминании о них).

Как я уже говорила, формы на *-енька* типа *Катенька* или *Митенька* не в такой степени ориентированы на детей, как формы на *-очка* (*-ечка*). Однако их мягкая основа сама по себе уже содержит отсылку к общению с маленькими детьми, что сохраняется и для их производных. Формы на *-ик* типа *Мари́к* или *Свети́к* и формы на *-ок* типа *Игоре́к*, *Нино́к* отсылают не прямо к детям, а к 'маленьким мальчикам'. Формы же на *-ушка* вообще не содержат никакой отсылки к детям (или мальчикам).

Типичным же для этих форм можно считать не столько их ласкательный характер, сколько какое-то чувство жалости, сочувствия к людям. Например, в романе Достоевского «Братья Карамазовы» одна крестьянка постоянно использует форму *Никитушка*, говоря о своем несчастном муже, которого она любит, но прежде всего жалост. Имя *Авдотьюшка*

используется в стилизованном современном рассказе Ф. Горенштейна, в котором речь идет о бедной старой женщине, борющейся с превратностями судьбы. У Толстого в «Войне и мире» форма *Николушка* используется по отношению к ребенку, а не взрослому, но этот ребенок — сирота, и выбор такой формы противопоставлен выбору формы *Николенька* для Ростова — другого, благополучного и обожаемого семьей героя. И так далее, поскольку примеров можно приводить очень много.

Кроме того, формы на *-ушка (-ушко)* могут сочетаться (в фольклорном стиле) со словами, обозначающими абстрактные экзистенциальные понятия, как, например, *горе > горюшко; воля > волюшка; работа > работушка; смерть > смертушка; дума > думушка; забота > заботушка; сила > силушка; доля > долюшка* (ср. Bratus 1969:68). Суффиксы же *-енька* или *-очка* никогда так не используются.

Все это показывает, что экспрессивность, заключенная в суффиксе *-ушка*, не имеет отношения к детской речи или к общению с детьми, и что она ориентирована по другой оси. Похоже, это отражает важную черту русской народной философии, которая считает, что человек заслуживает жалости, и поощряет смирение и сострадание. Такие слова, как *зимушка* (русская зима), *волюшка* (воля — желанная, но часто недосягаемая), *смертушка* (смерть — неизбежная, и которую поэтому надо принимать с любовью), *невестушка* (невеста, которая здесь воспринимается как заслуживающая жалости — цветок, который завтра будет сорван), *головушка* (голова, особенно в жалобах вроде *бедная моя головушка*), *горюшко* (горе, которое надо принять), *хлебушко* (хлеб, которого часто не хватает), *соседушка* (соседка — 'жизнь тяжела', 'давайте помогать друг другу'), *морюшко* (море — загадочный простор, куда иногда уносит людей) — все они имеют ясное экзистенциальное содержание и связаны с традиционно русским отношением к жизни, выраженным в русской литературе.

Учитывая эти соображения, я предлагаю следующее толкование имен с суффиксом *-ушка*:

Никитушка, Авдотьюшка, Аннушка

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые испытывают по отношению к людям, когда думают о плохих вещах, которые могут с теми случиться

Существует множество культур, в которых понятия жалости или сочувствия выражены гораздо яснее, чем понятия,

связанные с любовью, симпатией или нежностью. Например, в языке ифалук (Микронезия) есть слово, обозначающее что-то вроде сочувствия, но нет слова, которое бы обозначало чувство любви (Lutz 1987). В тибетском тоже есть слово, выражающее что-то вроде сочувствия и желания защитить, но нет слова для чего-то вроде любви (Levine 1981). В русской культуре чувство, заключенное в глаголе *жалеть* особенно значимо (это отмечали многие наблюдатели). Например, Федотов говорит о русском «национальном характере» следующее: «Мы привыкли думать, что русский человек добр. Во всяком случае, что он умеет жалеть. В русской мучительной, кенотической жалости мы видели основное различие нашего христианского типа от западной моральной установки» (1952:61).

Особенно показательно наблюдение великого русского мыслителя Владимира Соловьева, который пишет, что русские крестьянки («русские бабы») употребляют слово *жалеть* вместо *любить*. И сам Соловьев делает типично русское замечание, когда он говорит: «Никакая святость не может быть только личной, ... она непременно есть любовь к другим, а в условиях земской действительности эта любовь [к другим] есть, главным образом, сострадание» (1966-70, т.5:421).

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этической философии самого Соловьева *жалость* занимает центральное место (см. особо его книгу «Оправдание добра»).

Я думаю, что преобладание суффикса *-ушка (-ушко)* в русской народной литературе говорит о том же, что и замеченное Соловьевым употребление «жалеть» вместо «любить».

Если предположить здесь описание кажется слишком натянутым, то, возможно, оно станет более приемлемым, если убрать из семантической формулы слово 'плохой'. Таким образом сохраняется идея, что формы на *-ушка* связаны с экзистенциальными понятиями и что они передают теплые чувства, которые вызваны не столько приятными чертами адресата, сколько жизненным опытом говорящего. Мне, однако, кажется, что следующее замечание в Bratus 1969:32 подтверждает мою первоначальную интерпретацию: суффикс *-ушка* (и *-ушко*) «передают ласку, доброе отношение, иногда шутливое». Ключевое слово здесь «доброе». Суффиксы *-енька*, *-очка* или *-ик* не содержат ничего «доброе». А *-ушка* часто звучит как «добрый». Он подразумевает теплое отношение к людям, которое выработано на основе жизненного опыта говорящего благодаря его осведомленности о тех плохих вещах, которые могут случаться с людьми. Народная философия, которую отражают формы на *-ушка*, утверждает, что жизнь такова, что людей нужно жалеть и относиться к

ним по-доброму. Это не обязательно исключает самого говорящего. Например, детский крик *нянюшка!* (как в детских песенках Мусоргского) выражает, скорее, страх или беспокорство говорящего, чем жалость. Но это также совместимо с предложенной формулой.

2.2.6. Суффикс *-уша*

Имена на *-уша*, например, *Катюша*, *Танюша* или *Андрюша*, имеют двойственный характер, будучи иногда ласкательными, а иногда лишенными какой бы то ни было теплоты. По Станкевичу (Stankiewicz 1968:159) *-уша* «имеет фамильярное и ласкательное значение». Поскольку другие ласкательные суффиксы, как, например, *-енька* или *-очка* называются просто «ласкательными», то, говоря в этом случае о «фамильярном и ласкательном» значении, Станкевич, я думаю, намекает на то, что имена на *-уша* могут иногда иметь совсем не ласкательную природу. Он как бы предлагает считать, что иногда они звучат как ласкательные, а иногда просто «фамильярно».

Братус (Bratus 1969:33) говорит об этом же суффиксе, что с его помощью образуются уменьшительные от нескольких личных имен:

Илья > *Ильюша*
Катя > *Катюша*
Павел > *Павлуша*

и ласкательные уменьшительные от некоторых существительных и прилагательных, которые, однако, имеют диалектный оттенок. Похоже, это имплицитует, что уменьшительные на *-уша*, образованные от личных имен, не являются ласкательными.

В романе Толстого «Воскресение» Катюшей зовут крестьянскую девочку, которая живет в дворянской семье на положении то ли присной дочери, то ли служанки. Толстой пишет, что имя *Катюша* казалось наиболее подходящим для девочки ее положения; оно отражало промежуточность этого положения: *Катенька* звучало бы слишком мягко, а *Катька* — слишком резко.

Но моя русская знакомая по имени *Соня* сказала мне, что просто знакомые и не очень близкие друзья называют ее *Сонечка*, а форму *Сонюша* употребляют только близкие друзья, и эту форму она воспринимает как более интимную и эмо-

ционально нагруженную. Несколько из опрошенных носителей языка сделали похожие замечания.

Встречаясь с подобными противоречащими друг другу фактами, носители языка и лингвисты склоняются к выводу, что в данном случае все зависит от контекста, индивидуальных особенностей употребления и, возможно, от личных соглашений, т. е., другими словами, что для имен на *-уша* не существует семантического инварианта.

Я не верю, что это так. Конечно, точная прагматическая интерпретация зависит от контекста, индивидуальных особенностей и личных соглашений, но существует также и семантический инвариант. Этот инвариант совместим с большим (но ограниченным) числом интерпретаций, и хотя уловить его трудно, но «трудно» не означает «невозможно».

Если мы посмотрим на немаркированные полные имена типа *Андрей* или *Вера*, у которых нет немаркированной краткой формы, то увидим, что их производные на *-уша* (*Андрюша*, *Веруша*) будут звучать более интимно и ласково. Если же мы обратимся к именам, у которых есть немаркированная краткая форма, и основа этой краткой формы оканчивается на мягкий согласный, как, например, в форме *Катя*, то ласкательное значение в форме на *-уша* станет менее явным, потому что из пары *Катюша* и *Катенька* — *Катенька* будет звучать нежнее (здесь можно опять вспомнить замечание Толстого о соотношении между *Катька*, *Катенька* и *Катюша*).

Однако то, что *Катенька* звучит более нежно, не значит, что *Катюша* нормально воспринимается как менее ласковое. Просто есть качественная разница между легкой нежностью, которую передает форма *Катенька*, и «более тяжелой», серьезной и взрослой лаской, заключенной в форме *Катюша*. В популярной песне времен Второй мировой войны девушку, которая ждет своего ушедшего на войну возлюбленного, зовут не *Катенька*, а *Катюша*:

Выходила на берег Катюша,
на высокий на берег крутой.

В данном случае имя *Катенька* подходило бы хуже, чем *Катюша*, поскольку в песне создана атмосфера тревожного ожидания, а не легкой нежности.

То, что было сказано о паре *Катюша* и *Катенька*, еще в большей степени может быть отнесено к паре *Сонюша* и *Сонечка*. Информанты утверждают, что *Сонечка* звучит более нежно, но *Сонюша* несет большую эмоциональную нагрузку; эти два утверждения вовсе не обязательно несовместимы. В

русской культуре люди просто и легко демонстрируют нежность по отношению к друг другу, тогда как «более серьезные» формы типа *Сонюша* или *Ванюша* означают нечто большее, чем просто случайную нежность. В качестве отдаленной и не очень точной аналогии я могла бы привести такой пример: в австралийском слова *dear* 'дорогой' и *love* 'любовь' стандартно употребляют служащие в магазинах и барах, обращаясь таким образом ко всем подряд, а формы *Deb* 'Деб' (от *Debbie* 'Дебби') и *Pen* 'Пен' (от *Penny* 'Пенни'), которые внешне звучат не так ласково, употребляются только очень близкими друзьями.

Братус (Bratus 1969:33) называет формы типа *Катюша* или *Илюша* «уменьшительными», но в некотором смысле их правильнее было бы называть как раз не «уменьшительными», а ласкательными «увеличительными». Например, если к маленькой девочке, которую обычно называют *Сонечка* или *Танечка*, иногда обращаются *Сонюша* или *Танюша*, то это обращение звучит более взросло. Как будто к ней обращаются как к «большой», серьезно и в то же время ласково. Может быть, для нее это будет значить даже больше, чем обычная ласковая форма *Сонечка* или *Танечка*, как стандартно называют маленьких *Сонь* и *Тань*. Отчасти этот «увеличительный» эффект объясняется существованием уменьшительного суффикса *-ушка* (например, *Петрушка*, *Ванюшка*), точно так же мы видим, что из-за существования суффикса *-очек* суффикс *-ок* кажется не таким уменьшительным. Если не считать нескольких названий лиц, образованных от глаголов и прилагательных (например, *кликуша*), *-уша* сочетается исключительно с собственными именами.

Суффикс *-ушка* (с ударением на *у*, как в *Петрушка*) не очень часто встречается в литературном языке, но все же он существует, и в паре *Петрушка* — *Петруша* менее уменьшительным кажется *Петруша*, так как *-ушка* используется при образовании обычных отыменных уменьшительных (например, *деревня* > *деревушка*; *комната* > *комнатушка*; *церковь* > *церквушка*), а *-уша* в обычных существительных вообще не встречается.

Разумеется, в случае немаркированных полных имен вроде *Вера* формы на *-уша* (например, *Веруша*) не производят такого «увеличительного» впечатления, потому что они воспринимаются на фоне не только формы *Вера*, но и *Верочка* (а также *Верушка* и других ласкательных форм). По сравнению с *Верочка Веруша* будет «увеличительным», а по сравнению с *Вера* — нет. В случае же немаркированных полных имен типа *Андрей*, у которых нет ни немаркированной краткой формы, ни какой-либо немаркированной ласкательной формы, фор-

ма на *-уша* *Андрюша* оказывается еще менее «увеличительной». *Андрюша* воспринимается на фоне *Андрей*, и поэтому нет никакой причины воспринимать форму на *-уша* как «увеличительную». Например, когда Толстой пишет о своем сыне Андрее (о котором он вообще не очень много думал), называя его *Андрюша*, то это звучит покровительственно, но никак не уважительно. Будучи в некотором роде фамильярной формой, *Андрюша* звучит менее «взросло», чем *Андрей*; в то же время *Сонюша* звучит более уважительно и взросло, чем *Сонечка*, а *Катюша* — чем *Катенька*.

В некотором смысле формы типа *Андрюша* занимают относительно полных форм положение *vis-a-vis*, похожее на то, которое занимают формы на *-ша* (*Гриша* или *Наташа*) относительно своих полных имен. Однако они более ласкательные, хотя и не звучат так нежно, как соответствующие формы на *-енька* и *-очка* (*Катенька* или *Сонечка*).

Прежде чем я попытаюсь собрать вместе эти разрозненные факты и предложить для них общую семантическую формулу, я бы хотела продемонстрировать читателю один особенно тонкий и эмоционально богатый пример того, как суффикс *-уша* используется в именах. Я имею в виду маленького героя романа Достоевского «Братья Карамазовы», которого зовут *Илюшечка*.

Суффикс *-ечка* (как в *Сонечка*) придает этому имени что-то детское, и, как обычно, выражает легкую нежность. Но комбинация *-ечка* с *-уша* придает этому имени такое эмоциональное наполнение, которого нет у форм *Сонечка* или *Ванечка*. Первый суффикс *-уш(а)* передает здесь обычную для него близость, которая в нормальной ситуации никак не связана с маленькими детьми. Второй суффикс *-ечка* передает нежность, которая как раз ассоциируется с маленькими детьми. В результате, имя *Илюшечка* передает и близость, и нежность, оно звучит ласково и уважительно, и идеально подходит этому очаровательному персонажу.

Моментальное переключение с немаркированной формы на форму с суффиксом *-уша* в русском языке подразумевает изменение отношения, обычно в сторону большей теплоты и интимной серьезности. Например, в романе Солженицына «В круге первом» соседка по комнате меняет обращение *Надя* на *Надюша* и таким образом выражает свою симпатию:

«Что с тобой, Надюша? Ты утром ушла веселая». Слова были сочувственные, но смысл их был — раздражение.

В этом предложении симпатия выражена именно в форме *Надюша*. Хорошие чувства и серьезность в сочетании с вопросом «Что с тобой?» как раз и передают чувство симпатии.

Для описания всех перечисленных аспектов форм на *-уша* можно предложить следующую формулу:

Катюша, Сонюша, Андрюша

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства,
не такие, которые испытывают по отношению к детям

2.2.7. Русское экспрессивное словообразование. Заключение

Формы на *-очка* (например, *Лидочка, Галочка, Левочка, Сонечка*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают, говоря с маленькими детьми

Формы на *-енька (-онька)* (например, *Катенька, Митенька*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой.

Мужские имена, формы на *-ик* (например, *Марик, Юрик*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к маленьким мальчикам

Женские имена, формы на *-ик* (например, *Светик, Люсик*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
я испытываю хорошие чувства, говоря с тобой
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты была маленьким мальчиком, а не девочкой

Женские имена, формы на *-ок* (например, *Нинок, Лизок*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты была мальчиком

Мужские имена, формы на *-ок* (например, *Сашок, Димок*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к мальчикам

Формы на *-еньш* (например, *Катеньш, Клареньш*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди

я хочу говорить с тобой так, как если бы ты был молодым, не совсем взрослым животным

Формы на *-енок* (например, *Катенок, Никитенок*) (ср. Benson 1967: 167)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты был детенышем животного, а не ребенком

Формы на *-ушка* (например, *Никитушка, Авдотьюшка*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к людям,
когда думают о плохих вещах, которые могут с ними случиться

Формы на *-уша* (например, *Катюша, Сонюша, Андрюша*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства,
не такие, которые испытывают по отношению к детям

2.3. Семантика русских имен на *-ка*

2.3.1. Универсальность суффикса *-ка*

Среди русских экспрессивных суффиксов суффикс *-ка* самый многосторонний и неуловимый. В лингвистической литературе этот суффикс принято описывать как пейоративный (исключая другое, диалектное употребление; см., например, Бондалетов, Данилина 1970:198). В некоторых книгах, предназначенных для широкого круга читателей, употребление этого суффикса даже осуждается по идеологическим мотивам. Так Сулова и Суперанская (1978:116) пишут, что суффикс *-ка* сохранил до сегодняшних дней исконные черты, заключающиеся в выражении высокомерного отношения к адресату и в принижении его статуса в отношениях с говорящим. Авторы также замечают, что Пушкин любил простую крестьянскую речь и называл своих горячо любимых детей *Машика, Сашика, Гришка* и *Наташика*, не имея в виду ничего из сказанного выше. В этом смысле формы на *-ка* по-прежнему продолжают существовать в повседневной разговорной речи. Тем не менее Сулова и Суперанская осуждают употребление имен на *-ка*, говоря, что в наше время при социальном общении следует употреблять другие формы и что в вежливой, уважительной по отношению к собеседнику речи

нет места для таких форм, как *Васька* или *Машка*, поскольку они несовместимы с культурным социальным общением.

Это очень любопытное утверждение. Пушкин мог употреблять формы на *-ка*, потому что он любил простую крестьянскую речь — и это нормально. Но в наши времена это не нормально — несмотря на то, что в современной речи эти формы употребляются точно в том же смысле, что и во времена Пушкина!

Похожую двойственность (хотя и без какого-либо оттенка нормативности или идеологии) мы видим и у Станкевича (Stankiewicz 1968:156): «Суффикс имеет пейоративное значение, особенно среди детей или при его употреблении взрослыми по отношению к ребенку. В дореволюционной России он был распространен и употреблялся по отношению к представителям низших классов и крестьянам. Среди молодежи этот суффикс практически утратил свое пейоративное значение и формы на *-ка* имеют дружеский оттенок и подчеркивают некую близость»

Но что же все-таки значит «практически утратил» пейоративное значение? Есть оно или его нет?

Аналогично Бенсон (Benson 1967:152) пишет, что «суффикс *-ка* означает фамильярность, часто пренебрежение: *Егор — Егорка*». Однако он не объясняет — а возможно, ему самому это тоже не вполне ясно, — в чем именно состоит его утверждение: в том ли, что некоторые категории имен на *-ка* имеют пренебрежительный смысл (т. е. 'пренебрежительность' входит в семантику их инварианта) или в том, что некоторые употребления таких имен бывают пренебрежительными, но при этом 'пренебрежительность' не входит в семантический инвариант имен на *-ка*?

Более того, неверно, что среди детей формы на *-ка* употребляются обычно как пейоративные. Например, в повести Аркадия Гайдара «Школа» мальчики называют друг друга именами на *-ка* (*Валька, Гришка, Федька, Митька* и т. д.) без каких-либо отрицательных коннотаций; и похоже, что среди мальчиков (но не среди девочек) обращения на *-ка* являются по существу стандартными немаркированными формами.

Неверно также и то, что при обращении взрослого к ребенку форма на *-ка* звучит уничижительно. Во-первых, как отмечают Сулова и Суперанская (1978:113), взрослые в общении между собой часто употребляют эти формы, говоря о собственных детях (например, *мой Петька, моя Катька*) без каких-либо отрицательных коннотаций. Поэт Александр Блок писал о своем маленьком сыне (когда тому было около

недели) восторженно и нежно, но при этом называл его *Митькой*: Как его теперь, Митьку ... воспитывать?

Можно привести и такой пример (из повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»), где форма на *-ка* передает нежное отношение отца к его дочери:

Папа, приезжай скорее! Папа! Мне, твоей Женьке, очень трудно!

Через полчаса я уеду ... жаль, что так и не пришлось по-видать Женьку.

Также формы на *-ка* очень распространены среди друзей-мужчин (вовсе не обязательно молодых), и они тоже отнюдь не являются уничижительными. Они совместимы не только с хорошим отношением, но и с уважением, как это показано в песне Окуджавы про «Леньку Королева»:

Ребята уважали очень Леньку Королева.

Учитывая возможность употребления суффикса *-ка* (даже когда ему предшествует мягкий согласный) и для выражения нежности, и для проявления дружеского отношения не только в шутку, мы не можем считать этот суффикс изначально негативным по своей семантической структуре. Напротив, мы должны попытаться приписать этому суффиксу такую семантическую структуру, которая бы объясняла тенденцию к его негативному восприятию, но при этом была бы совместима и с положительной его интерпретацией.

2.3.2. Два типа форм на *-ка*: положительные и нейтральные

Я считаю, что одна из причин (хотя и не обязательно главная) того, что имена на *-ка* обладают такими противоречивыми свойствами и так трудны для описания, состоит в том, что суффикс *-ка* полисемичен — или, точнее, что он связан со множеством разных морфологических конструкций (которые могут объясняться разными морфологическими процессами) и что в каждом случае значение такой конструкции с *-ка* разное.

Прежде всего, трехсложные формы, образованные от полной (твердой) основы трехсложных полных женских имен (например, *Маринка, Иринка, Татьяна*) не только не уничижительны, но без сомнения являются положительными. Как и имена на *-енька* и *-очка*, они (кроме всего прочего) передают компонент 'Я испытываю по отношению к тебе какие-то

хорошие чувства'. Если описывать эту категорию в терминах процесса, то мы можем сказать, что в данном случае суффикс *-ка* присоединяется к полной, твердой, трехсложной основе женского имени.

Ни какая другая категория имен на *-ка* не обладает этим изначально положительным значением. И с этой точки зрения имена типа *Маринка* или *Иринка* скорее ближе к ласкательным на *-очка* или *-енька* (*Ирочка, Катенька*), чем к остальным типам имен на *-ка*.

Другие же формы на *-ка* (в отличие от этих трехсложных *-ка*-форм, образованных от основы полного женского имени), такие как, например, *Верка, Лидка, Наташка, Катька* или *Сашка*, не являются ни положительными, ни отрицательными. Поэтому не удивительно, что в некоторых ситуациях они могут интерпретироваться как недостаточно уважительные и потому пейоративные, а в других ситуациях как дружеские и интимные.

Называя собеседника именем на *-ка*, человек как бы сообщает, что 'с тобой я не хочу устраивать церемоний', и такое сообщение может передавать неуважение, но оно также совместимо и с выражением дружеской простоты. Я бы сформулировала это следующим образом:

'я не хочу показывать, что испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые показывают по отношению к людям,
которых не знают хорошо и которые не являются детьми'

По мнемоническим причинам я назвала этот компонент 'анти-уважение', но его не нужно путать с неуважением.

Я думаю, что употребление форм на *-ка* в дореволюционной России можно объяснить сходным образом. Когда помещики называли своих крестьян *Катька* или *Федька*, эти формы звучали неуважительно, поскольку в них с одной стороны не соблюдалась дистанция, а с другой — не проявлялась ласка или теплота и, кроме того, сама социальная ситуация не предполагала проявления каких-то подобных чувств. Но при их употреблении самими крестьянами в собственной среде эти формы звучали несколько иначе. Сулова и Суперанская (1978:116) пишут, что они показывали простоту отношений между людьми, при этом наполняя эти отношения близостью и даже теплотой. Я думаю, что обе эти внешне противоречивые интерпретации совместимы с одной семантической структурой. Если форма явно сообщает об 'отсутствии дистанции', а ласкательность в явном виде не выражена, то эта формула можно интерпретировать как пере-

дающую 'близость и теплоту', если сама социальная ситуация предполагает такое отношение (как в случае общения между крестьянами).

Кроме 'анти-уважения' нейтральные формы на *-ка* (т. е. все, кроме категорий имен типа *Иринка*) выражают еще некое, точно не установленное, экспрессивное значение, которое я бы представила так:

'Я испытываю по отношению к тебе какие-то чувства'.

Но в самих формах это отношение никак не уточняется, что и дает основание для очень широкой их интерпретации: от любви до презрения и высокомерия.

Впрочем, в некотором отношении мы все же можем уточнить характер чувств, которые передаются формами на *-ка*: они не должны быть сентиментальными. Этот аспект их значения я определила в виде следующего компонента:

'Я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то чувства
вроде тех, что испытывают по отношению к детям'.

Все сказанное относительно экспрессивного, несколько бесцеремонного и анти-сентиментального характера имен на *-ка* касается в равной мере форм с твердой основой (*Лидка, Демка*), форм с мягкой основой (*Катька, Ванька*) и форм с суффиксом *-ш* (*Гришка, Сашка*). Для удобства читателя в семантических формулах эти черты были названы, соответственно, 'экспрессивность', 'анти-уважение' и 'анти-сентиментальность'. Четвертый признак, который здесь называется 'фамильярностью', относится, скорее, к основе и присущ всем экспрессивным формам русских имен.

Однако, кроме этих основных черт, нейтральные имена на *-ка* все же обладают некоторыми особенностями, которые связаны с характером основы и природой конкретных морфологических процессов. И в зависимости от последнего согласного основы здесь надо различать три подтипа.

2.3.3. Три подтипа нейтральных форм на *-ка*

Если не принимать во внимание разные социальные коннотации личных имен на *-ка*, то в целом можно сказать, что у имен на *-ка*, образованных от краткой формы (например, *Лидка* > *Лидка*, *Зина* > *Зинка*), экспрессивное значение то же, что и в именах на *-ка*, образованных от основы немаркиро-

ванной полной формы (напр., *Вера* > *Верка*, *Нина* > *Нинка*). Соответственно, я объединяю их в один подтип: формы с твердой основой. Что же касается форм с основой на мягкий (например, *Катя* > *Катька*, *Ваня* > *Ванька*), то они имеют несколько другое значение, а формы на *-ка* с суффиксом *-ш* ведут себя совсем отличным образом. Следовательно, мы имеем три подтипа форм на *-ка*: формы с основой на твердый согласный, формы с основой на мягкий согласный и формы на *-ш*. Поскольку формы на *-ш* занимают промежуточное положение между двумя остальными, то мы начнем с сравнения твердых и мягких форм на *-ка*.

Моя гипотеза заключается в том, что мягкие формы на *-ка* звучат более грубо, неуважительно и бесцеремонно, чем соответствующие формы с основой на твердый. Например, если в семье есть две маленькие девочки по имени *Светлана* и *Катерина*, то их, скорее, будут звать *Светка* и *Катя*, чем *Света* и *Катька* или *Светка* и *Катька*, а если их и называют *Света* и *Катька* или *Светка* и *Катька*, то это показывает более грубое отношение к девочке, которую называют *Катька*. Эта грубость может быть не настоящей, а скорее шуточной и ласковой, но это не отменяет того факта, что экспрессивные значения имен *Катька* и *Светка* не полностью совпадают. Я подозреваю, что когда лингвисты и носители языка говорят о презрительном и недоброжелательном характере форм на *-ка*, а также о выражении с их помощью высокомерного отношения к адресату и о принижении статуса последнего в отношениях с говорящим (см. Сулова, Суперанская 1978:116), они имеют в виду прежде всего имена с мягкой основой (*Катька*, *Ванька*), а не твердые (*Лидка*, *Светка* или *Ромка*).

В русской литературе переход с обычной мягкой формы на форму с *-ка* чаще всего как раз используется для обозначения чьих-то 'плохих чувств'. Например, в повести Гайдара (1937) «Тимур и его команда» старшая сестра Ольга обычно называет свою младшую сестру *Женя*, и переключается на форму *Женька*, только когда хочет выразить свое неудовольствие. Аналогично в «Преступлении и наказании» Достоевского лучший друг главного героя Раскольников Разумихин называет его *Родя*, но в особой ситуации, разозлившись и начав кричать на Раскольникова, он использует форму *Родька*. Подобные же примеры для имен с твердой основой найти трудно.

Контраст в использовании пар имен типа *Митя* vs. *Митька* или *Катя* vs. *Катька* также служит для выражения разного отношения к человеку. Так, в «Братьях Карамазовых» люди, которые любят Дмитрия Карамазова (Алеша и

Грушенька), называют его *Митя*, в то время как ненавидящий его отец зовет его *Митька*. Однако для имен вроде *Светка* или *Демка* подобные противопоставления крайне редки (если вообще существуют). Наоборот, твердые формы на *-ка* часто встречаются в качестве имен положительных героев. Например, в романе Солженицына «Раковый корпус» симпатичного парня по имени *Дема* (видимо, от *Демьян*) обычно называют *Демка*, и это звучит скорее дружески, чем отрицательно.

По этому поводу, можно также вспомнить стихотворение Маяковского, в котором упоминается молодой Роман Якобсон:

Глаз
кося
в печати сургуча
напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.

Вполне очевидно, что в устах Маяковского «*Ромка Якобсон*» звучит дружески, а не отрицательно.

И наконец, я могу привести цитату из песни Владимира Высоцкого, в которой форма на *-ка* *Нинка* имеет исключительно положительные коннотации:

Сегодня жизнь моя решается,
Сегодня Нинка соглашается.

В других контекстах *Нинка* может звучать грубо и отрицательно, но здесь такое понимание исключается.

Однако, еще раз повторю, я не утверждаю, что твердые формы на *-ка* (такие, как *Ромка*) изначально положительны по своему значению, а мягкие формы (такие, как *Катька*) — изначально отрицательны. Мое утверждение состоит в том, что мягкие формы на *-ка* скорее могут быть интерпретированы как отрицательные. Поскольку самим основам присущи разные значения, то они по-разному реагируют и на прибавление суффикса *-ка*. Если посмотреть на предложенные толкования, то можно увидеть, что имена с твердой основой (типа *Лидка*) и имена с мягкой основой (типа *Катя*) различаются по двум параметрам: во-первых, у имен типа *Лидка* дети исключены из их прототипа, а у имен типа *Катя* дети рассматриваются как часть прототипа; во-вторых, в именах типа *Катя* дружеское отношение включено в их прототип, а

в именах типа *Лидка* — нет. Я считаю, что оба эти фактора взаимодействуют с 'оператором' *-ка*.

Прежде всего, надо вспомнить о том, что и в обычных существительных суффикс *-ка* также амбивалентен: если суффикс *-очка* подразумевает 'что-то меньшее чем [основа]', то *-ка* предполагает 'не намного меньшее чем [основа]'. В сериях типа *горсть* > *горстка* > *горсточка* форма на *-ка* является уменьшительной по отношению к основе и, так сказать, анти-уменьшительной по отношению к форме на *-очка*.

Более того, для многих имен форма на *-ка* является нормальной, а форма на *-очка* (*-ечка*) представляет собой диминутив. Как указывает Братус (Bratus 1969:37): «В этих случаях слово, от которого образуется диминутив, 'аугментируется' (увеличивается), т.е. приобретает значение соответствующего аугментатива».

В то же время надо сказать, что вне области личных имен суффикс *-ка* обычно сочетается с твердой, а не мягкой основой:

кровать > *кроватька* **кроватьька*
площадь > *площадка* **площадьька*

Это означает, что имена на *-ка* с твердой основой (*Лидка*, *Нинка*) воспринимаются как слегка уменьшительные и человек, которого называют таким именем, представляется маленьким в каком-то отношении (по размеру, статусу, достоинству, возрасту и т. д.). Следовательно, такие имена могут восприниматься не только как неуважительные, но и как дружеские, ласковые и т. д. Имена же на *-ка* с мягкой основой (*Катька*, *Ванька*) никогда не воспринимаются как 'уменьшительные', поскольку среди неодушевленных существительных вряд ли найдутся такие, которые образовывали бы диминутивы по этой модели.

Я пытаюсь показать, что из-за изначальной двойственности суффикса *-ка* как раз и возникает возможность различных интерпретаций в зависимости от типа имен, присоединяющих суффикс. В частности, имена с основой на твердый тяготеют к диминутивам, а имена с основой на мягкий, наоборот, скорее интерпретируются как «аугментативы».

Поскольку прототип имен с твердой основой — это взрослые, то и сами имена могут казаться «большими», больше подходящими для взрослых, чем для детей. Если маленькую девочку называют *Людка* или *Светка*, то это, скорее всего, понимается как диминутив (в смысле маленького размера). Но формы с мягкой основой (*Катя*, *Ваня*) не воспринимаются как «большие» (они одинаково подходят и для

детей, и для взрослых), соответственно, и формы *Катька* или *Ванька* вряд ли могут быть интерпретированы как диминутивы. Следовательно, форма *Светка* может казаться «уменьшенным вариантом» имени *Света*, но *Катька* (по отношению к *Катя*) не будет восприниматься аналогичным образом.

Амбивалентность суффикса *-ка* мы можем наблюдать и в терминах родства. Например, форма *дочка* считается диминутивом от *дочь* (см., например, Академическую грамматику АН СССР 1960:265), но форма *тетка* больше похожа на «увеличительную», чем на уменьшительную от *тетя*. Что же касается слова *дядя*, то форма на *-ка* играет в этом случае не только роль анти-диминутива, но даже часто употребляется в другой функции: не как термин родства, а в значении 'неприятный на вид человек, чужой'.

'Аугментативная' форма *тетка* (vs. *тетя*), я думаю, может быть представлена следующим образом:

я не хочу говорить с тобой (о ней) так, как говорят дети

'Аугментативный' характер имен с мягкой основой (*Катька*, *Женька*) можно представить похожим (но все же несколько отличным) образом:

я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми

Диминутивный характер имен с твердой основой (*Светка*, *Лидка*) представляется следующим образом:

я не хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которые не являются детьми

Что же касается второго параметра, по которому различаются формы с твердой и мягкой основами, такие как *Лидка* и *Катька*, то, по-моему, он основывается на признаке, который можно назвать 'личной дистанцией':

'я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо' (для твердых основ)

vs.

'я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства'

Если говорить о самих основах, то форма *Катя* подразумевает меньшую дистанцию, чем форма *Лидка*. Я считаю, что это различие переносится и на формы с суффиксом *-ка* (*Катька*, *Лидка*), но из-за семантики *-ка* оно предстает здесь в несколько ином виде. Поскольку в семантике *-ка* содержатся 'анти-уважительный' и 'анти-сентиментальный' компоненты, отсутствие дистанции приобретает несколько развязный характер. Формы на *-енька* (такие, как *Катенька*) тоже не подразумевают наличия личной дистанции, но они передают ласковое отношение, и поэтому не могут звучать оскорбительно. Формы же типа *Катька* не передают какого бы то ни было ласкового отношения, и в них также отсутствует дистанция. Такое сочетание и дает, скорей всего, эффект неуважительности и оскорбительности.

Для описания разницы между формами *Катька* и *Людка* в соответствии со сказанным выше я постулирую компонент, который условно назову 'суровость':

'я не хочу показывать, что испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства'

Сама по себе мягкая форма (например, *Кат'а*) выражает:

'я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства'

Прибавляя к этому *-ка*, говорящий тем самым сообщает, что отсутствие дистанции в данном случае не может интерпретироваться как проявление ласкового отношения ('я не хочу показывать, что испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства').

Что же касается форм на *-шка* типа *Сашка* или *Гришка*, то, похоже, они занимают некое промежуточное положение между формами с твердой основой (типа *Светка*) и формами с мягкой основой (типа *Катька*). Это вполне логично, поскольку соответствующие основные формы на *-ша* (например, *Саша*) также занимают промежуточное положение по отношению к основам на мягкий (например, *Катя*) и основам на твердый (например, *Лидка* или *Света*).

Поскольку формы на *-шка* не создают ни эффекта уменьшительности (подобно твердым формам), ни эффекта увеличительности (подобно мягким формам), то я не включала в их толкования ни 'уменьшительный', ни 'увеличительный' компоненты. Но поскольку формы на *-шка* точно так же могут относиться к детям, как и формы на *-ша*, то я сохранила

эту отсылку, закрепив ее в компоненте 'покровительности'. В случае имен на *-ша* отнесенность к детям не создает эффекта покровительственности, однако он проявляется в семантическом контексте суффикса *-ка*. Компонент 'суровости' в данном случае не нужен, поскольку основа не передает отсутствия личной дистанции.

Ниже я собираюсь предложить семантические формулы для разных типов имен, о которых шла речь в этом разделе: во-первых, три формулы для трех подтипов семантически нейтральных имен на *-ка* и, во-вторых, формулу для семантически положительно окрашенных имен на *-ка*, таких как *Маринка*. В каждом случае формула включает в себя некоторое число (от трех до семи) достаточно сложных компонентов. Чтобы облегчить чтение этих формул, я снабдила каждый компонент коротким заглавием-ярлыком, который в упрощенном виде дает представление о содержании компонента. Однако необходимо помнить, что значение имен заключено в самих компонентах, а не в их ярлыках.

2.3.4. Русские формы на *-ка*. Заключение

А. Нейтральные имена на *-ка*

1. *-ка* после твердого согласного (например, *Лидка*, *Ромка*, *Верка*, *Нинка*)

[близость]

я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо

[уменьшительность]

я не хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которые не являются детьми

[экспрессивность]

я испытываю по отношению к тебе какие-то чувства

[анти-сентиментальность]

я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то чувства вроде тех, что испытывают по отношению к детям

[анти-уважение]

я не хочу показывать, что испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо

2. *-ка* после мягкой согласной (например, *Катька, Митька, Ванька*)

[близость]

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых знают хорошо

[нет дистанции]

и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие
чувства

[увеличительность]

я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми

[экспрессивность]

я испытываю по отношению к тебе какие-то чувства

[суровость]

я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе
какие-то хорошие чувства

[анти-сентиментальность]

я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе
какие-то чувства вроде тех, что испытывают по отношению к
детям

[анти-уважение]

я не хочу показывать, что испытываю по отношению к тебе
какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по
отношению к людям, которых не знают хорошо3. *-ка* после суффикса *-и* (например, *Гришка, Сашка*)

[близость]

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых знают хорошо

[покровительственность]

и с детьми

[экспрессивность]

я испытываю по отношению к тебе какие-то чувства

[анти-сентиментальность]

я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе
какие-то чувства вроде тех, что испытывают по отношению к
детям

[анти-уважение]

я не хочу показывать, что испытываю по отношению к тебе
какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по
отношению к людям, которых не знают хорошоВ. Положительные формы на *-ка*
(например, *Иринка, Маринка*
Татьянка)

[близость]

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых знают хорошо

[уменьшительность]

я не хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которые не являются детьми

[положительная экспрессивность]

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства

3. Польские личные имена

Система польских личных имен и их экспрессивных производных во многом напоминает русскую. Учитывая генетическую близость этих языков и общее сходство их экспрессивных систем, будет особенно интересно при помощи детального семантического анализа обнаружить скрытые различия между этими системами и найти для них культурное обоснование.

Однако и на поверхности сразу обнаруживается одно важное различие: для польских имен, в отличие от русских, характерно противопоставление по полу, которое проходит через всю систему экспрессивного словообразования. В русском набор мужских полных имен отличается от набора женских полных имен, но система экспрессивного словообразования у них во многом общая. Для женских полных имен характерно окончание *-а*, а мужские полные имена обычно кончаются на согласный, однако даже здесь можно привести немало исключений: например, мужские имена типа *Гаврила, Илья, Кузьма, Никита*. Краткие же формы и экспрессивные производные на *-а*, *-ша*, *-енька*, *-очка*, *-уша*, *-ушка*, *-ка* вообще могут быть и мужскими, и женскими. Как ни странно, однако, эти экспрессивные формы в основном относятся к женскому морфологическому роду (т. е. используют суффиксы, которые сочетаются с неодушевленными существительными женского рода). Этот факт должен иметь культурные импликации. В польском ситуация иная. Окончания женских имен

отличаются от мужских: не считая случаев намеренного переделывания ласкательных форм, имена на *-a* (*-eńka*, *-eczka*, *-ulka*, *-usia*, *-unia*, *-ka* и т. д.) — всегда женские, а имена на согласный (или на *-o*) — всегда мужские. Единственное известное мне исключение — это имя *Kuba* 'Куба' от *Jakub* 'Якуб'. Как будет видно из дальнейшего, в польском языке четкие формальные различия между мужскими и женскими именами сопровождаются также четкими семантическими различиями. На этом фоне русская система экспрессивного словообразования поражает своим семантическим единообразием, когда во многих случаях мужские и женские имена ведут себя практически одинаково.

Еще одно существенное различие между польской и русской системами касается роли официальности («формальности») и этикета, а также взаимодействия официального и искреннего в обращении. Эти два различия достаточно сильно связаны, поскольку польскому этикету присуща рыцарская куртуазность и несимметричность в том смысле, что он зависит от пола. Например, польский этикет требует, чтобы мужчина при приветствии и прощании целовал женщине руку, и в этой традиции одновременно проявляются ритуальная вежливость и разный подход к мужчине и женщине (ср., *Wierzbicka* 1985). Так же, как и в случае русских имен, предлагаемый здесь обзор польских экспрессивных форм ни в коем случае не претендует на то, чтобы считаться исчерпывающим.

3.1. Полные первые имена

Подобно русским (и английским) польские полные имена бывают двух типов: маркированные, такие, как *Jan* 'Ян', *Małgorzata* 'Мария', *Zofia* 'Зофья', и немаркированные, такие, как *Adam* 'Адам', *Ewa* 'Эва', *Michał* 'Михал' и *Marta* 'Марта'. Тот факт, что в современном языке существует тенденция использовать многие маркированные в прошлом полные имена (например, *Tomasz* 'Томаш' или *Małgorzata* 'Малгожата') в качестве немаркированных, а также употреблять их вместо кратких форм, в целом не затрагивает этого основного противопоставления. В общем можно сказать, что эти формы в польском языке употребляются так же, как соответствующие формы в русском.

В польском детском саду детей по имени *Adam*, *Ewa*, *Michał* и *Marta* вряд ли будут называть этими (немаркированными) полными именами, тогда как в англо-саксонском детском саду детей по имени *Matthew* 'Мэттью', *Andrew* 'Эн-

дрю', *Clare* 'Клэр' или *Ruth* 'Рут' будут, скорее всего, называть именно полными (немаркированными) именами. Маркированные полные имена вроде *Kazimierz* ('Казимеж'; как у Пуласского) или *Tadeusz* ('Тадеуш'; как у Костюшко) или *Małgorzata* (как у Скłodовской-Кюри) вряд ли будут использоваться в обычной жизни при обращении к мужу (жене), родственнику или другу; если же они и употребляются, то — как очень маркированные.

И все же есть некоторая разница в употреблении русских и польских полных имен: в польском полные формы редко используются по отношению к детям для выражения неодобрения, тогда как в русском это явление очень распространено. Так замена имени *Женя* на *Евгения* при обращении старшей сестры к младшей (13-летней) в повести Гайдара «Тимур и его команда» в русском совершенно нормальна, а по-польски это же выглядело бы несколько неестественно, так же как, например, замена формы *Zosia* 'Зося' на *Zofia*. Чтобы отразить это различие между русским и польским, я включила в семантическую формулу русских полных маркированных имен компонент, отрицающий явную ласковость, и не включила такой компонент в формулу соответствующих польских форм.

Маркированные полные имена (например, *Kazimierz*, *Tadeusz*, *Małgorzata*)

я не хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых не знают хорошо
я не хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых знают хорошо, и с детьми

Немаркированные полные имена (например, *Adam*, *Ewa*)

я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми
я хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых знают хорошо

Тем не менее, польский отличается от русского в том, что касается употребления официальных и уважительных вежливых форм, и это влияет на употребление полных имен. Если не считать служебных титулов, то в русском официальность обычно передается сочетанием полного имени с отчеством, например, *Лев Николаевич* (Толстой), *Анна Андреевна* (Ахматова). Экспрессивные варианты имен не могут сочетаться с отчеством (**Аня Андреевна*, **Анечка Андреевна* и т. д.). В польском официальность выражается с помощью слова *pan* 'пан', *pani* 'пани' и *panna* 'панна', но в отличие от русского эти слова могут сочетаться и с краткими формами, и с экспрессивными производными (по крайней мере с теми, чья семан-

тика совместима с уважительным отношением, заключенным в этих словах). Поэтому в польском не возникает проблемы выбора между эмоциональным обращением и сохранением дистанции, можно выразить и то, и другое в разных пропорциях и комбинациях. Например, при обращении к девушке по имени Zofia можно сохранять официальность и в то же время выбирать между такими формами как panna Zofia, panna Zosia и panna Zosieńka 'Зосенька', а при обращении к мужчине по имени Tadeusz можно, сохраняя официальность, выбирать между pan Tadeusz, pan Tadzio 'Тадзьо' и pan Tadek 'Тадек'. Особенно широк выбор в звательном падеже, для которого в польском сохранилась особая форма (например, panie Tadeuszu, panie Tadzio, panie Tadku).

Богатая система экспрессивного словообразования сближает польский с русским (и другими славянскими языками) и отражает общую «эмоциональность» человеческих взаимоотношений в славянской культуре. Но сочетание эмоциональности и официальности, ласки и ритуальной вежливости является специфически польской чертой, которая проявляется и в невербальном поведении. Необходимость сохранять некоторую официальность даже в тех отношениях, в которых хочется проявить нежность или другие чувства, — важная черта традиционной польской культуры, которая находит отражение и в польском языке. Эта черта порой высмеивается и сатирически описывается в русской литературе, особенно в романах Достоевского.

3.2. Краткие формы

3.2.1. Формы с мягкой основой и формы с твердой основой на -ек

Говоря о русских кратких формах, мы разделили их на три класса: формы с основой на мягкий (например, *Катя*, *Ваня*); формы с основой на твердый (например, *Лидка*, *Дима*) и формы на -ша (*Наташа*, *Гриша*). В польском картина выглядит несколько иначе, поскольку, в отличие от русского, мужские и женские формы ведут себя по-разному.

Краткие формы женских имен образуются от мягкой основы или содержат суффикс с мягким согласным, прежде всего это -sia (например, Zosia). По значению эти женские формы с мягкой основой соответствуют русским мягким формам, таким как *Катя* или *Аня*. Однако для мужских имен в польском нет аналогичных по своему экспрессивному значению форм. С точки зрения морфологии многие формы об-

разуют идеальную симметрию, и многие женские имена образуются от мужских путем прибавления женского суффикса -a к краткой мужской форме или замены в конечном -o мужской формы на женское -a:

мужские	женские
Jaś 'Ясь' (от Jan 'Ян')	Jasia 'Яся' (от Janina 'Янина')
Stas 'Стась' (от Stanisław 'Станислав')	Stasia 'Стася' (от Stanisława 'Станислава')
Kazio 'Казьо' (от Kazimierz)	Kazia 'Казя' (от Kazimiera 'Казимера')
Henio 'Хеньо' (от Henryk 'Хенрик', Генрик')	Henia 'Хеня' (от Henryka 'Хенрика')

И все же с точки зрения прагматики и, как я считаю, семантики, мужские и женские формы не вполне одинаковы по своему значению: мужские формы с мягкой основой кажутся «мягче» и воспринимаются как более детские по сравнению с соответствующими женскими формами.

В польских детских сказках мужские и женские мягкие формы часто выступают как бы в паре: как, например, Jaś и Malgosia 'Малгося' в польской версии сказки братьев Grimm про Гензеля и Гретель. Но в широко распространенном учебнике Elementarz (по которому дети учатся читать и писать; Falski 1976) типичную девочку зовут Ala ('Аля', женское, мягкая основа), а типичного мальчика Janek ('Янек', мужское, твердая основа), но не Ala и Jaś. Другие имена девочек и мальчиков, встречающиеся в аналогичных парах в Elementarz:

Ola 'Оля'	—	Olek 'Олек'
Tola 'Толя'	—	Tolek 'Толек'
Cela 'Целя'	—	Lucek 'Люцек'

Из этого следует, что для маркированных женских имен, таких, как Zofia, Anna 'Анна' или Maria основной краткой формой является форма с мягкой основой: Ala, Zosia, Ania 'Аня', Marysia 'Марыся', а для маркированных мужских имен, таких, как Jan, основной краткой формой является твердая форма с суффиксом -ек: Janek (а не мягкая Jaś).

Я могу привести еще одно соображение, в подтверждение сказанного. У маркированных мужских имен обычно есть форма на -ек, тогда как форма на -ś (не путать с -uś) существует лишь для нескольких таких имен. Например:

Маркированное полное имя	Форма на -ек	Форма на -ś
Jerzy 'Ежи'	Jurek 'Юрек'	0
Jan 'Ян'	Janek	Jaś
Władysław 'Владыслав'	Władek 'Владек'	0 (устаревшее детское Władysław 'Владысь')
Bolesław 'Болеслав'	Bolek 'Болек'	0 (Bolesław 'Болесь')

Aleksander 'Александр'	Olek	Oleś 'Олесь'
Józef 'Юзеф'	Józek 'Юзек'	0
Antoni 'Антони'	Antek 'Антек'	Antoś 'Антось'

Для большинства маркированных мужских имен формы на -ś либо отсутствуют, либо маркируются как детские и ласкательные. Все дериваты немаркированных полных имен на -ek или на -ś звучат (до какой-то степени) как детские и ласкательные, поскольку функцию немаркированной формы выполняет полное имя:

Немаркированное полное имя	Форма на -ek	Форма на -ś
Michał	Michalek 'Михалек' (ласкательная)	Michaś 'Михась' (ласкательная)
Adam	0	Adaś 'Адаś' (ласкательная)
Rafał 'Рафал'	Rafalek 'Рафалек' (ласкательная)	0
Marcin 'Марцин'	Marcinek 'Марцинек' (ласкательная)	0
Andrzej 'Анджей'	Andrzejek 'Анджеек' (ласкательная)	0

(многосложные имена на -ek все ласкательные, о них речь пойдет в разделе 3.5.).

Таким образом, в польском основной немаркированной краткой формой мужского имени является форма на -ek, а не на -ś (или ее мягкие варианты). Значение этой формы на -ek отличается от значения соответствующей (основной краткой немаркированной) формы женского имени в сторону чуть большей «жесткости». В то же время форма на -ś по своему значению чуть более «мягкая» и детская, чем соответствующая (краткая с мягкой основой) женская форма. Семантические отношения между этими формами можно описать следующим образом:

Женские имена, краткие формы с мягкой основой (например, Zosia)

я хочу говорить с тобой так, как говорят с девочками и женщинами, которых знают хорошо и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства, и с детьми

Мужские имена, стандартные формы на -ek (твердая основа, два слога, например, Janek, Antek)¹

я хочу говорить с тобой так, как говорят с мальчиками и мужчинами, которых знают хорошо
я не хочу говорить с тобой так, как не говорят с детьми

Мужские имена, формы с мягкой основой (например, Jaś, Adaś, Józio 'Юзьо')

я хочу говорить с тобой так, как говорят с мальчиками, по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства, и с детьми

Это прежде всего означает, что в польском мужские и женские имена ведут себя по-разному. В мужских именах наблюдается поляризация между формами, ориентированными на мальчиков и мужчин, в которых близость не предполагает теплоты или «мягкости» (Janek), и формами, ориентированными на мальчиков и детей, которые сочетают близость с теплотой и «мягкостью» (Jaś). В женских же именах близость почти всегда сочетается с мягкостью и теплотой, и поэтому не возникает противопоставления между женщинами и девочками, с одной стороны, и девочками и детьми, с другой.

Однако несмотря на такую поляризацию, надо отметить, что в польском языке двусложные имена на -ek, которые являются основной краткой формой мужских имен, все же не звучат так «жестко» и «по-мужски», как соответствующие английские формы вроде Bob 'Боб', Bill 'Билл' или Jim 'Джим'. Суффикс -ek при польских неодушевленных существительных после твердой основы означает 'меньший размер', например:

dom 'дом' > domek 'домик'
nos 'нос' > nosek 'носик'

В именах типа Janek или Tomek 'Томек' уменьшительное значение суффикса -ek тоже присутствует, хотя и не в такой сильной степени. Суффикс -ek не превращает эти формы в детские, но добавляет компонент мягкой уменьшительности: 'я не хочу говорить с тобой так, как не говорят с детьми'. В английских же именах типа Bob, Bill или Jim подобный компонент отсутствует, и именно поэтому они звучат «жестче», чем соответствующие польские формы на -ek. Такое соотношение может прояснить формулы, приписанные этим двум классам имен:

Janek, Tomek

я хочу говорить с тобой так, как говорят с мальчиками и мужчинами, которых знают хорошо
я не хочу говорить с тобой так, как не говорят с детьми

Bob, Bill, Jim

я хочу говорить с тобой так, как говорят с мальчиками и мужчинами, которых знают хорошо

3.2.2. Женские формы на -ка (два слога, твердая основа; например, Janka 'Янка')

С формальной точки зрения многие женские имена на -ка являются строгими соответствиями мужских имен на -ек, например:

Janek (от Jan)	—	Janka (от Janina)
Bronek 'Бронек' (от Bronisław 'Бронислав')	—	Bronka 'Бронка' (от Bronisława 'Бронислава')
Mirek 'Мирек' (от Mirosław 'Мирослав')	—	Mirka 'Мирка' (от Mirosława 'Мирослава')
Mietek 'Метек' (от Mieczysław 'Мечислав')	—	Mietka 'Метка' (от Mieczysława 'Мечислава')

Но на самом деле подобного рода формы различаются по значению. Формы на -ек и -ка после мягкой основы, такие, как Wiesiek 'Весек' и Wieśka 'Веська', или многосложные формы, такие, как Michałek или Dorotka 'Доротка' будут обесуждаться отдельно в разделах 3.5.1. и 3.5.2.

Тонкое различие в значении между такими женскими именами, как Janka, и мужскими, как Janek, легче заметить, если рассмотреть также другие женские производные имена на -ка (после твердой основы), не имеющие соответствий среди мужских имен:

Hanna 'Ханна' — Hanka 'Ханка' — Hania 'Ханя'
Danuta 'Данута' — Danka 'Данка' — Danusia 'Дануся'.

В звучании таких имен, как Hanka отсутствует какой-либо оттенок сентиментальности или детскости, если рассматривать их на фоне дружеских женских форм, таких, как Hania. Однако если в паре Hanka — Hania предпочтение отдается форме Hanka, то в паре Janek — Jaś никакого предпочтения форме Janek нет, поскольку форма Jaś более маркирована. Тем самым имена Janek и Hanka оказываются на разных уровнях. При одинаковом отношении в семье мальчика и девочку скорее стали бы называть Janek и Hania, чем Janek и Hanka (не говоря уж о Jaś и Hanka).

Не для всех женских имен на -ка (после твердой основы) имеется соответствующая парная форма с твердой основой (типа Hania vs. Hanka), но это никак не влияет на их значение. Не существует формы *Jania, которая была бы парой к

Janka, однако при этом Janka звучит точно так же несентиментально как и Hanka. В сущности, значение этих имен очень близко к английским кратким формам типа Kate 'Кейт', Sue 'Сью' или Pam 'Пэм'. Однако не надо забывать, что суффикс -ка в польском прежде всего уменьшительный:

krowa 'корова' > krówka 'коровка'
głowa 'голова' > główka 'головка'.

Поскольку в польском несентиментальные имена типа Hanka в некоторых случаях предпочитают «теплым и женственным» именам типа Hania, и поскольку эти формы являются уменьшительными, а не увеличительными, то можно сделать вывод, что несентиментальность имен типа Hanka следует как раз из отсутствия этой «теплоты и женственности», заключенной в мягких формах, а вовсе не из отсутствия в них детских коннотаций. Таким образом мы приходим к следующей формуле для женских имен на -ка (типа Hanka или Janka — т. е. двусложных форм с твердой основой):

- я хочу говорить с тобой так, как говорят с девочками и женщинами, которых знают хорошо
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства, вроде тех, которые показывают по отношению к женщинам и девочкам

Для сравнения я приведу здесь еще раз формулу, которую в разделе 1 я приписала английским женским именам типа Kate или Pam:

Английские женские краткие формы (например, Pam, Kate, Sue)

я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо

Разница в формулах как раз и отражает тот факт, что в английском выбор форм типа Kate или Pam никак не связан с формами Katie 'Кэти' или Pammie 'Пэмми' (так как последние более маркированы), в то время как польские имена типа Hanka или Bronka воспринимаются на фоне более «мягких» форм типа Hania или Bronia 'Броня'.

3.2.3. Краткие формы польских имен. Заключение

Маркированные полные имена (например, Kazimierz, Tadeusz, Maria)

я не хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых не знают хорошо

я не хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых знают хорошо, и с детьми

Немаркированные полные имена (например, Adam, Ewa)

я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми
я хочу говорить с тобой так, как говорят
с людьми, которых знают хорошо

Женские имена, краткие формы с мягкой основой (например, Zosia)

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с девочками и женщинами, которых знают хорошо и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства, и с детьми

Мужские имена, стандартные формы на -ek (твердая основа, два слога, например, Janek, Antek)

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с мальчиками и мужчинами, которых знают хорошо
я не хочу говорить с тобой так, как не говорят с детьми

Мужские имена, формы с мягкой основой (например, Jaś, Adaś, Józio)

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с мальчиками, по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства, и с детьми

Женские имена, формы на -ka (например, Hanka, Janka)

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с девочками и женщинами, которых знают хорошо
я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к женщинам и девочкам

3.3. Формы с экспрессивными суффиксами

Польское экспрессивное словообразование во многих отношениях (своим богатством и разнообразием) напоминает русское. По сути некоторые экспрессивные суффиксы в этих языках «одни и те же» (с этимологической точки зрения и по мнению двуязычных носителей). Тем не менее есть также и существенные и весьма ощутимые различия. Далее я последовательно рассмотрю примерно дюжину морфологических конструкций, а затем резюмирую употребление «живого» суффикса -ka в польском языке, в сравнении с тем, как употребляется «тот же самый» суффикс в русском (по поводу же польских ласкательных суффиксов см. например, Dłuska

1930, Gawroński 1928, Urbańczyk 1968, Wędkiewicz 1929 и Zarębina 1954).

3.3.1. Формы с суффиксом -eńk(a)

Польские имена на -eńka (например, Zosieńka или Marysieńka 'Марысенька') на первый взгляд очень хорошо соответствуют русским именам с аналогичным суффиксом -енька (например, Катенька, Митенька). Тем не менее между их употреблением также наблюдаются некоторые интересные расхождения. Первое, и самое главное, состоит в том, что русский суффикс -енька одинаково хорошо сочетается и с женскими, и с мужскими именами, а в польском сфера применения суффикса -eńka по существу ограничена только женскими именами. Мужские имена типа Jasiońko 'Ясенько' или Jasiońek 'Ясенек' иногда встречаются в фольклорной поэзии, однако они не употребляются в литературном языке, иначе как в звательном падеже, например Jasiońku 'Ясеньку', Stasiońku 'Стасеньку' или Michasiońku 'Михасеньку'.

Ограничения, касающиеся мужских имен, можно объяснить не только в общекультурных терминах (хотя, без сомнения, для польской культуры характерна открытость выражения нежности и других теплых чувств по отношению к женщинам и детям и сдержанность по отношению к мужчинам), но также и с точки зрения самого языка. Как уже было показано, мягкие основы мужских имен типа Jaś или Staś кажутся сами по себе 'мягче' (семантически), чем мягкие основы женских имен типа Zosia. Из-за этого мужской вокатив (Michasiońku, Jasiońku) кажется еще 'мягче', чем женский вокатив (Zosieńko), а мужской номинатив *Michasiońek вовсе отсутствует. И разумеется, в конечном итоге это «чисто языковое» различие тоже обусловлено культурой.

Надо также заметить, что среди терминов родства формы на -eńk тоже возможны практически только для женщин: mateńka 'мать', córceńka 'дочь', cioteńka 'тетя', synceńki ('сын' — только в вокативе).

В области экспрессивных прилагательных польский суффикс -eńk тоже употребляется не так, как соответствующий русский, потому что в польском он встречается только в комбинации с другими экспрессивными суффиксами: -ut-eńk, -usi-eńk (например, bieluteńki, bielusieńki 'белый').

Эти ограничения только подтверждают впечатление, что при всем сходстве с русским -енька польский суффикс звучит еще нежнее и мягче. Поэтому кажется разумным сохранить в формуле те же два компонента (а и б), которые были предложены для русских имен на -енька, но кроме того и добавить

компонент (a1) для описания большей «нежности», заключенной в польском суффиксе, и ограничений в его употреблении:

Формы на *-eńk(a)* (например, *Zosieńka*)

- а. я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
- а1. вроде тех, которые испытывают по отношению к девочкам, женщинам и детям
- б. я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой.

3.3.2. Формы с суффиксом *-eczka*

Польские имена на *-eczka* почти точно соответствуют русским именам с суффиксом *-очка (-ечка)*. Поэтому я приписала им такое же семантическое представление:

Формы на *-eczka* (например, *Haneczka* 'Ханечка')

- я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
- вроде тех, которые испытывают по отношению к маленьким детям

Ранее я утверждала, что русские имена на *-очка (-ечка)* звучат не так ласково, как имена на *-енька*. То же можно сказать и о соотношении соответствующих форм в польском. Например, в драме Выспяньского «Свадьба» двух девушек (к которым автор относится одинаково) зовут *Zosia* и *Haneczka*. В этой паре *Haneczka* звучит чуть ласковее, но все равно эти имена воспринимаются как равные, а если бы девушек звали *Zosieńka* и *Haneczka*, то *Zosieńka* было бы несколько более ласково, чем *Haneczka*. С другой стороны, если бы автор назвал своих героинь *Hania* и *Zosieńka*, то выразил бы тем самым разное к ним отношение, поскольку *Zosieńka* гораздо более ласковое имя, чем *Hania*.

Другими словами, в восприятии мягкая краткая форма типа *Zosia* находится как бы между нежным *Zosieńka* и бодрым, ласковым *Haneczka*.

В пользу такой интерпретации форм на *-eczka* говорит и тот факт, что у женских имен с этим суффиксом есть некоторые мужские соответствия, которых нет для имен на *-eńka*: например, *Jureczek* 'Юречек', *Tomczek* 'Томечек', *Jareczek* 'Яречек'.

Хотя и эти мужские имена употребляются преимущественно в звательном падеже, но все же для них нет таких строгих ограничений, как для имен на *-eńk*. Более того, такие звательные формы, как *Michasieńku* или *Stasieńku* звучат гораздо ласковее, чем *Jureczku* или *Tomczku*. Я позволю себе

одно личное замечание: у меня есть племянник, которого зовут *Michał* и маленький кузен по имени *Tomek*. Я часто называю их *Tomczku* и *Michałeczku* 'Михалечку', но я никогда не использую форму *Michasieńku*, которая звучит слишком нежно для того, чтобы обращаться к кому-нибудь, кроме как к маленькому сыну, мужу или любимому.

3.3.3. Формы с суффиксом *-cia*

Имена с суффиксом *-cia* (*Ewcia* 'Эвца', *Klarcia* 'Кларца', *Julcia* 'Юльца' или *Helcia* 'Хельца') — специфически польское явление, не имеющее параллелей в русском. Они очень широко распространены в польском и обладают особым оттенком, который несколько огрубленно можно описать как ласково-покровительственный. Обычно они употребляются по отношению к детям или девушкам. В последнем случае, однако, их скорее употребит мама или тетя, чем влюбленный юноша: эти формы отнюдь не располагают к романтическому употреблению. Например, в романе Болеслава Пруса «Кукла» главную героиню красавицу Изабеллу тетушки часто называют *Belsia* 'Бельца', но невозможно представить, чтобы ее пылкий поклонник Вокульский когда-нибудь обратился к ней таким образом. Обращаясь к своей 12-летней дочери Кларе, я могу употребить форму *Klarcia*, если хочу подбодрить ее или дать какие-то указания, но я не стану употреблять эту форму, чтобы утешить ее, когда она больна или чем-то огорчена. У нее есть еще прозвище *Zabcia* (от *żaba* 'лягушка'), но опять-таки я называю ее так только когда бываю в веселом и игривом настроении. Нужно сказать, что в польском основное слово для бабушки *babcia* также содержит этот суффикс *-cia*, но в этом слове не имеет того значения, о котором я говорю. Но все же *babcia* — это отдельная самостоятельная лексическая единица. С другой стороны, в форме *wujcio* (от *wuj* 'дядя') этот суффикс как раз обладает тем же значением, что и в личных именах. То же самое можно сказать и про форму *śórcia* (от *śórgka* 'лочка').

Для описания этого характерного значения имен на *-cia* я могу предложить следующую формулу:

Формы на *-cia* (например, *Ewcia*)

{экспрессивность}

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства

{ориентированность на детей}

вроде тех, которые испытывают по отношению к детям

[анти-уважение]

я не хочу показывать, что испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо

Компонент 'анти-уважения' в этих именах точно такой же, как и в русских именах на *-ка* (*Катька*), однако здесь он сочетается с явно выраженной симпатией ('я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства'). По своему характеру эта симпатия близка к той, о которой шла речь в связи с именами на *-eczka*. Сочетание всех трех компонентов ('симпатии', 'анти-уважения' и 'ориентированности на детей') придает оттенок несерьезности, который можно воспринимать как покровительственность, но одновременно и как веселость или игривость.

Информанты старшего поколения (т. е. 70-80-летние) считают многие имена на *-cia* (например, *Karolcia* 'Карольца', *Julcia* или *Mańcia* 'Маньяца') типичными именами служанок в довоенной Польше. И это вполне понятно, если учесть, что в этих именах симпатия сочетается с недостатком уважения. Однако другие имена на *-cia* (например, *Ewscia*, *Belcia*) не ассоциируются со служанками, поскольку основные имена *Ewa* и *Isabella* обладают другими социальными коннотациями².

Надо также добавить, что у суффикса *-cia* есть мужские соответствия *-cio*, например, *Romcio* 'Ромцо', *Tomcio* 'Томцо'. Эти мужские формы далеко не так распространены, как женские формы на *-cia*, но обладают тем же значением. Например, в польской версии сказки «Мальчик с пальчик» главного героя зовут *Tomcio Paluch* 'Томцо Пальчик', а в детском стихотворении Юлиана Тувима у собачки прозвище *Dżoncio* 'Джонцо' (польское соответствие английскому *John* плюс суффикс *-cio*) и т. д.

3.3.4. Формы с суффиксами *-usia* и *-uś*

Для многих мужских имен форма с суффиксом *-uś* наиболее распространена и для обращения к детям и для референции к ним: например, *Maciej* 'Мацей' > *Maciúś* 'Мацюсь', *Piotr* 'Петр' > *Piotruś* 'Петрусь', *Jakub* > *Kubuś* 'Кубузь', *Jacek* 'Яцек' > *Jacuś* 'Яцусь'. Функционально эти формы более или менее эквивалентны формам на *-ś*, таким, как *Jaś* (от *Jan*), *Michaś* (от *Michał*) или *Antoś* (от *Antoni*), в том смысле, что если в семье есть два маленьких мальчика *Jan* и *Wojciech* 'Войцех', то, вероятно, дома их будут называть *Jaś* и *Wojtuś* 'Войтусь', а если бы мальчиков звали, например, *Antoni* и *Maciej*, то

дома их, скорее всего, называли бы *Antoś* и *Maciúś*. Но когда мальчики немного подрастут, то, вероятнее всего, *Maciúś* и *Wojtuś* превратятся в *Maciek* 'Мацек' и *Wojtek* 'Войтек' несколько раньше, чем *Antoś* и *Jaś* будут заменены на *Janek* и *Antek*. Дело в том, что если мужские имена на *-ś* (например, *Jaś* или *Antoś*) ориентированы на мальчиков и детей, то имена на *-uś* (например, *Maciúś*, *Wojtuś*, *Kubuś* или *Jędruś* 'Ендрусь') ориентированы только на детей — в них есть особый детский привкус.

Похожим образом устроены и такие женские имена на *-usia*, как *Hanusia* 'Хануся', *Magdusia* 'Магдуся', *Martusia* 'Мартуся', *Klariusia* 'Кларуся' или *Ewusia* 'Эвуся' (но не *Danusia* от *Danuta* — форма с суффиксом *-sia*, а не *-usia*).

Будучи одновременно ласкательными и ориентированными на детей, имена на *-ś* и *-usia* несколько схожи по значению с формами на *-eczka* и *-eczek*. Но при этом мы можем увидеть и определенную разницу, которая становится заметной благодаря существованию форм с *-usia* или *-uś* вне области личных имен. Такие слова, как *dzidziúś* 'мальш', *kiciúś* 'котенок', *kaczusia* 'утенок', *Żabusia-Skaczusia* (персонаж детской сказки — лягушка-скакушка: от *żaba* 'лягушка' и *skacze* 'прыгает') или *trusie* 'кролик' и др., — все они обозначают симпатичных, милых и привлекательных существ. В маленьком рассказе Габриэлы Запольской с ироничным названием «*Żabusia*» (от *żaba* 'лягушка') речь идет о молодой легкомысленной хорошенькой женщине, которой доверчивый и любящий муж дал прозвище *Żabusia*: и в этом имени выражено его отношение к жене, воспринимаемой им как что-то маленькое, милое и привлекательное. В известной детской песенке суффикс *-usia* присоединяется к прилагательному *mała* 'маленькая' (*malusia*) и к наречию *dokola* 'вокруг' (*dokolusia*) и производит аналогичное впечатление:

Ta Dorotka ta malusia ta malusia
tańcowała dokolusia dokolusia...

'Доротка, малюсенькая-малюсенькая,
по кружочку танцевала, танцевала...'

И в последнем куплете песенки слова *poduszka* 'подушка' и *kolebka* 'колыбелька' тоже получают суффикс *-usia*:

A teraz śpi w kolebusi, w kolebusi
Na różowej na podusi, na podusi.

'А теперь она спит в колыбельке, в колыбельке
на розовой подушечке, подушечке'

Обычно суффикс *-usia* не присоединяется к неодушевленным существительным, но для колебательной слова *podusia* ('подушка' + *-usia*) и *kolebusia* ('колыбель' + *-usia*) подходят и звучат в этом контексте абсолютно нормально. Насколько мне известно, существуют только два неодушевленных существительных, которые присоединяют суффикс *-usia*: это *kawa* 'кофе' и *chleb* 'хлеб'. Формы *kawusia* и *chlebuś* предполагают нечто аппетитное, «привлекательный» кофе или хлеб.

Такие термины родства, как *córusia* 'дочка' или *synuś* 'сын' устроены так же. Даже *dziadziuś* (от *dziadek* 'дед') вызывает образ симпатичного старичка, а *matusia* (от *matka* 'мать') предполагает бедную мягкую женщину, как в популярной Рождественской калюшке:

Jezus malusienki
 Leży śród stajenki
 Płacze z zimna, nie dała mu
 Matusia sukienki...

'Малютка Иисус
 Лежит в яслях.
 Плачет от холода,
 потому что нет для него у матушки одежды...'

У двух других терминов родства на *-uś* — *matusia* 'мама' и *tatus* 'папа' — нет таких свойств, которые я приписываю личным именам с суффиксом *-uś/-usia* и, мне кажется, их следует рассматривать отдельно.

Все рассмотренные факты ясно показывают, что *-uś* и *-usia* вызывают образ некоего симпатичного, очаровательного маленького создания. И то, что только два прилагательных, *mały* 'маленький' (*malusi*) и *miły* 'милый' (*milusi*), присоединяют этот суффикс, безусловно, значимо. Производные формы *malusi* (женск. *malusia*) и *milusi* (женск. *milusia*) можно примерно перевести как 'малосенький' и 'миленький'. В других прилагательных (и наречиях) суффикс *-uś* встречается только в комбинации с *-eńk* (например, *cichusienki* от *cichy* 'тихий'; *bielusienki* от *biały* 'белый'; *leciusienki* от *lekki* 'легкий'; *jasniusienki* от *jasny* 'светлый'). Однако сочетаемость прилагательных с этими суффиксами ограничена. Их присоединяют только прилагательные, обозначающие качества, которые воспринимаются как симпатичные и «маленькие». Так, например, невозможны формы вроде **głośniusienki* (от *głośny* 'громкий'), **ciemniusienki* (от *ciemny* 'темный') или даже **czegwonusienki* (от *czegwony* 'красный'). Все эти факты подводят нас к такому толкованию имен на *-usia/-uś*:

Формы на *-usia* или *-uś* (например, *Martusia*, *Wojtuś*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
 вроде тех, которые испытывают к детям
 я представляю, что люди, глядя на тебя, испытывают какие-то
 хорошие чувства

3.3.5. Формы с суффиксом *-unia (-unio)*

Может показаться, что различие между именами на *-usia* (*Martusia* и *Klariusia*) и именами на *-unia* (*Martunia* 'Мартуния' и *Klaronia* 'Кларуня') чисто стилистическое и социальное, поскольку выбор во многом зависит от того, к какому поколению принадлежит говорящий. Такое впечатление, что в довоенном литературном языке, *-uś* сочетался с мужскими именами (*Jędruś*, *Maciuś*, *Piotruś*), в то время как с женскими именами лучше сочетался *-unia*, а не *-usia* (*Ewunia* 'Эвуня', *Martunia*, *Klaronia*). Такие женские имена на *-usia*, как *Jagusia* 'Ягуся' и *Hanusia* имели диалектный, деревенский характер. Так, главную героиню известного романа Владыслава Реймонта «Крестьяне», привлекательную крестьянскую девушку, зовут *Jagusia*. Однако после войны в Польше стали распространяться женские формы на *-usia*, которые в значительной степени заменили формы с *-unia* и стали такими же популярными, как и мужские формы на *-uś*.

Все же, на мой взгляд, эта внешняя конкуренция форм на *-unia* и *-usia* (и растущая популярность последних) не означает, что эти суффиксы семантически тождественны. Напротив, вытеснение одного другим происходит именно из-за тонкой разницы в значении этих суффиксов. После войны на первый план выдвинулось не звучание имен, а определенный стиль отношений между родителями и детьми, и формы на *-usia* обеспечивали этот новый стиль отношений лучше, чем формы на *-unia*.

Ключ к пониманию такого особого семантического наполнения суффикса *-unia* дают ласкательные формы родственных терминов *babunia* и *dziadunio* (от *babka* 'бабушка' и *dziadek* 'дед'). Для бабушки форма на *-usia* отсутствует; в случае с дедушкой мы имеем форму на *-uś* (*dziaduś*), но с совершенно другим значением, чем у *dziadunio*. Другая минимальная пара — это *cógunia* и *córusia* (от *córka* 'дочь'), но опять-таки, будучи ласкательными, эти формы различаются по значению.

В моем восприятии формы *babunia* и *dziadunio* вызывают образ старых дряхлых людей. Если же речь идет о сильных, здоровых и активных 50-60-летних бабушках и дедушках, то употребляются слова *babcia* и *dziadek*, но невозможно пред-

ставить, чтобы по отношению к ним можно было употребить формы *babunia* и *dziadunio* (разве что в шутку). То же самое можно сказать и про форму *ciotunia* (от *ciotka* 'тетя') — она предполагает пожилую тетушку, а не молодую энергичную тетю. *Sógunia* 'дочка', конечно, может относиться к молодому существу, но в ней отсутствует та бодрость и живость, которая заключена в форме на *-usia* (*sórusia*).

Я пытаюсь показать, что формы на *-unia* сочетают в себе ласковое отношение и ощущение хрупкости любимого человека. Если прототипическая *Jagusia* — это сильная, здоровая, привлекательная крестьянская девушка, которая любит смеяться и плясать, то прототипическая *Martunia* или *Helunia* 'Хелюня' — это нежная девушка не из крестьянской семьи, юная и любимая говорящим, это хрупкое создание и в этом отношении такое же, как старые *babunia* и *dziadunio*. Невозможно представить, чтобы в сказке веселую лягушку-поскакушку звали бы *Zabunia* *Skakunia* вместо *Zabusia* *Skaczusia*.

Значение форм на *-unia* (по сравнению с другими уменьшительными) можно проиллюстрировать стихотворением Казимеры Иллаковичувы:

Babunia

Babunia jest taka chudziutka.
 Babunia siedzi v ogródku.
 Czepek ma czarny, a chustkę białą.
 Zimno jej w ręce, nogi ma skostniałe.
 Marcia i Janek, Janka i Jadwisia
 są przy Babuni łagodni i cisi.
 Tato głos zniża, donośny i gruby
 stąpa na palcach ogromny wuj Kuba.
 Krzykliwa ciocia Ewcia tylko Babci słucha...
 Bo wszyscy się boją ...
 Bo Babunia taka krucha.

'Бабуля.

Наша бабуля очень маленькая.
 Бабуля сидит в огороде
 В шапочке черной и в белом шарфе
 У нее замерзли руки, и ноги ооченели.
 Марца и Янек, Янка и Ядвися
 Рядом с бабушкой ведут себя тихо и спокойно.
 Папа понижает свой грубый голос,
 Дядюшка Куба ходит на цыпочках.
 Крикливая тетя Эвка слушает только бабушку...
 Потому что все боятся...
 Потому что бабуля такая хрупкая.'

Чтобы зафиксировать это своеобразное значение имен на *-unia*, я предлагаю такую семантическую формулу:

Формы на *-unia* (например, *Ewunia*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
 вроде тех, которые испытывают по отношению к маленьким
 детям
 и к старым людям (с которыми могут случиться плохие вещи)

3.3.6. Формы с суффиксами *-ulka* или *-ulek*

Имена на *-ulka* (*-ulek*) типа *Basiulka* 'Басюлька', *Asiulka* 'Асюлька', *Marysiulka* 'Марысюлька' или *Stefulek* 'Стефулек' ориентированы на обращение к детям, но в отличие от других имен такого рода, они носят несколько шутливый характер. Мне кажется, что шутливый оттенок возникает из-за попытки «овеществить» адресата, который воспринимается не только как ребенок, но и как «нечто маленькое». Поэтому формы на *-ulka* несовместимы с открытым изъявлением уважения. Отсюда и возникает разница в приемлемости разных форм обращения (в звательном падеже):

Panno Zosiu!	Panie Jasiu!
Panno Zosieńko!	*Panie Jasińku!
Panno Haneczko!	(?)Panie Jureczku!
Panno Ewuniu!	?Panie Stefuniu!
Panno Jagusi!	(?)Panie Piotrusiu!
?Panno Basiulko!	??Panie Stefulku!

В целом обращение *panna* (аналог английского «мисс») гораздо легче сочетается с детскими именами, чем, например, *pan* («мистер») или *pani* («миссис»), но даже и оно несовместимо с формами на *-ulka*.

Такие термины родства как *sógulka* ('дочка') или *babulka* ('бабушка') по своему значению аналогичны личным именам с этими суффиксами. Существует также и целый ряд других слов на *-ulka*, например, *biedulka* 'бедняжка' (от *biedna* 'бедная') и *czarnulka* 'черноволосая крошка' (от *czarna* 'черная'). На ум приходят и два слова мужского рода на *-ulek*: это *meżulek* (от *meż* 'муж') и *księżulek* (от *ksiądz* 'священник'). Это шутливые и ироничные названия соответствующих людей, которых говорящий воспринимает как несерьезных и маленьких.

Формы на *-ulka* или *-ulek* (например, *Basiulka*, *Stefulek*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
 вроде тех, которые испытывают по отношению к маленьким
 детям

я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты был чем-то маленьким

3.3.7. Ласковое «коверкание»: имена на -ik, -usik и -atko

Женские имена на -ik в польском употребляются точно так же, как женские имена на -ик в русском: в них тоже есть оттенок шутливости и они тоже воспринимаются как ласковые искажения. Кроме того их употребление также ограничено близкими, личными, несимметричными отношениями типа отношений между родителями и дочерьми. В польском экспрессивное «коверкание» тоже ведет к тому, что имена на -ik не только склоняются по мужскому типу, но и согласуются по мужскому роду. Например:

Kazik się przestraszył.
'Казик (имя мальчика) испугался'

Marysia się przestraszyła.
'Марыся (имя девочки) испугалась'

Marysik się przestraszył.
'Марысик испугался'

Интересно, однако, что в польском в отличие от русского языка мужские имена на -ik совсем не так популярны, а некоторые из них, например, Tadzik 'Тадзик', ориентированы только на маленьких мальчиков. Похоже, что в качестве основной модели здесь выступает существительное chłopczyk 'маленький мальчик', а не личные имена мальчиков -ik.

Для польского подходит та же семантическая формула, что и для русских женских имен на -ик:

Женские имена, формы на -ik (например, Marysik)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
я испытываю хорошие чувства, говоря с тобой
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты была маленьким мальчиком, а не девочкой

Суффикс -usik представляет собой комбинацию -usia (например, Martusia) и -ik (например, Marysik). Он не только шутливый и игривый, но и гораздо более нежный и ласковый, чем просто -ik. Суффикс -ik вносит элемент игривости и нежности ('я хочу говорить с тобой так, как если бы ты был маленьким мальчиком, а не девочкой', 'я испытываю по от-

ношению к тебе какие-то хорошие чувства'), а -usia предполагает, что тот, о ком идет речь, воспринимается говорящим как очаровательный ребенок. Поскольку не у всех имен есть форма на -usia, то и форма на -usik, образуемая от нее, возможна не для всех имен. Но в тех случаях, когда такая форма существует, ее значение объединяет значения -usia и -ik.

Женские имена на -usik (например, Martusik 'Мартусик')

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к детям
я представляю, что люди, глядя на тебя/говоря с тобой, испытывают какие-то хорошие чувства
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты была маленьким мальчиком, а не девочкой

Имена на -atko (такие как Jasiatko 'Ясентко' или Marysiatko 'Марысентко') употребляются в польском аналогично русским формам на -енок. Вне области личных имен этот суффикс используется для обозначения детенышей животных:

kot 'кошка' > kociątko 'котенок'
cielę 'телец' > cielątko 'теленочек'
osioł 'осел' > osiłątko 'осленочек'

Существительные на -atko относятся к среднему роду, а переход из женского или мужского рода в средний еще больше усиливает шутливый и ласковый эффект, заключенный в семантике суффикса. Такого рода имена очень экспрессивны и используются прежде всего по отношению к маленьким детям. По моим наблюдениям, они чаще употребляются при обращении, а не при референтном употреблении, и в этом отношении их использование несколько более ограничено по сравнению с использованием форм на -ik.

Имена на -atko (например, Jasiatko, Marysiatko)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к детенышам животных
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты был детенышем животного, а не ребенком

3.3.8. Польские экспрессивные суффиксы. Заключение

Формы на -eńk(a) (например, Zosieńka)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства

вроде тех, которые испытывают по отношению к девочкам, женщинам и детям
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой

Формы на *-eczka* (например, *Haneczka*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к маленьким детям

Формы на *-cia* (например, *Ewcia*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к детям
я не хочу показывать, что испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо

Формы на *-usia* или *-uś* (например, *Martusia*, *Wojtuś*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают к детям
я представляю, что люди, глядя на тебя, испытывают какие-то хорошие чувства¹

Формы на *-unia* (например, *Ewunia*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к маленьким детям
и к старым людям (с которыми могут случиться плохие вещи)

Формы на *-ulka* или *-ulek* (например, *Basiulka*, *Stefulek*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к маленьким детям
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты был маленьким

Женские имена, формы на *-ik* (например, *Marysik*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
я испытываю хорошие чувства, говоря с тобой
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты была маленьким мальчиком, а не девочкой

Женские имена на *-usik* (например, *Martusik*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к детям
я представляю, что люди, глядя на тебя/говоря с тобой, испытывают какие-то хорошие чувства
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди

я хочу говорить с тобой так, как если бы ты была маленьким мальчиком, а не девочкой

Имена на *-atko* (например, *Jasiatko*, *Marysiatko*)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к детенышам животных
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты был детенышем животного, а не ребенком

3.4. «Аугментативные» (увеличительные) формы

В польском увеличительные формы обычно образуются с помощью суффикса *-ch* (произносится как глухой веларный фрикатив). Среди форм, использующих этот суффикс с целью образования аугментатива, по моему мнению, можно выделить как минимум три разных типа. Они будут описаны в трех отдельных подразделах этого раздела (3.4.1., 3.4.2. и 3.4.3.). В комбинации с другими суффиксами суффикс *-ch* имеет (или, по крайней мере, так кажется) и другие функции. Случаи такого употребления будут обсуждаться в разделах 3.4.4. и 3.4.5.

3.4.1. Формы на *-ch*

Многие обсуждавшиеся до сих пор экспрессивные категории были сфокусированы на детях, другие — на женщинах и девочках, и немногие оставшиеся — на маленьких мальчиках, детенышах животных, хрупких человеческих существах (очень юных или очень старых). Однако в польском есть также и экспрессивные категории другого рода — категорий, сочетающие ласку с силой, крепостью и мужественностью. Самую важную из них можно проиллюстрировать именами типа *Stach* 'Стэх', *Krzysz* 'Крших' или *Zdzich* 'Здзих', образованных от соответствующих маркированных полных имен (*Stanisław*, *Krzysztof* 'Кшиштоф' и *Zdzisław* 'Здислав') путем усечения основы.

Вне области личных имен «аугментативный» суффикс *-ch* (восходящий к согласному *s* или *ś* (графически *sz*) может замещать суффикс (или псевдо-суффикс) *-k*, как видно из приводимых ниже примеров. Элемент *-k* означает что-то вроде маленького размера, даже в тех случаях, когда нет соответствующего слова без *-k*.

kluski = 'лапша'
 *klusy
 kluchy = 'крупная лапша' (пейоративное или шутливое слово)

misa = 'большая миска'
 miska = 'миска'
 micha = 'огромная миска' (особенно с референцией к содержанию: micha klusek или micha kluch — 'огромная миска лапши')

От мужских имен форма на -ch может быть образована только в том случае, если в основе после первого слога имеется s или ś (и даже в этом случае не всегда).

Leszek 'Лешек' > Lech 'Лех'
 Zbyszek 'Збышек' > Zbych 'Збых'
 Krzysztof > Krzych
 Zdzisław > Zdzich
 Stanisław > Stach
 Jan > *Jach
 Adam > *Adach

Неодушевленные существительные на -ch часто обладают грубыми, почти вульгарными, коннотациями, например, flacha (flaszka 'бутылка'), mięcho (от mięso 'мясо'), или kichy (от kiszki 'кишки'). Но в области личных имен формы, образованные путем прибавления -ch к первому слогу полного мужского имени, отнюдь не звучат грубо. Истинная леда может назвать мужчину Stach или Krzych, чтобы выразить свое восхищение его мужскими качествами. Например, в романе Генрика Сенкевича «Семья Полонецких» главная героиня, утонченная юная болезненная девушка, называет своего взрослого покровителя, сильного и мужественного Станислава Полянецкого, pan Stach 'пан Стах'.

Для описания отношения такого рода я предлагаю следующую семантическую формулу:

Формы на -ch (например, Stach)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые испытывают по отношению к мужчинам и не испытывают по отношению к детям

В жизни многих польских мальчиков момент, когда они перестают быть Стасем (Stas), Здзисем (Zdziś) или Кшисем (Krzyś) и превращаются в Стаха (Stach), Здиха (Zdich), Кшиха (Krzych), играет роль инициации. Естественно, многих мальчиков мамы и бабушки еще долгое время продолжают называть Stas, Krzyś или Zdziś, когда остальные (в

особенности ровесники) уже зовут их Stach, Krzych или Zdzich.

Серьезный, «увеличительный» и в то же время ласкательный характер имен на -ch до какой-то степени сближает их с русскими именами на -уша (*Катюша, Танюша* или *Илюша*). Однако в одном отношении эти категории существенно различаются: в русском формы на -уша существуют для обоих полов, а польские формы на -ch исключительно мужские. Это еще одно проявление общего различия между системами личных имен в русском и польском языках: для польской системы характерна большая дифференциация по полу, чем для русской т. е. польский язык стремится везде, где это возможно, отделить отношение к женщинам и девочкам от отношения к мужчинам и мальчикам. В частности, сочетание ласкового отношения с 'силой, большим размером и взрослостью' встречается в польском только по отношению к мужчинам.

В подтверждение сказанного ранее я бы хотела упомянуть тот факт, что суффикс -ch распространяется только на один термин родства: brachu. Brachu (в современном языке его часто заменяют на stary 'старый') представляет собой значительную форму незавидительствованного brach, экспрессивного эквивалента brat 'брат'. В SJP (1958-69) при форме brachu стоит помета «roufala rubaszna», т. е. 'фамильярное, грубоватое/веселое'. Поскольку в слове brat нету ни s, ни ś, то форма brachu, скорее всего, обязана своим появлением таким именам, как Stach или Lech (вокативы Stachu и Lechu). В форме brachu имплицированы ласка, крепость, мужественность, но с некоторой грубостью, нетипичной для личных имен на -ch.

3.4.2. Формы на -cho или -chu

Хотя имена на -ch и передают восхищение силой и мужественностью, нельзя сказать, что мужчины употребляют их чаще, чем женщины. Скорее, даже верно обратное. Существуют две более 'жестких' (но все же положительных) альтернативных формы: это формы на -cho и на -chu. Лидера «Солидарности» Леха Валенсу рабочие в Гданьске обычно называли Lechu, причем значение этой формы соответствует значению форм Krzychu или Stachu, несмотря на то, что в данном случае Lech — не экспрессивное производное, а просто полное имя.

Формы на -chu более характерны для языка рабочих, чем для литературного языка. С другой стороны, очень разговорные формы на -o (например, Krzycho 'Кшихо') встречаются

ся и в речи интеллигенции. На мой взгляд, экспрессивное значение этих форм отличается от форм на -ch наличием компонента, который я назвала 'анти-уважение':

Мужские формы на -cho (например, Krzycho, Zdzycho 'Здзихо')

- я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые испытывают по отношению к мужчинам и не испытывают по отношению к детям
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо.

В моем восприятии формы на -chu (Lechu или Stachu) передают такое же или очень близкое отношение. Надо сказать, что для того социального диалекта, которому присущи формы на -chu, характерны также и другие формы на -u: такие, как, например, Jasiu, Stasiu или Heniu. В литературном языке такие формы встречаются только в звательном падеже, а для именительного используется нулевое окончание или -o: Jaś, Staś, Henio. Факт использования формы звательного падежа в функции именительного очень хорошо соответствует большей близости и экспрессивности форм на -u. Однако вопрос о точной семантике этих форм, также как и форм на -chu, требует дальнейшего изучения.

3.4.3. Формы на -cha

Такие женские имена на -cha, как Marycha 'Марыха', Małgocha 'Малгоха' или Krycha 'Крыха' внешне напоминают мужские имена на -ch (Krzych или Stach). Но функционально эти категории различны. У женских имен на -cha нет того положительного оттенка, который характерен для мужских имен на -ch, и звучат они грубее, хотя нельзя сказать, что они вообще не совместимы с выражением дружеской симпатии или ласки. Чаще всего они употребляются в среде подростков, которые обычно стремятся установить между собой грубоватые, несентиментальные отношения.

Различие в семантике, возможно, объясняется тем, что, несмотря на внешнее сходство этих двух категорий имен, в действительности в их образовании участвуют морфологически разные процессы.

В мужских именах аугментативный суффикс -ch замещает семантически пустой согласный (s или ś) и в некоторых случаях эмоционально нейтральный суффикс (или псевдо-

суффикс) -ek. В женских именах аугментативный суффикс -cha замещает теплый женственный суффикс -sia (вне зависимости от того, есть ли в основе s/ś или нет); поэтому женские формы на -cha ощущаются как нарочито неженственные (поскольку них теплота и женственность отброшены):

Zofia > Zosia > Zocha 'Зоха'
 Małgorzata > Małgosia > Małgocha
 Katarzyna 'Катаржина' > Kasia 'Кася' > Kacha 'Каха'
 Kazimiera > Kazia 'Казя' > *Kacha
 Anna > Ania > *Acha

Еще раз подчеркну, что мужские формы на -ch не зависят от наличия соответствующей формы на -ś, и поэтому -ch нельзя рассматривать как замену ласкательного суффикса -ś. Рассмотрим следующие примеры:

Stanisław — Staś — Stach
 Zdzisław — Zdziś — Zdzych
 Krzysztof — Krzyś — Krzych
 Leszek — *Leś — Lech
 Zbyszek — ?Zbyś — Zbych (полное имя Zbigniew 'Збигнев')
 Jan — Jaś — *Jach
 Adam — Adaś — *Adach

Как видно из этих примеров, для образования формы на -ch значимо не существование формы на -ś, а наличие в основе s или ś (sz). Женские же имена на -cha (Marycha) зависят от существования соответствующей формы с -sia, и тем самым -cha ощущается как замена теплого и женственного суффикса -sia.

Незачем говорить, что эти 'анти-теплые' и 'анти-женственные' имена очень хорошо подходят для грубоватого стиля выражения симпатии, принятого среди подростков. При этом они не имеют в виду 'я испытываю по отношению к тебе какие-то плохие чувства' или даже 'я не испытываю по отношению к тебе каких-то хороших чувств'; здесь, скорее, имеет место импликация 'я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства' и даже точнее:

- а. я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к женщинам и девочкам
- б. я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства

вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо

Второй компонент можно условно назвать компонентом 'анти-уважения', а первый — компонентом 'анти-женственности'. Следовательно, отношение между женскими именами на -sia (раздел 3.2.) и женскими именами на -cha можно представить в терминах отрицания:

Małgosia, Basia 'Бася'

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с девочками и женщинами, которых знают хорошо и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства, и с детьми

Małgocha, Bacha 'Баха'

я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо
я испытываю по отношению к тебе какие-то чувства
я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые показывают по отношению к женщинам и девочкам
я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо

Сочетание эмоционального компонента ('я испытываю по отношению к тебе какие-то чувства') и открытого отказа выразить вежливое уважение или хорошее отношение, которое традиционно принято выражать женщинам и девочкам, делает эти формы резкими и грубоватыми. Можно предположить, что говорящий в самом деле испытывает по отношению к адресату какие-то плохие чувства, но с той же вероятностью можно предположить и то, что говорящий испытывает по отношению к адресату хорошие чувства, но другого рода, чем это принято, т. е. не традиционные добрые чувства, которые обычно связаны с адресатом женского пола и, безусловно, не уважительные, типичные для официальных («формальных») отношений.

В поддержку противопоставления женских форм на -cha (Bacha или Małgocha) и мужских форм на -ch (Stach или Zdzych) я добавлю еще и такие примеры контрастных употреблений:

Panie Stachu! Panie Zdzychu! (Звательный падеж)
*Pani Bacho! *Pani Małgocho! (Звательный падеж)

Женские формы на -cha несовместимы с вежливым обращением pani, поскольку они подразумевают анти-уважение, а в мужских формах на -ch этого нет, поэтому они сочетаются с вежливым уважительным обращением pan.

Конечно, в каких-то пределах отдельные имена могут и отличаться друг от друга, прежде всего в зависимости от своей истории и социальных характеристик. Так, например, Zocha 'Зоха' (от Zofia) более употребительно, чем Bacha (от Barbara 'Барбара'), и поэтому звучит менее 'жестко'. Следовательно, и сочетание pani Zocha кажется более приемлемым, чем pani Bacha. Аналогично, Stach более употребительно, чем Zdzych, а pan Stach более употребительно, чем pan Zdzych. Но такого рода индивидуальные отличия (обычно речь идет о степени) не отменяют всего сказанного о различии данных категорий.

Интересно сравнить женские имена на -cha типа Małgocha с женскими именами на -ka типа Janka или Hanka (см. раздел 3.2.), которые я тоже назвала несентиментальными. Основное различие состоит в том, что в формах на -ka эмоциональный компонент вообще отсутствует, в то время как формы на -cha очень эмоциональны. Janka и Hanka передают фамильярность и нежелание казаться сентиментальными, а Małgocha и Małgocha, напротив, эмоциональны и в явном виде выражают анти-сентиментальный, анти-женственный и анти-уважительный характер этих эмоций. Поэтому Małgocha и Małgocha звучат грубовато (если не грубо), а Janka и Hanka — холодно и сдержанно.

Надо добавить, что в польском языке есть два или три женских имени на -cha, которые можно назвать «аугментативами» (в том же смысле, в котором это можно сказать про имена Stach или Zdzych), но которые при этом не являются грубыми и вульгарными. Эти имена образованы от соответствующих мужских имен:

Stanisław (мужск.) — Stanisława 'Станислава' (женск.)
Zdzisław (мужск.) — Zdzisława 'Здзислава' (женск.)
Stach — Stacha 'Стаха'
Zdzych — Zdzicha 'Здзиха'

В формах Stacha и Zdzicha присутствует та же крепкая и 'мужественная' ласка, которая характерна для мужских имен типа Stach или Zdzych, но в еще более сильной степени, поскольку она обращена к девочке или женщине:

Я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к мужчинам
и не испытывают по отношению к детям

3.4.4. Формы на *-ucha, -uch*

Формы на *-ucha* или *-uch* очень экспрессивны и похожи (формально и семантически) на такие формы на *-cha*, как *Małgocha* или *Vacha*. Они грубоваты, анти-сентиментальны, анти-уважительны и подразумевают близкие отношения. Однако в отличие от имен на *-cha* они также подразумевают (или якобы подразумевают) нечто плохое.

Вне области личных имен польский суффикс *-ucha* носит чисто пейоративный характер. Это ясно видно в трех существительных, обозначающих людей: *dziewucha* 'девка', *starucha* 'старуха' и *staruch* 'старик':

- dziewuczyna* — 'девушка' (нейтральное, немаркированное)
dziewuszcza — 'милая молодая девушка' (положительное и уменьшительное)
dziewucha — 'девка' (возможно, крестьянская, грубое и увеличительное)
staruszcza — 'старушка' (немаркированное, но с положительными и уменьшительными коннотациями)
starucha — 'старуха' (представляется как что-то большое и довольно отталкивающее, грубое и большое)
staruszek — 'старичок' (немаркированное, но с положительными и уменьшительными коннотациями)
starzec — 'старец' (маркированное: некто, выглядящий благородно и выразительно)
staruch — 'старик' (представляется как что-то большое и довольно отталкивающее, грубое и большое)

В личных именах суффикс *-uch (-ucha)* также воспринимается как грубый и пейоративный. В нем содержится импликация, что человек, с которым (или о котором) говорят, представляется в отрицательном свете и что говорящий тоже испытывает по отношению к этому человеку отрицательные чувства. Например, в романе Генрика Сенкевича «Пан Володыевский» тиран отец, который грубо и бесцеремонно обращается со своей дочерью Эвой, часто называет ее *Ewucha* 'Эвуха', чем подчеркивает свое презрительное отношение к ней: «*Gdy syn usiekl, ów wyręczał mnie w gospodarstwie, póki mi się amarów z Ewuchą nie zachciało, co ja spostrzegłszy kazałem go wychłostać*». 'Когда мой сын сбежал, тот помогал мне вести хозяйство, пока не вздумал завести роман с Эвухой; заметив это, я приказал его высесть'

Для личных имен на *-ucha* можно предложить следующую формулу:

Формы на *-ucha* (например, *Ewucha*)

- я хочу говорить с тобой, как говорят с людьми, которых знают хорошо
 я испытываю по отношению к тебе какие-то плохие чувства
 я думаю что-то плохое о тебе
 я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к женщинам и девочкам
 я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
 вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо

Сочетание явно выраженных отрицательных чувств и плохого мнения с 'анти-женственным' компонентом и компонентом 'анти-уважения' делает эти формы однозначно презрительными и грубыми. Тем не менее, они могут быть экспрессивно переосмыслены как ласкательные и нежные. Если говорящий явно хочет выразить по отношению к адресату свои 'хорошие чувства', то компонент 'плохие чувства' выступает в качестве сигнала того, что выражается противоположное значение. Это не полисемия и не расплывчатость значения, а совершено конкретный механизм, который сознательно используется говорящим и никак специально не связан с именами на *-ucha*.

3.4.5. Формы на *-chna* и *-uchna*

Такие формы на *-chna*, как *Marychna* 'Марыхна', *Zochna* 'Зохна', *Kachna* 'Какхна' или *Joachna* 'Иоакхна', в польском языке чисто ласкательные. В отличие от форм на *-ucha* они не пейоративные и не грубые, а, наоборот, довольно бодрые и женственные.

Но если это действительно так, то почему они образованы с помощью увеличительного суффикса или псевдосуффикса *-ch*? Является ли этот факт произвольным и никак не мотивированным с синхронной точки зрения?

Я так не думаю, поскольку формы вроде *Zochna* или *Kachna* передают симпатию и даже восхищение, но эти чувства никак не ориентированы на детей. Двухлетнюю девочку по имени *Zofia* дома могут называть *Zosięka* или *Zosiunia* 'Зосюня', но вряд ли *Zochna*. Формы *Zochna* или *Marychna* употребляют, скорее, при обращении к молодой женщине, чем к ребенку. Если говорящий называет кого-то *Zochna* или *Marychna*, то тем самым он безусловно выражает «хорошие чувства», но это чувства другого рода, чем те, ко-

торые обычно выражают по отношению к детям. Эти чувства вроде тех, которые испытывают по отношению к девочке, переставшей быть ребенком, в особенности если она мила и привлекательна:

Формы на -chna

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к женщинам
и девочкам,
не такие, которые испытывают по отношению к детям
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я представляю, что люди, глядя на тебя/говоря с тобой, испыты-
вают какие-то хорошие чувства

Мне кажется, что именно сочетание прототипа-женщины с отрицанием прототипа-ребенка и придает формам на -chna их своеобразный бодрый оттенок. Если бы говорящий просто исключил ориентацию на детей, то это могло бы означать грубость. Если бы в прототип были включены и женщины, и дети, то эти имена приобрели бы мягкий и лирический характер (подобно именам на -sika). Но если в прототип включены женщины и девушки, но при этом исключены дети, то тем самым одновременно устраняются и мягкая лиричность, и грубоватая мужественность. В результате мы имеем эффект бодрой и радостной женственности. В фольклорной поэзии и в песнях девушка по имени Kasienka 'Касенька' будет чахнуть без своего возлюбленного или оплакивать умершего, а девушка по имени Kachna, вероятно, будет готова пуститься в пляс.

Женская ориентация имен на -chna проявляется также и в отсутствии соответствующих мужских форм: не существует мужских параллелей для имен типа Zochna, Kachna или Marychna.

В целом все сказанное выше относится и к формам на -uchna (Anuchna 'Анухна', Martuchna 'Мартухна' или Ewuchna 'Эвухна'), но у них есть одна особенность, связанная со способом их образования (формальная близость к формам на -usia и -ucha). Здесь я не буду обсуждать этот вопрос специально, но скажу, что когда мальчиков и мужчин ласково называют Piotrichna или Januchna, то здесь тоже действует обратный экспрессивный механизм, который основывается на опущении женственности, связанном с этим суффиксом.

Идея о том, что имена на -chna обращены к кому-то привлекательному и милому, к кому-то, на кого приятно смотреть и с кем приятно говорить (и кому-то, к кому лично говорящий хорошо относится), находит подтверждение и в области прилагательных на -uchny (женск. -uchna). Напри-

мер, когда Мицкевич в своей балладе под названием «Русалка» описывает русалку с «szyjka cieniuchna» ('тоненькой шейкой'), то, употребляя суффикс -ka со словом «шея» и суффикс -uchna с прилагательным «тонкий», он описывает что-то милое, а не жалостливое. Так же, когда он в «Пане Тадеуше» говорит про свою героиню Зося, что она «młodziuchna przesliczna dziewczyna» ('очаровательная молодая девушка'), то, добавляя к прилагательному со значением 'молодой' суффикс -uchna, он делает девушку еще более очаровательной.

Полезно сравнить с этой точки зрения два прилагательных: mały 'маленький' и młody 'молодой':

mała — malusia (как в «ta Dorotka, ta malusia»)
młoda — młodziuchna — *młodziusia

И -usia, и -uchna подразумевают, что объект, названный именем с этими суффиксами, очарователен. Но, как уже видно из сказанного об именах на -usia, суффикс -usia вызывает у нас образ очаровательного ребенка, в то время как суффикс -uchna подразумевает, скорее, очарование девушки, чем ребенка.

Например, из двух ласкательных слов для *тети* (ciotuchna и ciotunia) первое звучит моложе и обаятельнее. Если у человека есть две любимые тети, одна — молодая и обаятельная, а другая — старенькая и хрупкая, то первую он, скорее всего будет называть ciotuchna, а вторую — ciotunia, а не наоборот. (Третье ласковое название для *тети* cioteczka тоже подходит к молодой женщине, но из-за суффикса -eczka звучит более кокетливо и по-детски.)

3.4.6. Польские 'увеличительные' имена. Заключение

Формы на -ch (например, Stach)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к мужчинам
и не испытывают по отношению к детям

Мужские формы на -cho (например, Krzycho, Zdzych)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к мужчинам
и не испытывают по отношению к детям
я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе
какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые показывают по отношению к людям, ко-
торых не знают хорошо

Женские формы на -cha (например, Małgocha, Bascha)

- я хочу говорить с тобой, как говорят с людьми, которых знают хорошо
- я испытываю по отношению к тебе какие-то чувства
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к женщинам и девочкам
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо

Женские формы, образованные от мужских, формы на -cha (например, Stacha, Zdzicha)

- я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые испытывают по отношению к мужчинам и не испытывают по отношению к детям

Формы на -ucha (например, Ewucha)

- я хочу говорить с тобой, как говорят с людьми, которых знают хорошо
- я испытываю по отношению к тебе какие-то плохие чувства
- я думаю что-то плохое о тебе
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к женщинам и девочкам
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
- вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо

Формы на -chna (например, Zochna)

- я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые испытывают по отношению к женщинам и девочкам, не такие, которые испытывают по отношению к детям
- я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
- я представляю, что люди, глядя на тебя/говоря с тобой, испытывают какие-то хорошие чувства

3.5. Экспрессивные формы на -ka и -ek

Польские имена на -ka распадаются на три семантические категории:

1. Неэкспрессивные имена типа Hanka или Janka (они не выражают никаких эмоций);

2. Экспрессивные имена, выражающие положительные эмоции (например, Dorotka или Karolinka 'Каролинка');

3. Экспрессивные имена, выражающие неопределенные эмоции (например, Zośka 'Зоська', Baśka 'Баська').

В целом эти три семантические категории соответствуют трем морфологическим типам: у неэкспрессивных имен твердая двусложная основа, у положительных экспрессивных имен твердая основа, содержащая более двух слогов, у неопределенных экспрессивных мягкая основа с произвольным количеством слогов. Есть несколько женских имен на -ka, которые не очень хорошо вписываются в эту общую схему (например, Ewka), но все же трем семантическим категориям в целом соответствуют три морфологические.

Мужские имена на -ek распадаются на аналогичные формальные и семантические типы:

1. Неэкспрессивные имена типа Janek, Jurek или Antek (твердая основа, два слога);

2. Экспрессивные имена, выражающие положительные эмоции, типа Michalek или Andrzejek (твердая основа, более чем два слога);

3. Экспрессивные имена, выражающие неопределенные эмоции, типа Krzysiek 'Крисек', Heniek 'Хенек' или Wiesiek 'Весек' (мягкая основа, два слога, чаще всего с конечным -siek).

Неэкспрессивные имена на -ka и -ek уже обсуждались в разделе 3.2. Теперь я хотела бы обратиться к экспрессивным формам на -ka и -ek: сначала к эмоционально положительным, а затем к эмоционально неопределенным.

3.5.1. Положительные формы на -ka и -ek

В польском языке, как и в русском, положительные имена на -ka образуются от неусеченной формы полных имен (обычно оканчивающихся на -ota, -ata или -ina), которые не имеют мягкой краткой формы. Они, как правило, состоят из трех, но иногда и из четырех слогов, например:

Renata 'Рената' > Renatka 'Ренатка'
 Agata 'Агата' > Agatka 'Агатка'
 Dorota 'Дорота' > Dorotka
 Beata 'Беата' > Beatka 'Беатка'
 Małgorzata > Małgorzatka 'Малгожатка'
 Grażyna 'Гражина' > Grażynka 'Гражинка'
 Sabina 'Сабина' > Sabinka 'Сабинка'
 Karolina 'Каролина' > Karolinka
 Teresa 'Тереза' > Tereska 'Терезка'

Такие имена по значению близки к многосложным мужским именам на *-ek* (см. раздел 3.2.1.). Эти мужские имена обычно образуются от немаркированных полных имен, не имеющих немаркированной краткой формы, например:

Michał > Michalek
 Łukasz 'Лукаш' > Łukaszek 'Лукашек'
 Rafał > Rafalek
 Andrzej > Andrzejek

Если такие формы образуются от полных имен, которые либо сами маркированы, либо имеют немаркированную краткую форму, то они воспринимаются как архаичные и старомодные, например:

Tomasz > Tomaszek 'Томашек'
 Tadeusz > Tadeuszek 'Тадеушек'

Многосложные имена на *-ka* и *-ek* передают симпатию ('Я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства') и обладают также некоторым «димиутивным» значением. Однако в отличие от имен на *-eczka* или *-ecek* они не ориентированы на обращение к детям, и поэтому в них отсутствует компонент 'Я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые испытывают по отношению к детям'. Мне кажется, что описать это 'уменьшительное' значение многосложных имен на *-ka* и *-ek* можно, не прибегая к описанию того, какие именно 'хорошие чувства' испытывает говорящий:

Многосложные формы на *-ka* и *-ek* (например, *Dorotka*, *Michalek*)

я хочу говорить с тобой так, как говорят
 с детьми и с людьми, которых знают хорошо и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства
 я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства

В обращении ко взрослым многосложные мужские формы на *-ek* используются реже, чем многосложные женские формы на *-ka*, так что имена типа *Rafalek* или *Łukaszek* звучат более по-детски, чем женские имена типа *Agatka* или *Dorotka*, хотя это, конечно, во многом зависит от индивидуальных свойств конкретного имени. Например, *Halinka* 'Халинка' звучит менее по-детски, чем *Karolinka* 'Каролинка', возможно, потому, что оно уже давно распространено (в качестве обыденного имени). Имена, ставшие популярными совсем недавно, использовались сначала по отношению к младенцам и ма-

льщам, и, по-видимому, они все еще сохраняют эту ауру (по крайней мере в речи некоторых носителей). Однако, на мой взгляд, такого рода особенности относятся, скорее, к области прагматики, чем семантики. А инвариант значения многосложных форм на *-ka* и *-ek* был найден и продемонстрирован в вышеприведенной формуле.

3.5.2. Формы на *-ka*, выражающие неопределенные эмоции

Польские имена с мягкой основой и суффиксом *-ka* (например, *Maryśka* 'Марыська' или *Zośka*) во многих отношениях похожи на русские эмоционально неопределенные имена типа *Катька* или *Ванька*. Основная их формальная разница в том, что, поскольку в польском имена более четко распределены по полу, суффикс *-ka* — чисто женский, однако женские мягкие формы на *-ka* очень близки по значению к мужским мягким формам на *-ek* (например, *Wiesiek* или *Krzysiek*).

Так же, как и в русском, в польском эти формы часто воспринимаются как несколько грубые и даже пейоративные. Но очевидно, что это происходит по прагматическим, а не семантическим причинам, поскольку в другом контексте эти имена могут звучать как ласковые. Например, в романе Генрика Сенкевича «Пан Володыевский» жену главного героя зовут *Basia* (от *Barbara*), но близкие и любящие ее люди (муж и приемный отец) называют ее *Baśka*.

Поэт-романтик Словацкий посвятил лирическое ностальгическое стихотворение девушке по имени *Zośka* («*niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosić*» 'Пускай меня Зоська о стихах не просит'), и в этом контексте имя звучит лирично, а не грубо.

Среди девочек-подростков формы на *-śka* принято употреблять по отношению к близкой подруге без какого бы то ни было отрицательного оттенка и со значением, близким к именам на *-cha* (*Zocha* или *Marycha*).

Но хотя любящий муж или романтический поэт могут называть женщину *Baśka* или *Zośka*, вероятнее все же, что они будут называть ее *Bacha* или *Zocha*. Отсюда следует, что формы на *-ka*, в сущности, звучат менее грубо, чем формы на *-cha*. О том же говорят и формальные различия между двумя категориями. И *Zocha*, и *Zośka* ощущаются как производные от *Zosia*, но если в форме *Zocha* семантически 'мягкий' суффикс *-sia* отбрасывается и заменяется на 'увеличительный' суффикс *-cha*, то в случае формы *Zośka* этот 'мягкий' суффикс сохраняется.

Более того, суффикс *-ka* в именах типа *Zośka* может быть анти-сентиментальным, но никак не увеличительным. Взаимодействуя с семантически нейтральной основой, этот суффикс, по существу, образует уменьшительные формы, а взаимодействуя с семантически маркированной основой (т. е. той, в которой выражена симпатия или ориентация на детей), он выступает в качестве анти-уменьшительного:

głowa 'голова' > *główka* 'головка'
kobieta 'женщина' > *kobietka* 'маленькая женщина'
ciocia 'тетя' > *ciotka* 'тетка' (анти-сентиментальность)
babcia 'бабушка' > *babka* 'бабка' (анти-сентиментальность)
niania 'няня' > *niania* 'нянька' (анти-сентиментальность)

Как показывают эти факты, имена на *-ka* типа *Zośka*, будучи анти-сентиментальными, не являются при этом изначально анти-женственными или 'увеличительными', что можно сказать про формы на *-cha*.

Следовательно, семантическая формула имен типа *Zośka* должна включать что-то вроде 'анти-сентиментальности' и 'анти-уважения', но не должна содержать никакого 'анти-женственного' компонента.

Я предлагаю следующую формулу:

Формы с мягкой основой и с *-ka* (например, *Zośka*)

[близость]

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с девочками и женщинами, которых знают хорошо

[увеличительность]

я не хочу говорить с тобой так, как говорят
с детьми

[экспрессивность]

я испытываю по отношению к тебе какие-то чувства

[анти-сентиментальность]

я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе
какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые показывают по отношению к детям

[анти-уважение]

я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе
какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по
отношению к людям, которых не знают хорошо

Эта формула практически идентична той, которая была предложена для русских имен типа *Катька* или *Ванька*, но содержит на один компонент меньше. В ней отсутствует компонент, который я назвала 'суровость' ('я не хочу показывать,

что испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства'). В этом месте я могу ошибаться, но есть некоторые указания на то, что в русском эти формы звучат чуть жестче («суровее»), чем в польском. Мои русские информанты говорили, что им легче представить (или вспомнить), чтобы мужчина употребил форму *Митька* или *Колька*, обращаясь к своему приятелю, чем если бы он употребил аналогичную женскую форму (*Катька* или *Танька*) в романтическом значении. Ярлык «уничижительная форма», который русская лингвистическая традиция обычно приписывает таким формам, говорит о том же.

Опять-таки, у разных имен могут быть разные коннотации в зависимости от их истории и привязанности к разным социальным слоям. Например, *Mańka* 'Манька' (от *Mania* 'Маня', *Magia*) и *Jadźka* 'Ядзька' (от *Jadzia* 'Ядзя' < *Jadwiga* 'Ядвига') в целом звучат грубее и вульгарнее, чем *Zośka* (от *Zosia* < *Zofia*) и *Baśka* (от *Basia* < *Barbara*), которые совсем не кажутся грубыми, а *Maryśka* 'Марыська' (от *Magysia*) и *Kaśka* 'Каська' (от *Kasia* < *Katarzyna*) как будто занимают промежуточное положение между вульгарным *Mańka* и абсолютно не вульгарным *Zośka*. Конечно, такие индивидуальные отличия интересны и заслуживают изучения, но они не влияют существенным образом на категориальные различия между разными классами имен.

3.5.3. Формы на *-ek*, выражающие неопределенные эмоции

Мужские формы на *-ek* с мягкой основой (чаще всего они оканчиваются на *-siek*), будучи одновременно экспрессивными и 'анти-сентиментальными', семантически сходны с женскими именами на *-ka*. С точки зрения словообразования они тоже похожи:

Krystyna 'Крыстина' > *Krysia* > *Kryśka* 'Крыська'
Barbara > *Basia* > *Baśka*
Jan > *Jaś* > *Jasiek* 'Ясек'
Stanisław > *Staś* > *Stasiek* 'Стасек'

Но верно и то, что, предположив тонкое различие в значении между женскими формами типа *Krysia* или *Basia* и мужскими именами типа *Jaś* или *Staś*, мы должны предположить нечто аналогичное и в случае форм на *Kryśka* и *Baśka*, с одной стороны, и *Jasiek* и *Stasiek*, с другой. По моим наблюдениям, такое предположение соответствует действительности. Например, я лично знаю мужчин, которых в довольно широ-

ком кругу знакомых обычно называют Wiesiek, Krzysiek и Stasiek, но я не слышала, чтобы просто знакомых женщин называли Baśka, Zośka или Krzyśka — это предполагает определенную степень близости и эмоциональности. Таким образом, создается впечатление, что женские имена этого типа чуть более экспрессивны, чем их мужские соответствия на -ek.

С другой стороны, это внешнее различие может иметь под собой чисто прагматические причины: 'анти-сентиментальные' имена, употребленные по отношению к женщинам, могут казаться более маркированными, поскольку по отношению к женщинам 'анти-сентиментальность' ожидается в меньшей степени, чем когда речь идет о мужчинах.

В качестве первого приближения, для мужских имен с мягкой основой и суффиксом -ek я бы предложила формулу, которая отличается от формулы для женских имен на -ka только в одном пункте — в том же, в котором отличаются аналогичные формы без -ka и без -ek (Zosia, Basia vs. Jaś, Staś).

Формы с мягкой основой и с -ek (например, Krzysiek)

[близость]

я хочу говорить с тобой так, как говорят
с мальчиками, которых знают хорошо

[увеличительность]

я не хочу говорить с тобой так, как говорят
с детьми

[экспрессивность]

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства

[анти-сентиментальность]

я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе
какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые показывают по отношению к детям

[анти-уважение]

я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе
какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые показывают по отношению к людям, ко-
торых не знают хорошо

3.6. Формы с суффиксом -uśka

Формы на -uśka наиболее ласковые из всех форм в польском языке. Как и формы на -eńka, они не имеют мужских соответствий, кроме как в звательном падеже.

Zosia > Zosieńka

Jaś > *Jasieniek (диалектное Jasieńko)

Jasieńku (звательный падеж)

Martusia > Martuśka 'Мартуська'

Piotruś > *Piotrusiek

Piotruśku 'Петруську' (звательный падеж)

Но экспрессивное значение и эмоциональная наполненность у форм типа Martuśka сильнее, чем у форм на -eńka. Конечно, эту особенность форм на -uśka можно попытаться вывести из сочетания значений -usia и -ka, и, возможно, при этом получится приемлемое объяснение. Но тем не менее, надо подчеркнуть, что, независимо от того, выводимо ли значение этих форм из каких-то других или нет, они обладают особой эмоциональной силой, которой не обладают ни -usia, ни -ka по отдельности.

Здесь я хотела бы напомнить, что формы на -usia описывались несколько огрубленно как ласкательные, ориентированные на обращение к детям и подразумевающие, что адресат (или человек, о котором идет речь) представляется говорящему очаровательным:

Формы на -usia или -uś (например, Martusia, Wojtuś)

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают к детям
я представляю, что, люди, глядя на тебя, испытывают какие-то
хорошие чувства

Мы видели, что когда суффикс -ka работает как оператор, то, взаимодействуя с 'мягкой' основой, он производит анти-уменьшительный и анти-сентиментальный эффект. Когда -ka и -uś (-usia) встречаются в сочетании, то они как будто противоречат друг другу:

Я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают к детям
я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе
какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые показывают по отношению к детям

Но на самом деле никакого противоречия здесь нет. Нежность присутствует в любом случае, а желание говорящего не казаться сентиментальным и не выражать чувств, которые обычно направлены на детей, а не на взрослых, только усиливают нежность и придают ей серьезность и глубину.

'Анти-уменьшительный' компонент суффикса -ka также создаст впечатление серьезной и глубокой нежности. А 'анти-

сентиментальный' компонент суффикса -ка гласит: 'Я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми', но 'мягкий' суффикс -uś говорит: 'я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые испытывают по отношению к детям'. Их сочетание передает глубокую нежность, которая пробивается даже через нежелание говорящего употреблять «детские» формы.

Что же касается 'анти-уважительного' компонента мягких форм на -ка, то его можно интерпретировать двояко: либо в нем заключено неуважение, либо, наоборот, близость и интимность (т. е. 'нет необходимости показывать уважение'). Но в семантическом контексте суффикса -uś первая возможность отпадает, и, следовательно, остается только импликация близости и интимности. Тем самым этот компонент лишь усиливает общее положительное впечатление от форм на -uśka.

Их семантическая формула, на мой взгляд, должна соединять в себе компоненты форм на -usia и компоненты форм на -ka. Я предлагаю такую:

Формы на -uśka (например, Martuśka)

- я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые испытывают к детям
- я представляю, что люди, глядя на тебя, испытывают какие-то хорошие чувства
- я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
- вроде тех, которые показывают по отношению к детям
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо и которые не являются детьми

3.6.1. Польские формы на -ek, -ka и -uśka. Заключение

Мужские имена, стандартные формы на -ek (твердая основа, два слога; например, Janek, Antek)

- я хочу говорить с тобой так, как говорят с мальчиками и мужчинами, которых знают хорошо
- я не хочу говорить с тобой так, как не говорят с детьми

Женские имена, формы на -ka (твердая основа, два слога; например, Nanika, Janika)

- я хочу говорить с тобой так, как говорят с девочками и женщинами, которых знают хорошо

- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
- вроде тех, которые показывают по отношению к женщинам и девочкам

Многосложные формы на -ka и -ek (например, Dorotka, Michałek)

- я хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми и с людьми, которых знают хорошо
- и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства
- я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства

Формы на -ka с мягкой основой (например, Zośka)

- я хочу говорить с тобой так, как говорят с девочками и женщинами, которых знают хорошо
- я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми
- я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к детям
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо

Формы на -ek с мягкой основой (например, Krzysiek)

- я хочу говорить с тобой так, как говорят с мальчиками, которых знают хорошо
- я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми
- я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые испытывают по отношению к детям
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо

Формы на -uśka (например, Martuśka)

- я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
- вроде тех, которые испытывают к детям
- я представляю, что люди, глядя на тебя, испытывают какие-то хорошие чувства
- я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
- вроде тех, которые показывают по отношению к детям
- я не хочу показывать, что я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
- вроде тех, которые показывают по отношению к людям, которых не знают хорошо и которые не являются детьми

4. Заключительные замечания

Личные имена что-то значат — и не только с этимологической, но и с синхронной точки зрения. Они несут важные прагматические значения, в которых отражен характер человеческих взаимоотношений. В прошлом целый ряд обстоятельств препятствовал признанию этого факта.

Во-первых, то, что родители произвольно (до известной степени) выбирают имя для своего ребенка, означает, что одна и та же форма, например, Debbie 'Дебби' или Cindy 'Синди', может выступать то в качестве краткой формы полного имени, то как нормальное полное имя с другим прагматическим значением. Такая степень свободы создает впечатление, что и сами имена вещь достаточно произвольная и что у них нет никакого постоянного прагматического значения.

Во-вторых, при попытке приписать разным категориям имен некие постоянные смыслы лингвисты традиционно исходили из предпосылки, что эти смыслы должны быть сформулированы в терминах особых экспрессивных значений: как, например, 'ласкательное', 'презрительное', 'уничижительное' и т. п. Но такого рода описания неизбежно приходили в противоречие с действительностью. Например, любой носитель русского языка прекрасно знает, что «уничижительная форма» может употребляться как дружеская или даже как ласковая. Следовательно, традиционные описания имен в терминах таких особых значений всегда встречались с явным и вполне обоснованным скептицизмом. Это только усиливало убеждение, что имена вообще не имеют никакого постоянного смысла.

В-третьих, даже для экспрессивных форм, обладающих особым эмоциональным значением, попытки описать это значение неизменно проваливались из-за твердого убеждения, что инструментом такого описания должны быть самые простые ярлыки вроде 'ласкательное'. Определенно выходила за рамки принятого и ожидаемого традиционного семантического описания идея, что простой суффикс может иметь очень сложную семантическую структуру, которую нельзя охватить одним общим эмоциональным ярлыком и даже несколькими ярлыками, а для того, чтобы сформулировать его значение, требуется несколько строк.

В-четвертых, отсутствовала также идея, что смыслы, выраженные в именах, можно выявлять через прототипы, а не в терминах эксплицитного эмоционального отношения. Хотя именно эта идея дает ключ к семантике имен.

Приведенный здесь анализ английских, русских и польских имен показывает, что во всех трех языках основные

прототипы (т. е. основные точки отсчета в пространстве человеческих взаимоотношений) связаны с такими фундаментальными, основанными на различиях пола и возраста категориями людей, как дети, женщины, мужчины, и в меньшей степени: мальчики, девочки, маленькие дети, маленькие мальчики, маленькие девочки и старики.

Традиционные дескриптивные категории типа 'уменьшительное', 'увеличительное' не учитывают того факта, что в семантике человеческих взаимоотношений важны не понятия размера ('большое'/'маленькое'), а понятия 'дети', 'женщины' и 'мужчины'.

В области неодушевленных предметов понятия 'большое' и 'маленькое' действительно могут играть важную роль. В некоторых языках, например, в польском, размер является обязательной морфологической категорией: так, по-польски (в отличие от английского) нельзя говорить о 'бутылке' вне зависимости от того, маленькая это бутылочка из-под духов или большая бутылка из-под шампанского. Говорящий должен выбирать между формами *butelka* ('нормальный размер', например, винная бутылка), *buteleczka* ('маленький размер', например, из-под духов) и *butla* ('большой размер', например, из-под шампанского).

Но в области человеческих взаимоотношений важен не размер, а экзистенциальный статус, который определяется полом и возрастом.

Было бы естественно ожидать, что категории, в основе которых лежат понятия пола и возраста, должны играть существенную роль если не во всех, то в большинстве языков мира. В то же время конкретные экзистенциальные прототипы и роль, которую играют половые и возрастные различия, должны, вне сомнения, меняться от языка к языку. В этом смысле поучительным примером могут служить русский и польский, которые, будучи близкими языками, с этой точки зрения существенно различаются. Тщательный анализ может показать, в какой степени разные отношения, типичные для данной культуры, связаны с разными возрастными и половыми статусами. Например, в какой степени возможность открыто проявлять симпатию или аналогичные чувства зависит от того, является ли адресат женщиной, ребенком или девушкой.

Более того, в семантике имен отражается степень, в которой принято проявлять свои чувства в человеческих отношениях вообще, а также конкретный характер этих чувств. Известно, что разные культуры существенно различаются в этом отношении, и эти различия часто описывались, но делалось это довольно случайно и импрессионистично. Скру-

пулезный систематический анализ личных имен позволяет нам выйти за пределы этих импрессионистических наблюдений и создать объективную сравнительную картину всего явления в целом.

В данном исследовании подкрепляется доказательствами впечатление, что в культуре, представленной английским языком, проявление эмоций в личных отношениях не поощряется, а в культурах, представленных русским или польским языком, наоборот, поощряется открытое проявление сильных эмоций.

В русском симпатия или другие 'хорошие чувства' проявляются так свободно, что они с одинаковой вероятностью могут быть направлены и на мужчин, и на женщин (хотя существуют и специальные категории форм, направленные на маленьких мальчиков (имена на *-ик* или *-ок (-ек)*: Юрик, Игорек), и специальные экспрессивные средства, сфокусированные на маленьких девочках (сочетание женской основы с мужским суффиксом *-ик*: Светик)).

В польском ситуация несколько другая: по своей эмоциональной наполненности женские формы доминируют над мужскими. И что еще важнее, женские формы отличаются от мужских по тому отношению и характеру чувств, которые в них заключены. Например, формы на *-ch* выделяют мужчин в качестве объекта особых, ориентированных на мужчин положительных чувств и фиксируют «мужественность» как положительное качество (т. е. ценность, которая признается обоими полами), а формы на *-chna* выделяют женщин и девочек в качестве объекта особых положительных эмоций и фиксируют «женственность» как положительное качество (т. е. ценность, которая признается обоими полами).

В английских формах, таких, как Bob 'Боб' или Bill 'Билл', мужественность также утверждается как одна из точек отсчета в человеческих отношениях, но здесь она не связывается с симпатией ('хорошими чувствами'), как это происходит в польских формах на *-cho*. Подобная ситуация, конечно, связана с самой природой английской системы, где место, занимаемое нежностью, вообще очень ограничено, и она может быть направлена только на детей и, до некоторой степени, на женщин. Формы типа Bobby 'Бобби', Jimmy 'Джимми', Pammie 'Пэмми' или Katie 'Кэти' звучат тепло и по-детски, формы типа Debbie, Cindy, Nicki 'Ники' или Jenny 'Дженни' звучат потенциально тепло и женственно, но если говорить в целом, то в английском нет форм, которые передавали бы теплоту (или потенциальную теплоту) и мужественность одновременно. Некоторое исключение представляет в этом смысле категория австралийских имен типа Bazza 'Базза', в

которых 'мужественность' и 'суровость' сочетаются с 'анти-сентиментальной' теплотой.

Эмоции, соответствующие разным категориям имен, бывают очень специфичными. Но они не связаны напрямую с словами, обозначающими эмоции или отношения, типа *ласковый, нежный, восхищенный, презрительный, дружеский* или *издевательский*. Точные эмоциональный колорит или тон, присущие конкретной категории имен, скорее подразумеваются, чем формулируются в ее семантической структуре. Часто это можно сформулировать как в положительном ключе, так и в отрицательном, как, например, в польских формах на *-ch*, которые передают следующий смысл:

я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают по отношению к мужчинам
и не испытывают по отношению к детям.

Часто для передачи конкретного отношения используют иконические средства и звуковой символизм (ср. Volek 1987:221). Например, отбрасывание ласкательного суффикса *-sia* в польских именах типа Krucha 'Крыха' или Marycha 'Марыха' (образованных от Krusia 'Крыся' и Marysia 'Марыся') имеет иконический эффект (говорящий как бы отбрасывает симпатию), а замена *-si(a)* на *-ch(a)* (т. е. на звук, который в неодушевленных существительных имплицитно подразумевает большой размер или грубость) имеет отношение к звуковому символизму. Часто именно сам процесс отбрасывания и замены вносит в семантическую структуру негативные компоненты ('я испытываю к тебе какие-то чувства, не такие, которые испытывают по отношению к...').

Тщательный семантический анализ имен дает нам возможность не только проводить межъязыковые и межкультурные сравнения, но и проводить исследование отдельно взятой культуры, наблюдая, как ведет себя система в рамках одного языка. Так, если мы знаем конкретное экспрессивное значение польских форм на *-unia* и *-usia*, то нам легче понять и зафиксировать социальную подоплеку преобладания *-usia* над *-unia*.

Поскольку разные типы имен обладают разными словообразовательными возможностями, и, следовательно, разным экспрессивным потенциалом, понимание семантики имен дает ключ к пониманию культурного значения моды на имена. Например, в последние десятилетия Польша стала свидетельницей растущей (особенно среди интеллигенции) моды на многосложные женские имена, от которых образуются многосложные производные на *-ka*: например, Dorota 'Доро-

та' > Dorotka 'Доротка', Agata 'Агата' > Agatka 'Агатка', Renata 'Рената' > Renatka 'Ренатка', Beata 'Беата' > Beatka 'Беатка', Karolina 'Каролина' > Karolinka 'Каролинка' или Grażyna 'Гражина' > Grażynka 'Гражинка'. Поскольку у этих имен нет общепринятых производных на *-sia*, *-eczka*, *-ńka* или *-chna*, то можно предположить, что семантика сложных женских имен на *-ka* хорошо отвечает экспрессивным запросам родителей этого поколения, которые предпочитают именно данные имена в ущерб тем, которые легче втягиваются в другие процессы экспрессивного словообразования. Такого рода факты дают нам ключи и к пониманию социальной и культурной истории, но, чтобы воспользоваться этими ключами, мы должны уметь расшифровывать конкретные экспрессивные значения.

Социальные и культурные изменения находят свое отражение в изменении направлений экспрессивного словообразования имен, а связи между этими явлениями открывают замечательное поле для дальнейших исследований. На неформальном уровне часто сами носители языка имеют определенное представление о такого рода связях. Так, например, для польского языка, комедия Габриелы Запольской «Мораль госпожи Дульской» хорошо иллюстрирует этот факт (мне на это указала Нина Загурская). В этой комедии девочка-подросток из буржуазной семьи говорит, что если ее брат женится на их служанке по имени Hanka 'Ханка' (а он грозится это сделать), тогда Ханку придется называть Andzia 'Андзя' (обе эти формы являются производными от имени Anna 'Анна'). Вероятно, формы с мягкой основой типа Andzia в этом кругу считались 'благородными', а формы с твердой основой типа Hanka, наоборот, 'грубыми' и малоподходящими для леди. (Тем не менее формы с мягкой основой на *-cia* (Karolcia 'Карольца') считались подходящими и для служанок, поскольку звучали несколько покровительственно.)

Похоже, что в послевоенной Польше никто уже не воспринимает разницу между мягкими и твердыми формами в терминах 'благородности'/не-благородности'. С ростом независимости и самостоятельности девушек всех слоев общества формы с твердой основой (Hanka) приобретают все более положительное значение, а качества типа 'мягкость' и 'женственность' отходят на второй план. Растущая мода (среди интеллигенции) на немаркированные имена типа Dorota, Agata или Beata, не имеющие мягких кратких форм, возможно, имеет аналогичное объяснение. То же относится и к намечающейся тенденции использовать полные имена (например, Dorota, Małgorzata 'Малгожата', Ewa 'Эва') вместо экспрессивных форм, а также и к тому факту, что многие мягкие

краткие формы, которые раньше были распространены в среде интеллигенции, теперь выглядят устаревшими и практически вышли из употребления (например, Terenia 'Тереня', Marynia 'Марыня', Jadwina 'Ядвига', Jadwisia 'Ядвися', Elżunia 'Эльжуния'). Популярное имя Magdalena 'Магдалена' очень характерно в этом смысле: некогда употребительная «нормальная» мягкая форма Madzia 'Мадзя' (как в романе Болеслава Пруса «Феминистки») в современном языке заменена на твердую форму Magda 'Магда', которая и воспринимается как «нормальная».

Более того, употребление усеченных мягких форм с невычислимой основной формой (например, Dziunia 'Дзюня', Dusia 'Дуся', Nusia 'Нюся', Nusia 'Нуся', Misia 'Мися', а также Lala 'Ляля', Lola 'Леля', Lula 'Люля', Lela 'Леля' и т. п.) очень снизилось в последнее время, а сами формы воспринимаются как крайне слащавые³.

Однако на этом этапе подобные наблюдения все же достаточно умозрительны и для их подтверждения потребуются эмпирические данные и подробное исследование.

Браун и Форд (Brown, Ford 1964:238) отмечают, что в американском английском говорящий может использовать более одной формы личного имени для одного и того же адресата: это может быть и первое имя, может быть и фамилия, и прозвище или же фонетический вариант первого имени или прозвища. Они предполагают, что между близостью отношений и богатством форм обращения есть некая корреляция:

«Интересна тенденция увеличения личных имен в зависимости от близости в отношениях, поскольку она соответствует известному психо-семантическому принципу. В языковых сообществах степень лексической дифференциации предметной области зависит от важности этой области для данного сообщества. В качестве примера на эту тему можно процитировать Конклина (Conklin 1957), который пишет, что у народа хануноо на Филиппинских островах есть названия для 92 разновидностей риса, который является их основной пищей. В наименованиях папоротников и орхидей, которые их интересуют значительно меньше, хануноо объединяют под одним названием сразу несколько ботанических видов, при том, что рис они различают с точностью до одного ботанического вида. Имя собственное концептуализирует человека как уникальный организм. Но когда интерес к человеку растет, вместо одного имени собственного индивид реализуется в целом ряде разных имен. Возможно, такая дифференциация помимо индивидуализации выражает также различные манифестации или способы восприятия кого-то близкого» (1964:238).

Но что можно сказать о культуре, в которой большинство индивидов «реализуется в целом ряде разных имен» и в которой языковая система обеспечивает ресурсы для такого разнообразия? Следует ли из гипотезы Брауна и Форда, что в такой культуре общий уровень близости отношений в целом выше, чем в более «сдержанных» культурах? И не влияет ли описанная выше свобода выбора из многочисленных экспрессивных возможностей на общую атмосферу спонтанности и эмоционального богатства, характерную для славянской речи и славянских взаимоотношений?

Мне кажется, что такого рода вопросы вполне законны и заслуживают дальнейшего изучения. Если ответ на них будет дан положительный, то с помощью систем экспрессивного словообразования можно будет ввести что-то вроде индекса важных культурных различий, которые легко заметить, но трудно строго зафиксировать.

И наконец, я считаю, что систематическое изучение семантики личных имен имеет важное значение для психологии и психотерапии, поскольку оно может предложить объективный и надежный ориентир в области подсознательных отношений.

Представим, например, польскую семью, в которой есть две дочери по имени Klara 'Клара' и Ewa, одну из которых родители чаще называют Klarcia 'Кларца', а другую Ewuśka 'Эвуська'. Или, возможно, отец чаще называет девочек Klarcia и Ewuśka, а мать Klareczka 'Кларечка' и Ewunia 'Эвуня'. В семейных взаимоотношениях начинаются проблемы, и родители обращаются за профессиональной помощью и терапией. Консультант или психотерапевт хочет понять динамику внутрисемейных отношений. Формы имен, которые употребляют родители, дают для этого превосходный ключ — но этим ключом нельзя воспользоваться, пока не будет надежно выяснено точное значение этих форм.

Примеров можно приводить еще много, но сказанного, как мне кажется, вполне достаточно для того, чтобы показать, что семантика имен — это потенциально важная область исследований не только с лингвистической точки зрения, но и в психологическом, антропологическом, социологическом и культурно-историческом отношении. И она особенно важна с точки зрения межкультурных сопоставлений как в теоретическом, так и в прикладном аспектах.

Личные имена что-то значат. Смыслы, в них заключенные, могут быть расшифрованы и описаны; их можно выучить и им можно научить.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Фактически польские имена с твердой основой и суффиксом *-ek* распадаются на несколько подклассов и, соответственно, отличаются по значению. Некоторые (например, *Janek, Jurek, Tomek, Stefek*) звучат как квазиуменьшительные и конкурируют с полными именами (*Jan, Jerzy, Tomasz, Stefan*); другие (например, *Mietek, Tadek, Wojtek, Antek*) звучат как квазиувеличительные и конкурируют с «детскими» ласкательными диминутивами (такими, как *Miecio, Tadzio, Wojtuś, Antos*). Например, можно предположить, что последний ряд форм, но никак не предыдущий, будет употребляться в среде подростковых уличных банд. Факторы, которые определяют восприятие семантики форм на *-ek*, требуют дополнительного исследования; я не думаю, что эти значения случайны и непредсказуемы.

² Во время моего доклада о польских именах в Варшавском университете в 1987 году одна лингвистка средних лет сказала, что называет свою молодую ассистентку, которую очень любит и ценит, *Ewcia*, но это не имеет никакого покровительственного оттенка. Однако в этот момент встала сама ассистентка и призналась, что ей неприятно, когда ее называют *Ewcia*, — она чувствует симпатию, заключенную в этой форме, но ей не нравится характер этой симпатии.

³ В формах типа *Dziunia* или *Niusia* функция идентификации подчиняется экспрессивному значению (как если бы родители называли свою девочку не по имени, а просто уменьшительным суффиксом или псевдо-именем типа *Малышка* или *Душечка*). Такого рода имена предназначены для внутрисемейного использования. Я думаю, что снижение их популярности в последние десятилетия связано с культурными и историческими изменениями: не осталось таких социальных слоев, в которых принято, чтобы жизнь девочек ограничивалась семейным кругом, чтобы девочки не общались с большим количеством людей (большинство из которых эмоционально ощущаются как посторонние).

БИБЛИОГРАФИЯ

- АН СССР 1960. Грамматика русского языка. М. 1960
- Бондалетов, В.Д.; Данилина Е.Ф. 1970. Средства выражения эмоционально-экспрессивных оттенков в русских личных именах. В: Антропонимика. В.А.Никонов и А.В.Суперанская, изд. 1970: М. Наука. 194-200.
- Соловьев, В. 1966-70. Собрание сочинений. 14 т. СПб.: Просвещение/Брюссель: Foyer Oriental Chrétien.
- Суперанская, А. 1969. Структура имени собственного: фонология и морфология. М.: Наука.
- Сулова, А.; Суперанская, А.В. 1978. О русских именах. Л.: Лениздат.
- Федотов, Г. 1952. Новый град: сборник статей. Нью Йорк. Издательство имени Чехова.
- Benson, Morton. 1967. Dictionary of Russian personal names. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Bratus, B.V. 1969. The formation and expressive use of diminutives. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brown, Roger W.; Ford, Marguerite. 1964. Address in American English. In: Language in culture and society. Dell H.Hymes, ed. P.234-44. New York: Harper and Row.
- Conklin, Harold. 1957. Hanunóo agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Dłuska, M. 1930. Przyczynek do zbierania polskich form hipokorystycznych. Język Polski 15: 83-88.
- Falsky, Marian. 1976. Elementarz. Warsaw: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Gawroński, A. 1928. Wartość uczuciowa deminutywów. Szkice językoznawcze: 199-217.

Greenberg, Joseph. 1980. Universals of kinship terminology: their names and the problem of their explanation. In: On linguistic anthropology: essays in honor of Harry Hoijer. J. Maquet, ed. Malibu: Undena Publication. P. 9-32.

Levine, Nancy. 1981. Perspectives on love: morality and affect in Nymba interpersonal relations. In: Culture and morality. Adrian Mayer, ed. P.106-125. New York: Academic Press.

Lutz, Catherine. 1987. Goals, events and understanding in Ifaluk emotion theory. In: Cultural models in language and thought. Dorothy Holland and Naomi Quinn, eds. P.290-312. Cambridge: Cambridge University Press.

Poynton, Cate. 1982. The linguistic realisation of social relations: Terms of address in Australian English. In: Collected papers on normal aspects of speech and language. 52nd ANZAAS Conference (Speech and Language section). P.253-269. North Ryde: Macquarie University, Speech and Language Centre (Occasional Papers).

SJP. 1958-69. Słownik języka polskiego. W.Doroszewski, ed. 11 vols. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stankiewicz, Edward. 1968. Declension and gradation of Russian substantives. The Hague: Mouton.

Urbańczyk, S. 1968. Geneza spółgłosek ś ż ć w polskich sufiksach deminutywnych. In: Szkice dziejów języka polskiego. P.222-233. Warsaw, First pub.: Slavia 1947-48, 28:290-299.

Van Buren, H. 1977. American ways with names. In: Culture learning: concepts, applications, and research. Richard Brislin, ed. P.111-130. Honolulu: University of Hawaii Press.

Volek, Bronislava. 1987. Emotive signs in language and semantic functioning of derived nouns in Russian. Amsterdam: John Benjamins.

Wędkiewicz, S. 1929. Kilka uwag o technice spieszceń. Język Polski 1929: 110-120.

Wierzbicka, Anna. 1985. The double life of a bilingual. In: Polish people and culture in Australia. R. Sussex and J. Zubrzycki, eds. Canberra: Australian National University (Immigration Monographs, 3), P. 187-223.

Wierzbicka, Anna. 1991. Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction. Berlin: Mouton de Gruyter.

Witkowski, T. 1964. Grundbegriffe der Namenkunde. Berlin.

Zarebina, M. 1954. O niektórych sposobach spieszceń. Język Polski: 180-197.

Zwicky, Arnold M. 1974. Hey, Whatsyourname! Chicago Linguistic Society, Papers 10:781-801.

ПРОТОТИПЫ И ИНВАРИАНТЫ*

Prototypes saves: on the uses and abuses of the notion of prototype in linguistics and related fields. In: Tsohatzidis, Savas L., ed. Meaning and prototypes: Studies in linguistic categorization. 1990. L., N. Y.: Routledge. Ch 17. P. 347-367.

1. Введение

Роль понятия «прототип» в семантике последних лет сопоставима с ролью постулатов Грайса в генеративной грамматике. Один из наиболее осведомленных очевидцев, Джеймс Мак-Коли (1981:215) удачно определил эту роль формулой: «Грайс спасает». В грамматике, при возникновении конфликта между постулируемыми правилами и актуальным употреблением, Грайс выручает грамматиста: употреблению дается объяснение в терминах Грайсовых постулатов. (Ср. Bach, Harnish 1982; дискуссия см. в Green 1983; Wierzbicka 1986b, c, 1987.)

Точно так же, как неработающие грамматические правила объявляются свидетельством прогресса в лингвистике (ведь мы обнаружили всеобъясняющую роль Грайсовых постулатов в языке), неработающие семантические формулы объявляются свидетельством прогресса в семантике. «Семантическая формула и НЕ ДОЛЖНА «работать» — вот один из уроков, преподанных нам «прототипами».

Часто призыв к использованию прототипов объединяется с утверждением о существовании двух подходов к категоризации: «классический подход» (связанный с Аристотелем) и «прототипический подход» (связанный, в частности, с Рорш и Витгенштейном). Их противопоставляют, как правило, для того, чтобы объявить классический подход ложным, а прототипический истинным. По моему мнению, однако, подобное противопоставление двух подходов нам ничего не может дать. Мы нуждаемся в синтезе двух традиций, а не в предпочтении одной в ущерб другой. В семантическом анализе есть, конечно, место для прототипов, но есть место и для инвариантов — одно не исключает другого.

Ниже я рассмотрю две группы примеров. Первая группа иллюстрирует тенденцию к злоупотреблению понятием прототипа (установка «Прототип спасает»); вторая группа примеров иллюстрирует плодотворность этого понятия, если его

* Автор, составитель и издатель этой книги благодарят издательство Routledge за любезное разрешение напечатать данную работу в русском переводе. Позднее эта статья в переработанном виде вошла в книгу А. Вежбицкой «Semantics, primes and universals».

использовать как специальный инструмент анализа, а не как универсальную гносеологическую отмычку.

2. Подход, основанный на принципе «Прототип спасает»

2.1. Значение слова ЛОДКА

Рассматривая значение английского слова *boat* 'лодка', Версхюрен (Verschuieren 1985:48) пишет следующее: «Попытки определить значение слова ЛОДКА неизбежно приводят к дефиниции такого типа: «созданный человеком объект, который используется для передвижения по воде». Приверженец буквалистского подхода, столкнувшись с лодкой, имеющей пробойну, и решив все-таки называть ее лодкой (хотя она не может больше использоваться для передвижения по воде), должен будет пересмотреть свое определение: «созданный человеком объект, который нормально используется для передвижения по воде, но в котором может оказаться дыра». Далее он должен будет определить, при какой величине дыры рассматриваемый объект более не является ЛОДКОЙ, а является просто РУХЛЯДЬЮ (*Wreck*). Неосуществимость буквалистского подхода столь очевидна, что даже его последовательные сторонники не захотят быть обвиненными в отстаивании подобных несуразностей. Защитник альтернативной теории мог бы просто пренебречь данной дефиницией и описать лодку с дырой как отклонение от прототипической лодки».

Но вместо того чтобы обращаться к понятию прототипа, не лучше ли немного уточнить первоначальную формулу? Ведь можно сразу сказать, что лодки — это род объектов, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ДЛЯ 'передвижения по воде'. Это верно, что лодка с большой дырой не может передвигаться по воде, но зачем же основывать формулируемое определение на СПОСОБНОСТИ, вместо того чтобы основать его на ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ?

2.2. Значение слова ХОЛОСТЯК

Превознося «размытость» и «прототипичность» в языке, Лакофф (1986:43-44) пишет: «Источником размытости могут быть и неградуируемые понятия — понятия, определяющиеся моделями, не включающими шкалу. Филмор (1982) приводит известный пример: слово *холостяк*. Он показывает, что

понятие «холостяк» определяется относительно идеализированной модели мира, в котором есть социальный институт брака, причем брак является моногамным и заключается между людьми разного пола...

Эта идеализированная модель укладывается в рамки классической теории категорий. По этой модели *холостяк* — весьма четко определенная Аристотелева категория. Но эта идеализированная когнитивная модель (ИКМ) не соответствует реальному миру, который мы очень хорошо знаем. Когда эта модель помещается в контекст всего нашего остального знания о мире, появляется размытость, источником которой является не сама модель, но несоответствие исходных посылок, лежащих в основе модели, нашему знанию о мире. Приведем несколько примеров, доказывающих несостоятельность исходных посылок, в результате чего оказывается невозможным дать ясный, недвусмысленный ответ на вопросы:

— Тарзан холостяк?

— Холостяк ли папа римский? ...

Ответы на эти вопросы не могут быть четкими по той причине, что идеализированная модель, в отношении которой определено понятие 'холостяк', может не соответствовать остальному знанию о мире. В данном случае источник размытости не в самой модели, но во взаимодействии этой модели с другими моделями, отражающими другие аспекты нашего знания о мире.

В результате такой размытости возникают прототипические эффекты — представления о лучших и худших образцах холостяков».

Так неизменный *холостяк* неожиданно появляется в новой роли. Тридцать лет назад самая модная семантическая теория того времени — «новая семантическая теория» Катца и Фодора — произвела свое триумфальное вступление в лингвистику, опираясь именно на этот сомнительный пример; сегодня *холостяк* так же пригодился теории прототипов. Но если формула '*холостяк* — неженатый (взрослый) мужчина' не работает, не можем ли мы слегка изменить ее так, чтобы она работала, — почему бы нам, к примеру, не заменить ее на такую дефиницию: '*холостяк* — неженатый мужчина, который мыслится как такой, который мог бы вступить в брак'?

Примеры такого рода ясно показывают, что обсуждение «необходимых и достаточных признаков» обычно заикливается на материальных признаках и не принимает во внимание нематериальные. Между тем концепты естественного языка нередко представляют собой сплав компонентов обо-

го рода. Для 'холостяка' считается способным вступить в брак так же необходимо, как быть мужского пола и незамужним.

2.3. Значение слова ПОЗДРАВЛЯТЬ

Согласно Версхюрену (1985:47), «типичное поздравление есть выражение говорящим радости по поводу успеха слушающего в осуществлении или достижении чего-либо важного. Первый компонент [т. е. радость говорящего — *A.B.*] этого прототипического значения во многих официальных поздравлениях полностью отсутствует. Второй компонент [т. е. успех слушающего — *A.B.*] ненавязчиво подчеркивается в следующем заголовке из газеты International Herald Tribune: «Бегин поздравляет Садата с их Нобелевской премией».

Но в действительности неверно, что выражение радости «во многих официальных поздравлениях полностью отсутствует». По-видимому, ВЫРАЖЕНИЕ радости (когда кто-то ГОВОРИТ, что он рад) смешивается здесь с ОЩУЩЕНИЕМ радости (когда кто-то ИСПЫТЫВАЕТ радость). Разумеется, во многих актах поздравления ощущение радости отсутствует; однако если человек не ГОВОРИТ (или как-то иначе не ВЫРАЖАЕТ), что он рад, то никакого акта поздравления нет. Наверное, выражение радости является инвариантной частью понятия 'поздравлять', а не просто частью его прототипа?

2.4. Значение слова ПТИЦА

В ряде своих работ Джордж Лакофф порицает других лингвистов за увлечение разнообразными «удобными фикциями» и бичует их за то, что они не сумели осознать «фразытость» семантических категорий — установленную, как он полагает, в работе Элеоноры (Хайдер) Рош. Например, он пишет (Lakoff 1973:458-459):

«Элеонора Рош Хайдер [Rosh Heider 1973] поставила вопрос о том, воспринимают ли люди принадлежность к категории как вопрос, решаемый однозначно, или же как вопрос степени. Например, рассматривают ли люди представителей данного биологического вида просто как птиц или не-птиц, или же они рассматривают их как птиц в определенной степени? Результаты Хайдер последовательно указывают на последнее. Она попросила испытуемых расклассифицировать птиц по степени принадлежности к категории 'птица', т. е. по

степени соответствия идеальному образу птицы. Ввиду отсутствия однозначного ответа на вопрос о принадлежности к категории, можно было бы ожидать, что испытуемые будут уклоняться от ответов или давать ответы наобум. Вместо этого и вопреки ожиданию, образовалась четкая иерархия отношений к категории 'птица':

(1) Иерархия принадлежности к категории 'Птица'

малиновки
орлы
куры, утки, гуси
пингвины, пеликаны
летучие мыши

Малиновки — типичные птицы. Орлы, являющиеся хищниками, менее типичны. Куры, утки и гуси — еще меньше птицы. Летучие мыши вряд ли вообще относятся к птицам. Коровы однозначно к птицам не относятся».

Не очень ясно, однако, как эти рассуждения можно согласовать с совершенно отчетливой интуицией носителей языка, что в то время как летучая мышь определенно НЕ ЯВЛЯЕТСЯ птицей, страус ЯВЛЯЕТСЯ птицей — «странный» птицей, нетипичной птицей, но птицей. Отсюда можно сделать заключение, обратное тому, что сделал Лакофф: летучих мышей, которые не имеют перьев, не имеют клювов, не откладывают яиц, не относят к птицам, потому что перья, клювы и яйца считаются НЕОБХОДИМЫМИ (а не просто прототипическими) признаками понятия 'птица'¹ (ср. Wierzbicka 1985:180); дальнейшее обсуждение понятия «птица» см. ниже.

Разумеется, если информантов подробно проинструктировать, как распределить группу названий биологических видов по шкале принадлежности к птицам, и если предложенная им группа включает летучих мышей и коров, они, конечно, поймут, почему летучих мышей следует поместить перед коровами; но следует ли из этого, что летучие мыши считаются в какой-то степени птицами и что невозможно провести границу между словами, обозначающими птиц, и словами, обозначающими не-птиц?

2.5. Значение слова ЛГАТЬ

Согласно Коулмен и Кею (Coleman, Kay 1981), является или не является некоторое высказывание ложным — вопрос степени, и не существует набора необходимых и достаточных признаков, определяющих понятие 'ложь'. Этот вывод, при-

нятый и подтвержденный в бесчисленных лингвистических статьях и монографиях, основан частично на так называемой социальной лжи и невинной лжи (лжи во спасение), а частично — на обмане путем умолчания. Например, неискренние высказывания вроде «Какое миленькое платьице!» или «Рад видеть тебя!» или «Заходи в любое время!» объявляются частично ложными, а не однозначно ложными или не-ложными. Аналогично, притворные уверения, адресуемые смертельно больному пациенту, рассматриваются как частично ложные, а не как однозначно ложные или не-ложные. Наконец, ответы, которые буквально истинны, но при этом намеренно вводят адресата в заблуждение (например, «Куда вы идете?» «Мы из стручка») также квалифицируются как частично ложные.

Интересно, что информанты готовы квалифицировать «социальную ложь», милосердную ложь и умолчание как «частичную ложь». Однако исследователи семантики не обязаны принимать суждения информантов за чистую монету. Методология Коулмен и Кея — равно как и Рош — имеет тенденцию порождать результаты, ожидаемые и желаемые исследователями. Коль скоро информанты получают семибальную шкалу от 1 ('несомненно не-ложный') до 7 ('несомненно ложный'), их дальнейшие действия нетрудно предугадать: они распределяют все предложенные им примеры в соответствии с этой шкалой. Как бы там ни было, цель Коулмен и Кея («мы намерены поставить под сомнение само понятие дискретного семантического признака») едва ли можно назвать достижимой. Слову *лгать* можно дать вполне обоснованное толкование на языке «дискретных семантических признаков» (ср. Wierzbicka 1985: 341-342):

X солгал У-у =
 X сказал нечто У-у
 X знал, что это не правда²
 X сказал это, потому что хотел, чтобы У думал, что это правда
 [люди сказали бы: тот, кто так поступает, поступает плохо]

Разумеется, есть сходство между ложными, неискренними и уклончивыми высказываниями, как есть сходство между пгицами и летучими мышами, и информанты его осознают. Однако это отнюдь не доказывает, что понятие дискретного семантического признака не имеет под собой основания.

Тот факт, что информанты часто дают «градуированные» ответы, сам по себе интересен, однако, как отмечается в Armstrong et al. 1983:284, это не имеет прямого отношения к

структуре понятия — особенно если принять во внимание тот факт, что градуированные ответы вызываются даже такими явно дискретными понятиями, как 'нечетное число' (одни нечетные числа оцениваются информантами как более нечетные, чем другие, например, 3 оценивается как более нечетное, чем 501; Armstrong et al. 1987:62).

К этому можно добавить, что Sweetser (Sweetser 1987: 62) пошла еще дальше, чем Коулмен и Кей, в направлении «прототипической редукции» и заявила, что «ложь — это просто неверное утверждение». Она, конечно, понимает, что употребление слова *лгать* нельзя полностью вывести из этого простого определения, но, заявляет она, «каждый знает по собственному горькому опыту, как легко размытость значения ускользает от формального редукционистского анализа» (1987:63) — т. е. как трудно определить что-либо таким образом, чтобы это определение имело прогнозирующую силу. К счастью, полагает она, теория прототипов избавляет нас от этих бесполезных хлопот. В случае *лжи* достаточно определить ее как 'неверное утверждение'; несоответствие же между определением и употреблением может быть объяснено в терминах наших культурных моделей релевантных сфер опыта.

Это построение, однако, немедленно рухнет, как только мы поймем, что в языке может быть два (или больше) слова, обозначающих «неверные высказывания», и что они могут употребляться по-разному. Например, в русском имеется два слова, обозначающих ложь: *врать* и *лгать*; и их употребление лишь частично, но не полностью совпадает. Если изучающим русский язык сказать, что оба эти слова обозначают «неверное утверждение» и что дальнейшие рекомендации по их употреблению должны быть выведены из русской «культурной модели», то откуда они узнают, как разграничить употребление *врать* и *лгать*? С другой стороны, аккуратно сформулированная дефиниция МОЖЕТ помочь студентам в употреблении и интерпретации этих слов³.

Культурные модели действительно важны, но они не являются «другим важным фактором», дополнительным к значению. Культурные модели отражаются непосредственно в значениях слов. Модель, закодированная в значении *врать*, отличается от модели, закодированной в значении *лгать*; и обе они отличаются от модели, закодированной в значении *lie*. Сформулировать эти значения точно (т. е. таким образом, чтобы обеспечить полную прогнозирующую силу) трудно, но не невозможно (предположительные толкования большого корпуса глаголов речевых актов см. в Wierzbicka 1987).

2.6. Значение слова МАТЬ

Согласно Джорджу Лакоффу (Lakoff 1986:37), понятие 'мать' не может получить универсального определения, поскольку оно является «экспериментальным кластером» и поскольку никакое определение «не охватывает всего спектра случаев». Спектр случаев, подводимых под это понятие, по Лакоффу, очень широк, и его нельзя свести к какому-либо общему ядру (как, например 'женщина, которая родила ребенка'), потому что слово *мать* относится не только к «биологической матери», но и к «приемной матери», «матери-донору» (которая дает яйцеклетку, но не вынашивает), «суррогатной матери» (которая вынашивает чужую оплодотворенную яйцеклетку) и т. д.

Аргументация Лакоффа настолько своеобразна, что для того, чтобы не быть заподозренным в ее искажении, лучше привести ее дословно: «Это явление не укладывается в рамки классической теории. Понятие 'мать' невозможно раз и навсегда четко определить через необходимые и достаточные условия. На самом деле нет нужды в том, чтобы для всех случаев употребления слова *мать* были определены одни и те же необходимые и достаточные условия: понятие материнства включает и понятие биологических матерей, и матерей-доноров (от которых берется яйцеклетка), и суррогатных матерей (которые вынашивают детей из чужих яйцеклеток), и приемных матерей, и незамужних матерей, которые отдают своих детей приемным родителям, и мачех. Все они являются матерями благодаря связи с идеальным случаем, где сопрягаются все базисные модели. Этот идеальный случай — один из многих, в результате которых возникают прототипические эффекты» (Lakoff 1986:39, см. также Lakoff 1987:83).

С семантической точки зрения заявления Лакоффа мало убедительны. Ключевой момент, который Лакофф упустил из виду, заключается в том, что кормилицы, приемные матери, «генетические матери», «суррогатные матери» и т. п. не являются «матерями» наравне с «биологическими матерями» (ср. Boguslawski 1970). Слово *мать* без определений ('X является матерью Y-а') однозначно относится к родительницам, а не к донорам яйцеклеток, поставщикам утроб, воспитательницам и супругам отцов.

Лакофф отмечает, что выражение *настоящая мать* можно отнести как к родившей, так и к воспитавшей (*Она вырастила меня и я зову ее матерью, хотя она не моя настоящая мать; Она родила меня, но никогда не была мне настоящей матерью*), однако он не заметил синтаксических — а значит, и семантических — различий между выражениями *моя настоящая мать*

(*my real mother*) (либо родительница, либо воспитательница) и *настоящая мать для меня* (*a real mother to me*) (только воспитательница). Мало того, он не заметил, что тест с *настоящая* семантически ненадежен. Например, предложения типа *Он настоящий мужчина* или *Она настоящая женщина* могут относиться к взглядам или предвзвешенным разговорным, касающимся мужчин и женщин, которые основаны не на значении слов *мужчина* и *женщина*. Он не сумел оценить всех последствий того факта, что выражение *биологическая мать* употребляется только в контрастивных контекстах, а в обычной речи (вне контрастивного контекста) никто не говорит *Она его биологическая мать*, в то время как употребленные выражения *кормилица*, *приемная мать* или *суррогатная мать* не ограничиваются контрастивными контекстами. Ставить «биологических матерей» в один ряд с «суррогатными матерями» или «кормилицами» — это все равно, что говорить, будто существует два типа лошадей: биологические лошади и деревянные лошади [качалки] (или что существует две несопадающие «модели лошадности»: биологическая и искусственная) и что поэтому мы не можем определить лошадь как «вид животных...», так как деревянные лошади животными не являются.

Я не говорю, что значение слова *мать* может быть полностью сведено к значению 'родительница' ('birth-giver'); в выносимом на обсуждение толковании социально-психологический компонент также присутствует:

X — мать Y-а =

(а) Одно время Y был внутри X-а

(б) В то время Y был как бы частью X-а

(в) поэтому этого люди могут подумать об X-е примерно так:

«X хочет делать хорошие вещи для Y-а

X не хочет, чтобы с Y-ом случались плохие вещи»

Но социально-психологический компонент (в) должен формулироваться в терминах ожиданий, а не в терминах актуальной реальности; напротив, биологические компоненты (а) и (б) должны формулироваться как актуальные (ср. Wierzbicka 1980:46-9).

2.7. Значение слова МЕБЕЛЬ

В работе, озаглавленной «Когнитивные репрезентации семантических категорий», Рош (Rosch Heider 1975:193) пишет: «Когда мы слышим общее имя (a category word) есте-

ственного языка, такое, как *мебель* или *птица*, то какого рода представление оно вызывает в нашем сознании? Список признаков, необходимых и достаточных для принадлежности к данной категории? Конкретный образ, который репрезентирует эту категорию? Список членов категории? Способность употреблять категориальные термины вообще без всякой опоры на ментальные представления? Или какие-то другие, труднее определяемые формы представления?»

Этот отрывок содержит в себе неявное допущение, что *птица* и *мебель* — «категориальные слова» одного и того же типа. Следуя Рош, многочисленные психологи и, что более неожиданно, лингвисты приняли это допущение как безусловно верное. Имеются, однако, ясные грамматические (а также семантические) свидетельства того, что эти два слова воплощают совершенно разные типы понятий. *Птица* — таксономическое понятие, соотносимое с определенным «типом живых существ». Но *мебель* — никоим образом не таксономическое понятие: это СОБИРАТЕЛЬНОЕ понятие (ср. Wierzbicka 1984 и 1985; Zubin, Köpcke 1985), которое соотносится с разнородной совокупностью предметов различных типов. Нельзя сказать «три мебели», но можно — «три птицы»; нельзя представить себе или изобразить экземпляр мебели вообще, но можно изобразить птицу вообще. Для *птиц* МОЖНО провести границу между птицами и нептицами (летучие мыши относятся к последним). Для *мебели* НЕЛЬЗЯ провести границу между объектами, входящими в эту суперкатеорию, и объектами, не относящимися к ней, — потому что в силу своего значения слово *мебель* не претендует на идентификацию отдельных типов объектов. Понятие 'мебель' с полным основанием может быть названо «размытым» — равно как и другие понятия, соотносимые с собирательными существительными, обозначающими разнородные совокупности объектов (*кухонная утварь, посуда, одежда* и т. д.). Но очень трудно понять, как результаты исследования таких собирательных существительных (ошибочно относимых к тому же типу, что и счетные вроде *птица*) могут послужить «опровержением психологической реальности Аристотелевой теории категорий» в целом (Rosch Heider 1975:225).

Болинджер (Bolinger 1992) полагает, что оба слова, *мебель* и *птица*, нуждаются как в прототипическом анализе, так и в анализе признаков, и я согласна с ним. Тем не менее языковые данные подтверждают, что они фундаментально отличаются в определенном отношении, поскольку *птица*, с семантической точки зрения, 'вид существ', в то время как *мебель* — это 'предметы различных видов', а не 'вид предметов'.

Факт, что *птица* — счетное существительное (например, *три птицы*), а *мебель* — не счетное (например, невозможно **три мебели*), — не случаен, но отражает и фиксирует это различие в концептуализации (более подробное обсуждение этого вопроса см. в Wierzbicka 1992a)⁴.

2.8. Значение слова ИГРУШКА

Согласно Джорджу Лакоффу (Lakoff 1973) (который основывает свои утверждения на исследованиях Рош), *мяч* и *кукла* находятся в числе «центральных членов» категории 'игрушка', подобно тому как *машинка* и *воробей* — в числе «центральных членов» категории 'птица'. *Качели* и *коньки* являются «периферийными членами» категории 'игрушка', подобно тому как *куры* и *утки* — «периферийные члены» категории 'птица'. Следовательно, как нельзя сказать, являются ли *куры*, *утки* (и летучие мыши) птицами или нептицами, точно так же нельзя сказать, являются ли *качели* и *коньки* игрушками или не-игрушками. Можно сказать только, что они являются игрушками в некоторой степени (меньшей, чем *мячи* и *куклы*).

Однако аналогия между *птицей* и *игрушкой* столь же ложна, сколь и аналогия между *птицей* и *мебелью*. В то время как *птица* — это таксономическое понятие, которое соотносится с особым ВИДОМ объектов, *игрушка* является таксономическим понятием не в большой мере, чем *мебель*. Это чисто функциональное понятие, которое соотносится с объектами ЛЮБОГО ВИДА, изготовленными для детских игр. Нельзя нарисовать игрушку вообще, как нельзя нарисовать мебель вообще. Категория 'игрушка' является «размытой» — потому что, в силу своей семантической структуры (совершенно отличной от семантической структуры категории 'птица'), она непригодна для идентификации отдельных ТИПОВ объектов. Можно показать, что такие слова, как *воробей*, *цыпленок* или *страус* содержат в своем значении компонент 'игрушка'. Из можно считать «центральными членами» категории 'игрушка', однако это совершенно не существенно с точки зрения их семантической структуры. И было бы совершенно неоправданно начинать толкование слов *мяч* или *кукла* с выражения 'вид игрушек'. Огромное количество мячей используется в разных видах спорта (регби, футбол, крикет и т. д.) отнюдь не в качестве 'игрушек', и огромное количество кукол (к примеру, фарфоровые статуэтки на каминной полке) не считаются игрушками. Что бы мы ни обнаружили в структуре чисто функциональных понятий типа 'игрушка'

(или 'транспортное средство', или 'оружие' или 'инструмент'), это не может быть перенесено на таксономические категории типа 'птица', 'цветок' или 'дерево'. Семантические отношения между *воробьем* или *птицей* совершенно отличны от семантических отношений между *мячом* и *игрушкой*.

2.9. Значение слова ИГРА

Понятие 'игр', несомненно, один из самых характерных и обсуждаемых в литературе примеров, приводимых в доказательство «размытости» человеческого понятий. Он был приведен Людвигом Витгенштейном в знаменитом отрывке его «Философских исследований». Витгенштейн не пользуется понятием прототипа, но прибегает к близкому понятию «фамильного сходства» между концептами (которое им же и введено). Исходное предположение то же самое: понятиям нельзя дать четких определений в терминах дискретных семантических компонентов; невозможно уловить семантический инвариант такого понятия, как, например, 'игра', ибо все, что есть общего у разных употреблений, — это расплывчатое «фамильное сходство», а не четко определенный набор признаков.

Витгенштейновская идея «фамильного сходства» сыграла колоссальную роль в развитии «семантики прототипов», и своей популярностью это направление мысли обязано в первую очередь его интеллектуальной харизме.

По мнению автора этих строк, в работах Витгенштейна содержатся самые глубокие и проницательные наблюдения над языком и значением, какие только можно найти. Но, при всем моем почтении к Витгенштейну, пришлось, я думаю, время пересмотреть его доктрину «фамильного сходства», которая получила статус незыблемой догмы в большинстве новейших исследований по семантике (ср. например, Jackendoff 1983; Baker, Hacker 1980). Витгенштейн (Wittgenstein 1953:31-32) пишет: «Рассмотрим, например, процессы, которые мы называем «играми». Я имею в виду игры на доске, карточные игры, игры в мяч, спортивные игры и т. д. Что свойственно им всем? — Не говори: «Должно быть нечто общее, иначе бы они не назывались "играми"» — но *посмотри*, есть ли что-нибудь общее для них всех. — Ведь когда ты смотришь на них, ты видишь не что-то общее им *всем*, а подобия, сходства, причем целый ряд. Как уже было сказано: не думай, а смотри! — Погляди, например, на игры на доске с их многообразными сходствами. Затем перейди к карточным играм: здесь ты найдешь множество соответствий с первой группой,

но много общих черт исчезнет, зато появятся другие. Если мы далее обратимся к играм в мяч, кое-что общее сохранится, но многое утратится. — Все ли они «развлекательны»? Сравни шахматы и «крестики-нолики». Или: всегда ли есть победа и поражение или соперничество между игроками? Подумай о пасьясах. В играх с мячом есть победа и поражение; но если ребенок бросит мяч в стену и ловит его, то этот признак исчезает. Посмотри, какую роль играют ловкость и удача. И сколь различны ловкость в шахматах и ловкость в теннисе. Теперь подумай о хороводах: здесь есть элемент развлечения, но как много других черт исчезло! И таким образом мы можем пройти через многие и многие группы игр; и увидать, как сходства то появляются, то снова исчезают.

Результат этого рассмотрения звучит так: мы видим сложную сеть сходств, переплетающихся и пересекающихся. Сходств больших и малых.

Я не могу придумать никакого лучшего выражения для характеристики этого сходства, чем «фамильное сходство»; ибо именно так переплетаются и пересекаются различные линии сходства, существующие между членами одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент и т. д. и т. п. — И я буду говорить: «игры» образуют семью».

Подобные тексты обладают магической силой, и нет ничего удивительного в том, что они оказали огромное влияние на многочисленных философов, психологов и лингвистов. Но действительно ли витгенштейновские выкладки ВЕРНЫ? Действительно ли невозможно сказать, что же общего между всеми играми, невозможно уловить ИНВАРИАНТ понятия 'игра'?

Единственно корректная форма опровержения в таких случаях — попытаться СДЕЛАТЬ «невозможное», попытаться определить понятие 'игра'. Я бы предложила следующие компоненты в качестве основных для данного понятия: (1) человеческая деятельность (животные могут играть, но они не могут играть в игры); (2) длительность (игра не может быть мгновенной); (3) назначение: удовольствие; (4) выключенность из реальности (участники воображают, что они находятся в мире, отделенном от реального); (5) четко определенная цель (участники знают, чего они хотят достичь); (6) четко определенные правила (участники знают, что можно и чего нельзя делать); (7) непредсказуемый ход событий (никто не знает точно, что именно произойдет). В соответствии с этим я предлагаю следующее толкование:

ИГРЫ

- (а) многое, что делают люди
- (б) люди делают это в течение долгого времени
- (в) люди делают это ради удовольствия (т. е. они хотят испытать какие-то хорошие чувства)
- (г) когда они делают это, они хотят, чтобы что-то произошло
- (д) если бы они не делали это, они бы не хотели, чтобы что-то произошло
- (е) когда они делают это, они должны знать, что им можно делать
- (ж) когда они делают это, они должны знать, чего им нельзя делать
- (з) прежде чем люди делают это, кто-то должен им сказать это

Компонент (а) означает, что игры относятся к человеческой деятельности, причем существует много разных видов игр. Компонент (б) — что игры не мгновенны, а имеют продолжительность, (в) — что играют в них для удовольствия, (г) — что в игре есть особая цель или задача, (д) — что эта цель не имеет никакого смысла вне игры, (з) — что игры подразумевают определенные правила, а (е) и (ж) — что участники знают эти правила.

Я полагаю, что такое толкование⁵ вполне приложимо к играм на доске, карточным играм, играм в мяч и множеству других видов деятельности, называемых «играми». Оно не приложимо к ситуации, когда ребенок бесцельно бросает мяч в стену и ловит его, но по-английски подобное занятие и не назвали бы игрой (game). Немецкое слово Spiel имеет более широкий диапазон употреблений, скорее соответствующих английскому playing (хотя и неточно). Однако именно этот факт опровергает утверждение Витгенштейна, что «мы не знаем границ, потому что их никто не проводит» (Wittgenstein 1953:33). На самом деле, границы существуют, причем в разных языках они проведены по-разному, и носитель языка интуитивно знает и соблюдает эти границы. Один из признаков, отличающих понятие, выражаемое английским словом «game», от понятия, выражаемого немецким словом «Spiel», — идея правил: предваряющего знания того, что можно делать и чего нельзя делать. Другое отличие связано с идеей четко определенной цели, которая может или не может быть достигнута. Пока подобные различия не выявлены и не описаны, сопоставительное исследование лексики не достигнет цели. Неудивительно, что те лингвисты, которые увлечены идеей «фамильного сходства», и не занимаются подобными исследованиями.

3. О пользе понятия «прототип» для семантики

До сих пор речь шла главным образом о том, что мне кажется злоупотреблениями понятием 'прототип'. Теперь настало время обратиться к более позитивным аспектам идеи прототипа. 'Прототип' не спасает, но может помочь, если обращаться с ним осторожно и осмотрительно и, самое главное, если соединить его с вербальными толкованиями — вместо того, чтобы использовать в качестве оправдания полного отсутствия каких-либо толкований.

Лексикографическая практика показывает, что понятие прототипа может найти самые разные применения. Недостаток места заставляет ограничиться лишь беглым обзором небольшого количества иллюстративных примеров.

3.1. Семантика цветообозначений

Как я показала в Wierzbicka 1980, значение таких слов, как *красный* или *синий*, может быть определено следующим путем:

красный — цвет, мыслимый как цвет крови
голубой — цвет, мыслимый как цвет неба.

С тех пор, как этот анализ был предложен впервые, несколько критиков высказали сомнения по поводу использования оборота «мыслимый как» (thought of as) в этом толковании, а один из них (Goddard 1989) посоветовал предложенный мной список универсальных семантических примитивов дополнить понятием 'такой же, как' ('like'). Исходя из этого, можно было бы перефразировать толкования цветообозначений следующим образом:

X красный — цвет X-а такой же, как цвет крови
X голубой — цвет X-а такой же, как цвет неба.

Можно спорить о деталях, но существует целый ряд свидетельств того, что вполне оправданно использовать 'прототип' так же, как кровь или небо в толковании цветообозначений.

Джекендофф (Jackendoff 1983:113), в числе других, попытался использовать цветообозначения в качестве свидетельства того, что концепты естественного языка не могут быть исчерпывающим образом определены с помощью примитивов. Он пишет: «Что остается, когда маркер цвет устраняется

из толкования слова "красный". Как можно понять смысл красноты за вычетом окрашенности?» Я надеюсь, что приведенная выше формула дает ответ на эти вопросы.

3.2. Значение слов, обозначающих эмоции

Строго говоря, нельзя объяснить слепому, что значит слово *красный* (ср. Locke 1947:239); или человеку, который никогда не испытывал зависти, что значит слово *зависть*. Тем не менее МОЖНО определить слово *зависть* в терминах прототипической ситуации по следующей схеме (ср. Wierzbicka 1972, 1980 и 1986b):

X испытывает зависть =

Иногда человек думает что-то вроде этого:

«что-то хорошее происходит с другим человеком

это не происходит со мной

я хочу, чтобы вещи вроде этого происходили со мной»

из-за этого этот человек испытывает какие-то плохие чувства

X чувствует что-то вроде этого

Такого рода толкования, как мне кажется, наглядно демонстрируют ложность дилеммы, поддаются ли эмоции «классическому определению» или их лучше описывать через прототипы. Часто высказывается мнение, что концепты эмоций не могут быть определены, потому что никому не удастся это сделать. Но, как отмечалось в работе Ortony et al. 1987:344, «то обстоятельство, что философам и психологам до сих пор не удалось дать адекватное определение эмоциям, не означает, что такая цель вообще не достижима». Можно спорить о том, насколько толкования типа предложенного выше для *завидовать* отвечают традиционным требованиям. Но они, во всяком случае, показывают, что эмоции МОЖНО определить и что их можно определить в терминах прототипической ситуации и прототипической реакции на нее. Без толкований такого рода невозможно было бы объяснить отношения между такими понятиями, как 'зависть', 'ревность', 'ненависть', 'презрение', 'жалость', 'восхищение' и т. д. Невозможно было бы также сравнивать (и интерпретировать) концепты эмоций в разных языках (ср. Wierzbicka 1986d). Если изучение слов, обозначающих эмоции, в разных языках вообще когда-нибудь сдвинется с мертвой точки, решающим будет осознание того, что никакого противоречия между прототипами и толкованиями не существует.

3.3. Значение слова ЧАШКА

Как считают Херш и Караматца (Hersh, Caramazza 1976:274), «Лабов (Labov 1973) показал, что попытки дать четкую характеристику семантической структуры общих понятий типа 'чашка' в терминах традиционного компонентного анализа не дают адекватных результатов». Однако, если говорить строго, Лабов показал только то, что неадекватными являются толкования слова *чашка*, даваемые в обычных словарях, таких, как словари Вебстера. Удивляться этому не приходится, но разве это означает, что никакие обоснованные определения таких общих понятий, как 'чашка', вообще невозможны? Лучший ответ на такого рода вопросы состоит в том, чтобы сделать то, что объявляется невыполнимым. В случае 'чашки' (и великого множества родственных понятий) это было сделано, как я полагаю, в Wierzbicka 1985. В толкованиях, предложенных в этой работе, различаются характеризующие компоненты, не входящие в инвариант, и компоненты, которые абсолютно необходимы.

Например, китайская чашка, маленькая, изящная, с тонкими стенками, без ручки и без блюдца, все-таки может считаться чашкой — пока из нее можно пить чай, в соответствующем окружении (на столе), пока ее можно поднести ко рту одной рукой. Это означает, что при том, что блюдце и ручка определенно входят в прототип чашки («идеальная» чашка ДОЛЖНА иметь ручку и блюдце), они не являются существенными элементами этого понятия. В то время как компоненты 'изготовленная для питья горячих жидкостей' и 'настолько маленькая, чтобы человек мог поднести ее ко рту одной рукой' с необходимостью включаются в это понятие (Wierzbicka 1985:59).

С одной стороны, эти толкования нельзя упрекнуть в том, «что все компоненты в них имеют одинаковый удельный вес» (Hersh, Caramazza 1976:274). В то же время, они действительно противоречат утверждению, что «никакой набор компонентов не является необходимым и достаточным для определения понятия» (ibid.), — и демонстрируют, что верно обратное.

3.4. Значение слова ДЯДЯ

По мнению Хомского (Chomsky 1972:85), очевидно, что выражения (33-35), приводимые ниже (нумерация автора), «должны иметь одинаковые семантические представления»:

- (33) дядя Джона
 (34) лицо, которое является братом матери или отца Джона или мужем сестры матери или отца Джона
 (35) лицо, которое является сыном бабушки и дедушки Джона по отцовской или по материнской линии или мужем их дочери, но не является отцом Джона

На мой взгляд, значения (и «семантические представления») (34) и (35) в значительной степени отличаются друг от друга. Но, что более существенно в данном контексте, (34) ни в коей мере не является семантически эквивалентным (33), и было бы неверно рассматривать (34) как толкование (33). (34) ставит в один ряд брата матери или отца и мужа сестры матери или отца, и тем самым искажает значение (33). Если муж сестры матери (или матери матери) вообще признается 'дядей', это делается по аналогии с «образцовым», прототипическим дядей. Толкование, которое полностью исключает маргинальных членов категории (такое, как 'дядя X-а = брат матери или отца X-а') эмпирически неадекватно, но дизъюнкция, которая не делает различий между центральными и маргинальными членами категории, тем более неадекватна. На мой взгляд, удовлетворительное толкование должно объяснять как инвариант, так и прототип. В случае *дяди*, инвариант соответствует определенному типу отношения между людьми, а особенности этих отношений передаются посредством отсылки к прототипу. Я предлагаю следующее толкование:

- X — дядя Y-а =
 если кто-то является братом моей матери или отца
 я могу сказать о нем: это мой дядя
 Y может думать об X-е так же, как я могу думать о таком человеке.

3.5. Значение слова ПТИЦА

Как я показала ранее, летучие мыши, с позволения Рош и Лакоффа, являются птицами не в большей степени, чем коровы, а вот страусы и эму — которые не летают — ЯВЛЯЮТСЯ птицами. Означает ли это, что способность летать не является существенным признаком понятия 'птица'?

На мой взгляд, способность летать ЯВЛЯЕТСЯ существенным признаком этого понятия, и в полном толковании слова *птица*, предложенной мной в Wierzbicka 1985:180, упоминается способность летать (или способность передвигаться по воздуху) наряду с перьями, клювами, яйцами и гнездами.

Но толкование слова *птица* (как и обозначений всех других «натуральных классов») построено таким образом, что оно не предполагает, что все существенные признаки понятия 'птица' воплощены во всех представителях этого класса. Толкование предваряется следующей рамкой:

воображая существ этого рода, люди могли бы сказать о них вот что...

Однако поскольку понятие 'вообразить' более не включается во множество семантических примитивов, а 'могли бы' (would) соответствует целому сложному предложению, я переформулирую эту рамку следующим образом

Люди могут говорить вещи вроде этого о существах такого типа

В соответствии с этим, такие признаки, как способность летать, наличие перьев и т. д., представлены как важная часть стереотипа, но не обязательные признаки любой птицы. Вдобавок к этому полная экспликация понятия *птица* содержит следующую оговорку: 'некоторые существа этого рода не могут передвигаться по воздуху, но, желая вообразить существа этого рода, люди вообразили бы существ, которые могут передвигаться по воздуху'.

То, что подходит для 'птиц', подходит с соответствующими изменениями и для 'фруктов' (и, конечно, к бесчисленному количеству других понятий). Так, Герартс (Geeraerts 1993) подвергает сомнению некоторые компоненты моего определения (Wierzbicka 1985) понятия 'фрукт' на основании того, что они не приложимы ко всем фруктам, несмотря даже на то, что само определение представляет эти черты как часть прототипа, а не как необходимый признак всех денотатов. Это относится, в частности, к компоненту 'желая вообразить такие вещи, люди могли бы вообразить их растущими на деревьях'. Герартс указывает (вполне справедливо) на то, что малина — фрукт, но при этом не растет на дереве. Однако, по-моему, этот бесспорный факт вовсе не опровергает существование концептуальной связи между 'фруктами' и 'деревьями' (точно так же, как тот факт, что страусы не летают, не опровергает существования понятийной связи между 'птицами' и 'летанием').

Герартс (1993:266) замечает, что «мы, вероятно, не стали бы требовать, чтобы другие люди думали, что малина растет на деревьях». Но мы бы не стали требовать и того, чтобы люди думали, что страусы летают. Из того факта, что люди

считают страусов птицами, а птиц летающими существами, не следует, что они думают, что страусы летают.

Следует, однако, отметить, что два класса (*птицы* и *фрукты*) не вполне симметричны, поскольку 'птица' таксономическая категория ('вид существ'), а 'фрукты', как и 'мебель', — коллективная гетерогенная ('различные виды предметов'). Гетерогенность понятийной категории 'фрукты' приводит к тому, что типические (но не необходимые) признаки фруктов, такие, например, как 'расти на деревьях', гораздо менее важны, чем типические (но не необходимые) признаки 'птиц', такие, например, как 'летать'.

3.6. Значение слов ПОМИДОР, КАПУСТА и ЯБЛОКИ

Нередко утверждается, что имена натуральных классов не могут быть полностью определены⁶. В Wierzbicka 1972 и 1980 я и сама защищала эту теорию. В последующем, однако, я обнаружила — в ходе многочисленных лексикографических исследований, — что это заблуждение и что *тигр* и *лимон* не более неопределимы, чем другие конкретные понятия (такие, как *чашка* и *кружка*) или абстрактные понятия (такие, как *свобода*, *любовь* или *обещание*)⁷.

Но чтобы дать определение как натуральным классам, так и культурным объектам, нам необходимо понятие прототипа. Например, для *чашек* мы должны предусмотреть как тот факт, что прототипическая чашка имеет ручку, так и тот факт, что некоторые чашки (например, китайские чайные чашки и турецкие кофейные чашки) не имеют ручек. Аналогично, для *помидоров* мы должны учесть как тот факт, что прототипический помидор — красный, так и тот факт, что встречаются также и желтые помидоры, которые тоже называются *помидорами* или, в крайнем случае, *желтыми помидорами*. Для *капусты* мы должны предусмотреть как тот факт, что *капуста* (без дополнительных определений) зеленоватая (исключая эллиптические предложения), так и тот факт, что существует также и так называемая *красная капуста*. Для *яблок* мы должны предусмотреть тот факт, что они могут быть красными, зелеными или желтыми; но также и тот факт, что, желая вообразить (или нарисовать) «настоящее яблоко», люди, скорее, вообразят его красным, чем желтым или зеленым.

Чтобы учесть такого рода факты, правомерно, я думаю, обратиться к аналитическим приемам, аналогичным тем, что были использованы при описании нелетающих птиц. На-

пример, в толкование слова *капуста* я включила следующие компоненты:

листья зеленоватые или бело-зеленоватые
у некоторых представителей этого вида листья красноватые
желая вообразить такие вещи, люди могли бы вообразить их зеленоватыми

В последней версии семантического языка я бы перефразировала последний компонент следующим образом:

когда люди хотят сказать, на что похожи вещи этого вида, они говорят, что они зеленоватые

3.7. Значение слова ВЗБИРАТЬСЯ

Глагол *взбираться* (climb) в последнее время приобрел репутацию ключевого примера слова, которое — якобы — не может быть определено в терминах необходимых и достаточных признаков и которое поддается только анализу через прототипы. Например, Версхюрен (Verschueren 1985:46) пишет:

«Чтобы показать, что подобный анализ применим к глаголам, я займусь примером, предложенный Филлмором; глагол TO CLIMB в норме описывает движение ascending ('вверх') способом clambering ('с помощью рук'). Я цитирую: "Обезьяна, взбирающаяся вверх по флагштоку, отвечает обоим этим требованиям. Обезьяна, слезающая вниз по флагштоку, отвечает только компоненту clambering [способ], но тем не менее она совершает действие, которое допустимо назвать climbing. Улитка, взбирающаяся по флагштоку, удовлетворяет 'подъемному' [ascending] компоненту и еще может быть названа влезавшей. Но улитка не обладает привилегией 'влезать вниз' [to climb down] по флагштоку, поскольку ее деятельность не включает в себя ни участия рук [clambering], ни движения вверх [ascending]».

Этот анализ, однако, не в состоянии объяснить, почему такие предложения, как *Обезьяна взобралась по флагштоку*, не могут быть поняты в том смысле, что обезьяна слезла ВНИЗ по флагштоку. Если бы направление вверх входило в прототип, но не входило в инвариант, откуда бы взялась такая уверенность, что обезьяна, которая «влезла по флагштоку» [climbed the flagpole], лезла вверх [was climbing upwards]?

Такого рода трудности побудили Джекендоффа (Jackendoff 1985) посвятить глаголу *climb* целое исследование и использовать его в качестве обоснования своей собственной версии семантики прототипов, развиваемой в Jackendoff 1983. Однако по существу анализ Джекендоффа не слишком отличается от Филморского: он также постулирует для *climb* компоненты 'upward' ('вверх') и 'clambering fashion' ('способ: с помощью рук') и он также заявляет, что любой из этих компонентов может подавляться [be suppressed], хотя они не могут подавляться оба одновременно. Например, в предложении *The train climbed the mountain* 'Поезд полз в гору' компонент 'способ' ['clambering manner'] подавляется, а компонент 'направление вверх' ['upwards'] присутствует, в то время как в предложении *Bill climbed down the ladder* 'Билл слез с лестницы' — наоборот. Семантическая формула, предложенная для таких предложений, следующая (1985:288-9):

Поезд вполз в гору [The train climbed the mountain]. =
 ДВИГАТЬСЯ (ПОЕЗД, К ВЕРШИНЕ [Объект ГОРА])
 ЧЕРЕЗ [Место НА [Объект ГОРА])
 ВВЕРХ
 Событие Траектория

Билл слез с лестницы [Bill climbed down the ladder]. =
 ДВИГАТЬСЯ (БИЛЛ, [Траектория ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ])
 С ПОМОЩЬЮ РУК
 Событие [Способ

Но этот анализ также недостаточен, поскольку он не в состоянии предсказать, например, что если поезд въезжает на возвышенность на большой скорости, то это нельзя описать как 'climbing' 'вползание'. Существуют семантические различия между вариантами (а) и (б) в приводимых ниже парах предложений:

- (а) The train climbed the mountain 'Поезд вполз на гору'
 (б) The train shot up the mountain 'Поезд взлетел на гору'

- (а) The temperature climbed to 102 degrees 'Температура доползла до 102 градусов'
 (б) The temperature shot to 102 degrees 'Температура подскочила до 102 градусов'

Несмотря на богатый арсенал средств описания, включающий вложенные скобки и «преференциальные (предпочти-

тельные) признаки», анализ Джекендоффа не может объяснить фактов такого рода.

На мой взгляд, все, что требуется для их объяснения, — это более аккуратное (и более изобретательное) формулирование необходимых и достаточных компонентов понятия 'climb'. Я бы предложила следующее:

X climbed ... 'X взобрался' ... =
 X двигался так же, как люди двигаются в местах, где они вынуждены использовать руки и ноги, чтобы продвигаться вверх.

Или даже более точное:

X climbed... 'X взобрался'... =
 в некоторых местах
 если люди хотят двигаться вверх
 они должны двигаться с помощью обеих ног и обеих рук
 X двигался так, как люди двигаются в таких местах

Для температуры рассматриваемое сходство едва ли может относиться к чему-нибудь кроме медленной скорости. Для поездов оно относится к медленной скорости и видимой затрудненности. Для людей оно тоже может относиться к медленной скорости и видимой затрудненности, однако оно также может относиться и к быстрому и явно не требующему больших усилий движению вверх в местах, где люди обычно вынуждены использовать руки и ноги для того, чтобы двигаться вверх (ср. *Увидев, как быстро и легко он взобрался на утес, я преисполнился гордостью и восхищением*).

Таким образом, прототип действительно важен для понятия 'взбираться'. Но этот прототип вовсе не «подавляется» в менее типичных употреблениях этого глагола. Он входит составной частью в сам семантический инвариант.

Заключение

Было время, когда почти любая лингвистическая проблема могла быть «решена» путем апелляции к «компетенции» (competence) и «употреблению» (performance). В наши дни к этому способу решения лингвистических проблем обычно относятся с подозрением. Но само желание найти простые решения для всего комплекса лингвистических проблем по-прежнему живет. «Грайс спасает» и безотказные обращения к податливым прототипам — вот два весьма характерных примера. Познер (Posner 1985:58) недавно заметил: «Я не

могу слишком восхищаться "великим спором" Рош с Аристотелем, поскольку не слишком ценю результаты работ Рош». Работы Рош действительно содержат интересные открытия, но пока их вклад в конкретное лингвистическое описание не столь велик. Слишком уж во многих случаях эти новые идеи были использованы как прикрытия для интеллектуальной лености и небрежности. На мой взгляд, понятие прототипа должно доказать свою пригодность через семантическое описание, а не через семантическое теоретизирование (ср. Wierzbicka 1985). Однако когда оно используется в качестве волшебного ключа для отпирания любых дверей без малейших усилий, есть опасность, что оно принесет больше вреда, чем пользы.

Понятия, заключенные в словах естественного языка, в определенном смысле, размыты (ср. Black 1937), но это не означает, что и их семантическое описание тоже должно быть размытым. Сложность состоит в том, чтобы ингерентная размытость естественного языка получила точное изображение. Я полностью согласна с Хершем и Карамашей (Hersh, Caramazza 1976:273), когда они говорят, что «понятия естественного языка по природе своей являются размытыми». Но я не могу согласиться с ними, когда они далее говорят, что значение слова может быть представлено как *неустойчивый набор семантических компонентов* [выделено авторами]. Понятия естественного языка можно охарактеризовать как референциально неопределенные в том смысле, что в то время как «существуют объекты, к которым обозначение «дерево» полностью приложимо, и объекты, к которым обозначение «дерево» совершенно неприменимо, ... существует масса пограничных случаев» (Putnam 1975:133). Это не означает, однако, что значение слова *дерево* может быть представлено только как неустойчивый набор семантических компонентов. Я попыталась продемонстрировать это, предложив точные, нерасплывчатые толкования для *дерева* и множества других подобных слов в Wierzbicka 1985. Я также попыталась показать, что даже «самые размытые» понятия из всех — «ограничители» вроде *approximately* (приблизительно), *around* (около того), *almost* (почти), *at least* (по крайней мере) или *roughly* (грубо, приблизительно) — могут получить четкие, нерасплывчатые толкования, состоящие из полностью определенных дискретных компонентов (см. Wierzbicka 1986a, 1991). Если люди спорят, относится ли радио к «мебели», мы не должны объяснять это ссылками на то, что радио в какой-то степени обладает семантическим компонентом 'мебель', но в меньшей степени, чем *стол* или *парта*. Имеются достаточные (лингвистические) основания,

чтобы вообще не включать признак 'мебель' ни в значение слова *радио*, ни в значение слова *стол*, так же как имеются достаточные основания не включать такие признаки, как 'кухонная утварь', 'столовые приборы' или 'фаянсовая посуда', в значение слова *чашка*. Не является вопросом степени то, содержат ли такие слова, как *пеликан*, *дуб* или *роза* в своем значении такие компоненты, как 'птица', 'дерево' или 'цветок'; они их просто содержат. Также не является вопросом степени, содержат ли такие слова, как *стол*, *радио*, *холодильник* или *чашка* в своем значении такие компоненты, как 'мебель', 'кухонная утварь', 'инструмент', 'механизм' или 'орудие'; они их просто не содержат (обоснование этого утверждения и детальный семантический анализ см. в Wierzbicka 1985).

Неточность может быть присуща самим семантическим компонентам. Компоненты типа 'такой же, как цвет неба' (в 'голубой') действительно являются неточными, но эта неточность зеркально отражает референциальную неопределенность соответствующих слов. Компоненты типа 'мыслится как человек, который может жениться', по-видимому, не являются неточными, а являются «субъективными» (не «объективными»); они относятся не к внешней реальности, а к языковым способам концептуализации этой реальности. Но ни нечеткость, ни субъективность семантических компонентов не следует смешивать с 'присутствием (чего-либо) в некоторой степени'. Это вовсе не аристотелево понятие необходимых и достаточных признаков причинило столько неприятностей семантическому анализу, а молчаливо принятое бихевиористское допущение, что необходимые и достаточные признаки должны соответствовать поддающимся объективному описанию и измерению аспектам внешней реальности.

Можно оправдать многочисленных психологов и философов, которые восторженно приняли теорию прототипов, предположив, что большинство понятий не поддаются попыткам определить их (не сам ли Витгенштейн «установил», что понятие 'игра' не может быть определено?).

Психологи и философы вообще часто поддаются впечатлению, что «титанические усилия были затрачены на попытку установить исходный набор признаков» (Armstrong et al. 1983:299). Но это заблуждение. Пока что на решение этой задачи было, в действительности, потрачено ничтожное количество усилий профессиональных исследователей семантики. Армстронг и ее коллеги обосновывают свои утверждения ссылками на Katz, Fodor 1963 и Katz 1972. Однако эти авторы, при всем уважении к ним, являются по преимуществу теоретиками семантики, а не практиками семантического

описания. И приписывать таким теоретикам «титанические усилия по идентификации» семантических компонентов обычных понятий можно только по недоразумению.

Как подчеркивается в Armstrong et al. 1983:268, «единственно верный ответ [на вопрос «Почему так много сомнений в обоснованности теории толкований»] состоит в том, что теорию толкований трудно разработать с требуемой степенью детальности. Никто еще не преуспел в обнаружении элементарных скрытых категорий (признаков)».

Но сколько настоящих *[bona fide]* специалистов по семантике пытались сделать это? Это правда, что не только многочисленным философам и психологам, но и целому поколению лексикографов» (Armstrong et al. 1983:301) не удалось составить из дискретных компонентов приемлемых толкований обычных понятий. Но лексикографии всегда недоставало теоретической базы. Теоретическая семантика расцветала в эмпирическом вакууме, а лексикографы бились над своими «практическими» задачами, не имея достаточных теоретических основ (ср. Wierzbicka 1985). Учитывая отсутствие помощи со стороны семантической теории, приходится удивляться достижениям лексикографов, а не их неудачам.

Эра серьезных лексикографических исследований, базирующихся на строгих теоретических основаниях, только начинается (ср. Mel'čuk, Žol'kovskij 1984, Апресян 1991). Успех этих исследований в какой-то мере будет зависеть от их способности усвоить и развить сделанные психологами и философами наблюдения относительно роли прототипов в человеческом мышлении. Однако в первую очередь он будет зависеть от согласованных усилий по установлению основного фонда человеческих понятий — универсальных семантических примитивов, — из которых строятся сложные понятия (ср. Osherson, Smith 1981:55, ср. также Wierzbicka 1972, 1980, 1985).

Естественная уверенность в том, что «репертуар семантических примитивов не может быть богаче, чем наличный репертуар категорий, и что, следовательно, многие понятия должны быть разложимы» (Fodor et al. 1980:52), — подтверждается все увеличивающимся корпусом точных определений, основанных на ясных и строгих теоретических основаниях. Обращение к прототипам не освободит нас от работы по разработке определений. Прототипы не могут «спасти нас» от строгого лексикографического исследования, но они могут помочь нам построить лучшие, более глубокие определения, ориентированные на человеческую концептуализацию реальности, которая отражена и воплощена в языке.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Когда я обсуждаю понятие 'птица', я имею в виду понятие, закодированное английским словом *bird*. Другие языки могут и не иметь специального слова для понятия 'птица', имея обозначения для несколько отличных понятий. Например, ближайшее соответствие слову *bird* в австралийском языке нунгубу действительно включает летучих мышей, равно как и кузнечиков (Heath 1978:41). Ближайший эквивалент слова *bird* в австралийском языке варлпири (Warlpiri) включает летучих мышей, но включает также и эму (Hale et al., в печати). Прототип во всех этих языках может быть и одинаковым, но границы проведены по-разному. Адекватный семантический анализ должен это отразить.

² Понятие 'правды' не является ни простым, ни универсальным, но оно проще, чем 'ложь' и для целей нашей работы не нуждается в разложении на компоненты.

³ Я думаю, что понятие *врать* воплощает важную культурную модель и что построить адекватное толкование этого понятия — непростая задача; но из этого не следует, что *врать* значит просто 'делать неверное утверждение', как не следует это и для английского понятия 'lying' (ср. Mondry, Taylor, 1992; Shopen (в печати); Кронгауз 1992).

⁴ Болинджер говорит, что *bird* 'птица' следует сравнивать не с *furniture* 'мебель' а *piece of furniture* 'предмет (штука) мебели'. Но обратим внимание на следующие отличия:

A sparrow is a kind of bird. 'воробей — вид птицы'

**A chair is a kind of furniture.* 'стул — вид мебели'

**A chair is a kind of piece of furniture.* 'стул — вид предмета мебели'

Существование различий такого рода означает, что соответствующие попятные структуры различны. Эти различия вполне систематичны:

A rose is a kind of flower. 'роза — вид цветка'

An oak is a kind of tree. 'дуб — вид дерева'

**A shirt is a kind of clothing.* 'рубашка — вид одежды'

**A fork is a kind of cutlery.* 'вилка — вид столового прибора'

**A shirt is a kind of piece of clothing.* 'рубашка — вид предмета одежды'

**A fork is a kind of piece of cutlery.* 'вилка — вид предмета столового набора'

То, что касается *furniture* 'мебель', касается и всех существительных, обозначающих гетерогенную совокупность вещей (*clothing* 'одежда', *cutlery* 'столовый прибор', *kitchenware* 'кухонная утварь' и т. д.). То же, что касается *bird* 'птица', касается и всех имен, обозначающих отдельные виды вещей или существ (*tree* 'дерево', *flower* 'цветок', *fish* 'рыба' и т. д.).

⁵ Предложенное толкование слова *games* 'игры' не рассчитано на то, чтобы охватить случаи метафорического переноса, иронических и юмористических употреблений и проч., как, например, во фразе «игры, в которые играют люди» или как в случае «игр», в которые играют математики или специалисты по генеративной грамматике. Здесь, как и повсюду в семантике, расширительное употребление должно быть ограничено от основного значения (которое объясняет как «нормальное» употребление слова, так и любые переносные).

⁶ См. Putnam 1975, Kripke 1972. См. также блестящий разбор в Dupré 1981.

⁷ Толкование слова *love* 'любовь' см. в Wierzbicka 1986a; *freedom* 'свобода' (Wierzbicka (в печати)); *promise* 'обещание' (Wierzbicka 1987). Толкование слов *cup* 'чашка', *mug* 'кружка' и других подобных см. в Wierzbicka 1985.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Апресин, Юрий Д. 1991. Об интегральном словаре русского языка. Семантика и информатика. Вып. 32: 3-15.
- Кропачев, Максим А. 1992. Семантика русского глагола и его словообразовательные возможности. Russian Linguistics 17: 15-36.
- Armstrong, Sharon Lee; Gleitman, Lila; Gleitman, Henry. 1983. What some concepts might not be. Cognition 13: 263-308.
- Bach, Kent; Harnish, Robert. 1982. Linguistic communication and speech acts. Cambridge, MA: MIT Press.
- Black, Max. 1937. Vagueness. Philosophy of science 4: 427-455.
- Baker, G.P.; Hacker, P.M.S. 1980. Wittgenstein: Understanding and meaning. Oxford: Blackwell.
- Boguslawski, Andrzej. 1970. On semantic primitives and meaningfulness. In: Sign, language and culture. A.Greimas, R.Jakobson, M.R.Mayenowa and S.Zolkowski, eds. The Hague: Mouton. 143-152.
- Boguslawski, Andrzej. 1983. Ilustrowany słownik: Rosyjsko-Polski, Polsko-Rosyjski. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo.
- Bolinger, Dwight. 1992. About furniture and birds. Cognitive Linguistics 3-1(1992): 111-117.
- Chomsky, Noam. 1972. Studies on semantics in generative grammar. The Hague: Mouton.
- Coleman, Linda; Kay, Paul. 1981. Prototype semantics: The English verb lie. Language 57, 1: 26-45.
- Dupré, John. 1981. Natural kinds and biological taxa. The Philosophical Review XC, 1: 66-90.
- Fodor, J.A.; Garrett M.F.; Walker E.T.; Parkes C. 1980. Against definitions. Cognition 8, 3: 1-105.
- Geeraerts, D. 1993. Vagueness's puzzles, polysemy's, vagaries. Cognitive Linguistics (1993): 223-272.
- Goddard, Cliff. 1989. Issues in natural semantic metalanguage. Quaderni di semantica 10, 1: 51-64.
- Green, Georgia. 1983. A review of K.Bach and R.Harnish's «Linguistic communication and speech acts». Language 59: 627-635.
- Hale, Kenneth; Laughren, Mary; Nash, Davis. To appear. A Warlpiri dictionary project. Cambridge, Mass.: MIT.
- Heath, Jeffrey. 1978. Linguistic approaches to Nunggubuyu ethnology and ethnobotany. In: Australian aboriginal concepts. L.R.Hiatt, ed. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies, and Atlantic Heights. P. 40-55.
- Hersch, Henry; Caramazza, Alfonso. 1976. A fuzzy set approach to modifiers and vagueness in natural language. Journal of Experimental Psychology: General 105, 3: 254-276.
- Jackendoff, Ray. 1983. Semantics and cognition. Cambridge: MIT Press.
- Jackendoff, Ray. 1985. Multiple subcategorization: The case of 'climb'. Natural Language and linguistic theory 3, 3: 271-295.
- Katz, J.J. 1972. Semantic theory. New York: Harper and Row.
- Katz, J.J.; Fodor, J.A. 1963. The structure of semantic theory. Language 39: 170-211.
- Kripke, S. 1972. Naming and necessity. In: Semantics of natural language. D.Davidson and G.Harman, eds. P.254-355. Dordrecht: Reidel.
- Labov, William. 1973. The boundaries of words and their meanings. In: New ways of analyzing variation in English. C.J.Bailey and R.Shuy, eds. P.340-373. Washington: Georgetown University Press.
- Lakoff, George. 1973. Hedges: A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts. Journal of Philosophical Logic 2: 458-508.
- Lakoff, George. 1986. Classifiers as a reflection of mind. In: Colette Craig, ed. P.13-51.
- Lakoff, George. 1987. Women, fire and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago: Chicago University Press.
- Locke, John. 1947 (1690). An essay concerning human understanding. Vol.2.
- McCawley, James. 1981. Everything that linguists have always wanted to know about logic* (*but were ashamed to ask). Chicago: Chicago University Press.
- Mel'čuk, Igor; Žolkovskij, Alexander. 1984. Explanatory combinatorial dictionary of modern Russian. Vienna: Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 14.
- Mondry, H.; Taylor, J.R. 1992. On lying in Russian. Language and Communication 12, 2: 133-143.
- Ortony, Andrew; Clare, Gerald; Foss, Mark. 1986. To appear in Cognitive Science. The semantics of the affective lexicon.
- Osherson, Daniel; Smith, Edward. 1981. On the adequacy of prototype theory as a theory of concepts. Cognition 9: 35-58.
- Posner, Michael. 1986. Empirical studies of prototypes. In: Colette Craig, ed. P.53-61.
- Putnam, Hilary. 1975. The meaning of meaning. In: Minnesota studies in the philosophy of science. K.Gunderson, ed. Vol.7. P.131-193. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Rosch Heider, Eleanor. 1973. Natural categories. Cognitive Psychology 4: 328-350.
- Rosch Heider, Eleanor. 1975. Cognitive representation of semantic categories. Toward an Experimental Psychology: General 104: 192-233.
- Shopen, Timothy. To appear. Semantic invariants and the Russian words translated 'truth' and 'lie'.
- Sweetser, Eve E. 1987. The definition of lie: An examination of the folk models underlying a semantic prototype. In: Cultural models in Language and thought. Dorothy Holland and Naomi Quinn. CUP. P. 43-66.
- Taylor, John R. 1989. Linguistic categorization: Prototypes in linguistic theory. Oxford: Clarendon Press.
- Verschueren, Jeff. 1985. What people say they do with words. Norwood, New Jersey: Ablex.
- Wierzbicka, Anna. 1972. Semantic primitives. Frankfurt: Athenäum (Linguistische Forschungen 22).
- Wierzbicka, Anna. 1980. Lingua mentalis: The semantics of natural language. Sydney: Academic Press.
- Wierzbicka, Anna. 1984. Apples are not a kind of fruit — the semantics of human categorization. American Ethnologist 11, 2: 313-328.
- Wierzbicka, Anna. 1985. Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor: Karoma.
- Wierzbicka, Anna. 1986a. Precision in vagueness: The semantics of English approximatives. Journal of Pragmatics 10, 2: 597-613.
- Wierzbicka, Anna. 1986b. Human emotions: Universal or culture-specific? American Anthropologist 88: 584-594.
- Wierzbicka, Anna. 1986c. Review of: Igor Mel'čuk and Alexander Žolkovskij. Tolko-vo-kombinatornyj slovar' sovremennoho russkogo jazyka. Language 62, 3: 684-687.
- Wierzbicka, Anna. 1986d. Metaphors linguists live by: Lakoff and Johnson contra Aristotle. (Review of George Lakoff and Mark Johnson. 1980. Metaphors we live by. Chicago and London: The University of Chicago Press). Papers in Linguistics 19, 2: 287-313.
- Wierzbicka, Anna. 1987. English speech act verbs: A semantic dictionary. Sydney: Academic Press.
- Wierzbicka, Anna. 1991. Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Wierzbicka, Anna. 1992a. Furniture and birds: A reply to Dwight Bolinger. Cognitive Linguistics 3, 1: 119-123.
- Wierzbicka, Anna. 1992b. Semantics, culture and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations. New York: Oxford University Press.
- Wierzbicka, Anna. In press. Freedom — libertas — svoboda — wolność: Universal human ideals or culture-specific lexical items. In: Language and the construal

of the world: Approaches to cognition in linguistics and anthropology. J. R. Taylor and R. R. MacLauray, eds.

Wittgenstein, Ludwig. 1953. Philosophical investigations. New York: Macmillan.

Zubin, David; Köpcke, Klaus-Michael. 1986. Gender and folk taxonomy: The indexical relation between grammatical and lexical categorization. In: Colette Craig, ed. Noun classes and categorization. Amsterdam: John Benjamins (Typological studies in language, 7).

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА И УНИВЕРСАЛИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ*

The meaning of colour terms: semantics, culture, and cognition. Cognitive linguistics 1990, 1, 1: 99-150.

Феноменологический анализ — это исследование понятий, он не может ни соответствовать данным физики, ни противоречить им.

Л. Витгенштейн (Wittgenstein 1977:16)

1. Введение¹

'Цвет' — это не универсальное человеческое понятие. Оно, конечно, может возникнуть в человеческом обществе так же, как, скажем, 'телевидение', 'компьютер' или 'деньги', но даже несмотря на постоянное увеличение контактов между человеческими сообществами, все равно среди них есть такие, в которых нет ни заимствованного, ни собственного понятия 'цвета' (и, безусловно, таких сообществ было еще больше в прошлом).

Не универсальны и «имена цвета». Неверно также, что, как иногда утверждают, во всех языках есть слова для черного и белого. Последнее положение будет обсуждаться и получит подтверждение ниже, но в некотором смысле оно очевидно и без доказательств: ведь если слово используется для описания не только черных, но и коричневых, серых и темносиних предметов, оно не значит 'черное'.

В английском и многих других языках, 'цвет' может рассматриваться как вполне самостоятельное семантическое поле. Но вообще в языках мира это не так. И пытаться искать во всех языках поле «цветовой семантики» — значит навязывать исследованию всех культур перспективу только одной из них (в первую очередь современной технологически высоко развитой западной культуры).

Во всех культурах для людей важно зрительное восприятие и важно описание того, что они видят, но они не обязательно имеют специальный термин «цвет» как отдельное

* Автор, составитель и издатель этой книги благодарят издательство Mouton de Gruyter за любезное разрешение напечатать данную работу в русском переводе. Позднее эта статья в переработанном виде вошла в книгу А. Вежбицкой «Semantics, primes and universals».

обозначение одной из сторон их зрительного опыта. Все языки имеют слово для понятия ВИДЕТЬ, но не обязательно имеют слово для 'цвета'. Из того, что нам известно о 'видении' в различных культурах, мы можем заключить, что в большинстве культур употребление терминов, обозначающих 'видение', сильно контекстно обусловлено, и зрительное восприятие описывается как сложное и интегральное, включая цвет, форму, фактуру и многие другие признаки, которые рассматриваются как неделимое целое².

Я не сомневаюсь в существовании некоторых «универсалий зрительного восприятия», которые могут быть описаны при изучении языков мира. Но для того, чтобы определить содержание этих универсалий, следует сместить фокус исследования от «цветовых универсалий» к «универсалиям зрительного восприятия». «Цветовых универсалий» не может быть, так как категория «цвет» как таковая не универсальна. Между тем 'видение' — это действительно универсальное человеческое понятие.

Сказать, что поиск «цветовых универсалий» шел не по тому пути, не значит заявить, что он не был плодотворным. Массированная атака на «цвет», последовавшая за классической работой Berlin, Kay 1969, породила огромный корпус знаний о ВИДЕНИИ и внесла большой вклад во все последующие теории «универсалий зрительного восприятия».

В частности, это исследование показало, что понятие 'цвета' не только не универсально, но и что роль его в человеческом общении весьма ограничена.

Что действительно представляется универсальным или близким к этому, так это различие между временем, когда человек видит («день»), и временем, когда он не видит («ночь»).

Это универсальное или почти универсальное различие между, грубо говоря, ночью (темным временем) и днем (светлым временем), похоже, универсальным или почти универсальным образом связано с различием или различиями в описании того, что человек видит. Грубо говоря, человек различает, и это универсально, те предметы, которые кажутся «светлыми» и «блестящими», и те, которые кажутся «темными» и «тусклыми» (т. е. без света и без блеска). Ясно, что первое наводит на мысль о «видении при солнечном свете», а второе — на мысль о «видении в темноте».

Здесь уместно вспомнить замечание Беррена (Biggen 1978:3): «все цивилизации на заре человеческого существования поклонялись солнцу, а от солнца происходили свет и цвет».

Различие между 'темными' и 'светлыми' цветами играет важнейшую роль в большинстве языков мира. Например, Харгрейв (Hargrave 1982:208) делает следующие замечание относительно австралийского языка куку яланджи (язык II ступени развития согласно эволюционной последовательности цветообозначений, постулированной Берлином и Кем): «Как указывают исследователи, *bingali* и *ngumbu* значат 'светлый' и 'темный', а также 'белый' и 'черный'. Некоторые участники эксперимента, случилось, называли образцы цветов светлыми или темными в зависимости от фона или по сравнению с теми образцами, которые им показывали перед этим».

Кроме того, Харгрейв добавляет: «Другие исследователи Австралии тоже записывали слова, которые обозначают светлое и темное. Джоунз и Михан, исследовавшие цветообозначения в Анбарре (север и центральная часть п-ва Арнем-Ленд), считают, что там только два цвета — светлый и темный. Четыре дополнительных 'цветовых обозначения' — это названия минеральных красителей и они могут описывать только очень ограниченный класс объектов (Jones, Meehan 1978:26-30). По данным Дейвиса дети в Милингимби, тоже находящемся на Арнем-Ленде, сначала делят все цвета на *watwag* 'светлые' и *mol* 'темные'. По мере взросления они пополняют свой словарный запас терминами, которые различают цвета в соответствии с тоном, насыщенностью и яркостью (Davis 1982)».

Другая универсалия или почти универсалия связана с понятием фона (окружения) как фундаментального структурного элемента референции при любом описании зрительного восприятия. В этом отношении интересны английские слова такие, как *view* (вид, облик), *scenery* (сцена, декорация) или *landscape* (пейзаж), потому что они связывают идею 'видения' с идеей 'места'. Ибо, что люди обычно «видят»? Конечно, предметы, животных, людей, которые находятся или движутся на каком-либо фоне (ср. оппозицию фигура/фон в психологии). Здесь фон, безусловно, более постоянен и предсказуем, чем 'фигура': небо (обычно — синее), земля (обычно — коричневая), трава (чаще всего — зеленая), солнце (обычно — желтое и блестящее), море (обычно — темно-синее), широкие снежные просторы (в норме — белые).

Конечно, пейзаж везде выглядит по-разному. Не все люди знакомы с морем или снегом, земля не везде коричневая (во многих местах она может быть по преимуществу красная, желтая или черная), и даже зелень травы зависит от количества в ней влаги и от расположения на открытом солнце (например, в Австралии местность, покрытая травой, скорее

желтоватая или коричневатая, чем зеленая). Тем не менее, я предполагаю, что принцип использования типичных черт пейзажа как референциальной рамки при описании категорий зрительного восприятия вообще и 'цвета' в особенности — это человеческая универсалия, а также, что этот принцип лежит в основе многих особенностей человеческого общения, связанного с 'видением'.

И другая универсальная или почти универсальная черта человеческого общения, связанного с видением, — это важная роль сравнения или, более точно, универсальное понятие ПОДОБИЯ в передаче зрительных ощущений. Английские прилагательные *gold* (золотой, сделанный из золота) и *golden* (золотой, который выглядит, как золото) очень хорошо иллюстрируют этот способ описания, а также другие, многочисленные «неосновные имена цвета», такие, как *silver* (серебряный), *navy-blue* (темно-синий), *khaki* (хаки), *ash-blond* (пепельный блондин) и т. д.

Другой интересный пример можно найти среди основных имен цвета в австралийском языке варлпири: *yalyu-yalyu* 'красный' (буквально — 'кровь-кровь'), *karntawara* (буквально — 'желтая охра'). Эти слова, вместе с двумя другими 'фооновыми' терминами *walya-walya* 'коричневый' (буквально — 'земля-земля') и *yukuri-yukuri* 'сине-зеленый' (буквально — 'растения-растения') и словами, которые обозначают что-то вроде 'темный/черный' и 'светлый/белый', составляют ядро 'цветового' словаря языка варлпири (Hargrave 1982:210).

Однако универсалии или почти универсалии такого рода не могут быть сформулированы в рамках системы Берлина и Кея (Berlin, Kay 1969) с ее упором на «основные» имена цвета.

В работе Shweder, Bourne 1984:160 система «цветовых универсалий» Берлина и Кея называется примером применения «правила ограничения данных». Швидер и Бурн пишут: «Нередко открытие универсалии бывает обусловлено хитрым подходом, предполагающим наложение ограничений на данные и отказ от их полного рассмотрения. Берлин и Кей, например, открыли универсальные прототипы для определения цветообозначений и универсальную последовательность возникновения цветовых категорий в языках мира. Их исследование начинается с двух процедур применения правила ограничения рассматриваемых данных. Первое, «цветовая» классификация у них состоит в членении перцептивного пространства, заранее предопределенном понятиями тона, интенсивности и насыщенности (таким образом, сужается референциальный спектр понятия «цвета» как он понимается, по крайней мере, в некоторых культурах. И второе,

все цветовые категории, языковое выражение которых не отвечает определенным формальным критериям (подчинение выпестоявшему термину, монолексемность единицы), исключаются из рассмотрения».

В минувший период возникло так много контрпримеров теории Берлина и Кея, что теперь, наверное, никто уже не скажет, что они открыли «универсальные прототипы для определения цветообозначений и универсальную последовательность возникновения цветовых категорий в языках мира» (ср. например, Kay, Berlin, Merrifield 1991, MacLaury 1987, 1992, Hewes 1992, Kinnear, Derogowski 1992, Saunders 1992, Toren 1992, Van Brakel 1992, 1993).

Мое предложение состоит в том, чтобы, задавшись целью исследовать универсалии человеческого общения, связанные со зрительным восприятием, обратить взор, так сказать, в направлении, отличном от того, которое представлено в классической работе Berlin, Kay 1969, а также других исследований огромного количества языкового материала, сделанных в духе этой работы.

2. Значение и научное знание

Труднее всего заметить то, что видишь каждый день. («Il faut beaucoup de philosophie pour savoir observer une fois ce qu'on voit tous les jours», Жан-Жак Руссо⁴). Вопрос: «Что значат слова вроде *красный* и *синий*?» — может прозвучать до обидного глупо. «Разве и так неясно?»

Нет, неясно. Совсем неясно, и хотя литература по психологии, культурологии и лингвистике цветообозначения весьма обширна, она обычно посвящена рассмотрению совсем других проблем. Простой, «наивный» вопрос, поставленный здесь, обычно игнорируется — как это обычно и бывает с простыми и «наивными» вопросами, касающимися нашего повседневного опыта.

Конечно, верно, что значение имен цвета активно обсуждалось философами, и лингвисты и психологи могут с большой пользой для себя обратиться к работам таких мыслителей, как Локк, Юм, Карнап и Витгенштейн. Решающее различие состоит в том, что философов интересовал ЯЗЫК, лингвисты же (как таковые), интересовались языками. Для лингвиста проблема состоит не только в том, чтобы понять, что значат (английские) слова *red* и *blue*, но также и что значат венгерские слова *voros* и *piros* (грубо говоря, — разные оттенки красного), что значат польские слова *niebieski* и *granatowy* (оттенки синего, отличающиеся от русских), или

что значит японское слово *aoi* (грубо говоря, синий, но гораздо большего диапазона, чем английское *blue*). Соответственно, такие, как *niebieski = blue* или *aoi = blue* или *синий = blue*, безусловно, неадекватны, так как область применения каждого слова своя в каждом из языков и она не может быть точно установлена на основании подобных процедур межъязыкового сравнения.

Но если *niebieski*, *синий* или *aoi* не значат то же самое, что и *blue*, что же в таком случае они значат? И что же тогда значит *blue*?

Некоторым ученым вопросы подобного рода покажутся неразумными, потому что они привыкли думать, что значение каждого имени цвета может быть определено в терминах физических свойств света, таких, как длина волны или относительная интенсивность. Например: «Когда длина волны колеблется в пределах от 400 до 470 нм (нанометров, 10 в минус девятой степени метров), воспринимаемое глазом поле при среднем уровне освещенности кажется фиолетовым, а при 475 нм — оно обычно кажется синим» (Hurvich 1981: 39).

Но научное знание оказывается нехотать, если нас интересует ЗНАЧЕНИЕ, и если под значением мы понимаем то, что ЛЮДИ ИМЕЮТ В ВИДУ, когда они употребляют слова, которые мы рассматривали. Ясно, что, люди, говоря *a blue dress*, *niebieska (FEM) sukienka* (польск.) или *синее платье*, могут не иметь никакого представления о том, какая длина волны или относительная интенсивность связаны со словами *blue*, *niebieski* и *синий*; и все же, конечно, неразумно было бы на этом основании заключить, что говорящие не знают, что значат эти слова.

Научное знание о том, какая длина волны связана с различными обозначениями цвета, ценно в учебнике по физике, но когда его повторяют в лингвистических книгах и статьях и представляют как ответ на вопросы о значении, оно только затуманивает дело и мешает реальному пониманию того, что имеют в виду люди, когда используют эти слова. Как указывал Рассел (Russell 1948:261), «названия цветов использовались за тысячи лет до открытия волновой теории света, и то, что длина волны уменьшается при продвижении по цветовой шкале от красного цвета к фиолетовому, было гениальным открытием». Следует ли поэтому думать, что в течение тысяч лет люди не знали, что они имели в виду, когда использовали названия цветов?

То же относится и к модели, описывающей цветовые ощущения в терминах цвета (тона), яркости и насыщенности, которая принята в хроматологии и которая, по утверждению известного русского психолингвиста Р. Фрумкиной, не имеет

под собой никакой психологической основы: «Таким образом, проекция общепринятой научной модели описания цветоощущений на языковую действительность вызвала к жизни идею, что отношения между словами-цветообозначениями (знаками!) можно описать через признаки, характеризующие их денотаты — объекты из мира «Действительность» (объекты не знаковой природы). Притом речь идет именно об идее, поскольку, как мы сказали, в литературе мы не обнаружили описания, которое было бы сделано на данной основе. Да и немудрено: как например, с помощью трех переменных описать отношения между голубым и синим, салатным и зеленым, бежевым и коричневым? Как определить значение признака насыщенности для бежевого в отличие от коричневого или признака яркости для голубого в отличие от синего? Наше знание языка позволяет считать, что голубой — светлее синего, салатный — светлее зеленого, бежевый — светлее коричневого. Но «светлее» не переводится естественным образом ни в яркость, ни в насыщенность!» (Фрумкина 1984:24).

Мне кажется, что все, что можно сказать о современной хроматологии, можно также сказать и о недавних исследованиях по нейрофизиологии цветовосприятия, которые по мнению многих психологов могут предложить (или уже предложили) решение вопроса о значении имен цвета. Например, Кей и Мак-Даниэл утверждают:

«Исследования, проводимые в два последние десятилетия, существенно продвинули наши знания о психологических процессах, которые лежат в основе человеческого восприятия цвета. Эти исследования касаются, в существенной степени, определения того, как различия, которые имеются в длине световой волны, достигающей глаза, преобразуются в различные реакции, связанные со зрительным восприятием... Самые последние исследования зрительных процессов касались представления информации о цвете в нейронах, расположенных у сетчатки, на пути от глаза к мозгу. Эти исследования, при которых использовался метод вживления микроэлектродов в нейроны, показали, что к тому моменту, как первые импульсы, зависящие от длины волны, достигают более светлых участков в видимом поле зрения, трехкомпонентные нейронные реакции ядродержащих рецепторов сетчатки преобразуются в множества ответных психических реакций» (Kay, McDaniel 1978:617).

Все это очень интересно, но поскольку данная статья публикуется в лингвистическом журнале и ее заглавие обещает, что статья будет посвящена проблеме ЗНАЧЕНИЯ названий цвета, может возникнуть вопрос: какое отношение все от-

крытия нейрофизиологов имеют к семантике? Кей и Мак-Даниэл случилось заметить, что прогресс в понимании психологических процессов, которые лежат в основе восприятия цвета человеком, должен автоматически привести к прогрессу в нашем понимании значения названий цвета. Но почему должно быть именно так? Они пишут: «...Поскольку цвет (тон), яркость и насыщенность — это параметры, которые определяют психические реакции, кодирующие цветовосприятие, полный набор основных категорий этих психических реакций (И СЛЕДОВАТЕЛЬНО СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ НИХ) [выделено А.В.] требует, чтобы сами категории были выражены как функция всех трех параметров» (Kay, McDaniel 1978:629).

Таким образом, Кей и Мак-Даниэл просто предполагают, что «семантические категории» должны определяться в терминах «основных категорий нейрофизиологических реакций» и если что-то относится к последним, то оно также должно относиться и к первым.

Такой скачок от нейрофизиологии к семантике можно наблюдать и в следующем пассаже: «Это и последующие наблюдения, описываемые ниже, показывают, что значение основных названий цвета не может быть точно представлено с помощью семантических признаков. Мы предлагаем считать, что цветовые категории представляют собой непрерывные функции, подобно нейрофизиологическому процессу, который лежит в основе их образования, и недискретные формализмы, в данном случае — теория размытых множеств, дают возможность НАИБОЛЕЕ КОМПАКТНОГО и НАИБОЛЕЕ АДЕКВАТНОГО [выделено А.В.] описания семантики основных терминов цветообозначения» (Kay, McDaniel 1978: 612).

Авторы не учитывают того, что семантические категории меняются от языка к языку. Описание цветовых категорий, которое игнорирует этот факт, может быть «наиболее компактным», но в каком тогда смысле оно может также считаться и «наиболее адекватным»?

По-моему, вопрос о физиологии ВОСПРИЯТИЯ имеет мало отношения к вопросу о цветовой КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ. Цветовое восприятие является, вообще говоря, одним для всех групп людей (ср., однако, Bornstein 1975). Но языковая концептуализация различна в разных культурах, хотя и здесь есть поразительные элементы сходства. Крайний универсализм в изучении языка и мышления столь же неоснователен и опасен, сколь и крайний релятивизм в изучении культуры. То, что происходит в сетчатке и в мозгу, не отра-

жается непосредственно в языке. Язык отражает происходящее в сознании, а не в мозгу, наше же сознание формируется, в частности, и под воздействием окружающей нас культуры. Концептуальные универсалии действительно существуют, но я думаю, что они могут быть обнаружены только путем концептуального анализа, основанного на данных многих языков мира, а не путем нейрофизиологических исследований.

Говорить так — не означает отрицать тот факт, что некоторые элементы наших цветовых концептов могут в существенной степени зависеть от нашей общей человеческой природы и что культура находится во взаимодействии с нашим биологическим устройством при формировании цветовых понятий. Я только против того, чтобы ИЗУЧАТЬ наши понятия в терминах физиологии. Ведь это именно мозг, а не сознание формируется в соответствии с нашей общей человеческой природой. Работа нашего мозга может, хотя и косвенно, отражать именно это, концептуализации же должны быть связаны только с тем, что составляет содержание наших мыслей.

Веру некоторых ученых в значение нейрофизиологии при изучении семантики можно сравнить разве что с их же верой в значимость формального описания. Например, Кей и Мак-Даниэл пишут: «В дальнейшем будет показано, что факты цветовой семантики можно успешно описывать в терминах теории размытых множеств, но не в терминах традиционных дискретных семантических признаков. Это открытие подвергает сомнению эффективность модели с использованием признаков и предполагает, что для достоверного описания семантики слова следует использовать мощный формализм, заключающий в себе более широкий спектр структур, чем ограниченная булева алгебра, которая, по умолчанию, лежит в основе подхода, связанного с использованием семантических признаков» (Kay, McDaniel 1978:644).

Полный заголовок статьи гласит: «Лингвистическая значимость смысла основных названий цвета». Значит, предполагается, что авторам известна семантика основных названий цвета и что они собираются основываться на этом знании (которое, как следует понимать, возникло в результате описываемых в статье нейрофизиологических исследований). Но все, что в конце концов узнает читатель, состоит в том, что авторы верят в правильное описание фактов цветовой семантики с помощью теории размытых множеств или, возможно, с помощью других «мощных математических формализмов».

На мой взгляд, если эти или другие ученые заинтересованы в переводе лингвистических фактов в «мощные математи-

ческие формализмы» (такие, как, например, теория размытых множеств), то они имеют право это делать, но они впадут в самообман, если будут думать, что устанавливают при этом ЗНАЧЕНИЕ слов. Пусть авторы верят в ту роль, которую математические модели могут сыграть в семантике, но то, что они не могут определить значения ни одного из названий цветов ни в одном языке, разочаровывает, хотя и не удивляет. Для современных работ характерно принижение роли дискретности и переоценка значения недискретности; провозглашается, что с помощью размытых множеств можно творить чудеса, но в результате ни одно значение, закрепленное хоть в каком-либо естественном языке, не получает адекватного описания.

3. Значение и цветовые таблицы

Другой распространенный подход к описанию семантики цветообозначений основан на отождествлении значений с денотатами. В связи с этим можно вспомнить свифтовских мудрецов из «Путешествий Гулливера» (Swift 1728), которые верили, что слова можно заменить демонстрацией предметов и которые носили с собой на спине все, о чем собирались говорить. Сходным образом и сейчас вместо того, чтобы давать определения цветообозначениям в разных языках, предлагают просто указывать на образцы цветов. В особенности большие надежды возлагаются на цветные пластинки (промышленного производства), такие, как были с успехом использованы Берлином и Кеем при исследовании названий цвета (Berlin, Kay 1969).

Многим лингвистам кажется самоочевидным, что метод, который оказался столь успешным в проведенном Берлином и Кеем исследовании универсальных цветовых категорий, может также предложить и естественное решение проблемы ЗНАЧЕНИЯ названий цвета. «Что значат такие слова, как *blue*, *niebieski* или *синий*? Ответ простой: мы можем это показать, обведя кружочком соответствующие зоны на цветовой таблице. У таких слов, как *blue*, *niebieski* или *синий*, эти зоны могут пересекаться, но, поскольку они все же не совпадают, мы можем правильно описать употребление каждого слова, специфическое для соответствующего языка».

На мой взгляд, это ошибка. Берлин и Кей добились успеха, потому что они исследовали не ЗНАЧЕНИЕ названий цвета, а межъязыковое соответствие цветовых ФОКУСОВ, и избранный ими метод показал свою эффективность при решении именно этой задачи. Они, однако, ясно увидели,

что их метод оказался никак не подходящим для исследования ГРАНИЦ между цветами. Так, они пишут: «Повторение эксперимента с таблицами на одном информанте, а также с разными информантами показало, что способ установления фокуса весьма надежен. ... Между тем установление границ ненадежно даже при экспериментах с одним и тем же информантом» (Berlin, Kay 1969: 13).

И они заключают: «По-видимому, физический субстрат цветовых категорий, который обеспечивает процедуру первичного хранения в мозгу информации о цвете, представляет собой, скорее, точечные или мелкозернистые, чем сплошные скопления цветоощущительного вещества. Вторичные процессы, менее значимые и более схожие у разных индивидов, будут тогда связаны с теми зонами цветоощущительного вещества, которые соответствуют не-фокусным участкам цветовой шкалы. Современные формальные теории описания лексических значений не способны охватить такие явления» (Berlin, Kay 1969:13).

Я думаю, что в 1969 году такой вывод был правомерен, а соответствующее ему решение не продолжать изысканий, касающихся ЗНАЧЕНИЯ названий цвета, разумным и оправданным. Однако в течение прошедших двадцати лет был достигнут значительный прогресс и в теории, и в практике толкования лексем, и это дает нам возможность подойти к проблеме, которую в 1969 году Берлин и Кей сочли разумным не исследовать. Берлин и Кей имели полное право ограничить свое внимание лишь цветовыми фокусами и не заниматься границами между цветами. Но если мы хотим исследовать понятия, закодированные в цветовом лексиконе различных языков мира, нам следует принимать во внимание не только центр (фокус), но и границы.

Возвращаясь к возможности «показа» значения названий цветов на цветовых таблицах, рассмотрим соображения Фрумкиной: «...любой колерный образец обладает большей или меньшей номинативной неопределенностью. Всегда найдутся такие колерные образцы, для которых непрофессионалы, т. е. лица..., не связанные с цветоведением или другими областями знания, где важна номенклатурная точность в определении цветоощущений, вообще не подберут «подходящего» с их точки зрения имени цвета. В других случаях для одного колерного образца будет предложено много разных имен цвета. Поскольку в практике существуют такие ситуации, где денотативная неопределенность имен цвета и номинативная неопределенность колерного образца приводят к большим неудобствам, создаются специальные таблицы нормативного типа: в них указано, какие имена цветов сле-

дует связывать с данным колерным образцом. Таковы, например, таблицы Английского общества цветоводов [British Colour Council ..., 1939-1942]. Подобные таблицы преследуют чисто прагматические цели: например, чтобы добиться взаимопонимания при описании сортов и видов растений, необходимо искусственным путем обеспечить взаимно-однозначное соответствие Имя цвета — Колерный образец, несмотря на то, что в естественных языках такое соответствие регулярно является взаимно многозначным. Таблицы Английского общества цветоводов, как и прочие нормативные таблицы, являются терминологическим справочником, значимость которого ограничена ровно той областью, для которой он разработан; так, номенклатура цветообозначений для цветной фоторепродукции (т. е. система пар Имя цвета — Колерный образец) уже нуждается в отдельном справочнике» (Фрумкина 1984: 26).

Фрумкина заключает: «Проблема цветоименования, т. е. присвоения имени цвета некоторому фиксированному колерному образцу, заслуживает особого обсуждения как один из аспектов проблемы номинации вообще. Что же касается возможности описания имен цвета с помощью картинок, то в силу регулярной взаимно-многозначности отношений Имя цвета — Колерный образец она, по-видимому, мало перспективна» (Фрумкина 1984:27).

Это перекликается с замечанием Конклина (Conklin 1973:940): «Следует заниматься в большей степени классификацией цветов, чем сравнением цветовых спектрограмм с их вербальными эквивалентами». От себя добавлю, что, конечно, МОЖНО использовать и картинки, и цветовые таблицы при исследовании значений названий цвета, если обращаться с ними осторожно и не возлагать на них неосновательных надежд. Они не могут автоматически ПОКАЗАТЬ значение названия цвета, но они могут помочь установить, в чем это значение заключается. Например, Джоунз и Михан (Jones, Meehan 1978), исследовавшие употребление двух основных имен цвета (-*gungaltja* и -*gungundja*) в языке австралийских аборигенов — гиджингали — с помощью таблиц Манселла, получили весьма поучительные с семантической точки зрения результаты. Но поучительны они потому, что ставят завораживающие вопросы, а не потому, что содержат готовые ответы на них.

Равно поучительным является способ (который таблица сама по себе показать не может) получения данных: «Сначала Гурманамана (информант) сказал, что такого цвета -*gungaltja* вообще нет, и показал не на таблицу, а на кусок блестящей фольги, которая лежала на скамейке в палатке.

'Вот это вот и есть настоящий *gun-gungaltja*, а не вся эта срунда'. ... Заявив так свой протест, Гурманамана провел примерную границу, выделяющую цвета -*gungaltja*. Видно, что только около 10% цветных пластинок включается в эту категорию, а основной массив таблицы принадлежит к классу -*gungundja*) (Jones, Meehan 1978: 27).

Вопрос — что же значит слова -*gungaltja* и -*gungundja* — это замечательный вопрос, и я думаю, что это один из тех вопросов, которые более важны для лингвистического исследования, чем какие-либо другие, связанные с нейрофизиологическими основами цветового восприятия, хотя и последние по праву могут считаться и важными, и интересными. Я вернусь к этому потом, когда будут рассмотрены значения английских имен цвета *white* 'белый', *black* 'черный', *blue* 'синий', *green* 'зеленый', *red* 'красный' и *yellow* 'желтый' и их ближайшие соответствия в некоторых других языках со сложным цветовым лексиконом. Но раньше мне хотелось бы пояснить, что я понимаю под термином «значение» и как «значение» связано с «психологической реальностью».

4. Значение и психологическая реальность

Значение слов — это, грубо говоря, то, что мы «имеем в виду», или «держим в голове», когда произносим слова⁵. А поскольку то, что мы «имеем в виду», может меняться в зависимости от контекста или ситуации, мы должны уточнить, что значение — это только постоянные, не меняющиеся, условия употребления слов. Эти постоянные условия могут быть установлены разными способами, включая изучение методом интроспекции, а также с помощью изучения фразеологии, стандартных метафор, методом опроса информантов, с помощью различного рода психолингвистических экспериментов и т. д. Все эти методы показывают, что в сознании говорящих слова взаимосвязаны по-разному и что можно установить, КАК именно они взаимосвязаны (ср. Wierzbicka 1985: 193-211).

Например, Фрумкина (1984: 30) рассказывает, как она попросила нескольких информантов объяснить ей, что такое *розовый* цвет, и получила от них ответ такого рода: «Розовый — это очень-очень светлый красный цвет, совсем светлый, но достаточно определенный, чтобы видно было, что он похож на красный или имеет такой оттенок». По мнению Фрумкиной, ответы такого типа помогают обнаружить «организацию значений в языковом сознании говорящих». Я думаю, что это верно и что адекватное семантическое описание

слова *розовый* должно отражать его интуитивно очевидную связь с понятием, заключенным в слове *красный*, и с понятием, заключенным в слове *светлый*.

Важно помнить, однако, что «языковое сознание» имеет много разных уровней и что оно содержит как факты, лежащие на поверхности, так и другие факты, которые скрыты очень глубоко. Важно различать молчаливое знание, которое спрятано в «глубинах» человеческого сознания, но которое МОЖНО вытащить на поверхность (ср. Sapir 1949: 331), и научное знание, которого наивные носители могут просто не иметь и которое не могут обнаружить самые настойчивые поиски. Последнее, в противоположность первому, не отражается в языке и не играет никакой роли в лингвистическом исследовании.

Как настойчиво подчеркивали Боас (Boas 1966:19) и Сепир (Sapir 1949: 46-47) и в более близкие времена Халлидей (Halliday 1987), знания носителей языка об их языке в существенной степени подсознательны. Семантика же — это поиски смысла, а не поиски научного или энциклопедического знания; но это не значит, что она имеет дело только с фактами, лежащими в сознании говорящих на поверхности. Если мы будем смещивать «психологическую реальность» (см. Burling 1969) с «сознанием», то мы никогда не узнаем, что происходит у нас в голове и какие концептуализации отражаются в человеческих языках.

Рассмотрим, например, факты, о которых сообщает Фрумкина (1984: 30): «Розовый и красный для русского похожи по цвету. Желтый и коричневый для русского — просто разные цвета, столь же разные, как красный и фиолетовый». Должны ли мы отсюда заключить, что адекватное семантическое описание русской системы цветообозначений должно представлять красный и фиолетовый как совершенно не связанные — так же, как не связаны, скажем, желтый и фиолетовый или зеленый и фиолетовый?

Мне кажется, что не должны. Важно, я думаю, не делать поспешных заключений из того, что нам могут сказать информанты. Скорее, следует взять их первоначальные ответы в качестве одного из свидетельств, чтобы использовать вместе с другими видами аргументов. Ответы информантов никогда не следует расценивать как решающий аргумент — их нужно интерпретировать и делать из них выводы (ср. Wierzbicka 1985: 89-90)⁶.

5. Цветообозначения как цитаты

Итак, повторим наш вопрос: что люди имеют в виду, когда говорят, например: «Я купила синее платье» или «Я видел синий автомобиль»?

Один из ответов на уровне «здравого смысла» на такой вопрос имеет следующий вид. «Цветообозначения усваиваются наглядно (остенсивно), то есть их значение основано на наглядности. Мы слышим, как слово *blue* (синий, голубой) применяется к разнообразным предметам, и узнаем на этом основании, что имеется в виду под *синий*. Синий значит — 'то, что люди называют синий'.

Я думаю, что ответ в таком роде вполне годится (хотя, как я коротко покажу, его адекватность весьма ограничена). В особенности, важно заметить, что ответ такого рода не может использоваться в рекурсивных определениях, так же, как нельзя рекурсивно определить, что слово *Джон* в предложении, относящемся к некоторому определенному лицу по имени Джон, значит, грубо говоря, «человек, которого я называю ДЖОН» (где ДЖОН, написанное большими буквами, относится не к человеку, а к произнесенным звукам). Тогда, в предположении, что цветообозначения усваиваются в основном остенсивно и что их значение отражает именно это, мы можем предложить следующее толкование:

X — *синий*
о предметах, подобных X-у, говорят: 'это — СИНЕЕ'.

Формулировка подобного рода представляет цветообозначение как имя собственное: предполагается, что так же, как слово «Джон» значит, в сущности, «человек, называемый ДЖОНОМ», так и слово *синий* значит «цвет, который называется СИНИМ».

Поскольку, для того, чтобы понять слово, подобное слову *синий*, нужно знать, что это слово связано с чем-то, что видят (а не слышат или ощущают на вкус), нам придется расширить нашу первую формулировку следующим образом:

X — *синий*
когда люди видят предметы, подобные X-у, они говорят о них: это — СИНЕЕ.

Представляется резонным предположить, что формулировка такого рода может отражать то, как ребенок впервые узнает значение слова *синий*, и важно также заметить, что для того, чтобы набросать такое определение, не потребовалось даже слова *цвет*, которое, как нетрудно догадаться,

усваивается позже, чем *синий* или *красный*. Еще Лейбниц отметил (Leibniz 1966), что понятие цвета — неопределяемое: его можно определить через зрение, поскольку цвет — это единственное, что можно воспринять только через зрение⁷.

Хотя набросок определения, данный выше, относится к одной из позитивных моделей (которые различаются в зависимости от личного опыта каждого человека) без каких-либо попыток провести границы между цветами, он не обладает никакой объяснительной силой в отношении употребления слова *синий* в речи взрослых. В конце концов, то, что называют *зеленым* или *фиолетовым*, может казаться похожим на то, что называют *синим*, и все же взрослые носители английского языка не распространяют употребление слова *синий* на предметы, которые можно назвать *зелеными*. А этого определение, данное выше, объяснить уже не может.

При изучении второго языка мы часто усваиваем границы между значениями слов путем отрицательной обратной связи. Например, мои дочери-подростки, которые владеют двумя языками, но живут в англоязычном окружении, и английский язык для них первый, стремились расширить сферу применения польского слова *niebieski* ('синий', от *niebo* 'небо') на темные оттенки синего, которые по-английски называются *blue*, а по-польски уже *granatowy*, а не *niebieski*. Когда они так говорили, я их поправляла: «Не *niebieski*, а *granatowy*».

Я не знаю, какую роль подобные поправки могут сыграть в овладении первым языком — возможно, более ограниченную. Известно, правда, что и для первого языка детский лексикон основных цветообозначений более ограничен, чем лексикон взрослых: с точки зрения взрослых — дети шире используют такие слова, как *желтый* и *синий*, не говоря уже о *коричневом*, *розовом*, *фиолетовом* или *сером*. Например, Харкнесс (Harkness 1973: 183) пишет о том, как она изучала речь испанских детей: «У семи-восьмилетних детей были небольшие отклонения в правильном назывании цветов в зоне Красного цвета и серьезные отклонения — в зоне Желтого» (ср. также Rosch Heider 1972b). В частности, Харкнесс сообщает, что они слабо различали желтый и оранжевый, а также красный и розовый, особенно это касалось так называемых «лучших образцов» (образцовых представителей цвета). Она пишет: «Предъявление одной и той же цветной пластинки как лучшего образца для двух терминов, в то время как оба термина представлены в различных цветовых зонах, поразительно. Такой случай возник для Желтого и Оранжевого у одиннадцати-двенадцатилетних детей ... Подобная ситуация сохраняется и для Красного и Розового: лучшие образцы приходятся на одну и ту же пластинку у семи-восьмилетних

детей и это смешение сохраняется даже у более взрослых..., и это происходит в то время, когда границы цветовых зон для Красного и Розового уже установлены... Исходя из этого можно предположить, что Розовый и Оранжевый воспринимаются как оттенки Красного и Желтого. Случай с Синим и Фиолетовым пока неясен, но, видимо, аналогичен. Частое совпадение у семи-восьмилетних детей образцов для Коричневой и Черной цветовых зон тоже дает пищу для размышлений» (Harkness 1973: 183).

Все это заставляет предположить, что в сознании или подсознании говорящих сферы применимости соседних терминов в известной степени разграничены (хотя границы, безусловно, остаются размытыми и наложения не исключаются).

Обсуждая логику цветообозначений, Бертран Рассел писал: «Мы, конечно, знаем — хотя трудно сказать откуда, — что в одной и той же точке нашего поля зрения не могут сосуществовать одновременно два разных цвета... Короче говоря, высказывания 'это красное' и 'это синее' несовместимы. Эта несовместимость не логического свойства. Синий и красный не более логически несовместимы, чем несовместимы красный и круглый. Не выводится такая несовместимость и из нашего восприятия. Непохоже, чтобы можно было доказать, что это не результат обобщения данных нашего чувственного восприятия, но я думаю, совершенно очевидно, что никто в наше время не станет этого отрицать. Можно подумать, что эта несовместимость имеет грамматический характер. Этого отрицать я не могу, но я не уверен, что я знаю, что бы это могло значить» (Russell 1973: 78).

Цитируя этот пассаж в своей книге «*Lexicography and conceptual analysis*» (Wierzbicka 1985: 79-80; см. также Wierzbicka 1990), я предложила считать несовместимость между *красным* и *синим* семантической, объяснив это следующим образом:

X — *синий*

когда люди видят некоторые предметы, они говорят о них: это — СИНЕЕ

X как раз такой

когда видят другие предметы, о них говорят другое
об X-е этого другого не скажут

Сейчас у меня по некоторым причинам возникли сомнения относительно того, действительно ли здесь необходимы «исключающие» компоненты толкования. Во-первых, не все пары «основных цветообозначений» ощущаются как не-

совместимые в одном и том же роде и до одной и той же степени. Например, *белый* и *черный* ощущаются как противоположности, а *красный* и *синий* — нет. Более того, *красный* и *розовый*, хотя и несовместимы, все же ощущаются как близко связанные, в то время как *красный* и *синий* — нет.

Даже более важно то, что некоторые «основные цветообозначения» совсем не являются взаимоисключающими. Например, в японском оба термина — *aoi* 'синий, сине-зеленый, ярко-зеленый' и *midori* 'зеленый' — оказываются «основными», и тем не менее они не исключают друг друга. Конечно, мы могли бы дать определение термину «основное цветообозначение» таким образом, чтобы сделать взаимоисключаемость обязательной, но это было бы совершенно произвольным решением.

И далее, взаимоисключаемость, в любом случае, следует из идентификации, как указывается в Goddard 1991. К человеку, который идентифицирован как «Джон», уже нельзя обращаться как к «Гарри». Это значит, что если я обращаюсь к кому-либо как к «Джону», я при этом имею в виду 'человека, которого я зову ДЖОНОМ и которого я не зову никак иначе'. И достаточно даже более короткой формулировки: 'человек, которого я зову «Джон»'. Но если эксплицитный «исключающий» компонент необязателен для имен собственных, он, быть может, столь же необязателен и для имен цвета, и простая формулировка вроде 'X — синий = когда видят вещи вроде X, о них говорят: это СИНЕЕ' может быть совершенно правильной (не для всех имен цвета, но по крайней мере для «абстрактных, таких, как *красный*, *желтый*, *черный* и *белый*»).

Ван Бракел (Van Brakel 1993:132) пишет: «Итак, возможно, если все зеленые предметы и имеют что-то общее, так это то, что мы умеем называть их 'зелеными', и что все предметы цвета *kwaalt* (грубо говоря, 'желто-зеленого' — слово языка шусвоп на тихоокеанском побережье Канады, поразившее Мак-Лори (MacLaury 1987)), имеют между собой то общее, что все говорящие на шусвоп умеют называть эти предметы *kwaalt* и могут научить нас, какие предметы называть *kwaalt*, так же, как, впрочем, и мы можем научить их, какие предметы называть зелеными».

Я думаю, что это все правда, но, как я попробую показать ниже, это еще не вся правда.

6. Черное и белое, темное и светлое

Если мы скажем, что *белое* — это, в сущности, «то, что называют БЕЛЫМ», а *черное* — это «то, что называют ЧЕРНЫМ», мы не сможем объяснить, почему ощущается, что у этих слов противоположное значение, и почему они кажутся тесно связанными с *темным* и *светлым*. Например, в английском легко образуются сочетания *light blue* 'светло-голубой' и *dark blue* 'темно-синий', но нельзя образовать сочетаний **light white* 'светло-белый' и **dark black* 'темно-черный'. Нельзя и назвать что-либо **dark white* 'темно-белым' или **light black* 'светло-черным'. Выражения *dark white* и *light black* выглядят как противоречия, а *light white* и *dark black* — как нелепые тавтологии.

Чтобы объяснить эти факты, следует проанализировать обе пары прилагательных в рассмотренных сочетаниях и выяснить, что в них общего.

Я думаю, что ключом к раскрытию семантики слов *темный* и *светлый* служит понятие зрения, а прототипическое употребление этих слов связано не с предметами, а со средой.

Мы говорим:

Было (уже) темно.

Было (еще) светло.

Предложения, которые включают такие выражения, как «темный мяч» или «светлый цветок», не кажутся столь же обычными и естественными, как предложения со словами *темный* или *светлый*, когда они относятся к среде.

Но что мы имеем в виду, когда говорим, что «было (уже) темно» или «было (еще) светло»? Я бы предложила следующее толкование:

Было темно (в то время)

в некоторые моменты видно очень мало
было именно так в то время

Было светло (в то время)

в некоторые моменты видно много всего
было именно так в то время

Для предложений, которые содержат указание на «темные» и «светлые» предметы, мы предлагаем следующее толкование⁸:

X — *темный*

в некоторые моменты видно очень мало
когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут
подумать об этом

X — *светлый* (по цвету)⁹

в некоторые моменты видно много всего
когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут
подумать об этом

Я не думаю, что слова *темный* и *светлый* (как названия цвета) усваиваются наглядно (остенсивно) с указанием на предметы, которые могут служить эталоном «темного цвета» или «светлого цвета». Если существует эталон «темноты» или эталон «светлости», их следует искать в темноте ночи или в свете дня. В этой связи интересно вспомнить, что в некоторых языках, например, в языке австралийских аборигенов — луритя — одно из двух основных цветообозначений («светлый» и «темный») совпадает со словом для ночи (ночного времени) (Иан Грин (Ian Green), устное сообщение); а также, что в английском пиджине аборигенов в Алис-Спрингсе ночь часто называется *dark time* (темное время) (Джин Харкинс (Jean Harkins), устное сообщение).

Возвращаясь к английским словам *black* 'черный' и *white* 'белый', я бы предположила, что их семантическая структура отражает и их статус «основного цветообозначения, которое усваивается остенсивно» и их связь с понятиями *темный* и *светлый* (ср. замечание Леонардо да Винчи, которое он сделал в «Трактате о живописи»: «Мы пользуемся белым цветом как представителем света, без которого не виден ни один из цветов; и черным — для изображения кромешной тьмы» (см. Birren 1978:4). В первом приближении мое определение, которое я надеюсь усовершенствовать позднее, звучит следующим образом:

X — *черный*

когда люди видят некоторые предметы, они говорят о них: это
— ЧЕРНОЕ

X как раз такой

в некоторые моменты ничего не видно

когда они видят предметы, подобные X-у, они могут подумать
об этом

X — *белый* [неполное толкование]

когда люди видят некоторые предметы, они говорят о них: это
— БЕЛОЕ

X как раз такой

в некоторые моменты видно много всего

когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать
об этом

Такие толкования объясняют и интуитивно ощущаемое отношение между *черным* и *белым*, и интуитивные связи меж-

ду *черным* и *темным*, а также между *белым* и *светлым*. В толкованиях не предполагается, что люди думают о дне как о «чем-то белом», а о ночи как о «чем-то черном», то есть так же, как они могли бы думать о снеге как о чем-то белом или об угле как о чем-то черном. Не предполагается также и то, что белые предметы должны непременно напоминать о свете дня, а черные предметы о темноте ночи. Но, безусловно, предполагается потенциальная концептуальная связь: «когда видят подобные предметы, думают о ...».

Возможно, однако, как предложила мне считать Джин Харкинс значения *черного* и *белого* и не следует представлять полностью симметричными. Возможно, ассоциативная связь между *черным* и *ночью* более явная и прозрачная, чем между *белым* и *днем*. Связь между *белым* и хорошей видимостью интуитивно кажется неоспоримой, но не белизна сама по себе обладает свойством повышенной видимости. Красный и оранжевый, без сомнения, видны еще лучше, или более заметны, чем белый. С другой стороны, белый создает прекрасный фон для других цветов: все другие цвета лучше видны «in broad daylight» (на свету, при свете дня, в польском — *w biały dzień* 'в белый день'), чем в сумраке, так же, как они лучше видны в местах, где есть видимый белый фон, такой, как, например, заснеженный пейзаж или белая бумага, на которой мы пишем или печатаем. Чтобы обосновать это свойство *белого* быть наилучшим возможным фоном для разного рода предметов (только не белых), нужно добавить в толкование следующие компоненты:

X — *белый*

в некоторых местах видно много всего

когда люди видят предметы, подобные X-у, думают о таких
местах

Следует заметить, однако, что 'белый' гораздо сложнее 'черного' и содержит гораздо больше проблем, несомненно, потому, что 'черный' имеет в качестве универсального прототипа «кромешно-черную» (очень темную) ночь, в то время как 'белый' не имеет в качестве единого универсального прототипа очень ясный день (потому что когда очень светло, можно видеть много разных цветов) и может воплощать в своем значении две очень разные точки референции: временную (день vs. ночь) и пространственную (белый зимний пейзаж со снегом).

Как было замечено ранее, снег (в противоположность дню) не может быть универсальной точкой референции в семантике зрительного восприятия, но, безусловно, и 'белый'

не универсальное понятие. Для английского и для других языков, где есть семантический эквивалент английскому слову *white*, заснеженный пейзаж кажется вполне подходящей точкой референции, но, конечно, не как обязательный элемент персонального опыта каждого говорящего, а как элемент коллективной памяти всех говорящих по-английски, отраженный в их общем семантическом универсуме (ср. такие выражения, как *snow-white* 'белоснежный', *Snow White* 'Белоснежка' и *white Christmas* 'белое Рождество').

Наблюдения над понятием 'белый', в известной нам литературе, согласуются с этим положением. Так, 'белый' часто описывают как «поверхностный цвет», а не «объемный». См. например, Westphal 1987:14, Katz 1935:7. Как цвет, который «скорее, чем другие цвета, препятствует видению» (Westphal 1987). Он также описывается как совершенно непросвечивающий цвет, несовместимый с идеей прозрачности.

«Белый это непрозрачный цвет» — заметил Витгенштейн (Wittgenstein 1977:4) и загадал загадку: «Почему зеленый бывает прозрачным, а белый не бывает?» (1977:5).

Мне кажется, что образ земли под снегом в качестве прототипа объясняет, по крайней мере отчасти, интуитивные замечания подобного рода. Потому что то, что 'белый' это «самый светлый из всех цветов» (ср. Wittgenstein 1977:2) и при этом «несовместим с темнотой» (там же, стр. 15), объясняется противоположностью дня и ночи (грубо говоря, ночь 'черная', день противостоит ночи, и 'белый' противостоит 'черному'). Но то, что 'белый' тоже не пропускает света и служит препятствием для видения, хорошо согласуется с образом снега, который покрывает и 'прячет' землю. 'Синева' неба и 'желтизна' солнца вряд ли могут служить 'препятствием' между глазом и чем-нибудь еще; зелень листвы — это тоже что-то такое, сквозь что можно видеть (если не считать дремучих джунглей); и, конечно же, вода глубокого моря или озера может быть какой угодно, но непрозрачной она быть не может. А белые снежные просторы действительно невероятно светлые и тем не менее они служат непроницаемым барьером для глаза, покрывалом для земли, сквозь которое ничего не видно, несмотря на то, что оно задает фон и улучшает видимость любых «фигур», хорошо заметных на его светлом и непрозрачном поле.

И наконец, нужно заметить, что 'черный' и 'белый' не симметричны в языках мира и 'черный' встречается гораздо чаще, чем 'белый'. Например, вот что Харгрейв (Hargrave 1982:211) пишет об австралийском языке марту вангга: «Важнейший вопрос, который возникает при анализе данных в связи с гипотезой Берлина и Кея об эволюционной после-

довательности цветообозначений, — это отсутствие основного термина для обозначения белого цвета, или даже для 'макро-белого'. В соответствии с этой гипотезой, язык с двумя основными цветами имеет категории 'макро-черный' и 'макро-белый', причем цветовые фокусы у последнего термина варьируют от белого до красного, а у первого — фокусы могут варьировать между черным, зеленым и синим (Kay, McDaniel 1978:639). Между тем, данные марту вангга ясно показывают, что эти категории фокусируются на белом и красном. На самом деле двадцать два участника эксперимента указали на чисто белый цвет как на фокус имени цвета, но, так как использовалось несколько разных терминов, пять участников эксперимента предложили еще два или три термина. В результате стало ясно, что существует двенадцать терминов, которые имеют в качестве фокуса белый цвет».

Харгрейв далее замечает, что такая же рассогласованность между терминами для белого цвета наблюдается в языке варлпири (с. 212). Она заключает: «Данные, приведенные выше, позволяют предположить, что аборигены, которые традиционно кочевали по пустыне, не выделяют белый цвет как отдельную категорию целого ряда естественных предметов, и поэтому белый в их языке нельзя считать основным именем цвета».

Когда Витгенштейн писал, что «белый это непрозрачный цвет» (1977:19) и что «белой воды не бывает» (1977:5), он, конечно, имел в виду немецкое слово *weiß* ('белый'). Но слова из других языков, которые соответствуют английскому *white*, могут отличаться от него. Например, Александра Айхенвальд в беседе сообщила мне, что в бразильском языке тарьяна слово *halite* 'белый' значит также 'прозрачный' (и, кроме того, 'светлый'). Аналогично, Беррен (Birken 1978: 19) цитирует (по-английски) следующую (отчасти загадочную) строчку из Упанишад: «Красный цвет пламени — это цвет огня, белый цвет огня — это цвет воды, черный цвет огня — это цвет земли». Таким образом, хотя знакомство со снегом не принадлежит универсальному опыту человечества, точно так же не универсальна идея о непрозрачном «поверхностном цвете» — 'белом'.

7. Green (английское), gwyrdd (валлийское), latuy (хануно)

Во многих языках мира ближайшим эквивалентом английского слова *green* 'зеленый' служат слова, морфологиче-

ски или этимологически связанные с обозначением травы, растений или растительного мира в целом. Например, в польском слово *zielony* этимологически восходит к *ziolo* 'растение'. Действительно, даже английское слово *green*, как полагают, этимологически связано с *grow* (расти), ср. Swadesh 1972 и Klein 1966.

Носители английского языка, когда их просят дать несколько образцов зеленого цвета, обычно упоминают траву, листья или свежую зелень (чаще всего траву). Это не значит, что диапазон зеленых цветов ограничен оттенками трав или в более общем виде, цветом растительности; но кажется совершенно резонным, когда связывают понятие, заключенное в слове *зеленый*, с «тем, что растет на земле». Чтобы это обосновать, я предлагаю следующее (неполное) толкование данного понятия:

X — *зеленый*

в некоторых местах есть вещи, которые растут на земле
когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о
таких вещах

Я намеренно воздержалась от использования фразы «X как раз такой», потому что существуют такие оттенки, которые носители языка готовы назвать *зелеными*, но которые они, однако, отказываются сравнивать с цветом растительности. Тем не менее, более слабая связь, намеченная в толковании, которое приводится выше, представляется здоровой.

Но ассоциативная связь с «тем, что растет на земле» годится не только для английского слова *green* и его семантических эквивалентов в других языках (каким служит, например, польское *zielony*), но также и для ближайших соответствий слова *green* в языках, где это слово не имеет точных семантических эквивалентов.

Например, в валлийском языке наиболее близкий перевод для *green* — это *gwyrdd*, область употребления которого уже, чем у *green*: и некоторые английские *green* вещи в валлийском считаются синими (ср. Hjelmslev 1953: 53). У меня недостаточно информации для того, чтобы авторитетно интерпретировать эти факты, но может оказаться, что валлийский ограничивает свое *gwyrdd* более яркими, свежими и живыми оттенками зеленого. Пытаясь объяснить это моделью, которая интуитивно представляется резонной, я бы предложила (в качестве отправной точки обсуждения) следующее (неполное) толкование:

X — *gwyrdd*

в некоторых местах есть вещи, которые растут на земле
иногда на этом месте можно видеть воду (после дождя)
когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о
таких вещах

Указание на «влагу после дождя» напоминает, как мне кажется, свежую, блестящую растительность, более соответствующую области употребления слова *gwyrdd*, чем простая референция к «тому, что растет на земле». Здесь важна, однако, не столько влажная растительность, которая принята за исходную точку референции, как таковая, но, скорее, прототипическая ситуация: «что-то растет на земле, начинается дождь, все становится влажным и от влаги блестит». Весь сценарий воссоздает в сознании живую, естественную зелень, которую также пробуждают образы и фразы, связанные с культурой Уэльса («How green was my valley...» 'Как зелена была моя долина...'). Конечно, референциальные границы у *gwyrdd* «размыты» так же, как и у *green*; но разница в концептуальном представлении точек референциальной отнесенности предполагает, в каждом случае, различие в диапазоне употребления терминов.

Если ссылки на растительность в случае с *green* и на влажную растительность в случае с *gwyrdd* могут показаться надуманными, то и то, и другое легко подтверждается в случае со словом *latuy* на языке хануноо (Филиппины), описанном Конклином (Conklin 1964:191) как «светло-зеленый или смесь зеленого, желтого и светло-коричневого», цвет, «который наиболее явственно виден в их (хануноо) джунглях», и фокус которого находится рядом со «светло- или желто-зеленым».

Конклин показывает, что *latuy* очевидным образом связан и с растениями, и с влагой. Хануноо имеют четыре основных имени цвета, которые можно примерно определить как «темный / черный», «светлый/белый», «красный» и «зеленый / светло-зеленый». «Зеленый» противопоставлен «красному» по признаку свежесть vs. сухость.

Существует оппозиция сухости, или увядания, и влажности, или свежести (сочности), в предметах вокруг нас, и это отражается в терминах *rara*? [красный] и *latuy* соответственно. Это различие имеет большое значение в жизни растений. Почти все живые растения имеют свежие, сочные и, обычно, зеленые части. Есть сырую, неприготовленную пищу, в особенности свежие фрукты или овощи называется *pag-latuy-un* (*latuy*). Блестящая, влажная, окрашенная в коричневый цвет часть свежесрезанного бамбука называется *malatuy* (а не

marara?). Высохшие или зрелые (одеревеневшие) части растений, такие, как некоторые виды пожелтевшего бамбука или отвердевшая сердцевина зрелой или пересохшей кукурузы называются *marara*? (Conklin 1964: 191)

На основании комментариев Конклина я предлагаю следующее предварительное толкование:

X — *latuy*

в некоторых местах есть вещи, которые растут на земле
в этих вещах есть нечто, подобное воде
когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать
об этом

В этом случае, в противоположность валлийскому *gwyrdd*, сочность скорее, чем наружная влага, становится компонентом концептуальной модели. Я сомневаюсь в том, что «блестящая, влажная, окрашенная в коричневый цвет часть свежесрезанного бамбука» может быть названа *gwyrdd*. Интересно также заметить, что, хотя хануноо не имеют специального слова для «синего», их слово для «зеленого» на синее никак не распространяется. При этом темно-синее называется «черным», а светло-голубое — «белым». Связь между *latuy* и «сочными растениями», которую я предложила считать частью значения этого слова, согласуется с этим фактом.

Мне кажется, что замечательное описание хануноо, которое дал Конклин, совершенно явственно показывает, что цветные пластинки — это неподходящий метод для раскрытия значения имен цвета. Чтобы понять такие слова, как *latuy* или *rara*?, нужно понять концептуальные прототипы, с которыми эти слова соотносятся. Прототип *latuy* соотносится со свежими, сочными растениями, в то время как связь между краснотой и сухостью может быть объяснена, если предположить, что слово *rara*? соотносится в семантической структуре с огнем и горением. Каким образом цветные пластинки Манселла (Munsell) могли бы объяснить подобные факты?! А словесные объяснения могут.

Безусловно, можно сказать, что «влажность», которая предполагается словом *latuy*, — это отдельный семантический признак, который может быть ДОБАВЛЕН к описанию в терминах тона, яркости и насыщенности. Но свидетельства, представленные Конклином, показывают, что в сознании говорящих «влажность» или «сочность» — это НЕ независимый семантический признак: скорее, наоборот — это неотделимая часть одного и того же прототипа, который определяет тип зелени, связанный с этим словом (яркий, теплый, соч-

ный, зрелый, ближе к желтым и светло-коричневым, чем к синим цветам)¹⁰.

8. Голубой и синий (русские), blue (английское), niebieski (польское), aoi (японское), faa (тайское)

Во многих языках мира ближайшими эквивалентами английского слова *blue* служат слова, морфологически или этимологически связанные со словом для обозначения неба. Например, польское слово *niebieski* происходит от слова *niebo* 'небо', а латинское *caerulus* производно от *caelum* 'небо'. В таких словах предполагается явная ассоциация между концептом данного цвета и концептом 'небо'. Английское же слово *blue* или японское *aoi* не связаны со словами для названия неба, но (судя по ответам информантов) в этих языках также есть сильная ассоциативная связь между соответствующими словами и концептом 'небо': когда нужно дать примеры чего-нибудь, что можно было бы назвать *blue* или *aoi*, информанты неизменно вспоминают небо. Чтобы адекватно описать эти факты, я бы предложила не только для *niebieski*, но также и для *blue* и *aoi* следующий семантический компонент:

X — *blue/aoi/niebieski/caerulus*

в некоторые моменты на небе можно видеть солнце
когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о
небе в такие моменты

Однако, даже если такие слова, как *blue*, *aoi* или *niebieski* семантически связаны с концептом 'цвет', они не одинаковы по значению, потому что диапазон употребления — у каждого слова свой. Например, как говорилось ранее, *niebieski* относится только к светло- или средне-синим цветам, а не к очень темно-синим (которые по-английски все равно называются *blue*). Чтобы объяснить это, я припишу слову *blue*, но не слову *niebieski*, дополнительную референциальную отнесенность: это водные просторы, такие, как моря или озера. Это позволит противопоставить значение слов *niebieski* и *blue* следующим образом:

X — *niebieski*

(а) в некоторые моменты на небе можно видеть солнце
когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о
небе в такие моменты

X — blue

- (a) в некоторые моменты на небе можно видеть солнце
когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о
небе в такие моменты
- (b) в некоторых местах можно видеть массу воды
не потому, что люди в этих местах что-то делали
когда люди далеко от таких мест
они могут видеть эту воду
когда они видят что-то, подобное X-у, они могут подумать об
этом

Я отказалась от использования в толковании слова *blue* фразы «X как раз такой», потому что различаются цвет *blue* и специальный оттенок *sky-blue* 'небесно-голубой'. Тем не менее, я думаю, что неспецифицированная и более общая связь между *blue* и *sky* тоже имеется, и мой опрос некоторого числа информантов подтвердил это.

Я понимаю, что «лучший образец» *blue*, или фокусное *blue*, темнее, чем *sky-blue* 'небесно-голубой' и более «яркое», чем *blue* озер и морей. Его точный оттенок, скорее, может зависеть от некоторых особенностей человеческого перцептивного аппарата, чем от тех оттенков, которые чаще встречаются вокруг нас, таких, как у неба или воды. Но диапазон употребления у *blue* лингвоспецифичен и не может рассматриваться в чисто биологических терминах. С другой стороны, мы можем это описать, если предположим, что концепт *blue* все же имеет не такую структуру, как у *sky-blue* 'небесно-голубого', *apricot* 'абрикосового' или *pea* 'горохового', взятых в качестве имен цвета: структура *blue* не имеет конкретного образца, она только содержит элементы референциальной отнесенности.

В польском нет сочетания типа *sky-blue*, но в нем есть специальное прилагательное — *blekitny*, которое по преимуществу ассоциируется с небом. Соответственно, я не использую компонент «X как раз такой», а использую вместо этого более неопределенную формулировку: «можно подумать о».

Обратимся теперь к двум русским соответствиям английского *blue* — *синему* и *голубому*. Берлин и Кей (Berlin, Kay 1969:367) высказали некоторые сомнения относительно «основного» характера *голубого*, приведя свидетельства того, что для русских детей *голубой* менее значим, чем *синий* (Istomina 1963). Однако есть свидетельства в пользу того, что у испанских детей слово для *blue* менее значимо, чем слово для *yellow* 'желтый', а последнее, в свою очередь, менее значимо, чем слово для *green* 'зеленый' (ср. Harkness 1973); и все же эти слова считаются «основными». Более того, Фрумкина (1984:31) сообщает, что при изучении английского языка

русские неизменно бывают удивлены, когда узнают, что в английском есть только одно слово *blue*, которое соответствует и *голубому*, и *синему*. Это позволяет, как мне кажется, заключить, что они воспринимают оба слова, *синий* и *голубой*, как «основные». Она также замечает: «Некоторые информанты — образованные носители русского языка — не считают *серый* и *коричневый* основными, «поскольку их нет среди цветов радуги». Все уверены, однако, что *голубой* и *синий* там есть».

Я думаю, что семантическая связь между *голубой* и *синий* (а также между обоими этими словами и английским словом *blue*) может быть удовлетворительно описана, если мы покажем в толкованиях, что все три слова имеют референциальную соотнесенность с небом, но что только *голубой* прямо уподоблен небу, в то время как про *синий* нельзя сказать 'такой, как небо', хотя он может заставить думать о небе; между тем, английское *blue* не специфицировано в этом отношении и поэтому может обозначать и *небесно-голубые* и *не-небесно-голубые* оттенки небесно-морского диапазона. В добавление к этому в формулировках, приводимых ниже, *голубой* непосредственно связан с ясным дневным светом, а *синий* — с отсутствием света ясного дня.

X — голубой

- (a) в некоторые моменты на небе можно видеть солнце над головой
когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о
небе в такие моменты
- (b) X такой, как это небо
- (c) в некоторые моменты можно видеть многое
когда люди видят нечто, подобное X-у, они могут подумать о
таких моментах

X — синий

- (a) в некоторые моменты на небе можно видеть солнце
когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о
небе в такие моменты
- (b) X не такой, как это небо
- (c) в некоторые моменты нельзя увидеть очень много
когда люди видят нечто, подобное X-у, они могут подумать о
таких моментах

Следует отметить, что в толковании, которое приписано здесь *синему*, он не представлен как «темный цвет», хотя он и темнее, чем *голубой*. Чтобы это заметить, надо сравнить следующие два фрагмента толкования:

- (i) в некоторые моменты нельзя увидеть очень много
 (ii) в некоторые моменты можно увидеть очень мало

Необходимо именно (ii), а не (i), которое я приписала английскому слову *black*, а также другим цветам, осознаваемым как «темные». Но *синий* не осознается как «темный цвет»; и в этом смысле он отличается от польского слова *granatowy*, которое тоже значит 'dark-blue', но которое определенно ОСОЗНАЕТСЯ как темный цвет. То, что *синему* приписан компонент (i), а не (ii), объясняет эти различия.

Возвращаясь к японскому слову *aoi*, мы заметим, что в его диапазон входят не только те оттенки, которые по-английски называются *blue*, но также и те, которые по-английски называются *green*¹¹. Поэтому с помощью *aoi* определяется не только небо, но также и влажная трава и зеленый свет светофора. На самом деле японское *aoi* для обозначения зеленой травы и зеленого света светофора — это устоявшиеся метафоры (Такако Тода, устное сообщение). Например, когда учителя в Японии учат детей правилам дорожного движения, они говорят:

*Shingoo ga ao ni nattara,
 migi o mite, hidari o mite, watarimashoo.*

'Когда зажжется свет *aoi*, посмотрите направо
 посмотрите налево, а потом переходите улицу'

Когда требуется различить цвет неба и цвет травы, для травы используется другое цветное прилагательное — *midori*. Но когда нет необходимости в противопоставлении, *aoi* покрывает много «зеленых» оттенков (как, впрочем, и все «синие»). Интересно, однако, что «лучший образец» *aoi* расположен не в центре соответствующего места цветовой шкалы, а в ее «голубой» части: и на самом деле (в соответствии с показаниями моих информантов), он бесспорно связан с небом, *sora* (*aoi sora*).

Чтобы охватить эти факты, следует, как мне кажется, предложить для *aoi* скорее два элемента референциальной соотношенности, чем один (грубо говоря, небо и траву, или, в более общем виде, то, что растет на земле); а также предположить, что одна из этих моделей (небесная) более важна, чем другая.

Следует также отметить, что когда *aoi* относится к предметам, которые по-английски называются скорее *green*, чем *blue*, оно называет по преимуществу временные признаки, а не постоянные свойства. Так, когда говорят о траве или о деревьях, называя их *aoi* (а не *midori*), информанты находят

нужным включить в референциальную отнесенность этого слова обозначаемое им временное состояние (после дождя). Например, им очень нравится, когда говорят, что после дождя трава кажется очень *aoi*, но не что трава ЯВЛЯЕТСЯ *aoi*. Существуют также и ограничения на употребление *aoi* в качестве определения: можно сказать *aoi sora* 'синее небо' или *aoi umi* 'синее море', но не **aoi kusa* 'aoi трава' или **aoi ki* 'aoi дерево', хотя *aoi* можно прекрасно использовать в качестве сказуемого для описания временного свойства деревьев или травы, например:

Ame no ato, ki ga ao ao to shite iru
 'После дождя деревья (кажутся) очень зеленые'

Редупликация *ao ao* подчеркивает яркий и свежий вид деревьев после дождя. Интересно, что *midori* так не используется:

?*Ame no ato, ki ga midori midori to shite iru.*

С другой стороны *midori* можно использовать как определение слова *ki* 'дерево' или *kusa* 'травя': ср. *midori no ki* и ?*aoi ki*. Очевидно, что *midori* рассматривается как постоянное свойство деревьев, в то время как *aoi* относится к временному состоянию или к временному зрительному впечатлению.

Интересно также заметить, что *aoi* легко приложимо к «подвижным мишеням», таким, как «зеленые» огни светофора. С другой стороны (постоянно) зеленый джемпер или книжка в зеленой обложке будут описаны как *midori*, а не *aoi*. Все эти факты указывают на связь между *aoi*-ностью и непостоянством свойства, возможной переменной.

Важно также заметить, что море, *umi*, обычно описывается по-японски как *aoi*; и действительно, что по сравнению с небом может быть зрительно более непостоянным, чем океан? И на самом деле, как показывают мои информанты, океан скорее, чем трава или растения вообще, служит наилучшим образцом цвета *aoi*: после словосочетания *aoi sora* 'синее небо' первым в связи со словом *aoi* на ум приходит сочетание *aoi umi* 'синее/зеленое море'. Поскольку море может казаться в разные моменты то синим, то зеленым, употребление слова *aoi* будет лучше описано в терминах трехкомпонентной модели, основанной на небе (первая точка референциальной отнесенности), море (вторая точка референциальной отнесенности) и растительном мире (третья точка референциальной отнесенности); и это решение согласуется с ответами

информантов. Следуя этой линии в рассуждениях, мы могли бы предложить следующее (пока неполное) толкование:

X — *aoi*

- (а) в некоторые моменты на небе можно видеть солнце когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о небе в такие моменты
- (б) в некоторых местах можно видеть массу воды не потому, что люди в этих местах что-то делали когда люди далеко от таких мест они могут видеть эту воду когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о таких местах
- (с) в некоторых местах есть вещи, которые растут на земле в некоторые моменты в этих местах есть вода когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о таких местах в такие моменты

И наконец рассмотрим кратко ситуацию в тайском языке, хорошо описанную в работе Diller, Juntanamalaga (в печати). В «простонародном» (провинциальном) тайском имеется только четыре основных имени цвета с фокусами, соответственно, в белой, черной, красной и зеленой зонах. Между тем, в «высоком» (городском) тайском есть еще два термина для «blue»: *faa* (буквально — 'небо') и *nam-nep* (буквально — 'тускло-серебряный'). Первый относится только к очень светло-голубым ('небесно-голубому' или даже еще светлее), в то время как последний обозначает, по преимуществу, темно-синий цвет тайского флага. То, что в английском считается фокусным *blue*, — это слишком темный цвет, чтобы называться *faa* и слишком светлый для того, чтобы называться *nam-nep*, и информанты считают его оттенком, который очень трудно назвать, хотя, если оказать на них давление, они называют его *faa-kee* (буквально — 'темное небо' или 'темно-небесный'). Имеется, таким образом, и «ничейная полоса» между двумя синими цветами, и, что особенно замечательно, как раз эта «ничейная земля» и соответствует фокусному *blue*, который определяется в терминах универсальной человеческой нейрофизиологии.

Мне кажется, что этот факт указывает на непреодолимый разрыв, который существует между нейрофизиологией и значением. Действительно, у тайцев отсутствует не категория восприятия, а концептуальная категория. Предположительно, рано или поздно у них может развиться подобная категория по типу английского *blue*, польского *niebieski* или японского *aoi*, либо еще как-то иначе. Представляется, правда, наиболее вероятным, что развитие пойдет по пути, близком к

русскому, где есть два «основных» цветообозначения для «blue». В любом случае, мы не можем предсказать точные очертания будущей категории на основании прошлых или будущих открытий в хроматологии или нейрофизиологии.

Далее, ситуация в тайском языке расходится с общей типологией образования цветовых категорий, предложенной Рош (Rosch Heider 1975:184): «Существуют перцептивно отмеченные цвета, которые в первую очередь привлекают внимание и скорее запоминаются, чем другие цвета. При выучивании названий цветов имеется тенденция выделять в первую очередь наиболее существенные стимулы, и только потом обобщать полученные знания на другие, с психической точки зрения близкие сущности. Это значит, что естественные цветовые прототипы становятся фокусами при формировании соответствующих категорий».

Но в тайском (как и во многих других языках) «естественным прототипом» для категории синих цветов служит небо; а этот «естественный прототип» отличается от того «синего» цвета, который является перцептивно наиболее существенным и который, вероятно, станет фокусом еще не рожденной основной категории «синего» цвета. Чтобы эта категория возникла, фокусные, наиболее перцептивно значимые «синие» должны быть концептуально связаны с некоторой значимой точкой референциальной отнесенности в личном опыте говорящих — такой, например, как мысль о небе в солнечный день.

9. Красный и желтый

Ближайшим эквивалентом английского слова *red* во многих языках служит слово, этимологически восходящее к названию крови; оно может быть представлено, однако, и другими образцами, например, различными минералами (скажем, красной охрой) или другими веществами, из которых получают пигменты и красители. Польское слово *czzerwony* на синхронном уровне уже не анализируется, но предполагается, что оно происходит от названия красного червя, *czerv* (Brückner 1957). Английское слово *red* тоже не мотивировано. Тем не менее вероятно, что и здесь можно найти какие-нибудь общие связи, которые смогут объединить англоязычных говорящих как носителей некоторой определенной концептуализации для рассматриваемой категории.

В моей более ранней работе (Wierzbicka 1980:43) я предположила, что *red* может быть связано с концептом «кровь» и предложила следующее толкование:

red — цвет, осознаваемый как цвет крови

Дальнейшая работа с информантами, так же, как и исследование методом интроспекции моего собственного концепта цвета *czerwony* (эти исследования стимулировались возражениями других лингвистов), заставили меня поставить под вопрос адекватность такого толкования. Но если мы не определим *red* через кровь или определим не в точности через кровь, то как еще представить это понятие?

Пытаясь подойти к этой проблеме под другим углом зрения, я возьму в качестве исходной точки предложение Маннинга (Manning 1989), который считает, что *red* — это «насыщенный, теплый цвет». Слова «насыщенный» и «теплый» употребляются здесь метафорически, но мне кажется, что эти метафоры дают ключ к значению *red*. Из четырех «основных цветовых категорий», обозначенных в английском словами *red, yellow, green* и *blue*, две — *red* и *yellow* — осознаются обычно как «теплые цвета». Почему? Что скрыто в понятии «теплый цвет» и почему «тепло» ассоциируется с *красным* и *желтым* скорее, чем с *зеленым* и *синим*?

Ответ очевиден: *желтый* осознается как «теплый», потому что ассоциируется с солнцем, в то время как *красный* осознается как «теплый», потому что ассоциируется с огнем. Отсюда, видимо, можно заключить, что, хотя мы не обязательно представляем себе цвет огня как *красный*, тем не менее *красный* цвет у нас ассоциируется с огнем. Аналогично, мы не обязательно считаем цвет солнца *желтым*, но все-таки думаем о *желтом* (на некотором уровне нашего сознания или подсознания) как о «солнечном цвете». Похоже, что ассоциация между *красным* и огнем, а также между *желтым* и солнцем находится глубже в сознании говорящих, чем ассоциация между *голубым* и небом или *зеленым* и тем, что растет на земле. Но не так уж трудно выгадать эти связи из глубин нашего сознания на поверхность.

Я спрашивала некоторых информантов о том, какого цвета, по их мнению, огонь, и получила ответ: *оранжевый*. Но когда я спрашивала информантов, о каком цвете их побуждает ДУМАТЬ огонь, то многие из них отвечали: о *красном*. Я думаю, что причина в том, что, если спросить человека о цвете огня, он подумает о *пламени*; но, если спросить, «о чем его побуждает думать огонь», он задумается обо *всей*

ситуации с огнем целиком, а она уже включает в себя и *красные* светящиеся угли.

Ассоциация между огнем и *красным* подкрепляется существованием таких выражений, как *red-hot* 'раскаленный докрасна', *red coals* 'красные угли' или *fiery red* 'огненно-красный' (ср. также название наиболее распространенных в Австралии спичек: *Redheads* 'Красноголовки'). В других европейских языках имеются аналогичные рефлексы такой связи. Например, в польском выражение *czerwony kur*, буквально — 'красный петух', служит синонимом огня. Стоит также отметить, что пожарные насосы и другие принадлежности пожарных команд выкрашены красной краской, что огнетушители красят в *красный* цвет и что *красный* цвет обычно используется как знак предупреждения об опасности (например, в системе огня светофора). Можно предположить, что все эти факты отражают привычную связь между огнем и *красным* цветом.

Также имеет смысл вспомнить рассуждения Сводеша (Swadesh 1972: 204) о возможных этимологических связях между *red* и латинским *ardere* 'гореть' (а кроме того, между *light* 'свет' и латинским *albus* 'белый')¹².

Тот факт, что мы часто воспринимаем цвет огня скорее как *оранжевый* или *желтый*, чем как *красный*, не опровергает концептуальной связи между огнем и *красным* цветом. Верно, «что четыре цвета — *красный*, *желтый*, *зеленый* и *синий*, ... нейрофизиологически 'запрограммированы' в человеке» (Witkovsky, Brown 1978: 442), однако для решения задач, связанных с концептуализацией и коммуникацией, эти нейрофизиологические категории должны быть спроецированы на соответствующие аналогичные в человеческой деятельности. Для *синего* и *зеленого* выбор таких аналогов очевиден: это — небо и растительность. Естественная референциальная отнесенность для *желтого* — это солнце (и то, что на детских рисунках солнце неизменно *желтого* цвета, отражает эту связь)¹³. Для *красного*, правда, в окружающем нас мире нет постоянного образца. Хотя всегда остается постоянный образец некоей модели опыта — *кровь*, большинство людей не сталкиваются с *красной* столь же часто, как с *небом*, *солнцем* или *растениями*, и во всяком случае, *кровь* не столь привычна человеческому зрению, как *огонь*. Поэтому естественно, что во многих культурах, а возможно, и в большинстве культур в добавление к «локальным» ассоциациям, таким, как ассоциация с *красной охрой*, еще более глубинная связь должна быть установлена между «*красным*» и его ближайшим аналогом в человеческой среде, который одновременно культурно и зрительно существует и экзистенциально значим, — *огнем*.

Факт, что мы находим следы такой концептуальной связи даже в английском языке, дает решающее подтверждение нашему предположению.

Эти соображения приводят нас к следующему (пока не окончательно) толкованию:

X — красный
 когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать об огне
 когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о крови

X — желтый
 когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о солнце

Дальнейшее различие между *красным* и *желтым* состоит в том, что *желтый* осознается как светлый цвет, в то время как *красный* не осознается ни как светлый, ни как темный. Поскольку мы уже эксплицитовали понятие светлого цвета, мы можем использовать это в более полном толковании концепта *желтый*:

X — желтый
 когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о солнце
 в некоторые моменты можно увидеть многое
 когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать об этом

«Насыщенные» цвета — «глубокие», но не темные; они смотрятся, как если бы «в них было много цвета», то есть как если бы краска была положена густо. Они не могут быть светлыми, потому что светлые цвета выглядят так, как если бы «в них было мало цвета», то есть как если бы краску разводили, делая ее жидкой. С другой стороны, *красный* — это, безусловно, яркий цвет, то есть такой, который сразу бросается в глаза. Тогда, если мы решим, что *красный* — это «насыщенный цвет», а также «теплый цвет», а также и «яркий цвет», мы должны будем получить следующее предварительное толкование:

X — красный
 когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать об огне
 когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о крови
 предметы, подобные X-у, можно видеть даже в такие моменты, когда другие предметы увидеть нельзя

С другой стороны, для двух венгерских слов, обозначающих красный цвет, — *vörös* 'темно-красный' и *piros* 'светло-красный' — следует постулировать дополнительные компоненты толкования:

X — piros
 когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать об огне
 когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о крови
 в некоторые моменты можно увидеть многое
 когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать об этом

X — vörös
 когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать об огне
 когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать о крови
 в некоторые моменты можно увидеть очень мало
 когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать о таких моментах

Здесь мы попытались представить толкования двух венгерских слов для обозначения красного цвета аналогично толкованиям двух русских слов, соответствующих *blue*.

10. «Макро-белый» и «макро-черный»

Под влиянием результатов, полученных Берлином и Кеем (Berlin, Kay 1969), распространилось мнение о том, что концепты «белый» и «черный» — это, в некотором смысле, универсальные лексемы. Сами Берлин и Кей формулируют эту мысль следующим образом: «1. Во всех языках есть слова для белого и черного. 2. Если в языке есть три названия цвета, то в нем есть название для красного». Высказывания подобного типа кажутся вполне законными как неформальная, краткая форма ссылки на некие научные обобщения, которые содержатся где-то в другом месте. Однако, к сожалению, такие неформальные и сжатые формулировки привели к тому, что многие ученые стали думать, что, если в языке только два основных названия цвета, мы заранее знаем значение этих слов: «они должны значить 'черный' и 'белый'».

Это, конечно, неверно. Если в языке есть только два названия цвета, которые разделяют все цвета, воспринимаемые глазом говорящих на данном языке, эти слова, естественно,

не могут значить то же самое, что значат слова *белый* и *черный*. Но что же тогда они все-таки ЗНАЧАТ? Что, например, значат слова на языке гиджингали *-gungaltja* и *-gungundja*, которые мы обсуждали выше?

Одно из предположений, которое иногда делается, состоит в том, что такие слова значат «светлый» и «темный» соответственно. Но это тоже не может быть верно, поскольку слово, которое предположительно значит «светлый», включает в спектр своих значений красный. Например, то, что в языке гиджингали цвет, соответствующий *белому*, обозначает также очень насыщенный, средне-светлый цвет, заставляет предположить, что в данном случае контраст между светлым и темным, то есть, в конечном счете, между днем и ночью не может быть основан на какой-то единственной модели. И, поскольку объединение в один класс светлых цветов и красного оказывается, скорее, правилом, чем исключением (ср. примеры в работах Rosch Heider 1972a; Turner 1966; Conklin 1973), следует отвергнуть упрощенную модель, в которой противопоставлены «светлый» и «темный», и предложить какую-нибудь другую.

В связи с этим некоторые ученые считают, что выделенные ранее категории «светлого» и «темного» должны быть заменены сложными: «светлый теплый» vs. «темный холодный» (например, Rosch Heider 1972a), и именно таким образом сейчас часто интерпретируют языки «первой ступени развития».

Но такая резонная с виду переинтерпретация тоже приводит к серьезным трудностям. Ибо какие у нас есть свидетельства того, что языки первой ступени, как, например, дани или гиджингали, действительно имеют понятие «теплого» цвета? В английском хотя бы имеется выражение «warm colors» 'теплые цвета', но в гиджингали и в дани единственным имеющимся свидетельством служит тот факт, который мы и пытаемся объяснить, а именно: говорящие на таких языках объединяют в один класс цвета, которые МЫ (то есть говорящие по-английски) считаем «теплыми». Говорящему на дани или гиджингали идея «теплого» или «холодного» цветов так же чужда, как и волновая теория света. Соответственно, выражения «теплый цвет» и «холодный цвет» могут помочь НАМ идентифицировать классы, различающиеся говорящими на этих языках, но они ничего не сообщают нам о значении рассматриваемых названий цвета — о том, что имеют в виду говорящие, когда их используют.

Мне кажется, тот факт, что в языках обычно (но не всегда) красный связывается со светлым скорее, чем с темным, заставляет предположить, что такой тип категоризации

должен иметь какое-то объяснение с точки зрения человеческого опыта. Моя гипотеза состоит в том, что объяснение следует искать в естественной ассоциации с огнем и солнцем, которые связаны для человека с теплом и светом: ведь даже в том случае, если солнце рассматривается прежде всего как источник тепла, оно должно восприниматься и как источник света, и наоборот.

Естественная связь между огнем и солнцем (которая косвенно отражена в понятии «теплого цвета» в применении и к желтому, и к красному) может также объяснить различие в том, как языки, которые имеют только два основных цветообозначения, трактуют красный цвет. Если в языке различаются светлые цвета с одной стороны, и темные и средние — с другой, можно ожидать, что красный попадет в последний класс, и иногда так действительно и бывает (например, в папуасском языке джале, см. Berlin, Kay 1969: 23). Однако в других языках (например, в гиджингали) красный безоговорочно попадает в класс очень светлых цветов. Мне кажется, что объяснять это следует через связь между огнем и солнцем. То, что фольга показала информанту гиджингали «лучшим образцом» рассматриваемой категории (так сказать, *gungungaltja* номер один), дает основания полагать, что в этом языке идея солнечного света особенно важна для концептуализации, заключенной в этой категории: сияющие, блестящие, яркие предметы напоминают то, что лежит на солнце (и, возможно, отражает солнечный свет).

Тот факт, что в некоторых языках, например, в папуасском языке дани, даже глубокие, темные красные тона попадают в один класс со светлыми цветами и говорящие на этом языке могут допустить, что темно-красный и будет «лучшим образцом» рассматриваемой категории, согласуется с идеей о том, что и концепт солнца, и концепт огня могут играть свою роль в концептуализации, так сказать, «макро-белого». По-видимому, в языке дани центральную роль в концептуализации «макро-белого» играет не дневной и не солнечный свет, а огонь — и, возможно, даже не огонь, а горящие головешки. Если признать, что универсальный человеческий опыт предполагает несколько потенциальных фокусов, связанных между собой, но не равных друг другу (дневной свет — солнечный свет — огонь — горящие угли) и что каждому из этих потенциальных фокусов может быть дан приоритет в концептуализациях какой-либо определенной культуры, станет понятным межъязыковое разнообразие в поведении «макро-белого цвета».

Во всяком случае, понятно, что различие между разными концептами внутри «макро-белого» требует весьма тщатель-

ных и дифференцированных толкований, и что два соответствующие друг другу цветообозначения в таких языках, как джале, гиджингали или дани, не могут быть семантически приравнены друг к другу, так же, как они не могут быть семантически отождествлены с английскими словами *black* 'черный' и *white* 'белый', или *dark* 'темный' и *light* 'светлый'. Ссылки на нейрофизиологию зрения здесь не помогут, потому что она, по-видимому, едина для всех людей.

Теперь же я попытаюсь сконструировать несколько толкований в надежде, что они послужат отправной точкой для последующей конструктивной дискуссии.

Начать можно с двух названий цвета, исследованных Рош (Rosch Heider 1972a) в языке дани; здесь, как сообщает Рош, «фокусные точки (лучшие образцы) слов *mili* и *mola* — это не 'черный' и 'белый'... Образцы *mili* расположены среди самых темных зеленых и синих тонов. *Mola*, однако, как выясняется, имеет два фокуса: наиболее обычный — это темно-красный, и менее обычный — бледно-розовый» (Rosch Heider 1972a: 451). Очень важно также следующее, и надо быть очень благодарным автору за то, что она выразила это в недвусмысленных терминах: «После того, как каждый из информантов указал на образец цветов *mili* и *mola*, я спросила их, уверены ли они в том, что этот образец был лучше, чем абсолютно черные или абсолютно белые пластинки, которые тоже имелись в распоряжении: информанты уверенно настаивали на своем» (там же).

На основании материалов Рош можно предложить следующее толкование для *mola*:

X — mola

- когда люди видят что-то, подобное X-у, они могут подумать об огне
- в некоторые моменты можно увидеть многое
- когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать об этом
- в некоторые моменты можно увидеть солнце
- когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать о таких моментах

Такое толкование учитывает тот факт, что *mola*, как на это указывает Рош, включает в себя светлые и «теплые» цвета. В отличие от толкования слова *красный*, данное толкование не включает референциальной отнесенности к крови; оно, правда, включает ссылку на огонь и поэтому объясняет, или, по крайней мере, согласуется, с тем, что многие информанты «лучшим образцом» для *mola* считают красный. Но, правда, это не согласуется с тем, что некоторые из инфор-

мантов «лучшим образцом» класса считают скорее бледно-розовый, чем красный. Последнее, впрочем, можно объяснить в терминах развития системы цветообозначений (те информанты, которые выбирали бледно-розовый, продвинулись, вероятно, от системы с двумя к системе с тремя основными цветами).

Что касается слова *mili*, противоположного по значению слову *mola*, можно заметить, что оно включает и темные, и «холодные» цвета, а его фокус находится «среди самых темных синих и зеленых». Такое определение предполагает, что рассматриваемое понятие имеет в существенной степени негативный характер и связано с отсутствием света и отсутствием солнца.

X — mili

- в некоторые моменты можно увидеть очень немного
- когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать о таких моментах
- в некоторые моменты солнца не видно
- когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать об этом
- когда люди видят некоторые предметы, они могут подумать об огне
- X — не такой

Возвращаясь к терминам из гиджингали — *-gungaltja* и *-gungundja*, можно заметить, что они противопоставляют блестящие, сверкающие цвета темным и тусклым и что ярко-красный попадает в первую группу. Чтобы учесть эти факты, я бы предложила следующее толкование для *-gungaltja*:

X — -gungaltja

- (a) в некоторые моменты можно увидеть многое
- когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать об этом
- (b) в некоторые моменты в некоторых местах предметы находятся на солнце
- когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать о таких предметах
- (c) когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать об огне

Первый компонент (a) толкования совпадает с первым компонентом толкования слова *светлый*; компонент (b) отражает связь слова *-gungaltja* с «блеском»; а компонент (c) отражает связь *-gungaltja* с красным.

Что касается возможного значения термина *-gungundja* — 'темный/тусклый', то здесь у нас еще меньше материала для

размышлений, потому что неизвестно, что считается его «лучшим образом». Возможно, в его толкование следует включить, по крайней мере, следующие компоненты:

X — *-gungundja*

- (a) в некоторые моменты можно увидеть очень небольшое количество людей, видящих предметы, подобные X-у, они могут подумать об этом
- (b) в некоторые моменты в некоторых местах предметы не находятся на солнце
- когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать о таких предметах

Существование «макро-белых» и «макро-черных» цветов в начале эволюции системы цветообозначений не может, как мне кажется, быть объяснено ни в терминах физики, ни в терминах нейрофизиологии зрения. «Черный» и «белый» действительно противопоставлены друг другу в терминах физических свойств света и «психофизических свойств» зрения, но, как кажется, фундаментальное противопоставление «светлых или теплых» цветов «темным или холодным» не поддается аналогичному объяснению. Оно может быть, впрочем, объяснено, если мы примем на веру выводы Сводеша (Swadesh 1972: 205), который помещает огонь и свет в основание человеческой концептуализации цветообозначений. Предположение о важности огня в человеческой жизни и его перцептивной значимости, которая выводится не только из цвета огня, но также и из движения языков пламени и, кроме того, из блеска и свечения, представляется мне интуитивно вполне основательным.

Связь «макро-белого» со светом, солнцем и огнем (по всем основаниям, включая блеск и свечение) привлекает наше внимание к тому факту, что, вопреки общепринятому мнению, «цвет» — это не универсальное человеческое понятие, и не только потому, что есть много языков, не имеющих слова для «цвета», но также и потому, что в языках типа гиджингали, где есть только два «основных цветообозначения», рассматриваемые «имена цвета» на самом деле служат не «именами цвета», но общим описанием внешнего вида воспринимаемой глазом действительности или возникающего зрительного впечатления.

Витковский и Браун (Witkowski, Brown 1978: 441) высказывают мнение о том, что, если в первичных макро-классах красный попадет в один класс с желтым, зеленым и синим, это «дает основание полагать, что признак изменения длины волны ... важен для человеческой цветовой категоризации. Только связанные друг с другом первичные цвета, или, дру-

гими словами, соседние в смысле упорядочения по длине волны, комбинируются в классы».

Но это не объясняет того, почему желто-зеленый — это очень редкая (хотя и засвидетельствованная) категория. Не объясняет это также и того, почему темные цвета всегда объединяются с зеленым и синим, а светлые — с желтым и красным. Эти факты Витковский и Браун тоже пытаются объяснить, и делают это в терминах «сцепления» (wiring) (1978:442). «Сцепление также лежит в основании объединения в пары теплых тонов с белыми и холодных с черными соответственно в класс макро-белых и макро-черных. Обратные сочетания, теплые-темные и холодные-светлые, не зафиксированы. Но это вызывает новый вопрос, так же, как это происходит с «Механизмами усвоения языка» у Хомского («Language Acquisition Device»), которые тоже возникли, как *deus ex machina*, когда нельзя было дать никаких независимых объяснений лингвистическим фактам (см., например, Chomsky 1972).

Я думаю, что предположение о связи света, солнца и огня дает лучшее объяснение наблюдаемым закономерностям, чем простая ссылка на вышеупомянутое «сцепление».

11. «Макро-красный» и «grue»

В тех языках, где есть только три основных цветообозначения, возникает также противопоставление «цветных» (хроматических) зрительных ощущений и «не-цветных» (ахроматических). Как правило, «цветной» цвет имеет фокус на «красном», который стал для человека наиболее значимым (Bornstein et al. 1976). В то же время это «теплый» цвет, т. е. такой, который противопоставлен не только светлым и темным цветам, но светлым с одной стороны, и темным-холодным, или тускло-холодным, — с другой (ср. Kay, McDaniel 1978:640). Это значит в действительности, что «макро-красный», хоть и фокусируется на красном, включает в себя не только красный, но также желтый и оранжевый, и что он ассоциируется с «яркостью».

Что могло бы стать концептуальным аналогом цветовой категории, которую интуитивно называют «теплым цветом» и которая имеет следующие свойства: этот цвет — живой (цветной), бросается в глаза и днем, и ночью (и поэтому воспринимается как наиболее отличный и от «светлых», и от «темных» цветов), яркий (светящийся), имеет фокус на красном, но включает в себя также желтый и оранжевый?

Ответ кажется ясным: рассматриваемый концепт должен иметь в качестве точки референциальной отнесенности огонь. Это приводит нас к следующему типу толкования:

- X — 'макро-красный'
 предметы, подобные X-у, легко увидеть
 (то есть можно увидеть предметы, подобные X-у, тогда, когда другие предметы увидеть нельзя)
 когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать об огне
 в некоторые моменты, когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать о солнце

Двигаясь от «макро-красных» к следующей ступени процесса эволюции, мы замечаем, что «во многих языках мира есть одно из основных имен цвета, которое означает *grue*» (Kay, McDaniel 1978: 630). Но что значит *grue*?

Для многих пишущих на данную тему первый (и часто последний) ответ, который приходит в голову, состоит в том, что *grue* значит «холодный». Но туманные метафоры, вроде «холодный», не дают удовлетворительного объяснения значения, хотя и намекают на него. Мы, таким образом, должны задать следующий вопрос: а что значит «холодный»? Раз задан этот вопрос, ответ найти нетрудно: «холодный» (в применении к цветам) значит, по преимуществу, «не-теплый», и, поскольку «теплый» имеет смысл только как не-прямая ссылка на огонь и/или солнце, то «холодный» должен обозначать цвет, который — будучи даже ярким и хорошо заметным («цветным») — не наводит на мысль об огне или солнце.

Но это еще не все. Наиболее удивительная черта *grue* состоит в том, что, хотя он распространяется и на синие, и на зеленые предметы, «фокусные образцы *grue* часто оказываются двузначными, так как их выбирают и из фокусной синей, и из фокусной зеленой зон. Но *grue* никогда не оказывается в промежуточной сине-зеленой зоне» (Kay, McDaniel, 1978:630). Это чрезвычайно интригующее открытие, которое требует объяснения. Кей и Мак-Даниэл полагают, что у них оно имеется: «То, что в качестве фокуса нельзя выбрать точки в промежуточной зоне, служит сильным свидетельством в пользу того, что эти цвета имеют низкие значения в смысле вероятности оказаться цветами *grue* и что структура включения в зону *grue* должна анализироваться как размытое множество» (там же).

Но как «анализ размытого множества» может объяснить тот факт, что «лучший» образец *grue* (то есть «холодного» цвета) выбирается либо из фокусного синего, либо из фо-

кусного зеленого, в то время как «лучший» образец «макро-красного» (то есть «теплого» цвета) не является так же бифокальным и всегда фокусируется на «красном»? Конечно, можно СМОДЕЛИРОВАТЬ бифокальную структуру цвета *grue* в терминах «анализа размытого множества», но я не вижу, как это можно таким способом ОБЪЯСНИТЬ.

Мне кажется, что и бифокальный характер *grue*, и «однофокусный» характер «макро-красного» могут быть объяснены на основании гипотезы о том, что *grue* в некотором смысле определяется отрицательно как «не-теплый» цвет, в то время как «макро-красный» определяется положительно как «теплый». Концепт «теплого» цвета соотносится с моделью позитивного опыта: с огнем. Концепт «не-теплого» цвета определяется как противочлен этой модели. И только в добавление к этому контрастивному ядру рассматриваются две позитивные модели: это, безусловно, небо и растительность. Возможно, следует предположить, что *grue* имеет в качестве положительной точки референции естественные «водные пространства», то есть озера, реки и моря, которые могут казаться синими, зелеными или сине-зелеными. Это, однако, не объясняет бифокального характера цветов *grue*; в то время как гипотеза о том, что концептуализация этих цветов предполагает референцию с небом и растительностью, это объясняет.

Эти соображения привели нас к следующему толкованию *grue* (как они понимаются информантами, для которых его фокус находится, скорее, в синей, чем в зеленой зоне):

- X — 'grue (синий)'
 (а) когда люди видят некоторые предметы, они могут подумать об огне
 X не такой
 (b) когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать о небе
 (с) в некоторых местах есть вещи, которые растут на земле
 иногда, когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать об этом

Для тех, у кого *зеленый*, скорее, чем *синий*, служит лучшим образцом *grue*, следует поставить компоненты, относящиеся к небу, после компонентов, относящихся к растительности, и включить слово «иногда» в компонент, относящийся к небу:

- X — 'grue (зеленый)'
 (а) когда люди видят некоторые предметы, они могут подумать об огне
 X не такой

- (b) в некоторых местах предметы растут на земле когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать об этом
- (c) иногда, когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать о небе

Следует заметить, что для «макро-красного» тоже были выделены две положительные точки референции: это огонь и солнце; но связь между этими двумя моделями отлична от той, которая имеется между небом и растительностью. В-первых, можно предположить, что огонь визуально более значим, чем солнце, в то время как небо и растительность, предположительно, имеют одинаковый уровень значимости. В-вторых, огонь сам по себе может казаться желтым, оранжевым и красным, и поэтому он не противопоставлен солнцу как что-то не-желтое чему-то желтому. И по цвету, и по свечению огонь может служить единой моделью всех «макро-красных» цветов, несмотря на то, что его фокус приходится, скорее, на красный цвет, чем на оранжевый или желтый. Но ни небо, ни растительность не могут рассматриваться как единая модель всех вариантов *grue*. Поэтому *grue* — бифокальный, а «макро-красный» — однофокусный. Но *grue* может быть бифокальным также и потому, что рассматриваемая категория организуется различными способами: в связи с ее «холодным», «не-теплым», характером, то есть, грубо говоря, в связи с отсутствием «ассоциации с огнем». И с другой стороны, «макро-красные» цвета (которые как категория возникли раньше цветов *grue*) не определяются в оппозиции к *grue*, т. е. соответствующая им концептуализация не строится на понятии «не-холодные» цвета. Они, скорее, определяются на основе референции с единой положительной моделью — с огнем. Есть и вторая позитивная модель (солнце), которая играет второстепенную роль и которая в любом случае может рассматриваться как подобная первой в терминах двух позитивных свойств: заметности (способности сразу бросаться в глаза) и тепла. И наоборот, две модели для свойства «*grue*-ности» могут быть объединены только на негативной основе как отличные от «теплых цветов», то есть от «огненных» и «солнечных» «макро-красных».

12. Названия «смешанных» цветов

Как говорят физики, есть только три первичных цвета: красный, зеленый и синий. «Белый может быть получен, если смешать зеленый и красный» (World of Science: 163). Но, не-

сомненно, неискушенные люди воспринимают цвета совсем не так.

Физиологи говорят, что наименьшее число названий цвета, с помощью которых мы можем описать наш опыт цвето-восприятия, — это не три, а шесть. «Если предельно минимизировать количество имен цвета, окажется, что мы можем описать все известные цвета, используя только шесть терминов и их различные комбинации. Это красный, желтый, зеленый и синий — четыре ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЦВЕТА, и черный и белый — две крайние точки шкалы монохромных оттенков. Все другие имена цвета, ... могут быть описаны путем соотношения с этими шестью или их комбинациями» (Hurvich 1981:3).

Я думаю, что значения названий цвета в языках с развитым цветовым лексиконом (таких, как английский) хорошо согласуется с утверждением, приведенным выше: за пределами первых шести цветов в последовательности Берлина и Кея пять других (или, во всяком случае, большинство оставшихся) концептуализуются, на некотором уровне, как «смеси». Очень грубо:

оранжевый = желтый + красный
 розовый = красный + белый
 фиолетовый = синий + красный
 серый = черный + белый

Это не значит, что мы не рассматриваем *оранжевый*, *розовый*, *фиолетовый*, *серый* как «элементарные» цвета. Мы именно это и имеем в виду и как раз поэтому считаем их «основными названиями цвета» в английском. Но на некотором уровне нашего лингвистического сознания мы также можем связать каждое из них с двумя другими цветовыми концептами, как показано в формулах, приведенных выше.

Для *розового* и *серого* их «смешанная» природа определяется на относительно неглубоком уровне нашего лингвистического сознания. Для других, в особенности для *фиолетового*, это лежит в глубине и с большим трудом осознается при интроспекции. Но, как показал Херинг (Hering 1920), оно МОЖЕТ быть выявлено. Совершенно не зная исследования Херинга, я в своей ранней работе (Wierzbicka 1980:43) предложила определения, которые подошли очень близко к его анализу. Используя формат толкований, принятый в данной работе, я перифразирую эти толкования следующим образом:

X — оранжевый

о предметах, подобных X-у, можно подумать: они похожи на что-то желтое

в то же самое время можно подумать: они похожи на что-то красное

X — розовый

о предметах, подобных X-у, можно подумать: они похожи на что-то красное

в то же самое время можно подумать: они похожи на что-то белое

X — серый

о предметах, подобных X-у, можно подумать: они похожи на что-то черное

в то же самое время можно подумать: они похожи на что-то белое

X — фиолетовый

о предметах, подобных X-у, можно подумать: они похожи на что-то синее

в то же самое время можно подумать: они похожи на что-то красное

Вообще говоря, может показаться, что «смешанные цвета» — это способ пополнения множества «основных» цветообозначений. Об этом свидетельствует состоящий из четырех цветовых концептов («серый», «розовый», «оранжевый» и «фиолетовый») заклочительный блок в последовательности из одиннадцати цветов, которую предложили Берлин и Кей. Это также подтверждается существованием таких концептов, как польский двенадцатый «основной» цвет *granatowy*, который очевидным образом разлагается на, грубо говоря, «синий» и «черный»; или польские «полуосновные» имена цвета *bezowy* ('бежевый', т. е. 'коричневый' + 'белый'), *kremowy* ('кремовый', т. е. 'белый' + 'желтый') и *bordowy* ('бордовый, каштановый', т. е. 'красный' + 'черный').

Важно отметить, что в случае со «смешанными» цветами один из компонентов всегда ощущается как более весомый. Так, *розовый* представляется как разновидность *красного*, а не *белого*, *фиолетовый* — *синего*, а не *красного*, а *серый* — *черного*, а не *белого*. Аналогично, *granatowy* — это разновидность цвета *niebieski* 'синего', *bezowy* — коричневого, а *kremowy* — белого (ср. английский термин *off-white* 'не совсем белый').

13. 'Коричневый'

Подобно розовому, оранжевому, серому и фиолетовому коричневый тоже часто рассматривается как «составной цвет» — род визуального смешения желтого и черного или желтого и черного с примесью красного, т. е. в действительности, смесью оранжевого и черного (ср. Wierzbicka 1990).

Однако на уровне простой интроспекции формула коричневого как составного цвета представляется спорной.

Когда мы просили информантов «разложить» *розовый*, *серый*, *оранжевый* и *фиолетовый* на два составляющих цвета, их ответы были единообразными и легко предсказуемыми. С *коричневым*, однако, получалось не так. Довольно легко связать *коричневый* с *черным*, потому что *коричневый* обычно ощущается как «темный» цвет. Но другой компонент или компоненты *коричневого* выделить было трудно. В общем, *коричневый* оказался более спорной и неоднородной категорией, чем *розовый*, *оранжевый*, *фиолетовый* или *серый*.

Хурвич пишет (Hurvich 1981:9): «Коричневые — это, в основном, темно-серовато-оранжевые, темно-сероватые или черновато-желтые цвета. Но есть также красные коричневые и оливково-коричневые. Вокруг нас много коричневых. Почва, древесина, кожа, волосы и кожа человека содержат в разных пропорциях желтый и красный так же, как черный и белый».

Замечательный факт состоит в том, что, несмотря на неоднородность спектра коричневых цветов и частую неспособность информантов согласиться с «верным» разложением концепта *коричневый*, *коричневый*, тем не менее, воспринимается как более основной термин, чем, например, фиолетовый; и совпадения у информантов по поводу идентификации «коричневых» цветных пластинок относительно высоки. Например, Харкнесс (Harkness 1973: 183) пишет по поводу испанского соответствия *коричневого*: «Испанские примеры ... проходили относительно гладко при назывании первых пяти цветов, но количество совпадений у информантов при назывании следующих цветов существенно снизилось... Взрослые, по большей части, правильно называли все цвета по *Коричневый* включительно, но по-разному называли цвета, которые стояли в последовательности дальше». Весьма примечательно также, что в универсальной последовательности цветов, предложенной Берлином и Кеем (Berlin, Kay 1969), «коричневый» идет перед «фиолетовым», «розовым», «оранжевым» и «серым».

Мне кажется, что для того, чтобы объяснить все эти факты, нам нужно понять, что английское слово *brown* 'коричне-

вый' и его ближайшие соответствия в других языках, концептуализуются не сами по себе и даже не в терминах «смеси» других цветов, а, скорее всего, имеют позитивную модель (образец). Я думаю, что, если такая модель существует, ее следует найти, так же, как и модели *синего*, *зеленого*, *красного* и *желтого* были найдены вокруг нас. Выбор, кажется, очевиден: *коричневый* может восприниматься как цвет земли; или, по крайней мере, как цвет, который обычно понимается как цвет земли.

В австралийском языке варлпири названия цвета образуются путем дубликации, и интересно, что ближайшее соответствие английскому *brown* буквально значит «земля-земля»; так же, как и соответствие английскому слову *green* 'зеленый' буквально значит «трава-трава»¹⁴. Такая связь между чем-то «коричневым» и цветом земли весьма поучительна.

Цвет земли, конечно, может быть различным и он изменяется больше, чем цвет неба или цвет солнца. Это согласуется с тем, что «коричневый» стоит дальше в цепочке Берлина и Кея, чем «красный», «желтый», «зеленый» и «синий». В то же самое время гипотеза о том, что «коричневый» имеет позитивную модель (хотя и весьма неоднородную) может объяснить то, почему он стоит в этой последовательности перед «серым», «розовым», «оранжевым» и «фиолетовым».

Эти соображения приводят нас к следующему толкованию английского слова *brown* 'коричневый':

X — коричневый

когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать о земле (почве)

в некоторые моменты видно очень мало

когда люди видят предметы, подобные X-у, они могут подумать об этом

В подтверждение подхода, связанного с выделением «естественного прототипа из окружающей среды», к концепту коричневого цвета я бы добавила, что 'коричневый цвет' часто рассматривается учеными как загадка.

Например, Вестфаль (Westphal 1987:53) замечает, что если красный, зеленый и синий могут потемнеть и «те цвета, которые получаются в результате — бордовый, темно-синий и темно-зеленый — сохраняют свои первоначальные оттенки, то с коричневым так не происходит». Он цитирует высказывание Бойнтона (Boynon 1975:315) о том, что «коричневый — это, безусловно, самый удивительный [из всех темных цветов, который возникает из подобного рода опытов — A.B.]», по-

тому что он почти сразу перестает казаться первоначальным ярким цветом (ср. также Gregory 1977:127).

Вестфаль утверждает, однако, что «коричневый цвет вроде потемневшего желтого», что, кажется, противоречит интуитивным ощущениям и психологически неубедительно. «Что значит сказать, что “Коричневый сродни желтому”?» скептически вопрошает Витгенштейн (Wittgenstein 1977:35) и тут же замечает: «Коричневый — это, кроме всего, цвет земной поверхности, потому что не бывает чистого коричневого, а только грязный».

Я бы предположила, что 'желтый' и 'коричневый' — это разные цвета, а не разновидности одного цвета, потому что они интуитивно связываются с разными прототипами: если 'желтый' — это, прежде всего, цвет солнца (светлый, «теплый» и лучистый), то 'коричневый' — это, прежде всего, цвет почвы. Замечание Витгенштейна о том, что 'коричневый' (как и 'белый') — это «поверхностный» цвет, хорошо согласуется с положением о том, что концепт 'коричневого' (как и 'белого') имеет в качестве прототипа земную поверхность.

С точки зрения хроматологии может показаться странным, что люди относятся к коричневому как к важному понятию и наделили его титулом отдельного «основного цветообозначения». Однако с точки зрения жизни человека на земле «голая земля» — это важный зрительный (и экзистенциальный) ориентир (как небо над головой или растительность вокруг). И как раз зрительная и жизненная значимость земли объясняет, как я полагаю, научную «загадку коричневого цвета». Хьюз (Hewes 1992:163) пишет: «Фиксация на спектральных свойствах цвета, а также физических и нейрофизиологических основах цветового восприятия затемняет тот факт, что многие цвета, представляющие для человека культурный интерес, такие, как множество коричневых и рыжих тонов, описываемых в виде сложных сочетаний световых волн различной длины, отсутствуют как отдельные компоненты в солнечном спектре».

Я согласна с этим, но добавлю, что «эти коричневые и рыжие цвета, представляющие культурный интерес» (который, безусловно, связан с важностью почвы и скота в жизни человека), должны рассматриваться в контексте зрительной релевантности таких пространств, как небо (чаще всего голубое), море (чаще всего синее), земля, покрытая травой (обычно зеленой), земля, покрытая снегом (белым) и голая земля (обычно коричневая)¹⁵.

14. Названия прототипических референтов

Похоже, что универсальной чертой языков мира служит описание цветового восприятия на определенной ступени развития в терминах имен референтов, важных для определенной среды обитания человека, таких, как минералы характерного вида, животные или растения. Это приложимо, например, к английским словам *gold* ('золото', 'золотой') и *silver* ('серебро', 'серебряный'), и, предположительно, это относится к английскому слову *orange* ('апельсин', 'оранжевый'). Мне кажется, что слова такого рода служат свидетельством в пользу психологической реальности следующего семантического компонента в толковании слов с цветовой семантикой: 'когда видишь предметы, подобные X-у, можно подумать о...!'

Но слова такого рода, как и любые слова, подвержены семантическим изменениям. Например, то, что русское слово *голубой* этимологически восходит к названию голубя, или то, что польское слово *czzerwony* 'красный' связано с именем определенного вида красного червя, не означает, что рассматриваемые связи прослеживаются и на синхронном уровне. Конечно, нет: в современном русском *голубой* ясно ассоциируется с цветом неба, а не с цветом голубя.

Аналогично, в одном из языков Новой Гвинеи, дани (Rosch Heider 1972a), в добавление к двум основным цветообозначениям, рассмотренным ранее, *mili* ('темный-холодный') и *mola* ('светлый-теплый'), широко (если не универсально) распространены три другие цветообозначения: *pitut*, название вида красной глины, используется для обозначения 'красного', *bodli*, название корня имбиря, используется для 'желтого', и *itjuaiegen*, название почки некоего определенного цветка, используется для 'синего' (в то время как для 'зеленого' никакого специального слова нет). Мне кажется, что такого рода факты не указывают на то, что в дани красный цвет связан с красной глиной, А НЕ с огнем. Для тех говорящих на дани, которые идут или уже пришли к системе с тремя цветообозначениями и которые начинают разделять прежний концепт *mola* (имеющий в качестве фокуса огонь, но распространяющийся также и на солнечный и дневной свет) на два концепта, название красной глины может являть собой полезную точку соотнесенности, но оно не подавляет возникшую новую концептуализацию. На определенной стадии развития слово *pitut* могло быть связано и с красной глиной, и с огнем (а, возможно, и с кровью), а в другой момент оно отошло от своего этимона и безраздельно присоединилось в сознании говорящих к совсем другой, более значительной, перцептивной модели.

Я полагаю, что именно это и произошло с русским словом *голубой* и польским словом *czzerwony*. То же самое случилось и с английским словом *orange* и происходит с английским словом *silver* (если еще не произошло со словом *gold*).

15. Заключение: хроматология, мышление и культура

Основное заключение, которое можно сделать в результате настоящего анализа, состоит в том, что цветовые концепты связаны с определенными «универсальными элементами человеческого опыта» и что эти универсальные элементы можно грубо определить как день и ночь, солнце, огонь, растительность, небо и земля. Наши цветовые ощущения возникают в мозгу, а не в окружающем нас мире, и их природа, по видимому, в существенной степени определяется человеческой биологией (которая роднит нас в известных пределах с другими приматами). Для того, чтобы уметь говорить об этом восприятии, мы проектируем его на нечто общее в нашем ближайшем окружении.

Как пишут Витковский и Браун (Witkowski, Brown 1978: 42): «Некоторые авторы... предположили, что четыре класса, красный, желтый, зеленый и синий, а также дополнительные категории, черный и белый, нейрофизиологически 'запрограммированы' в человеке, или 'связаны' с его природой. Кроме того, однако, утверждалось, что эти 'нейрофизиологически запрограммированные' категории ПРЯМО отражены в языке. Например: «Человеческому цветовосприятию присуща определенная структура, которая не выводится из одних только свойств света. Анализ иных процессов выделяет и описывает четыре специальных категории психических реакций: R (red 'красный'), G (green 'зеленый'), Y (yellow 'желтый') и B (blue 'синий')... Семантика основных имен цвета во всех языках ПРЯМО [выделено A.B.] отражает существование общечеловеческих психических реакций (Kay, McDaniel 1978:621)».

Но как язык может быть «прямо» связан с психическими реакциями? Язык отражает концептуализацию, а не «репрезентацию цвета в нервных клетках ... где-то на пути от глаза к мозгу» (Kay, McDaniel 1978:617). Связь между представлением цвета в мозгу и языковым представлением о цвете может быть только опосредованной. Путь лежит через понятия. Данные чувственного восприятия субъективны (даже если они основаны на общечеловеческих психических реак-

циях), в то время как понятия могут быть общими для всех. Для того, чтобы иметь возможность говорить с окружающими о наших субъективных ощущениях, мы должны уметь переводить их вначале в понятия, которые поддаются передаче другим людям.

Цветовое восприятие нельзя выразить словами. Тем не менее, мы можем о нем говорить, потому что умеем связывать наши зрительные категории с определенными универсальными доступными человеку образцами (моделями). Я предлагаю включить в число таких моделей огонь, солнце, растительный мир и небо (так же, как день и ночь); и эти модели составят основные точки референции в человеческом «разговоре о цвете».

Харкнесс пишет (Harkness 1973:197): «Может показаться, что эти цвета [красный, зеленый, желтый и синий] функционируют как когнитивные зацепки для цветовой номинации». Мне кажется, однако, что цвета как таковые не могут функционировать как «когнитивные зацепки». Как «когнитивные зацепки» при цветовой номинации функционируют концепты огня, солнца, неба и растительности. Сами зрительные категории («R», «Y», «G» и «B») могут успешно определяться тем, что обусловлено нейрофизиологически, но «зацепление» обусловлено концептами, потому что именно концепты, а не ощущения, потенциально воспринимаемы и поддаются передаче другим людям.

Поскольку воспринимаемые ощущения могут концептуализоваться различными способами, в разных языках воплощены различные цветные концепты, и, например, *blue* значит не то же самое, что *голубой*, а *green* — не то же самое, что *gwyrdd*. Но фокусы у этих разных семантических категорий могут быть относительно стабильны по языкам и культурам, не только потому что наши психические реакции совпадают, а потому что фундаментальные концептуальные модели, которые основаны на нашем общем человеческом опыте, у нас одни.

Рош пишет: «Когда известны атрибуты фокусных цветов — их встречаемость в качестве образцов основных названий цвета, их лингвистическая кодируемость, максимальное время хранения в кратко- и долговременной памяти, наиболее естественно предположить, что эти атрибуты производны от тех же основополагающих факторов, весьма вероятно, имеющих отношение к физиологии цветного зрения у приматов. Короче говоря, цветообозначения (будучи областью, далекой от того, чтобы на ней изучать влияние языка на сознание) могут оказаться лучшим примером влияния глубинных перцептивно-концептуальных факторов на форми-

рование лингвистических категорий и их соотношенность с действительностью» (Rosch Heider 1972b: 20).

Мне кажется, что здесь содержится ложное противопоставление. Пусть на лингвистические категории действительно могут влиять — хотя и косвенно — перцептивно-когнитивные факторы; но это не мешает языку оказывать влияние на мышление (ср. Lucy, Shweder 1979). Носители английского языка, включая многих изучающих «цветовую семантику», обычно имеют дело с такими концептуальными категориями, как «красный», «желтый», «зеленый» или «синий», как правило, не осознавая, что это не более, как наивные (бытовые) категории английского языка. «Blue» — не более «общечеловеческий», чем «голубой» или «aoi». Фокусы этих трех категорий могут совпадать или быть близкими, но границы, отделяющие их от других цветов, различны, потому что соответствующие им концепты не обнаруживают точного совпадения.

Несмотря на косвенные связи с человеческой нейрофизиологией, значения названий цвета (как и значения названий эмоций) представляют собой артефакты культуры.

Огромное разнообразие «цветовых слов» в языках мира и культурах, представленное в работах двух последних десятилетий и в особенности нескольких последних лет (ср. Berlin, Kay, Merrifield 1991, Kay, Berlin, Merrifield 1991, MacLaury 1987, 1991, 1992), несовместимо с теориями, которые пытаются объяснить цветообозначения в терминах нейрофизиологии¹⁶. Однако оно вполне совместимо с теорией, которая связывает цветообозначения с обыкновенными — но меняющимися — видимыми чертами окружающей человека среды и зрительных впечатлений¹⁷.

Нам не нужно делать выбор между лингвистической произвольностью и нейрофизиологическим детерминизмом при цветовой категоризации. Концептуализация цвета человеком, отражаемая в языке, может быть ограничена возможностями нейрофизиологии зрения, но в терминах нейрофизиологии зрения она не может быть ни описана, ни объяснена. Чтобы описать ее, нам следует обратиться к человеческим понятийным универсалиям (таким, как ВИДЕТЬ, ВРЕМЯ, МЕСТО, ПОДОБИЕ). Чтобы объяснить ее — как в вариативных, так и универсальных и почти универсальных чертах, — нам нужно обратить внимание на то, как на самом деле мы говорим о том, что мы видим, не ограничивая данные искусственным образом, а также не привнося «в рассматриваемый феномен нейрофизиологического начала», как удачно сказано в Saunders 1992:165.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В написании этой работы существенную роль сыграли дискуссии с Клиффом Годдардом (Cliff Goddard).

² Как пишет Ван Бракел (Van Brakel 1993:113), в западных языках цветовая сфера четко отделена от других категорий, причем оттенкам цвета придается более важное значение, чем яркости и насыщенности. В других культурах признак цвета поглощается другими категориями, так, что он уже не существует как отдельный признак.

³ Ср. также недавнее замечание Ван Бракеда (Van Brakel 1993:112): «вся работа последователей Берлина и Кея проводилась с использованием манселловских цветных пластинок и стандартных процедур по выявлению основных цветообозначений. Выяснилось, что при таком подходе в круг рассмотрения не попало 95% имен цвета, которые есть в языках мира».

⁴ «Требуется много философии, чтобы однажды увидеть то, что находится перед глазами каждый день». Эту цитату я заимствовала из книги Moog, Carling 1982, где она использована в качестве одного из эпиграфов.

⁵ Термин «значение» можно, безусловно, определять многими способами (см. например Ogden, Richards 1923), потому у меня нет желания обсуждать терминологию. Но вопрос о том, что мы «имеем в виду» (когда произносим конкретное слово), безусловно, важен, и его имеет смысл поставить. Очевидным образом, нейрофизиология на подобного рода вопросы не отвечает.

⁶ Следует, однако, особо отметить, что комментарии обычных носителей языка, так же, как и ненаучные толкования, могут содержать очень ценные наблюдения над значением названий цвета. Ср. пример комментария, который один из информантов дал слову *layi-layi* 'серый' в австралийском языке варлпири: «Вначале, когда резиновое дерево в хорошей форме, покрыто листвою, оно зеленое. Но потом оно должно (умереть) и высохнуть, его листья тогда станут серыми [т. е. *layi-layi*]. *Layi-layi* — это серая трава и серая листва, старые серые листья. И *layi-layi* — это седые волосы у людей, когда они поседеют ... О старых людях тоже говорят *layi-layi*» (Simpson 1989:2). Очевидно, что концепт, заключенный в слове варлпири *layi-layi*, не совпадает с тем, который соответствует английскому слову *grey* (серый).

⁷ Концепт 'цвета' действительно чрезвычайно сложный, и я не буду пытаться дать его толкование. Очевидно, между тем, что он основан на концепте Видения.

⁸ Слово *one* ('кто-то, некто, один' — в русском переводе соответствует словосочетанию 'люди видят'), используемое в толковании, отсутствует в Естественном Семантическом Метаязыке и в более строгой версии толкований его следует заменить на *someone* ('некто, кто-то, кто-нибудь') следующим образом:

когда кто-то ('someone') видит что-то, подобное X-у, он (этот человек) может подумать о таких моментах

Я, впрочем, использовала в толкованиях *one*, чтобы они легче воспринимались.

⁹ Следует также рассмотреть оппозицию 'светлый/темный' как таковую (потому что даже при ярком дневном свете темные предметы все равно кажутся темными, в то время как в темноте темными кажутся даже светлые предметы).

¹⁰ См. в этой связи замечание Горен (Goren 1992:169): «... цветообозначения не следует рассматривать отдельно от других областей как самодо-

вляющую систему; например, категории *теплого* и *холодного* в хануно, которые имеют коннотации с понятиями высухания и сочности (...), предполагают связь с классификацией известных растений хануно скорее, чем с категорией цвета как такового».

¹¹ Мои знания относительно употребления слова *aoi* основаны по преимуществу на беседах с Такао Тода и ее отчетах о работе с информантами. Я очень благодарна ей за эту помощь.

¹² Рассуждения Сводеша могут показаться нам в некоторых деталях фантастическими, но это не отменяет его основного положения относительно важности света и огня в наших концептуализациях цвета.

¹³ Как указано в работе Ху 1994, это положение не универсально. Например, в китайской культуре солнце обычно представляется как красное, а не как желтое.

¹⁴ Аналогично, Александра Айхенвальд в устной беседе сообщила мне, что ее полевые исследования языка тарьяна в Бразилии содержат сведения о том, что ближайшее соответствие слову *brown* 'коричневый' переводится как 'запачканный землей, грязный, коричневатый' и что соответствующее слово ассоциируется с цветом земли.

¹⁵ В данной работе я предположила, что универсальные тенденции в нашем понимании цветовых категорий могут быть связаны с универсалиями человеческого опыта вообще и в особенности — с универсальными чертами жизни человека на Земле. И я истолковала цветовые концепты через понятия «окружающей среды», такие, которые заключены в английских словах *fire* 'огонь', *sun* 'солнце', *sky* 'небо', *grass* 'трава', *sea* 'море', *ground* 'земля'. Однако эти понятия «окружающей среды» не вводятся здесь как неопределяемые примитивы, в терминах которых люди концептуализуют свой опыт. Наоборот, они тоже рассматриваются как конструкции, построенные людьми на базе их жизненного опыта, полученного на Земле.

¹⁶ Цитируя некоторые характерные для последнего времени замечания касательно изменившихся взглядов на здравость построений Берлина и Кея, а также объяснительную силу нейрофизиологии в описании «цветовой семантики» Стандо (Stanlaw 1992:167) пишет: «Если категоризация цвета так сильно связана с универсальными физиологическими и неврологическими ограничениями, нам будет трудно объяснить огромный разброс и несовпадения ответов даже одного информанта в течение одного сеанса работы».

Сондерс (Saunders 1992:165) высказывается еще более эмоционально: «Цитата из Мак-Лори покажет, как сильно нужно подгонять выкройку Берлина и Кея к фигуре заказчика (Berlin, Kay 1969), чтобы объяснить бесконечные аномалии в "цветоназвании": "Тон, яркость, подобие и резкость — это не единственные координаты, в соответствии с которыми мы конструируем наши понятия о цвете... Они могут быть также и так называемыми коннотативными координатами". Иными словами, "цветовые категории" могут быть представлены всем чем угодно».

Аналогично, Хьюз (Hewes 1992: 163) указывает на вред, который нанесло «пристрастие к спектральной классификации цвета физическим и нейрофизиологическим объяснениям цветового восприятия»; ср. также его замечание по поводу того, что «критерии, которые использовались цветовыми эволюционистами для того, чтобы отбросить наиболее широко используемые в языках мира названия цветов как «не-основные», совершенно не реалистичны» (там же).

И наконец, Ван Бракел (Van Brakel 1992:169) замечает по поводу работы Мак-Лори (MacLaury 1992), где Мак-Лори пытается «спасти» теорию Берлина и Кея: «Я рукоплещу выводу, который сделал Мак-Лори касательно того, что если "ты выходишь в поле" с 320 манселловскими цветными пластинками, ты

не всегда возвращаются со словами, которые действительно есть в языке. Приходится выделить "мирады сложностей, тонкостей и различий", которые возникают при именовании цветных пластинок. Возникает необходимость обращения к другим параметрам, которые тут тоже играют свою роль. Я также солидаризуюсь с его предложением о том, что первый официальный "предварительный анализ данных" (Кай, Берлин, Меррифилд 1991) из Мирового Инвентаря цветов говорит о "неминуемом крахе" эмпирического подхода к "эволюции цветообозначений".

¹⁷ В своей более ранней работе по семантике цветообозначений (Wierzbicka 1990) я предложила новую интерпретацию «эволюционной последовательности», которую постулировали Берлин и Кей (Berlin, Kay 1959) и которая была впоследствии развита в исследованиях других ученых. Об этой новой интерпретации «эволюционной последовательности» я писала (стр. 145): «...все цветовые категории представлены здесь в терминах прототипов, которые связывают цветовое восприятие с определенными универсальными элементами человеческого существования и которые, таким образом, придают смысл тому, что без этого было бы мистической игрой палочек и колбочек в человеческой сетчатке или в нейронах, расположенных между глазом и мозгом, недоступных простым людям и не связанных ни с чем в их деятельности или культуре».

Полдесятилетия спустя стало ясно, что «эволюционная последовательность», предложенная Берлином и Кеем, не выдерживает критики, и теперь непонятно, какие ее положения могут устоять перед лавиной опровержений. Я тем не менее думаю, что моя «эволюционная последовательность» 1991 года может служить альтернативой для размышлений на эту тему и что она согласуется с результатами современных исследований по человеческой концептуализации зрительного восприятия.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Фрумкина, Ревекка М.** 1984. Цвет, смысл, сходство. Москва: Наука.
- Berlin, Brent; Kay, Paul.** 1969. Basic colour terms: their universality and evolution. Berkeley: University of California Press.
- Berlin, Brent; Kay, Paul; Merrifield, William R.** 1991. The world colour survey. Dallas: Academic Publications of the Summer Institute of Linguistics.
- Birren, Faber.** 1978. Color and human response. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- Boas, Franz.** 1966 (1911). Introduction to Handbook of American Indian Languages. In: Boas F., Powell J. W. Introduction to Handbook of American Indian Languages / Indian Linguistic Families of America North of Mexico. Ed. by P. Holder.
- Bornstein, Marc H.** 1975. The influence of visual perception on culture. *American Anthropologist* 77, 4: 798.
- Bornstein, Marc H.; Kessen, William; Weiskopf, Sally.** 1976. Categories of hue in infancy. *Science* 191: 201-202.
- Boynton, R.M.** 1975. Colour, hue and wave length. In: Handbook of perception. II. E.C.Carterette and M.P.Freidman, eds. New York: Academic Press.
- Brückner, Alexander.** 1957. Słownik etymologiczny języka polskiego. 2 edn. Warsaw: Wiedza Powszechna.
- Burling, Robbins.** 1969. Cognition and componential analysis: God's truth or hocus-pocus? In: Cognitive anthropology. Stephen A.Tyler, ed. P.419-428. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Chomsky, Noam.** 1972. Studies on semantics in generative grammar. The Hague. Mouton.
- Conklin, Harold G.** 1964. Hanucoc colour categories. Language in culture and society. Dell H.Hymes, ed. P.189-192. New York: Harper and Row.

- Conklin, Harold G.** 1973. Color categorization. Review of Berlin and Kay 1969. *American anthropologist* 75: 931-942.
- Davis, S.L.** 1982. Colour classification and the Aboriginal classroom. In: Application of Linguistics to Australian Aboriginal Contexts. G.B.McKay and B.A.Sommers, eds. Clayton, Victoria: ALAA. P.68-77.
- Diller, Anthony; Juntanamalaga P.** Forthcoming. An introduction to the language Thai.
- Goddard, Cliff.** 1991. Testing the translatability of semantic primitives into an Australian Aboriginal language. *Anthropological Linguistics* 33, 1: 31-56.
- Gregory, R.L.** 1977. Eye and brain. London: Weidenfeld.
- Halliday, Michael A.K.** 1987. Spoken and written modes of meaning. In: Michael A.K.Halliday. Comprehending oral and written language. P.55-82. New York: Academic Press.
- Hargrave, Susanne.** 1982. A report on colour term research in five Aboriginal languages. Darwin: Summer Institute of Linguistics Australian Aborigines Branch. Work Papers of SIL-AAB Series B. Volume 8. Dec.1982.
- Harkness, Sara.** 1973. Universal aspects of learning colour codes: A study in two cultures. *Ethos* 1: 175-200.
- Hering, E.** 1920. Outlines of a theory of the light sense. L.M.Hurvich and D.Jameson, transl. Cambridge, MA: Harvard University Press (1964).
- Hewes, Gordon W.** 1992. Comment on MacLaury's «From brightness to hue: An explanatory model of color-category evolution». *Current Anthropology* 33, 2: 163.
- Hjelmslev, Louis.** 1953. Prolegomena to a theory of language. Francis J.Whitfield, transl. (International Journal of American Linguistics. Memoir 7). Baltimore, MD: Waverley Press.
- Hurvich, Leo.** 1981. Color vision. Sunderland, Mass.: Sinauer.
- Istomina, Z.M.** 1963. Perception and naming of colour in early childhood. *Soviet Psychology and Psychiatry* 1: 36-45.
- Jones, Rhys; Meehan, Betty.** 1978. Anbarra concepts of colour. In: Australian Aboriginal concepts. L.R.Hiatt, ed. P.20-29. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies.
- Katz, David.** 1935. The world of colour. London: Kegan Paul.
- Kay, Paul; McDaniel, Chad.** 1978. The linguistic significance of the meaning of basic colour terms. *Language* 54: 610-646.
- Kay, Paul; Berlin, Brent; Merrifield, William.** 1991. Biocultural implications of systems of color naming. *Journal of Linguistic Anthropology* 1, 1: 12-25.
- Kinnear, Paul R.; Deregowski, J.B.** 1992. Commentary on MacLaury's «From brightness to hue: An explanatory model of color-category evolution». *Current Anthropology* 33, 2: 163-164.
- Klein, Ernest.** 1966. A comprehensive etymological dictionary of the English language. 2 vols. Amsterdam: Elsevier.
- Leibnitz, Gottfried Wilhelm.** 1966. Logical papers. G.H.R.Parkinson, ed. and trans. Oxford: Clarendon Press.
- Lucy, John; Shweder, Richard.** 1979. Whorf and his critics: Linguistic and non-linguistic influences on colour memory. *American Anthropologist* 81: 581-615.
- MacLaury, Robert E.** 1987. Color-category evolution and Shurwap yellow-with-green. *American Anthropologist* 89, 1: 107-124.
- MacLaury, Robert E.** 1991. Social and cognitive motivations of change: Measuring variability in color semantics. *Language* 67, 1: 34-62.
- MacLaury, Robert E.** 1992. From brightness to hue: An explanatory model of color-category evolution. *Current Anthropology* 33, 2: 137-186.
- Manning, Christopher.** 1989. Semantic primitives. Unpublished discussion paper. Australian National University, Department of Linguistics.
- Moore, Terence; Carling, Christine.** 1982. Understanding language: Towards a post-Chomskyan linguistics. UK: Macmillan.
- Ogden, C.K.; Richards, I.A.** 1923. The meaning of meaning. London: Routledge and Kegan Paul.

Rosch Heider, Eleanor. 1972a. Probabilities, sampling, and ethnographic method: The case of Dani colour names. *Man* 7, 3: 448-466.

Rosch Heider, Eleanor. 1972b. Universals in colour naming and memory. *Journal of Experimental Psychology* 93, 1: 10-20.

Rosch Heider, Eleanor. 1975. Universals and cultural specifics in human categorization. In: *Cross-cultural perspectives on learning*. Richard Brislin, Stephen Bochner and Walter Lonner, eds. P.177-206. New York: Wiley.

Russell, Bertrand. 1948. *Human knowledge: Its scope and limits*. New York: Simon and Schuster.

Russell, Bertrand. 1973. *An inquiry into meaning and truth*. Harmondsworth: Penguin.

Sapir, Edward. 1949. *Selected writings of Edward Sapir in language, culture and personality*. In: David Mandelbaum, ed. Berkeley: University of California Press.

Saunders, B.A.C. 1992. Comment on MacLaury's «From brightness to hue: An explanatory model of color-category evolution». *Current Anthropology* 33, 2: 165-167.

Simpson, Jane. 1989. Waripiri colour terms. Unpublished paper.

Shweder, Richard A.; Bourne, Edmund J. 1984. Does the concept of the person vary cross-culturally? In: *Culture theory: Essays on mind, self, and emotion*. R.A. Shweder and R.A. LeVine, eds. P.158-199. Cambridge: Cambridge University Press.

Stanlaw, James. 1992. Comment on MacLaury's «From brightness to hue: An explanatory model of color-category evolution». *Current Anthropology* 33, 2: 167-168.

Swadesh, Morris. 1972. *The origin and diversification of language*. London: Routledge and Kegan Paul.

Swift, Jonathan. 1931 (1728). *Gulliver's travels*. A.B. Gough, ed. Oxford: Clarendon Press.

Toren, Christina. 1992. Comment on MacLaury's «From brightness to hue: An explanatory model of color-category evolution». *Current Anthropology* 33, 2: 168-169.

Turner, Victor W. 1966. Color classification in Ndembu ritual. In: *Anthropological approaches to the study of religion*. Michael Banton, ed. P.47-87. London: Tavistock.

Van Brackel, J. 1992. Comment on MacLaury's «From brightness to hue: An explanatory model of color-category evolution». *Current Anthropology* 33, 2: 169-172.

Van Brackel, J. 1993. The plasticity of categories: The case of colour. *British Journal for the Philosophy of Science* 44: 103-135.

Westphal, Jonathan. 1987. *Colour: Some philosophical problems from Wittgenstein*. Aristotelian Society Series. Volume 7. Oxford: Basil Blackwell.

Wierzbicka, Anna. 1972. *Semantic primitives*. Frankfurt: Athenäum (Linguistische Forschungen 22).

Wierzbicka, Anna. 1980. *Lingua mentalis: The semantics of natural language*. Sydney: Academic Press.

Wierzbicka, Anna. 1985. *Lexicography and conceptual analysis*. Ann Arbor: Karoma.

Wierzbicka, Anna. 1990. The meaning of colour terms: Semantics, culture and cognition. *Cognitive Linguistics* 1, 1: 99-150.

Witkowski, Stanley R.; Brown, Cecil H. 1978. Lexical universals. *Annual Review of Anthropology* 7: 427-451.

Wittgenstein, Ludwig. 1977. *Remarks on color*. G.E.M. Anscombe, ed. Linda L. McAlister, Margaret Schättle, transl. Oxford: Blackwell.

Xu, W. 1994. *Chinese colour semantics*. ANU Ph.D. dissertation.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ И «ПРИМИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ»*

Semantic universals and «primitive thought»: The question of the psychic unity of humankind.
Journal of Linguistic Anthropology 1994, 4, 1: 23-49.

Функции человеческого мозга одни и те же для всего человечества.

Ф. Боас (Boas 1938b:135)

Введение¹

Подразумевают ли различия в культуре также и различия в мышлении? Всего лишь два десятилетия назад ведущий американский психолог Джордж Миллер писал: «У каждой культуры есть свои мифы. Один из наиболее стойких в нашей культуре состоит в том, что у неграмотных людей в менее развитых странах существует особое «примитивное мышление» отличающееся от нашего и уступающее ему. ... Никому не придет в голову отрицать, что различия существуют. Любое отрицание было бы равносильно признанию, что различия в жизненном опыте, проистекающие из разницы культур и технологий, не влекут за собой никаких существенных психологических последствий. Скорее, спор идет о природе этих различий и их источниках» (Miller 1971: vii).

В лингвистике и антропологии такие термины, как «примитивное мышление», были дискредитированы гораздо раньше, чем два десятилетия тому назад (хотя иногда они еще просачиваются в публикации — свидетельство тому название книги «The foundations of primitive thought», Hallpike 1979). Но проблема выявления истинных когнитивных различий между разными культурами — в особенности, между западными и не-западными родоплеменными культурами — остается открытой (см., например, Bain 1992).

Дискуссии по этому вопросу всегда в значительной степени апеллировали к языку. И совершенно справедливо, поскольку язык — это «наилучшее отражение человеческой мысли» (Leibniz 1709/1981: 368) и языковые данные оказы-

* Reprinted by permission of the American Anthropological Association from *JOURNAL OF LINGUISTIC ANTHROPOLOGY* 4:1, June 1994. Not for further reproduction.

ваются решающими при выявлении фундаментальных моделей мышления у различных групп людей. Но языковые данные могут быть неправильно проинтерпретированы.

Обсуждая предполагаемое отсутствие абстрактного мышления в некоторых человеческих сообществах, Холшпайк пишет: «Необходимо сначала проделать черновую семантическую работу, прежде чем мы сможем плодотворно обсуждать, в какой степени примитивное мышление может или не может быть абстрактным» (Hallpike 1979:171).

Термин «примитивный» (защищаемый Холшпайком по этимологическим соображениям!) неудачен, поскольку включает в себя оценочный компонент, как и термин «низший» (inferior), использовавшийся, например, Леви-Брюлем (Lévy-Bruhl 1926). Но сам вопрос, поставленный в работе Холшпайка, — существуют ли действительные качественные различия в мышлении разных народов? — важен и не должен отвергаться по чисто идеологическим соображениям. Мнение, что такие различия в самом деле имеются, не слишком популярно в наши дни, и Холшпайк достоин уважения за смелость, которую он высказывает, защищая его, равно, как и другие приверженцы этой позиции (ср., например, Bain, Sayers 1990; Bain 1992). Следует проанализировать эти взгляды, а не просто отмахиваться от них. Но для того, чтобы этот анализ был плодотворным, для него, действительно, необходима предварительная семантическая основа.

В данной статье я постараюсь такую основу заложить. Я утверждаю, что рассуждения приверженцев «примитивного мышления» ошибочны, и постараюсь показать, в чем именно они ошибаются.

Нет слова — значит, нет и понятия? Если бы в каком-то языке не было слов для таких понятий, как *все*, *если* или *потому что*, отразилось бы это на когнитивных возможностях говорящих? Если вместо слов в этом языке имелись бы суффиксы, обозначающие те же самые понятия, отсутствие специальных слов не играло бы роли.

Теперь предположим, что в некотором языке имеются слова, которые могут служить переводами для слов типа *все*, *если* и *потому что*, но у этих слов более широкий спектр значений, охватывающий, например, не только 'все', но и 'много', не только 'если', но и 'когда', не только 'потому что', но и 'после'. Означает ли это что-нибудь с точки зрения когнитивных возможностей говорящих?

Ответ на это может быть разным. Например, если значение 'потому что' и значение 'после' одного и того же слова связаны с различными синтаксическими конструкциями (скажем, с различными моделями управления), тогда исполь-

зование одной и той же лексики вообще несущественно: понятие 'потому что' может все же быть передано ясно и однозначно (необязательно с той же степенью легкости, что и в языке, где существует специальный лексический элемент для обозначения каузативной идеи, но это уже другой вопрос). Точно так же, если бы одно и то же слово использовалось для передачи смыслов 'весь' и 'много', но при этом каждый смысл был связан со своей грамматической конструкцией, то в таком случае общий лексический материал никак не влиял бы на понятийную картину: любое рассуждение, с необходимостью включающее понятие 'весь', все же могло бы быть выражено в таком языке.

Предположим, однако, что в некотором языке имеется только одно слово для передачи смыслов 'потому что' и 'после' и что эти два значения никаким способом не могут быть различены — настолько, что нет никаких оснований говорить о двух (отдельных) смыслах, но только об одном, нерасчлененном.

Многие скажут, что это ничего не означает, так как «все люди равны и обладают одинаковым мыслительным потенциалом, так что даже если у них нет отдельного слова для какого-либо понятия, они в состоянии передать этот смысл тем или иным способом, и отсутствие слова никак их при этом не ограничивает». Но остановиться на этом значит укрыться за пустой риторикой, отказываясь беспристрастно рассмотреть факты. Такая позиция в действительности льет воду на мельницу защитников идеи «примитивного мышления».

Я считаю, что люди действительно обладают одинаковыми мыслительными возможностями, но думаю, что это связано с использованием языка и тем фактом, что все естественные языки, в принципе, обладают одинаковой выразительной силой. Я говорю «в принципе», так как некоторые идеи на одних языках выразить легче, чем на других. Но если бы в каком-то языке не существовало возможности выразить понятия 'весь', 'если' или 'потому что', его экспрессивные возможности в самом деле были бы ограничены.

Рассмотрим, например, следующий диалог:

- Почему ты плачешь? Тебя кто-нибудь ударил?
- Мой брат ударил меня, потому что я потерял деньги. Я не потому плачу, что он ударил меня. Я плачу из-за денег.

Я думаю, что на языке, в котором нет слова (морфемы, словосочетания) для 'потому что', смысл этого диалога передать невозможно.

Но почему присутствие тех или иных слов столь важно? Нельзя ли, чтобы люди обладали понятиями без слов? Разве в языке нет скрытых категорий?

Скрытые категории, конечно, есть, и понятия могут существовать даже и без представляющих их слов. Но, во-первых, наличие слова (отдельной лексической единицы) служит прямым свидетельством существования понятия, а при его отсутствии имеются, в лучшем случае, лишь косвенные свидетельства. Во-вторых, при человеческом общении недостаточно «обладать» понятием, важны также средства передачи его другим людям (даже при предположении, что ВОЗМОЖНО «обладать» понятием, не имея средств для его передачи). Для некоторых понятий такая передача возможна с помощью описательных конструкций или парафраз; для других, однако, необходимо иметь прямое лексическое выражение. Это последнее утверждение требует некоторых пояснений и иллюстраций.

Многие языки австралийских аборигенов имеют слово, означающее 'не-знать'. В английском языке такого слова нет. Но этот факт не вызывает проблем в коммуникации между англоязычными австралийцами и аборигенами, носителями этих языков, потому что данное понятие можно легко «сконструировать» средствами английского языка, для которых существуют отдельные слова: 'знать' и отрицание. Предположим, однако, что в языке нет слова для 'знать'. Можно ли столь же легко построить это понятие с помощью других? В моем представлении это невозможно.

Если бы в рассматриваемом языке было слово для 'не-знать', можно было бы, конечно, использовать двойное отрицание:

Он знает, где она. > Неверно, что он не знает, где она.

Но это не поможет — хотя бы потому что во многих языках нет слова для 'истинный'. Но даже если бы и существовало слово для смысла 'истинный', предложенный парафраз все равно бы не получился. Например, предложение

Эта собака знает, что в сумке есть мясо (потому что она его чует).

вряд ли может быть перифразировано как:

Неверно, что эта собака не знает, что в сумке есть мясо (потому что она его чует).

Двойное отрицание — это способ оспаривать чужое отрицание в то время, как простое предложение *Он знает* не имеет в presupпозиции отрицания утверждения².

Возможно, наиболее ясный пример абсолютно необходимого понятия дает само отрицание: если в языке нет слова (или морфемы) для того, чтобы сказать *Нет!*, ничто не может восполнить это, поскольку очевидно, что нет никакого способа получить это понятие с помощью других (подобно тому, как можно получить 'не-знать' из значений 'не' и 'знать').

Точно так же, если в каком-нибудь языке не было слова для выражения смысла 'весь', ситуация была бы безвыходной, так как это понятие не может быть получено аналогичным образом из других понятий, сколько бы их ни было в лексиконе.

Рассмотрим, например, следующее предложение из Евангелия от Иоанна (1.9), относящееся к рождению Иисуса:

Истинный свет, озаряющий каждого человека, пришел в этот мир.

Идея, стоящая за словосочетанием «каждый человек» (по-гречески *panta anthrōpon* 'каждое человеческое существо'), является важной частью христианского вероучения (о том, что истинный свет, воплощенный в Иисусе, озаряет КАЖДОЕ человеческое существо). Эта идея не могла бы быть передана на других языках, если бы в них не было слова (или морфемы) для 'каждый' или 'весь'.

Будет общим местом утверждать, что при переводе всегда что-то теряется, что ни одно слово не имеет абсолютно точных переводных эквивалентов и т. п. Однако туманные высказывания такого типа лишь затемняют тот факт, что существуют слова, действительно необходимые для передачи смыслов с одного языка на другой, но при этом не все слова являются таковыми.

Вот еще один пример. Если бы в каком-нибудь языке не было слова (или морфемы), семантически соответствующего *если*, при попытке перевода могли бы возникнуть непреодолимые трудности, потому что смысл 'если' не может быть получен аналогичным образом из более простых понятий.

С другой стороны, понятие 'цель' может быть получено из понятий 'причина' ('из-за'), 'думать' и 'хотеть', последние же два нельзя вывести ни из чего другого. Соответственно, если в языке нет слова для выражения 'чтобы', это не составит серьезную проблему:

Я пошел в лес (чтобы) поохотиться. >
 Я пошел в лес
 потому что я думал: я хочу охотиться
 я буду охотиться

Но если бы в этом языке не было бы слов для 'из-за', 'думать' и 'хотеть' его носители, действительно, оказались бы в затруднении.

Какие понятия должны получать лексическое воплощение?

В то время, как одни понятия могут быть получены с помощью других понятий, другие должны получать прямое лексическое воплощение. В некотором смысле эта пропозиция кажется очевидной. Как заметил Лейбниц, если бы все понятия нужно было строить из других понятий, это приводило бы к regressum ad infinitum (порочному кругу) (ср. Leibniz 1961/1903:430). Если же имеется некоторое число понятийных примитивов, понимаемых непосредственно (не через другие понятия), то эти примитивы могут служить твердым основанием для всех других понятий: бесконечное число новых понятий может быть получено из небольшого числа семантических примитивов. Как сказал Лейбниц:

Tametsi infinita sint quae concipiuntur, possibile tamen est pauca esse quae per se concipiuntur. Nam, per paucorum combinationem infinita componi possunt. Imo id non tantum possibile sed et credibile seu probabile est, nam natura solet quam maxima efficere quam paucissimus assumtis, id est operari simplicissimo modo (Leibniz 1961/1903:430).

«Хотя для понимания доступно бесконечное множество понятий, возможно, что лишь некоторые из них могут быть поняты непосредственно. Так как бесконечное множество их может быть получено комбинированием нескольких элементов. На самом деле, это не только возможно, но и вероятно, поскольку природа стремится достичь максимального эффекта с помощью минимального количества элементов, то есть — действовать простейшим способом» [пер. с английского].

Возможность успешной коммуникации между различными культурами напрямую зависит от универсальности базового множества семантических примитивов, из которых каждый язык может создавать практически бесконечное число более или менее «идиосинкретичных» (специфичных для дан-

ной культуры) понятий (комбинируя примитивы в различных конфигурациях). Существование такого общего множества примитивов могло бы объяснить «психическую общность человечества» (Boas 1938), а гипотеза о том, что лексикон разных языков воплощает различные конфигурации этого (общего) набора, отвечала бы за специфичные для каждой культуры аспекты языка и мышления.

Я неоднократно пыталась показать (см. Wierzbicka 1992 и многочисленные другие книги и статьи), что именно это и происходит: имеется набор семантических примитивов, совпадающий с набором лексических универсалий, и это множество примитивов-универсалий лежит в основе человеческой коммуникации и мышления; а специфичные для языков конфигурации этих примитивов отражают разнообразие культур. Я думаю, что Лейбниц был прав, предположив, что этот универсальный набор примитивов может быть получен только методом проб и ошибок, в результате исследований по сопоставительной семантике в различных культурах. Более двух десятилетий интенсивных поисков с моей стороны и со стороны моих коллег позволили выявить набор из нескольких десятков понятий, получающих, по-видимому, лексическое воплощение во всех языках мира, которые могут рассматриваться как семантические примитивы, из которых строятся все остальные понятия. Этот список включает, среди прочего, такие метапредикаты, как 'если', 'из-за', 'весь' и 'не' и такие предикаты интеллектуальной деятельности, как 'знать' и 'думать', которые в многочисленных писаниях на темы «примитивного мышления» считались отсутствующими в том или ином «примитивном языке»³.

Полисемия и различные уровни употребления

Сказать, что 'если', 'из-за', 'весь' или 'не' (отрицание) суть лексические универсалии, значит утверждать, что во всех языках каждое такое понятие обязательно получает лексическое воплощение, но это не значит, что для каждого из этих понятий должно существовать специальное, отдельное слово.

Например, во многих языках австралийских аборигенов нет слова, которое означало бы 'из-за' и ничего больше, и часто слово (или морфема), означающее 'из-за', также значит 'от' или 'после'. Но это случай полисемии, и подразумеваемый смысл проясняется контекстом. Тот факт, что слово имеет два значения — 1. от и 2. потому что, или 1. после и 2. потому что, — не может помешать ему быть вполне пригодным средством для выражения смысла 'из-за' в предложениях, где

интерпретация в виде 'от' или 'после' совершенно не годится. Факты такого рода абсолютно аналогичны причинным употреблением в европейских языках слов, буквально значащих 'для-чего?', 'через-что?' или 'о-чем?'. Например, основное слово для 'почему' во французском это *pourquoi* ('для-чего'), в итальянском *perche* ('через-что'), в немецком *warum* (от *was-um*, букв. 'о-чем') и т. д. (ср. также употребление *отчего* в причинном значении в русском языке).

Я не хочу сказать, что при этом нет места неоднозначности, потому что полисемия часто приводит к возникновению неоднозначности. Но тот факт, что, например, английское предложение *She was attached to the dog* — 'она была привязана к собаке' может получить двойную интерпретацию, не означает, что слово *attached* 'привязан' не имеет двух различных значений (огрубленно, 1. быть прикрепленным, 2. любить). Задача отделения полисемии от неопределенности значения не из легких, и эти два явления легко могут быть спутаны, но разница между ними от этого не исчезает.

Предположим, например, что в некотором языке мы обнаружили слово, которое в одних контекстах лучше переводить как 'после', а в других наиболее удачным переводом будет 'из-за'. На основании чего можно решить, является ли это слово полисемичным (1. после, 2. потому-что), или просто получает различные контекстно обусловленные смысловые интерпретации?

Самое лучшее в подобных случаях — это точно сформулировать гипотезы и проверить их. Одна гипотеза состоит в том, что данное слово всегда имеет значение 'после', а все причинные оттенки возникают благодаря контексту. В соответствии с этой гипотезой любое предложение с данным словом должно иметь смысл при интерпретации с 'после'. Если мы, однако, увидим, что в некоторых случаях интерпретация с 'после' не позволяет получить осмысленное предложение, но оно получается при интерпретации 'из-за', тогда мы вынуждены постулировать полисемию.

Например, в английском языке слово *and* ('и') часто ассоциируется с причинной интерпретацией, но это не значит, что нам нужно вводить для *and* специальное каузальное значение, чтобы проинтерпретировать все предложения, в которых *and* может встретиться. Так, в предложении

Он упал и заплакал

причинная интерпретация подразумевается, но не является абсолютно необходимой, и предложение осмысленно, даже если предположить, что *и* (*and*) означает здесь одновремен-

ность событий, а не причину. Аналогично, в английском предложении

After her husband died, she fell ill
'После того как ее муж умер, она заболела'

причинная интерпретация (контекстно) подразумевается, но нет никакой необходимости постулировать отдельное причинное значение для *after* (так как интерпретация в терминах временного следования событий тем не менее вполне осмысленна).

С другой стороны, в австралийском языке янкуньтьягьяра аблативный суффикс, который в различных контекстах может интерпретироваться как 'от', 'после' или 'из-за', встречается в том числе и в предложениях, где темпоральная (секвенциальная) интерпретация не годится (Goddard 1994). Например:

— *Почему ты плачешь? — У меня болит зуб. Это-ABL я плачу.*

Секвенциальная ('после') интерпретация не годится для этого предложения, и, как настаивает Годдард, необходимо ввести отдельное значение 'из-за'.

Рассмотрим также следующее предложение (Wilkins 1989:186):

Ты должен пойти навестить свою мать [потому-что] она очень больна.

В аналоге этого предложения на языке аранда морфема Аблатива, переведенная здесь как 'из-за', может в других контекстах значить 'от' или 'после', но в данном контексте интерпретация в терминах 'от' или 'после' будет бессмысленной. Говорящий очевидным образом побуждает сына навестить мать во время ее болезни, а не после того. Если мы предполагаем, что для самих говорящих подобные предложения осмысленны, мы должны предположить и то, что рассматриваемая морфема полисемична и что у нее три разных смысла: 'от', 'после' и 'из-за' (Harkins, Wilkins 1994).

Слово (или морфема), которые могут интерпретироваться то как 'из-за', то как 'после', не могут иметь какого-то единого значения, «более абстрактного, чем 'из-за' или 'после'»: нет идентифицируемого значения, более абстрактного, чем 'из-за' и 'после' и при том содержащегося в них обоих. Если бы кто-либо взялся утверждать, что такое значение может быть, но у нас просто нет слова для его воплощения, я бы повторила

вслед за Витгенштейном, что о том, о чем невозможно говорить, следует молчать. Семантические гипотезы, основанные на «призрачных значениях», для которых нет слов, не могут быть опровергнуты и потому им нет места в семантическом анализе.

С другой стороны, гипотеза об универсальном наборе семантических примитивов, включающих 'если' и 'из-за', открыта для эмпирической проверки (это подтверждается тем, что с течением лет данные из постоянно растущего множества анализируемых языков приводят к многочисленным пересмотрам первоначально предложенного списка примитивов; обзор см. Wierzbicka 1994).

Поэтому было бы неправильным считать, что, допуская полисемию, мы делаем нашу гипотезу о лексических универсалиях неуязвимой для критики с эмпирических позиций. Наличие полисемии необходимо доказывать, она не может быть постулирована без всяких на то оснований. Например, как было показано выше, гипотеза о том, что английское слово *after* полисемично относительно «секвенциального» и «каузального» значений, опровергается тем фактом, что в любом контексте *after* совместимо с секвенциальной интерпретацией.

Аналогично, если бы кто-нибудь захотел утверждать, что 'не-знать' является лексической универсалией и что в английском языке имеется для этого специальное слово (пусть даже и многозначное), ему не удалось бы отыскать в английском языке носителя лексического значения, для которого эта гипотеза могла бы быть состоятельной.

Вопрос состоит в том, можно ли вообще описывать данные различных языков мира в терминах единого набора гипотетических примитивов. Конечно, невозможно доказать, что предложенное множество примитивов является «единственно верным» и что люди во всем мире в самом деле думают в терминах этого множества, но можно показать, что предложенное множество примитивов «работает», что оно совместимо с данными из всех тех различных языков, которые были проверены с этой точки зрения (учитывая полисемию и, как я собираюсь показать ниже, различия в сфере употребления, объяснимые в терминах специфических факторов культуры).

Возвращаясь к 'из-за', я хочу добавить, что на данном этапе ни в коем случае нельзя утверждать, что существуют языки, в которых для выражения и 'из-за', и 'после' имеется только один лексический показатель. В частности, Годдард (Goddard 1994) отмечает, что в янкуньтъяра есть и другой показатель для 'после', а именно *mala(ngka)*. Он также заме-

чает, что даже если одна и та же морфема — маркер аблативного падежа (ABL) *-nguru* — рассматривается как показатель для 'из-за' и 'после', все равно имеются конструкции, ясно дифференцирующие оба значения: *nyanga-nguru* (этот-ABL) означает 'из-за этого', в то время как *ara palula-nguru* (время этот-ABL) означает 'после этого'.

Наличие различных конструкций как свидетельство полисемии лексических показателей семантических примитивов имеет столь важное значение, что я проиллюстрирую это еще одним примером (Ameë Glass, устн. сообщение; см. также Glass, Hackett 1970).

В австралийском языке нгааньятьяра суффикс *-tjani* может означать и 'из-за', и 'после'. Однако, если вопрос звучит как:

Nyaatjanu kukurraaru?
что-TJANU бежать-ПРОШ,

это может значить только 'Почему он убежал?', а не 'Когда он убежал?'. С другой стороны, *-tjani* может означать 'после', если оно употреблено в ответе на вопрос о времени:

Wanytjawara kukurraaru?
'когда бежать-ПРОШ' 'Когда он убежал?'

Turkutjanu.
корробори-TJANU 'После корробори'.

Обобщая, скажу, что полисемия может существовать и без различия синтаксических конструкций, как в случае с английскими словами *attached* или *bank* (ср. 'берег реки' и 'кредитный банк'). Однако, возможно, что в случае фундаментальных понятий, на которых основываются человеческая коммуникация и мышление (такие, как 'весь', 'если', 'из-за', 'после', 'я', 'ты'), полисемия допустима только в присутствии некоторых синтаксических различий (или различий в других типах показателей). Вопрос требует дальнейшего изучения, но следует заметить, что ни один известный язык не позволяет, чтобы одно и то же слово означало и 'ты', и 'я' — два универсальных семантических примитива, обычно встречающихся в совершенно одинаковых грамматических контекстах.

В дополнении к полисемии, также возможно, что (по ряду причин) два слова могут иметь одинаковое значение, но различные сферы употребления. Например, хотя все известные

* Корробори — народный танец у австралийских аборигенов — прим. пер.

языки имеют специальные слова для 'ты' и 'я', сферы употребления этих слов могут очень сильно различаться. Так, в японском языке употребление этих слов обычно избегается, по много раз уже обсуждавшимся причинам культурного характера.

Аналогично, в различных культурах по разному относятся к интроспекции и «разговору об эмоциях» (ср. Lutz 1988). По этой причине количество терминов для обозначения эмоций может варьировать от нескольких — как в языке чепанг в Малайзии (ср. Howell 1981) — до нескольких сотен (как в английском языке). Различия в размерах словаря эмоций связаны со сферой употребления основного слова для 'чувствовать'. Так, английский глагол *feel* имеет очень широкую сферу употребления и свободно сочетается с различными словами, обозначающими эмоциональное состояние (например, *I feel depressed* — 'Я чувствую себя подавленно'), ощущения (например, *I feel hungry* — 'Я чувствую голод'), равно как и со словами, обозначающими внешние по отношению к субъекту ситуации (например, *I feel abandoned* — 'Я чувствую себя заброшенным', *I feel betrayed* — 'Я чувствую, что меня предали'). Однако, во многих других языках возможности для ведения разговоров об эмоциях весьма невелики, и употребление слова для 'чувствовать' ограничено очень небольшим числом сочетаний (ср. Goddard, Wierzbicka 1994). Но это не значит, что значение английского слова *feel* сильно отличается от значений аналогичных слов с более узкой сферой употребления в других языках, или что в языке, в котором самое близкое соответствие английского *feel* имеет более узкую сферу употребления, не найдется слова, воплощающего понятие 'чувства' (то есть именно то значение, которое кодируется английским глаголом *feel*).

'Если' в австралийских языках

Как уже отмечалось выше, 'если' — это понятие, которое сопротивляется любым попыткам его декомпозиции и в котором, тем не менее, исследователи отказывают некоторым языкам, отличным от европейского стандарта (в особенности некоторым австралийским языкам⁴). Я считаю, что сообщения подобного рода часто происходят из-за неумения разглядеть лексическую полисемию. Как заметил Мак-Конвелл: «...недостаточность формальных различий между *если* и *когда* в языках аборигенов, в отличие от английского языка, предположительно связана с отсутствием в речи аборигенов гипотетических условных конструкций» (McConvell 1991:15).

Отвергая подобные утверждения, Мак-Конвелл показывает, что в языках аборигенов имеются лексические и грамматические средства для обозначения гипотетичности, и обращает внимание на то, что даже если слова для 'если' и 'когда' идентичны, они могут выступать в разных грамматических контекстах. Например, в языке нгаринман смысл 'если' отличается от 'когда' употреблением суффикса неуверенности *nga*, следующего за маркером подчиненной предикации *nyuti* и сложной местоименной клитикой (стр. 16).

Мак-Конвелл подчеркивает, что подобные средства часто используются в некоторых жанрах спонтанной речи и что люди старшего возраста, не получившие западного образования, часто дают описания «воображаемых и гипотетических картин, включающие множественные вставленные и цепочечные конструкции внутри других гипотетических высказываний» (стр. 15). Мак-Конвелл иллюстрирует это двумя рассказами, записанными от Сноуи Куррмилья, носителя языка нгаринман (ради экономии места приводится только перевод).

1. Мы будем гулять здесь, искать пищу, игру или что-нибудь еще, черепахе или мед. Если мы не найдем черепаху, то заберемся на гору в поисках меда или кенгуру. Если мы не найдем кенгуру, то спустимся вниз к реке порыбачить. Когда пойдем мы назад в поселок, чтобы взять муки, чаю и тому подобного? Если кто-нибудь даст нам немного или если кто-нибудь pošлет немного для других людей, мы принесем это.

2. Если ты когда-нибудь пойдешь туда, скажи этому типу, который унес ребенка вместе со своей женой, что когда-то они оба должны вернуть его обратно, чтобы я перестал беспокоиться о нем и был счастлив. Если ребенка не будет здесь слишком долго или если он потеряется, мы все соберемся и зададим трепку этому отцу и матери, потому что он забрал его и не вернул обратно.

Мак-Конвелл подчеркивает, что это «куски воображаемых сцен, созданных Сноуи без предварительной подготовки или продумывания» и что он сам «не оказывал никакого влияния на выбор предмета или формы повествования и не пытался получить гипотетический дискурс» (стр. 15). Я полагаю, что отрывки такого типа представляют собой серьезные свидетельства в пользу присутствия в языке понятия 'если' (даже если воплощающий его лексический элемент полисемичен относительно смыслов 'если/когда').

Необходимость понятия 'весь' / 'все'

Холлпайк (Hallpike 1979) утверждает, что в том, что он называет «примитивными культурами» отсутствует понятие

'весь', привлекая для доказательства этого данные из нескольких языков. Импликации этого утверждения столь серьезны, что они заслуживают подробного рассмотрения. Он пишет: «Некоторое-количество (несколько) и 'весь' являются фундаментальными понятиями логики, базовыми для предложений включения, соотносящих части с целым. 'Весь' обозначает всю совокупность объектов множества А, в то время как 'несколько' обозначает 'А — х' (где х больше нуля). В примитивном употреблении, тем не менее, возможно, что при использовании слов, переводимых этнографами как 'несколько' и 'весь', 'весь' означает не 'все возможные члены множества А', но 'все, знакомые нам' или просто 'много'. Поскольку обычно примитивное мышление не стремится охватить максимально возможное число элементов множества, проявляется тенденция использовать 'весь' в значении 'очень много'; если же все возможные члены множества физически присутствуют, примитив, действительно, может сказать 'весь', но в значении 'полный', порожденном из пространственного концепта контейнера, который был наполнен. ...»

Доктор Нил Уоррен, например, рассказывал мне (в частной беседе), что представители племени каmano в Новой Гвинее используют слово для обозначения 'много' в функции 'весь'; он также напоминал мне, что *olgeta* на пиджине коннотативно скорее связано с 'много', нежели с 'весь'. Таким же образом я обнаружил, что в таяге слово, которое я первоначально собирался переводить как 'весь', *kiparima*, более точно соответствовало значению 'много'. *kipariai* означает 'два' или 'пара', где *-ai* это суффикс двойственного числа, а *-ma* — один из суффиксов множественного; таким образом *kiparima* буквально значит 'пары', то есть 'много', и именно так и употребляется в устной речи. Стоит также отметить, что *kiparima* это не прилагательное, а существительное и обозначает положение вещей, 'множественность', а не характеристику некоторого класса. Это же верно для *mi*, более точным переводом для которого является 'ничто', а не 'не/нет' или 'никакой'. Когда эти обозначения вступают в сочетания с классами предметов, как в *vale kiparima*, 'все люди', 'каждый', 'много людей', представляется, что здесь имеет место скорее аппозитивная, нежели кваликативная связь. ...»

Таким образом, просто из того, что в примитивных культурах используются слова, которые этнографы переводят как 'некоторый' и 'весь', еще не следует, что носители владеют логическими, а не сугубо конкретными, импликациями этих терминов» (Hallpike 1979:181-182).

Я считаю выводы Холлшайка абсолютно неверными. Действительно, во многих неевропейских языках (например, в

австралийском языке аранда; ср. Wilkins 1989) слово, используемое для сентенциального отрицания, также имеет значение 'ничто'. Также справедливо, что во многих языках слово, переводимое этнографами как 'весь', в действительности является именным, в не артиклевом образовании (с грамматической точки зрения больше соответствует выражению *the lot* в английском, нежели детерминатору *every*). И для многих языков переводы на английский предложений, включающих слово, основным значением которого служит 'много', будут содержать английский слово *all*, а не *many*.

Но означает ли это что такие языки не проводят четких различий между понятиями 'весь' и 'много'? Я думаю, что нет. Начать с того, что замечание Холлшайка относительно данных языка таяге не слишком убедительно. Если основа *kipari* в соединении с суффиксом двойственного числа дает слово, обозначающее 'два' или 'пара', тогда более вероятно, что само по себе оно означает 'весь', а не 'много' (ср. во французском *tous les deux*, букв. «все два», т. е. 'оба'). Основа со значением 'много' вряд ли может присоединять суффикс двойственного числа, поскольку в языке существует четкий контраст между множественным ('много') и двойственным ('два') числом; сочетание 'много' + 'два' не имеет разумного осмысления, в то время как объединение смыслов 'весь' и 'два' в пару засвидетельствовано во многих других языках.

Далее, хотя у меня не было возможности проверить утверждения Холлшайка относительно таяге (или каmano), его замечания об очевидном объединении понятий 'весь' и 'много' применимы также и, например, к австралийским языкам в той степени, в которой надежные данные по ним представлены в лингвистической литературе. Список в книге Холлшайка ясно показывает, что после народов Новой Гвинеи понятие «примитивная культура» связывается у него с австралийскими аборигенами.

Например, данные Биттнер и Хейла (Bittner, Hale 1995) из языка варлпири (Австралия) свидетельствуют, что и в этом языке есть слово, тоже имя (*rapu*), которое иногда лучше переводить как 'много', а иногда как 'весь'; а Харкинс (Harkins 1991) показывает, что то же самое верно для другого австралийского языка, луритя.

Но это не означает, что варлпири или аранда не обладают понятием 'весь', отличным от понятия 'много'.

Во-первых, в то время как в варлпири слово *rapu* может переводиться либо как 'весь', либо как 'много' (в зависимости от контекста), в нем есть и другое слово, *jintakumarrarni*, которое никогда не переводится как 'много', но только как 'весь' (или 'все из них', см. ниже).

Во-вторых, как показывает анализ Биттнер и Хейла, *panu* может переводиться как 'весь' только в тех контекстах, которые предполагают определенность, то есть там, где это может быть проинтерпретировано как 'множество', 'группа' (состоящая из многих)', подразумеваемая 'вся группа'.

В случаях типа этого слово, которое в действительности значит 'много', может выступать в значении 'весь'. Отсюда только один шаг до вывода о том, что народ варлпири не отличают 'много' от 'весь'.

Но такой вывод будет ошибочным. Точно так же можно утверждать, что носители английского языка не различают между собой обсуждаемые понятия, потому что *a lot* означает 'много', а *the lot* — что-то вроде 'весь'. Тот факт, что в варлпири есть отдельное слово для обозначения 'весь', *jintakumarrarni*, как оно есть и в английском (*all*), показывает, что на самом деле два обсуждаемых концепта различены, а особенности их употребления в обоих языках связаны с другими различиями их структуры, в частности, наличием/отсутствием артиклей.

Эти положения могут быть проиллюстрированы следующими данными (Bittner, Hale 1995, с сохранением их нумерации и переводов):

1. *Panu* означает 'много':

- (17) В. Nyajangu-0-0-ngku karli yu-ngu nyuntu-ku?
 NYAJANGU-ПЕРФ-Зед-Зед бумеранг дать-ПРОШ ты-ДАТ
 'СКОЛЬКО бумерангов он тебе дал?'
 О. Panu 0-0-ju yu-ngu karli
 PANU ПЕРФ-Зед-Зед дать-ПРОШ бумеранг
 'Он дал мне МНОГО бумерангов'

2. *Jintakumarrarni* означает 'весь':

- (10) Yurnmi-jarri ka-lu jintakumarrarni=iki
 зреть-НЕПРОШ ЛИЦО-Змн весь=тогда
 'Затем они созревают, все они/все части их'
 (11) Jintakumarrarni-juku-jala ka-lu wara
 весь-А=конечно ЛИЦО-Змн перемещаться-НЕПРОШ
 kankarlu-mira raatgardj-nja-rla pinkitpa-kurlu-0
 сверху-только летать-ИНФ-ПРОКС перо-сущ.=с-А
 'Все они, конечно, живут только в воздухе, летая [пернатые]'

3. *Panu* может использоваться в значении (при наличии определенности) 'много', 'множество', 'группа' и, путем логического вывода, 'все' (то есть 'вся группа'):

- (19) Panu ka-gna-jana pu-a-pu
 много ПРЕЗ-Зед-Змн видеть-НЕПРОШ

- (i) 'Я вижу какую-то (их) большую группу.'
 (ii) 'Я вижу (определенную) большую группу.'
 (iii) 'Я вижу их, (составляющих) большую группу.'
 (35) Yara ka-lu puina panu puamri-rla ngurtju?
 лицо-АБС ПРЕЗ-Змн быть-НЕПРОШ много этот-ЛОК хорошо
 'Всем людям здесь хорошо?'

Это не означает, что *jintakumarrarni* на варлпири имеет ту же область употребления, что и английское *all* (я еще вернусь к обсуждению этого ниже), но это значит, что варлпири различает понятия 'весь' и 'много' и обладает возможностями для их лексического выражения.

Далее, хотя Биттнер и Хейл (1995) переводят *jintakumarrarni* как 'все из них', а не 'все/весь', я не вижу оснований считать, что это слово значит что-либо, кроме 'весь'. В обычной речи оно, без сомнения, будет часто относиться к некоторой уже упоминавшейся группе, и потому вполне совместимо с переводом 'все они'. Но это не обязательно: при необходимости это же слово может быть использовано для неограниченного обобщения, того вида, который Холлпайк считает невозможным в «примитивных языках». Предложение (11) Биттнер и Хейла («все они, конечно, живут только в воздухе, летая, [пернатые]»), записанное Хейлом и взятое из «устного описания» видов живых существ, не относящееся ни к какой группе птиц в отдельности, но к птицам вообще, является хорошей иллюстрацией этого положения.

Два следующих примера такого неограниченного обобщения из другого австралийского языка, кайардилд, приводятся в Evans 1985:

- 6-279 maarra diya-a-n-kuru
 весь есть-ПДОП-БУД (говоря о ямсе):
 '(Они) все съедобны'.

- 6-281 maarra maku-karran-d
 весь женщина-РОД-ИМЕН
 (О впаха как о пище): 'Только женщины едят вшей'
 (букв. «все вши принадлежат женщинам»).

Несомненно, каждодневная жизнь племенного сообщества не требует частых обобщений подобного рода, но если они встречаются не столь часто, то это не по причине отсутствия концептуальных или языковых средств.

То же самое верно и по отношению к замечаниям Холлпайка относительно слова *olgeta* в ток-писин. Хотя этимология этого слова (*all together* — 'все вместе') указывает на идею группы, эта идея не является определяющей для семан-

тики слова, и на самом деле *olgeta* без каких-либо сложностей употребляется для неограниченных обобщений. Например, оно постоянно употребляется таким образом в переводе Нового Завета на ток-писин, и предложение из Евангелия от Иоанна, уже цитировавшееся выше, будет выглядеть на нем следующим образом:

Dispela laid tru, em i save givim lait long olgeta manmeri...
 этот свет истинный этот есть [связка] [абитуалис] дать свет к
 весь люди

'Истинный свет, озаряющий каждого человека ...'

То, что подобные предложения на ток-писин вполне понятны и звучат хорошо, показывает, что несмотря на этимологию, *olgeta* означает просто 'весь/все', а не 'много в одном месте', как утверждает Холлшайк⁵.

Подводя итог, можно сказать, что насколько нам известно, не существует языков, в которых бы не было тех или иных лексических средств для выражения понятия 'весь' — не просто чего-то вроде этого, но именно данного смысла.

Я полагаю, что Холлшайк прав, предполагая, что без слова (или другого лексического средства) для 'весь' язык будет не в состоянии выразить определенные идеи — более того, на этом языке невозможно будет эти идеи даже породить — а также, что эти идеи, базирующиеся на понятии 'весь', имеют фундаментальное значение для европейской культуры⁶. Но я считаю, что убежденность Холлшайка в существовании таких языков не подтверждается фактами.

Я вовсе не утверждаю, что область употребления слов или морфем, передающих данное понятие, одинакова для разных языков. В некоторых языках область употребления слов или морфем, выражающих смысл 'весь', ограничена относительно узким набором семантических и/или синтаксических контекстов. Это в особенности верно для австралийского языка марритийел (Green 1992) и для папуасского языка йимас (Foley 1991). Но область употребления — это одно, а существование лексикализованного понятия — совершенно другое.

Чтобы убедиться в этом, обратимся ненадолго к фактам языка марритийел. По Грину (Green 1992), единственным словом в марритийел, которое могло бы претендовать на роль носителя значения 'весь', является наречие/междометие *wakau*. Если оставить в стороне употребление этого слова в качестве междометия, можно заметить, что *wakau* (как наречие) может сочетаться только с семантическим пациенсом и что, более того, может наряду с идеей 'всеобщности' переда-

вать идею 'полноты'. Например (сохранена нумерация Грина):

(11) *fiyi winjsjeni gani -ya (wakau) kepala plohoy Zed??*
 «идти» ПРОШ окончен
 'Он (совсем) поглупел.'

(12a) *ma -meri ma-Mertanunggu* человеческий НЕ-ЕД
 мужчина человеческий НЕ-ЕД Мерранунгу *gurringgi*
-wanggal -0 -a ZNE-ED ?? «??» заканчивать МН ПРОШ
 'Люди Мерранунгу «кончились» (=«умерли»).

(12b) *ma -meri ma-Mertanunggu* человеческий НЕ-ЕД
 мужчина человеческий НЕ-ЕД Мерранунгу *gurringgi*
-wanggal -0 -a wakau ZNE-ED ?? «??» заканчивать МН ПРОШ
 окончен
 'Люди Мерранунгу все «кончились» (=«умерли»).

Но что может означать для группы людей выражение умереть «полностью»? Несомненно, в предложениях типа (12b) *wakau* означает просто 'весь' (что и отражено в переводе Грина). Тот факт, что *wakau* может употребляться с неградулируемыми предикатами типа *умирать*, означает, что это слово передает не некоторое гибридное понятие 'полнота/всеобщность/весь', но имеет два отдельных значения: 1. полностью, 2. весь. Другие примеры, приводимые Грином (в частной беседе) подтверждают этот вывод. Например, если добавить *wakau* к предложению, означающему 'Он выдал дочерей замуж', полученное предложение может значить только 'Он выдал замуж ВСЕХ своих дочерей', а не 'Он ПОЛНОСТЬЮ отдал дочерей // выдал дочерей замуж'.

Имея в распоряжении подобного рода факты, мы, я полагаю, должны прийти к заключению, что в марритийел имеется лексическое оформление понятия 'весь', даже если сфера его употребления более ограничена, чем у английского слова *all* (см. также Evans 1995, о другом взгляде на понятие 'весь' в австралийских языках).

Ресурсы и стратегии

Существование когнитивных ресурсов не должно смешиваться с регулярным использованием этих ресурсов в различных культурах. Различия такого рода особенно ярко были продемонстрированы профессором Лурия (Luria 1976) в опросе узбекских и киргизских крестьян (обильно цитируются Холлшайком). Например:

На Крайнем Севере, где много снега, все медведи белые. Новая Земля находится на Крайнем Севере и там всегда снег. Какого цвета там медведи? Я не знаю, какого цвета там медведи, я никогда их не видел. Но как вы считаете? Однажды я видел медведя в музее, но это все.

Лурия комментирует это так, что «наиболее типичным ответом для опрашиваемых ... было полное отрицание возможности делать какие-либо выводы на основании утверждений о вещах, по поводу которых у них не было никакого личного опыта, а также подозрительное отношение к любым логическим операциям сугубо дедуктивной природы» (стр. 108). В то же самое время опросы Лурии ясно показывают, что у опрашиваемых имелись представления о таких концептах, как 'весь' и 'если', и в ситуации давления на них они МОГЛИ сделать необходимые выводы. Например:

Но на основании того, что я сказал, как вы думаете, какого цвета там медведи? Либо одноцветные, либо двухцветные ... [долго размышляет.] Если судить по месту, они должны быть белые. Вы говорите, что там много снега, но мы никогда не были там! (стр. 111).

А вот другой пример (стр. 109):

Но какого вида медведи на Новой Земле? Мы всегда говорим только о том, что мы видели; мы не говорим о том, чего не видели никогда. ... Но что подразумевают мои слова? ... Ну, что вам сказать: наш царь не такой, как ваш, а ваш не такой, как наш. На ваши слова может ответить только тот, кто был там, а если человек там не был, он не может сказать ничего на основании ваших слов ... Но на основании моих слов — о том, что на Севере, где всегда снег, где медведи белые, можете вы решить, какие медведи должны быть на Новой Земле? Если бы человеку было шестьдесят или семьдесят лет и он бы видел белого медведя и рассказал бы об этом, ему можно было бы поверить, но я никогда ни одного не видел и поэтому не могу ничего сказать. Это мое последнее слово. Те, кто видел, могут сказать, а те, кто не видел, ничего сказать не могут! (В этом месте вмешался молодой узбек: «Из ваших слов можно сделать вывод, что медведи там белые»). Ну, хорошо, так кто из вас прав? То, что петух знает, как делать, он делает. Я говорю то, что я знаю, и ничего кроме этого!

Для дедуктивных рассуждений ключевым является существование таких понятий, как 'весь' и 'если'; всему остальному можно научиться (как показывают данные Лурии — быстро научиться, стоит лишь предоставить индивидууму возможности ознакомления с другой культурой). Различные способы мышления не делают человеческие культуры взаимно непроницаемыми, если общими являются исходные понятийные ресурсы.

«Релятивист» Уорф явным образом отождествил понятийные ресурсы, используемые в различных человеческих

сообществах, с концептуальным набором, единым для всего человечества.

Вера в такой набор универсальных понятий вполне совместима с убеждением Уорфа, что «каждый язык это не просто средство воспроизведения звучащих мыслей, но, скорее, сам источник формирования идей», потому что универсальные для всего человечества понятия могут образовывать специфичные для каждой культуры конфигурации (ср. Wierzbicka 1992).

Обязательность предикатов интеллектуальной деятельности ('знать' и 'думать')

Ранее я утверждала, что понятие 'знание' не может быть получено из других понятий и что если бы в каком-то языке не было слова для выражения этого понятия, это означало бы реальные ограничения его выразительных возможностей. То же самое, я считаю, относится и к 'думать': как Декарт (Descartes 1701/1931) и многие другие убедительно показали, понятие 'думать' не может быть получено ни из какого другого, более простого понятия.

Но по Холлпайку (Hallpike 1979), «существуют языки, в которых понятия 'знать' и 'думать' не могут быть выражены. Люди, которые говорят на таких языках, по его мнению, как дети, находятся на «до-оперативной» (pre-operatory) стадии развития (в терминах Пиаже).

На этой стадии ребенок когнитивно не способен к ясному различению субъективного и объективного, осознания своей собственной мыслительной деятельности ... Даже употребляя слова типа 'думать', он не осознает его когнитивных импликаций, и для него оно означает 'концентрацию', 'мыслительное усилие', например, при попытке вспомнить что-нибудь ... На первой стадии (около 6 лет) он предполагает, что мы думаем ртом, когда говорим, и по ассоциации отождествляет мысли с дыханием, воздухом, дымом, или же проводит знак равенства между мышлением и слухом и потому считает это чем-то, связанным с ушами» (стр. 385-386).

По Холлпайку, «примитивные» народы тоже смешивают мышление с речью и слухом и также не имеют представлений о чисто когнитивных процессах и состояниях того типа, что стоят за английскими словами *think* и *know*. Он пишет (стр. 393-394): «Эта неспособность анализировать личный опыт, противопоставленный социальному поведению, парадигме известного, хорошо иллюстрируется этнографическими данными омура, провинция Восточное Нагорье, Папуа — Но-

вая Гвинья. Как многие примитивные народы Новой Гвиньи и других мест, люди оммура используют один и тот же глагол (*iero*) для передачи значений 'понимать' и 'слышать звук'. *Dapi* довольно точно соответствует понятиям 'ясный', 'отчетливый' и противопоставлен понятиям 'темный', 'неясный', и поэтому выражение *dapi iena* означает 'звук, который можно ясно слышать', и также, когда это выражение употребляется в смысле понимания, идея 'слышания', содержащаяся в этих контекстах, соотносит между собой звук имени, *prutu*, и предмет обсуждения (приравнивание 'понимания' к слуху чрезвычайно распространено в примитивных культурах и, конечно, вполне совместимо с заявлениями испытуемых Пиаже о том, что «мы думаем нашими ушами»).

Аналогичным образом, Холлпайк (Hallpike 1979:406) с одобрением цитирует заявления Рида о папуасском народе гахуку-гама: «Люди гахуку-гама (Новая Гвинея) не приписывают мозгу никаких важных функций и не имеют ни малейшего понятия о его работе. Мыслительные процессы ассоциируются с органом слуха. 'Знать' или 'думать' выражается как 'слышать' (*gelenove*); 'я не знаю' или 'я не понимаю' будет 'я не слышу' или 'я не услышал' (*gelemuve*) (Read 1955:265, сноска)».

Верно, что многие не-западные культуры используют одно и то же слово для 'думать' и 'слышать' или для 'знать' и 'слышать'. Но что именно это доказывает? В английском языке можно использовать слово *see* — 'видеть' в значении 'понимать' (*I see what you mean ...* — 'я понимаю, что вы имеете в виду'), но это не служит доказательством того, что носители английского не делают разницы между 'понимать' и 'видеть'. В английском, конечно, есть также отдельное слово *understand*, имеющее только когнитивный смысл. Это, однако, не влияет на тот факт, что *see* в английском является полисемичным и что в предложении типа *I see what you mean* оно имеет чисто когнитивный смысл. Но если *see* позволено быть многозначным относительно 'видеть (глазами)' и 'понимать', почему *iero* в языке оммура не может быть многозначным по отношению к 'слышать (ушами)' и 'понимать' или 'знать'?

В польском (и ряде других славянских языков) слово для 'знать', *wiedzieć*, родственно слову для 'видеть', *widzieć* (ср. Brückner 1970). Оба происходят из одного и того же протоиндоевропейского корня *weid* — 'знать/видеть' (ср. также *video* 'я вижу' по латыни и *véda* 'я знаю' на санскрите; Ernout, Meillet 1963:734).

Холлпайк упускает из виду важнейшее различие между полисемией и неопределенностью значений. Если, к примеру,

в австралийском языке янкуньтятьяра одно и то же слово *kulini* может значить и 'слышать', и 'думать' (ср. Goddard 1992), это случай полисемии, а не нерасчлененности значений. Например, в предложении (Goddard 1994)

Ngayulu alatji kulini, «tjingurula ...»
'Я думаю (про это) так: «Может быть мы ...»'

оно явно означает 'думать', а не какой-то гибрид между 'думать' и 'слышать' (и Годдард не колеблется, утверждая здесь наличие полисемии).

Случай полисемии между 'думать'/'слышать' в янкуньтятьяра (или питьянтятьяра) совершенно аналогичен полисемии 'видеть' / 'понимать' в английском. В обоих случаях семантическая разница коррелирует с разницей в синтаксических конструкциях: например, *I can see why ...* может значить только 'я понимаю', а не 'я могу воспринимать глазами', и *alatji kulini* может означать только '(я) думаю так', а не '(я) слышу так'. Но даже если бы не существовало синтаксических различий для двух семантических интерпретаций, все равно нужно было бы вводить два значения по чисто семантическим причинам: *I see what you mean* просто не может значить по-английски 'я воспринимаю глазами то, что ты имеешь в виду'.

Интересно, что полисемия для таких базовых понятий, как 'думать' нормально предполагает наличие разных конструкций. В случае с австралийским языком Западной Пустыни (янкуньтятьяра является его диалектом) особо красноречивые свидетельства представлены Гласс (Glass 1983:40). Этот материал связан с употреблением суффикса (*-kukantja*) и энклитики (*-lkanyu*), обозначающих «ошибочная мысль» (*mistaken thought* — МТ). Ясно, что оба эти элемента могут встретиться только при употреблении полисемичного глагола *kulini* в значении 'думать'. См. пример (сохранена нумерация Гласс):

- (60) Tjilku pirni-lu=ya tjunya kuli-ra palya-palya=lkanyu
ребенок много-ЭРГ=они ты знаешь думать-НАСТ забава=МТ pitul-
ra ngarri-granjakukantja-lu kapi-kukantja-lu
бензин-АБС лежать-ИМП.МТ-ЭРГ вода-МТ-ЭРГ
'Все дети, вы знаете, ошибочно думают, что бензин валется для забавы, они ошибочно думают, что он (так же безопасен), как вода.'
(61) Kuli-rnu tjarrpa-ngu=lkanyu kapi-ngka palunya-kukantja
думать-ПРИЧ.ПРОШ войти-ПРИЧ.ПЕРФ-МТ вода-в это-МТ
'(Они) думали, что они вошли в воду, вот что они ошибочно думали.'

Примеры, подобные этим, делают кристально ясным тот факт, что даже если понятия 'думать' и 'слышать' выражаются одним лексическим средством, это не означает отсутствия чисто когнитивного смысла у данного слова. Оно не в меньшей степени присутствует в языках Западной Пустыни, чем в языках, где 'думать' имеет специфичное лексическое выражение, как например, в австралийском языке нганди (Heath 1978:147):

giyan я думаю, что ...; думать, что
 giyan guwolo baru-ga-gar?-d-i я думаю, что они использовали это.
 bargu-dawal-maki-j-i, gu-yaku, giyan bargu-mili?-dulu-bidiC-ma-yi,
 ba-ga-yima--na-? Они не поют (в церемонии); они думают, что могут ее испортить.

Все, что относится к 'думать', также приложимо и к 'знать'. Если одно и то же слово используется для передачи и 'слышать', и 'знать', и если это слово может встретиться в предложении, для которого невозможно осмысление его как 'слышать', то тогда это слово должно интерпретироваться как полисемичное, и если при этом искать синтаксические различия, связанные с различиями в значении, то обычно их можно найти.

Например, в папуасском языке гахуку-гама (теперь называемом алекано), который Холлпайк использует в качестве одного из главных своих примеров, слово для передачи и 'думать', и 'знать' действительно, то же самое, что и слово для 'слышать', однако по словам одного из лучших экспертов по этому языку, доктора Эллис Дейблер (в частной беседе), все три смысла этого слова ('думать', 'знать' и 'слышать') всегда могут быть выведены из конструкции, в которой оно употреблено, так что неоднозначности не возникает.

Если это слово интерпретируется как 'воспринимать', что и происходит обычно, тогда смысл 'слышать' связан со словосочетаниями типа *говорить воспринимать* или *сказать воспринять*, смысл 'думать' с выражением *ухом воспринять*, а смысл 'знать' — с выражением *вещь воспринять*. Например (доктор Дейблер, частное письмо):

1. na-gata gulumbó
 мое-ухо я-воспринял 'я подумал/я думаю'
2. óasi/mo gakó muki/ geleneive
 Бог говорить весь он-воспринял 'Бог слышал все'
3. íáa loko limó nene óasi/mo geleake
 ... так спасая он сказал Бог восприняв 'Бог, услышав, что он сказал так, ...'

4. óasi/mo netá muki/ geleneive
 Бог вещи весь он-воспринял 'Бог знает все'
5. óasi/mo netá muki/-kumu geleneive
 Бог вещи весь-о он-воспринял 'Бог знает все обо всем'.

Традиционная интерпретация смысла этого слова как 'воспринимать' имеет свои преимущества при описании подобных фактов, но ее нельзя рассматривать как точное представление значения слова, поскольку совершенно очевидно, что здесь имеют место три значения, а не одно. Например, предложение 1 может означать только 'я думаю', не 'я слышу', а предложение 5 может значить только 'Бог знает все', а не 'Бог слышит все'.

Слова, обозначающие части тела, часто выступают в составе идиом, описывающих внутренние состояния. Одним из языков, особенно хорошо иллюстрирующих это является хуа (еще один папуасский язык, географически весьма близкий к гахуку-гама, см. Haiman 1991). В хуа чувствуют, так сказать, внутренностями, думают ушами, а знают глазами. В реальности это означает, что хуа демонстрирует определенную модель полисемии (Haiman 1991 и частная беседа):

- ()geta 1. ухо, 2. мнение
 havi- 1. слышать, 2. понимать
 ()geta havi- думать (букв. слышать чье-то ухо)
 ()aira 1. внутренности, 2. чувствовать.

В английском языке можно назвать чьи-либо мысли «взглядами», а в хуа — «ухом»; но было бы абсурдным делать на основании этого заключение, что носители английского языка или языка хуа не обладают понятием 'мысли'.

Лексические данные крайне важны для установления понятий, существующих в данной культуре, но без глубинного семантического анализа лексические данные легко могут получить неправильную интерпретацию. Например, услышав, что в папуасском языке калам одно и то же слово (*ni-*) может переводиться и как «знать», и как «слышать», можно заключить, что этот язык не делает между ними различия. Однако, на самом деле, как показывают данные, полученные Эндрю Поли (Pawley 1966, 1986; а также частная беседа), в калам 'знать' и 'слышать' различены: *ni* означает собственно 'знать', а *tmwd ni* (букв. «ухом знать») означает 'слышать'⁷. В предложениях, описывающих звуки (такие, как гром), *tmwd ni* может сокращаться до *ni*, но в этом контексте чистая

форма *nn* может рассматриваться как эллипсис относительно *tmwd nn*.

Такой анализ подкрепляется тем фактом, что в калам есть много других лексических единиц, включающих в свой состав корень *nn*, и некоторые из них тоже могут сокращаться до чистой основы *nn*. Например:

- wdn nn* 'видеть' (букв. «глаз знать»)
- d nn* 'осязать' (букв. «касание знать»)
- nb nn* 'ощущать на вкус' (букв. «есть знать»)
- gos nn* 'думать' (букв. «мысль знать»)
- pk nn* 'намекать' (букв. «ударить знать»)
- bwk nn* 'читать, учить' (букв. «книга знать»)
- mapn nn* 'ощущать симпатию' (букв. «печень знать»)
- sb nn* 'переживать за' (букв. «внутренности знать»).

В предложении типа

- b byn nna-k* мужчина женщина знать-он-прош (точечн.)
- 'мужчина увидел женщину'

просто корень *nn* сам по себе может быть употреблен в значении 'видеть' (и на самом деле, только в этом смысле), но это не значит, что в калам тот же самый глагол (*nn*) означает нечто «расплывчатое» или промежуточное между 'знать', 'слышать' и 'видеть' (равно как 'думать', 'пробовать на вкус', 'читать', 'переживать' и тому подобное). Скорее, мы вынуждены заключить, что в калам 'знать', 'слышать', 'видеть' и 'нюхать' лексически различаются следующим образом: *nn* — знать; (*wdn nn*) — видеть; (*tmwd nn*) — слышать; (*kwy nn*) — нюхать⁸.

Хотя сам по себе корень *nn* может ассоциироваться с различными смыслами ('знать', 'видеть', 'слышать', 'ощущать на вкус'), в реальной речи эти смыслы четко противопоставлены: если объект относится к классу звуков, *nn* должно интерпретироваться как 'слышать', если к запахам, оно должно переводиться как 'обонять' и т. д.; а если объект принадлежит к классу конкретных предметов (например, 'колокольчик' или 'человек'), то единственно возможная интерпретация для *nn* будет 'видеть' (и никогда 'слышать' или 'обонять').

Также важно заметить, что в некоторых контекстах единственно возможное прочтение будет 'я знаю', а не 'я воспринимаю' ('вижу', 'слышу' или что-либо еще). Например (Поли, личное сообщение):

- yad Ulrike dn akay ow-a-k nn-b-yn*
- я Ульрике день когда приходит-Зед-Прош я-знаю
- 'Я знаю (*воспринимаю), когда приехала Ульрике'

yad Ulrike md-p- nn-b-yn

- я Ульрике оставаться-Наст-Зед знать-Наст-лед
- 'Я знаю (*воспринимаю), где находится Ульрике'.

Основания для введения различных значений для таких глаголов, как 'знать/слышать' (или 'знать/слышать/видеть') подкрепляются данными из родственных и окружающих языков и культур. Так, если среди географически близких и генетически родственных языков Австралии некоторые имеют отдельные слова для обозначения 'думать' и 'знать' (например, аранда; ср. Wilkins 1992; Harkins, Wilkins 1994), в то время как другие (например, янкуньятьяра) используют для 'слышать' и 'думать' одно и то же слово, то было бы странно считать, что у людей аранда есть понятие 'думать', а у культурно и лингвистически близкого народа янкуньятьяра такого понятия нет.

Данные, доступные на сегодняшний день, свидетельствуют, что во всех языках действительно есть слова для выражения смыслов 'знать' и 'думать'. Эти слова могут быть или не быть полисемичными, но это не важно с точки зрения языковых понятийных средств.

Холлпайк (Hallpike 1979:391) пишет: «Даже когда мы встречаем у примитивных народов слово, которое мы склонны переводить как 'думать', оно обычно имеет значение 'простого мыслительного усилия', как это имеет место у испытуемых Пиаже на до-оперативной стадии (ср., в тангу слово *ngek'ngeki* 'думать, размышлять, ломать голову' (Burridge 1969:176))».

Как всегда, Холлпайк частично прав: вполне обычно, что язык имеет специальное слово для обозначения процесса 'думать', но не имеет отдельного слова для 'думать' в более базовом смысле 'думать, что ...'. Подходящим примером может служить австралийский язык кайардилд, подробно изученный Эвансом (Evans 1985). В кайардилд слово *nalmarutha* (букв. «голову положить») означает 'думать о, вспоминать, приходить к чему-то в результате размышлений', например *kakuju nalmarutha nithi* 'дядя будет думать об имени, будет вспоминать имя' (Evans 1994); и в нем нет специального слова, обозначающего 'думать, что' (и ничего больше).

Но доводы Холлпайка базируются на предположении, что если слово значит 'слышать', оно уже не может значить 'думать'. На самом деле, если в языке имеется два слова, одно из которых значит, грубо говоря, 'думать, прилагая усилия', а другое многозначно относительно 'слышать' и 'думать, что', аргументация оказывается несостоятельной.

Делая отсылку к предшествующему анализу понятий 'думать', 'весь', 'несколько', 'количество', 'время', Холлпайк (1979: 390) пишет: «Точно так же, когда мы рассматриваем слова, относящиеся к мыслительным процессам, такие, как 'думать', нелишне помнить, что это слово, наряду со словами для 'знать', 'помнить', 'умный', 'глупый' и 'понимать', может иметь более простую смысловую интерпретацию, нежели чисто когнитивную, и что для примитивных или необразованных людей вполне возможно использование этих слов для описания поведения, выражения лица, движений тела, речи, без учета их отчетливого когнитивного смысла. Мы не должны ожидать в примитивных культурах дискуссий о различиях между, например, знанием и верой или кажущимся и реальным».

Но нас сейчас интересует не то, как в различных культурах используются понятия 'думать' и 'знать', а само существование этих понятий. Утверждение, что слова для 'знать' и 'думать' могут присутствовать в языке, но «иметь более простой, нежели чисто когнитивный, смысл», — это не более, чем недоразумение, как указывал Декарт (Descartes 1701/1931) наряду с многими другими, нет ничего «проще», чем 'думать' или 'знать' (ср. Bogusławski 1979 и 1989). Утверждение, что в некоторых языках отсутствуют слова для 'знать' и 'думать', я считаю ложным, но это осмысленное утверждение; утверждение, что такие слова существуют, но «получают более простую интерпретацию» не имеет смысла.

С одобрением ссылаясь на взгляды Гилберта Райла о том, что «на уровне здравого смысла наши суждения о мыслительных процессах есть не что иное, как суждения о поведении» (стр. 389), Холлпайк продолжает: «Но Нидхем также приводит переводы некоторых других слов и выражений языка нюер, которые, как представляется, более непосредственно и однозначно отражают внутренние когнитивные состояния, такие, как думать, знать, помнить, забывать, вспоминать, менять точку зрения, верить, представлять и прочее. Можно, конечно, допустить, что у примитивных народов есть представления о некоторых манифестациях когнитивных процессов и что у них могут существовать слова для выражения 'знать', 'думать', 'помнить', 'забывать', 'умный', 'глупый', 'понимать' и т. д. Но фокус состоит в том, что все эти разновидности мыслительных представлений имеют также и поведенческие манифестации. ...»

Короче, примитивные культуры интересуются внешними проявлениями внутренних состояний, и в этих внешних проявлениях тело играет решающую роль».

Утверждение о том, что данное слово означает 'думать', или 'знать', или 'слышать', может быть проверено обычными процедурами семантического анализа; если применяемые семантические тесты показывают, что слово значит 'думать' или многозначно относительно 'думать' и 'слышать', тот факт, что мыслительные процессы могут ассоциироваться с их поведенческими манифестациями, становится совершенно нерелевантным; он не может повлиять на результаты семантического анализа.

Семантическая релевантность поведенческих манифестаций может быть проверена. Например, в английском языке слова *merry* и *gloomy* относятся по своему значению как к эмоциям, так и к внешним проявлениям, что неверно для слов *happy* и *sad*:

**He was merry/gloomy, but he didn't show it.
He was happy/sad, but he didn't show it.*

Насколько мне известно, аналогичные данные о значимости «поведенческих манифестаций» для значения слов, выражающих 'думать' и 'знать', в австралийских или папуасских языках никогда не приводились (ни Холлпайком, ни кем-либо еще).

Я прихожу к заключению, что если заявление Холлпайка о том, что во многих не-западных культурах «пространство сугубо личного опыта подвергается весьма незначительному осмыслению и анализу на уровне общественного дискурса», является несомненно верным (ср. например, Howell 1981; Lutz 1988), его утверждения, касающиеся предположительного отсутствия слов для 'знать' и 'думать' (и, соответственно, отсутствия сопутствующих понятий), являются необоснованными.

Заключение

Критическая рецензия, написанная Лейвом (Lave 1981) на книгу Холлпайка «The foundations of primitive thought», имеет иронический заголовок «Как 'они' думают?» Ирония Лейва отражает его представления, которые в конце двадцатого века, безусловно, разделяются многими: представления о том, что Боас называл «психологическим единством человечества». Для тех, кто разделяет эти представления, все различия между 'ними' и 'нами' в терминах мыслительных способностей неприемлемы.

Но вера в «психологическое единство человечества» может вырождаться в пустую риторическую фразу, если она не связывается с практическими поисками общей понятийной базы, соединяющей различные культуры и общества. Если бы такая общая база не существовала, различные понятийные миры, связанные с различными языками, были бы взаимнопротивоположны, как некоторые (например, Грассе 1987) и считают. И если верить в психологическое единство человечества и в принципиальную возможность выразить (с большими или меньшими трудностями) на одном языке все то, что может быть выражено на другом, нельзя при этом отбрасывать гипотезу о существовании набора общих для всех языков понятий. Те, кто не верит ни в общий для всех языков набор базовых понятий, ни в психологическое единство человечества, по крайней мере, более последовательны.

Говоря о традиционных не-западных культурах, Леви-Брюль (Lévy-Bruhl 1926:147) писал: «Это ментальность, которая мало использует абстракцию, а если и использует, то по-другому, нежели мозг, находящийся во власти логического мышления; В ЕЕ РАСПОРЯЖЕНИИ НАХОДЯТСЯ ДРУГИЕ ПОНЯТИЯ [выделено А. В.]».

Вопрос о том, располагают ли носители различных языков одним и тем же понятийным набором, является центральным. До недавнего времени эта проблема эмпирически не разрабатывалась; также не было и теоретических работ, в рамках которых этот вопрос можно было бы серьезно и тщательно изучать. Коул, Гей, Глик и Шарп (Cole, Gay, Glick, Sharp 1971:215) писали: «Психологические исследования культуры и сознания почти всегда выявляют существование значительных различий между культурными группами в ряде психологических тестов и экспериментов. Это привело к широко распространенному убеждению, что различные культуры приводят к различию психологических (в данном случае — мыслительных) процессов».

Они противопоставили широко распространенному убеждению свои собственные выводы о том, что «культурные различия в области мышления больше основываются на различных ситуациях, к которым приложимы те ли иные когнитивные процедуры, нежели на существовании процедур у одной культурной группы и ее отсутствии у другой».

С соответствующими изменениями те же самые выводы получаются в результате исследований по сопоставительной семантике различных культур. С одной стороны, почти всеобщим результатом семантических исследований культуры и сознания было выявление значительных различий между культурными группами в отношении способов лексикализа-

ции, в особенности, ключевых слов и ключевых понятий (ср. Wierzbicka 1992). С другой стороны, получается, что наряду с огромной массой понятий, специфичных для данной культуры, существуют также некоторые фундаментальные понятия, подлежащие лексикализации во всех языках мира; так что культурные различия между группами людей основываются на том, как эти понятия используются, а не на наличии некоторых базовых понятий у одной культурной группы и их отсутствии у другой. Можно также добавить, что значительные различия между культурами связаны с МАСШТАБАМИ использования определенных базовых понятий. Например, понятия 'из-за', 'весь' и 'если', действительно, меньше используются в культуре австралийских аборигенов, нежели в западной культуре (ср. Evans 1995 о 'из-за'; Bittner, Hale 1995 и Harkins 1991 о 'весь'; также см. Goddard 1989). Но это не означает, что эти понятия отсутствуют или не имеют лексического воплощения.

В качестве способа для обнаружения «внутренней сущности человека» и, в особенности, универсальных оснований человеческого мышления Лейбниц рекомендовал сравнительное изучение различных языков мира. Нидхем (Needham 1972:220) комментировал «великое предположение» Лейбница следующим образом: «Это смелое предположение ... основывалось на скрытой посылке о том, что человеческое мышление везде одинаково. ... Методологически Лейбниц тем самым предлагал сравнительный анализ того типа, который почти два столетия спустя осуществил Леви-Брюль, причем даже в терминах, которые и сегодня встречают полное одобрение; но не его посылки и не тип предложенного им исследования сегодня вновь подвергаются сомнению. За его предположением стояло убеждение, что человеческая натура одинакова и постоянна, и именно эту идею трудно принять в результате более поздних концептуальных исследований».

Холлпайк (Hallpike 1979), обильно цитирующий Нидхема, сделал свои выводы из этих релятивистских заявлений (хотя можно сомневаться, согласился ли бы сам Нидхем с теорией Холлпайка относительно «примитивного мышления»).

Однако в некотором смысле *tertium non datur* (третьего не дано): либо был прав Лейбниц, и за всем разнообразием культур стоит универсальный, «единый и постоянный» набор базовых понятий, либо прав Нидхем, и не существует «единого и постоянного» понятийного основания различных языковых и культурных систем.

Лингвистические данные показывают что истина находится на стороне Лейбница, и то же самое следует из результатов концептуальных исследований более позднего времени,

чем те, на которые ссылался Нидхем. Языковые и культурные системы в огромной степени отличаются друг от друга, но существуют семантические и лексические универсалии, указывающие на общий понятийный базис, на котором основываются человеческий язык, мышление и культура.

Обсуждение понятийных и лексических средств западных языков, того типа, что содержится в книге Холлпайка, зачастую основываются на анекдотической информации (ср. Lave 1981) и лишены лингвистической проработанности. Но для того, чтобы успешно бороться с заявлениями Холлпайка и подобными, их нужно отвергать на основе серьезных данных и содержательного анализа.

Пришло время для согласованных усилий по выявлению общего набора понятий, лежащих в основе психологического единства человечества. Предварительные лингвистические исследования, направленные на достижение этой цели (ср., например, Goddard, Wierzbicka 1994), показывают, что, по всей вероятности, такие метапредикаты, как 'думать', 'если', 'из-за' и 'весь' и предикаты интеллектуальной деятельности 'думать' и 'знать', входят в их число.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Я бы хотела выразить свою благодарность коллегам, которые сообщили мне или обсудили со мной данные, связанные с этой работой, и в особенности Крису Дейблеру, Нику Эвансу, Эми Гласс, Клиффу Годдарду, Яну Грину, Джону Хайману, Джан Харкинс, Мэри Логрен, Дэвиду Нэшу, Энди Поли, Джейн Симпсон и Стиву Суорту. Я также благодарна Тиму Курноу, прочитавшему первую версию этой статьи и сделавшему много ценных замечаний и предложений.

² Я могла бы добавить, что в более ранних работах я сама пыталась разложить 'знать', представляя его в виде 'мочь' и 'сказать' ('я знаю' = 'я могу сказать'), но этот анализ был опровергнут Богуславским (Boguslawski 1979 и 1989). Конечно, философы на протяжении столетий (и даже — тысячелетий) пытались разложить 'знать' на элементы, и было предложено много разных вариантов анализа; но целью всех этих процедур никогда не была универсальная переводимость.

³ Полный набор кандидатов на роль универсальных семантических примитивов, возникший в результате более чем двух десятилетий эмпирических поисков и сопоставлений, включает следующие элементы:

[субстантивы]

я, ты, кто-то, что-то, люди

[детерминаторы, квантификаторы]

этот, тот же самый, другой, один, два, все/весь, много

[предикаты ментальных состояний]

знать, хотеть, думать, говорить, чувствовать

[действия, события]

делать, происходить/случаться

[оценка]

хороший, плохой

[дескрипторы]

большой, маленький

[интенсификатор]

очень

[метапредикаты]

не/нет (отрицание), если, из-за, мочь, очень, подобный/как

[время и место]

когда, где, после (до), под (над)

[таксономия, партономия]

вид/разновидность, часть

⁴ Австралийские аборигены (наряду с папуасами) часто использовались в литературе как пример «примитивной ментальности» — Леви-Брюлем, Холлпайком и многими другими. Название статьи Уэйка (Wake 1872), «Ментальные характеристики примитивного человека на примере австралийских аборигенов», очень характерно в этом отношении. См. обсуждение этого в Chase, Sturmer 1973.

⁵ Стивен Суорт, лингвист из ЛИЛ (Summer Institute of Linguistics), работающий в Северных Территориях Австралии, переводчик Библии на варлпери, подтвердил, что в варлпери слово *ɟintakumarrarni*, переводимое Биттнер и Хейлом (Bittner, Hale 1995) как 'все они', а мною как 'весь', могло бы служить для перевода на варлпери того же предложения.

⁶ 'Весь' предлагалось в качестве универсального семантического примитива Годдардом (Goddard 1989). Ранее я рассматривала возможность его представления через двойное отрицание по следующей схеме:

у всех собак имеются блохи >

нет такой собаки, у которой бы не было блох

(нельзя сказать про собаку: у этой собаки нет блох)

Однако теперь я считаю, что это неправильный анализ. Эмфатическое 'весь' (*У ВСЕХ собак есть блохи*) действительно включает двойное отрицание, но это двойное отрицание возникает в результате семантики эмфазы, а не семантики понятия 'весь'. Чтобы убедиться в том, что разложение, использующее двойное отрицание, не может заменить 'весь', снова рассмотрим предложение из Евангелия от Иоанна в якости перифразе без 'весь':

Истинный свет, о котором нельзя сказать: «он не озаряет этого человека», пришел в этот мир.

⁷ Вся моя информация о языке калам почерпнута из работы Эндрю Поли и частных бесед с ним.

⁸ Э. Поли обычно переводит корень *li* как 'воспринимать, осознавать', но с собственной семантической точки зрения 'воспринимать' не может быть признано в качестве инварианта значения для этого корня (аналогично тому, как оно не может быть признано инвариантным для слова *gelenove* 'слышать/знать/думать' в гахука-гама). Во-первых, в некоторых контекстах *li* явно означает 'знать', а не 'воспринимать', как будет показано ниже. Во-вторых, *gos li* означает 'думать', а не 'воспринимать'. Например, в языке калам эквивалент

том выражения *Я гоз пл что он живет в Моресби будет 'я думаю, что он живет в Моресби', а не 'я воспринимаю, что он живет в Моресби'* (Поли, личное сообщение).

БИБЛИОГРАФИЯ

- Bain, Margaret.** 1992. The Aboriginal-white encounter in Australia: Towards better communication. SIL-AAB Occasional Papers 2. Darwin: Summer Institute of Linguistics, Australian Aborigines Branch.
- Bain, Margaret; Sayers, Barbara.** 1990. Degrees of abstraction and cross-cultural communication in Australia. Paper presented at 6th International Conference on Hunting and Gathering Societies. University of Alaska, Fairbanks.
- Bittner, Maria; Hale, Ken.** 1995. Remarks on definiteness in Warlpiri. In: Quantification in natural language. Emmon Bach, Eloise Jelinek, Angelika Kratzer and Barbara Partee, eds. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Boas, Franz.** 1938. The mind of primitive man. Rev. ed. New York: Macmillan.
- Boguslawski, Andrzej.** 1979. Wissen, Wahrheit, Glauben: Zur semantischen Beschaffenheit des kognitiven Vokabulars. In: Wissenschaftssprache: Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und Deskription. T.Bungarten, ed. P.54-84. Munich: Fink.
- Boguslawski, Andrzej.** 1989. Knowledge is the lack of lack of knowledge, but what is this lack lack of? *Quaderni di Semantica* 10, 1: 15-31.
- Brückner, Aleksander.** 1970. *Słownik etymologiczny języka polskiego*. Warsaw: Wiedza Powszechna.
- Burridge, K.O.L.** 1969. Tangu traditions: A study of the way of life, mythology, and developing experience of a New Guinea people. Oxford: Clarendon Press.
- Chase, A.K.; Sturmer J.R. von.** 1973. «Mental man» and social evolutionary theory. In: The psychology of Aboriginal Australians. G.E.Kearney, R.R.de Lacey, G.R.Davidson, eds. P.3-15. Sydney: John Wiley.
- Cole, Michael; Gay, John; Glick Joseph A.; Sharp Donald W.** 1971. The cultural context of learning and thinking. New York: Basic Books.
- Descartes, René.** 1931 (1701). The search after truth by the light of nature. In: The philosophical works of Descartes. Elizabeth S.Haldane and G.R.T.Ross, transl. 2 vols. Volume 1: 305-327. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ernout, A.; Meillet A.** 1963. *Dictionnaire étymologique de la langue latine*. Paris: Klincksieck.
- Evans, Nicholas.** 1985. Kayardild: The language of the Bentinck Islanders of North West Queensland. Ph.D. Thesis, Australian National University.
- Evans, Nicholas.** 1994. Kayardild. In: Semantic and lexical universals. C.Goddard and A.Wierzbicka, eds. Amsterdam: John Benjamins. P. 203-228.
- Evans, Nicholas.** 1995. A-quantifiers and scope in Mayali. Quantification in natural languages. Emmon Bach, Eloise Jelinek, Angelika Kratzer and Barbara Partee, eds. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Foley, William A.** 1991. The Yimas language of New Guinea. Stanford: Stanford University Press.
- Glass, Amee.** 1983. Ngaanyatharra sentences. Work Papers of SIL-AAB. Series A. Vol.7. Darwin: Summer Institute of Linguistics, Australian Aborigines Branch.
- Glass, Amee; Hackett, Dorothy.** 1970. Pitjantjatjara grammar. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies.
- Goddard, Cliff.** 1989. Issues in natural semantic metalanguage. *Quaderni di Semantica* (Round table on semantic primitives, 1) 10, 1: 51-64.
- Goddard, Cliff.** 1992. A Pitjantjatjara / Yankunytjatjara to English dictionary. Alice Springs: Institute for Aboriginal Development.
- Goddard, Cliff.** 1994. Lexical primitives in Yankunytjatjara. In: Semantic and lexical universals. C.Goddard and A.Wierzbicka, eds. Amsterdam: John Benjamins.
- Goddard, Cliff; Wierzbicka, Anna, eds.** 1994. Semantic and lexical universals. Amsterdam: John Benjamins.
- Grace, George W.** 1987. The linguistic construction of reality. London: Croom Helm.
- Green, Ian.** 1992. «All» in Marrithiyel. Manuscript.
- Haiman, John.** 1991. Hua-English Dictionary. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
- Hallpike, Christopher Robert.** 1979. The foundations of primitive thought. Oxford: Clarendon Press.
- Harkins, Jean.** 1991. A bunch of ambiguous quantifiers: 'Many / all' words in several Australian languages. Manuscript.
- Harkins, Jean; Wilkins, David.** 1994. Mparntwe Arrernte and the search for lexical universals. In: Semantic and lexical universals. C.Goddard and A.Wierzbicka, eds. Amsterdam: John Benjamins. P. 285-310.
- Heath, Jeffrey.** 1978. Ngandi grammar, texts, and dictionary. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies, and New Jersey: Humanities Press.
- Howell, Signe.** 1981. Rules not words. In: Indigenous psychologies: The anthropology of the self. Paul Heelas and Andrew Lock, eds. P.133-143. London: Academic Press.
- Lave, Jean.** 1981. How «they» think? Review of C.R.Hallpike, The foundations of primitive thought. *Contemporary Psychology* 26, 10: 788-789.
- Leibniz, Gottfried Wilhelm.** 1961(1903). Opusculs et fragments inédits de Leibniz. L. Couturat, ed. Hildesheim: Georg Olms.
- Leibniz, Gottfried Wilhelm.** 1981 (1709). New essays on human understanding. Peter Remnant and Jonathan Bennett, transl. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lévy-Bruhl, Lucien.** 1926. How natives think. Lilian A.Clare, transl. London: Allen and Unwin (reprinted in 1979, New York: Arno Press).
- Luria, A.R.** 1976. Cognitive development: Its cultural and social foundations. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lutz, Catherine.** 1988. Unnatural emotions. Chicago: University of Chicago Press.
- McConvell, Patrick.** 1991. Cultural domain separation: Two-way street or blind alley? Stephen Harris and the neo-Whorfians on Aboriginal education. *Australian Aboriginal Studies* 1: 13-24.
- Miller, George A.** 1971. Forward. In: Cole, Michael; Gay, John; Glick Joseph A.; Sharp Donald W. 1971. The cultural context of learning and thinking. P.vii-ix. New York: Basic Books.
- Needham, R.** 1972. Belief, language, and experience. Oxford: Blackwell.
- Pawley, Andrew.** 1966. The structure of Kalam: A grammar of a New Guinea Highlands language. Ph.D. dissertation, University of Auckland.
- Pawley, Andrew.** 1986. Encoding events in Kalam and English: Different logics for reporting experience. In: Grounding and coherence in discourse. Ross Tomlin, ed. P.329-360. Amsterdam: John Benjamins.
- Read, K.E.** 1955. Morality and the concept of the person among the Gahuku-Gama. *Oceania* 25, 4: 233-282.
- Wake, C.S.** 1872. The mental characteristics of primitive man as exemplified by the Australian Aborigines. *Journal of the Anthropological Institute* 1: 74-84, 102-104.
- Wierzbicka, Anna.** 1992. Semantics, culture and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations. New York: Oxford University Press.
- Wierzbicka, Anna.** 1994. Semantic primitives across languages: A critical review. In: Semantic and lexical universals. C.Goddard and A.Wierzbicka, eds. Amsterdam: John Benjamins. P. 445-500.
- Wilkins, David.** 1989. Mparntwe Arrernte (Aranda): Studies in the structure and semantics of grammar. Ph.D. Thesis. Australian National University.
- Wilkins, David.** 1992. Predicting syntactic structure from semantic representations: Remember in English and its equivalents in Mparntwe Arrernte. In: Advances in role and reference grammar. R.D.Van Valin Jr, ed. Amsterdam: John Benjamins.

ТОЛКОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ*

Defining emotion concepts. Cognitive Science 1992, 16: 539-581.

Данная статья демонстрирует, что эмоциональные концепты — включая так называемые базисные эмоции, такие как *злость* или *печаль*, — могут быть истолкованы через универсальные семантические примитивы типа 'хороший', 'плохой', 'делать', 'происходить', 'знать' и 'хотеть'. Язык семантических примитивов позволяет строго и эксплицитно описать все пространство значений во всех языках.

Предложенные здесь толкования представляют собой своего рода прототипические модели поведения или сценарии, которые задают последовательность мыслей, желаний и чувств. Однако эти модели поведения можно рассматривать как формулы, предусматривающие строгое разграничение необходимых и достаточных условий (не для эмоций как таковых, но для эмоциональных понятий), и эти формулы не допускают размытости границ между понятиями. Напротив, небольшой набор используемых здесь универсальных семантических примитивов (который является результатом 20-летних исследований автора и его коллег) наглядно показывает, что даже такие очевидные синонимы, как *sad* 'печальный' и *unhappy* 'несчастный', предполагают разные — и вполне специфичные — понятийные структуры.

Можно ли истолковать эмоциональные концепты?

Можно ли истолковать «эмоции», или точнее говоря, эмоциональные концепты? Интуитивно очевидно, что такие слова, как *sad* 'печальный', *unhappy* 'несчастный', *distressed* 'огорченный', *worried* 'обеспокоенный' и *upset* 'расстроенный', тесно связаны друг с другом и что их значения довольно сильно перекрываются. Также интуитивно ясно, что слова *sadness* 'печаль', *anger* 'гнев' и *fear* 'страх' больше похожи друг

на друга, чем любое из них на *happiness* 'счастье', поскольку первые — «плохие» чувства, а последнее — «хорошее».

Если бы мы могли истолковать все слова такого рода, включая самые «основные» типа *sadness* 'печаль', *anger* 'гнев', *fear* 'страх', *happiness* 'счастье' (вопреки Johnson-Laird, Oatley 1989), мы бы имели возможность точно показать, что общего между любыми двумя из них и как они различаются между собой. Мы бы смогли показать, в чем состоит отличие между *sadness* 'печаль', *anger* 'гнев' и *fear* 'страх', как связаны *happy* 'счастливый' и *unhappy* 'несчастный', как различаются *happiness* 'счастье' и *joy* 'радость', или *joy* 'радость' и *pleasure* 'удовольствие', как *fright* 'испуг' связан с *surprise* 'удивление' (см. Ekman 1980, с.130) и т. д.

Желание иметь толкования вообще и толкования эмоциональных концептов в частности часто звучит в работах когнитивных психологов. Как указывается в статье Armstrong, Gleitman, Gleitman 1983, «единственно правильный ответ [на вопрос «Почему многие сомневаются в эффективности толкований?» — А.В.] таков, что теория дефиниций едва ли может быть разработана детально. Еще никому не удавалось найти простейшие категории (признаки)» (с. 268).

Про эмоциональные концепты часто говорят, что они не могут быть «истолкованы классическим способом» (см., например, Fehr, Russell 1984), из чего нередко делают вывод, что они не могут быть истолкованы в принципе.

Однако другие ученые считают, что еще рано признавать поражение. Например, Ортони, Клор и Фосс пишут: «Эти доводы не столь неоспоримы. Во-первых, из того, что филозофам и психологам до сих пор не удалось дать эмоции (эмоциям) адекватные толкования, еще не следует, что цель недостижима. Это только подтверждает тот факт, что проблема очень трудна, но такое заключение не слишком интересно, ибо его нельзя опровергнуть. На самом деле были предприняты серьезные попытки дать толкования некоторым эмоциям, особенно в работах Вежбицкой (Wierzbicka 1972, 1973). Хотя ее толкование слова *afraid* 'бояться' и стало объектом критики (Pulman 1983), кажется, еще никем не было доказано, что ее подход ошибочен — ни теми, кто отстаивает невозможность подобных толкований, ни кем бы то ни было еще» (Ortony, Clore, Foss 1987, с. 344).

Часть вины мне бы хотелось принять на себя. Пробные толкования отдельных названий эмоций, которые я предложила 20 лет назад, были весьма приблизительны и во многом несовершенны. Важнее, что эти толкования были сформулированы на метаязыке, который разрабатывался в то же время и который не мог бы быть разработан без параллельной его

* Copyright © Cognitive Science Society Incorporated, used by permission.

проверки на толкованиях. Для того, чтобы иметь хорошие толкования, нам нужен хороший метаязык, а для того, чтобы иметь хороший метаязык, нам требуются сотни предварительных толкований. В обоих направлениях работа должна проводиться одновременно, и на это требуется немало времени.

В течение прошедших 20 лет «естественный семантический метаязык», который я предложила использовать в своей ранней работе, принял четкую форму и был проверен на сотнях толкований как английских слов, так и слов многих других языков. Он также использовался при изучении грамматики и сопоставительной прагматики различных языков и культур¹.

В данной статье я хочу показать, как современная версия метаязыка позволяет нам построить усовершенствованные толкования названий эмоций. Тут нельзя ограничиться несколькими удачно подобранными примерами. Требуется более обширный корпус толкований, достаточный для того, чтобы обнаружить систематическую организацию этой области сознания и окончательно продемонстрировать, что предложенный метод толкования действительно работает.

Вследствие этого, пояснения будут сведены к минимуму, с тем чтобы оставить как можно больше места для самих толкований. Тем не менее, некоторые комментарии неизбежны.

Необходимость семантических примитивов

Невозможно истолковать все. Для того, чтобы что-то истолковать (без явных или скрытых логических кругов), нам требуется некое множество неопределяемых элементов. Если наши неопределяемые элементы, или примитивы, не будут интуитивно понятны и не будут объяснять самих себя, то и наши толкования ничего не объяснят. Как писал 300 лет назад Паскаль (Pascal 1667/1964, с. 350), если мы определили свет как «световое перемещение светящихся тел», то мы ничего не определили, потому что понятия 'световой' и 'светящийся' ни яснее, ни проще, чем само понятие 'свет'. Психологи, пытавшиеся сравнить и объяснить эмоциональные концепты, использовали, в разное время, некоторое число «измерений», то есть «основных признаков значения» (см. Russell 1989, с. 300). Это «оценка» (evaluation), «деятельность» (activity) и «потенция» (potency) (Osgood, May, Miron 1985), «иногда называемые удовольствием или позитивностью, возбуждением или активацией, контролем или обладанием» (Russell 1989, с. 300-301).

В ряде случаев параметры такого типа могут быть приспосабливаемы и полезны. Однако с точки зрения семантики эти понятия столь же сложны и туманны, как и те эмоциональные концепты, которые мы пытаемся истолковать. Часть из них служит техническими терминами (например, позитивность, возбуждение, активация, доминация) и не имеет никакого ясного и интуитивно воспринимаемого значения (и они не определены через ясные и интуитивно воспринимаемые понятия)². Другие (например, *приятный* или *приятно*) не являются техническими терминами, и их значение можно уловить через естественный язык, но они не менее сложны, чем *счастливейший*, *печальный*, *злой* и *обеспокоенный*. Поэтому подобные понятия не могут быть использованы в качестве примитивов при анализе эмоциональных концептов. Если мы хотим истолковать эмоциональные концепты так, чтобы они были действительно объяснены, то мы должны определить их с помощью слов, которые были бы интуитивно понятны (нетехнических терминов) и не являлись бы сами именами эмоций или эмоциональных состояний. Мы можем (и должны) использовать только один общий эмоциональный концепт 'чувствовать'³ и набор основных не-эмоциональных концептов, таких как 'хотеть', 'говорить', 'думать', 'знать', 'хороший', 'плохой' и т. п., которые были независимо выставлены кандидатами на получение статуса минимальных и объясняющих самое себя элементов «алфавита человеческих мыслей» (см. Leibniz 1903/1961; Wierzbicka 1972, 1980, 1989a, 1989b, 1993a). Использование подобных примитивов освобождает наш анализ от очевидных и скрытых логических кругов и позволяет ясно и строго обрисовать и сравнить все понятия (эмоциональные и любые другие концепты), выражаемые в данном языке.

Поиски семантических примитивов

Как ясно видел 300 лет назад Лейбниц (Leibniz 1903/1961), семантические или понятийные примитивы могут быть обнаружены только методом проб и ошибок, то есть путем непрекращающихся систематических попыток истолковать как можно большее количество слов, чтобы можно было эмпирически выявить такие концепты, которые служат кирпичиками для построения всего остального. Основной идеей этих поисков было требование, чтобы в набор простейших входили только те понятия, которые действительно необходимы при толковании прочих. Все, что МОЖЕТ быть истолковано, является концептуально более сложным и ДОЛЖНО

быть истолковано; все, что НЕ МОЖЕТ быть истолковано (без логических кругов и переходов от простого к сложному и от ясного к неясному), НЕ ДОЛЖНО быть истолковано. Только таким образом мы можем узнать истинный алфавит человеческих мыслей. «*Reducenda omnia alia ad ea quae sunt absolute necessaria ad sententias animi exprimentas*» (Все прочие [выражения] следует свести к тем, которые абсолютно необходимы для выражения мыслей в наших умах; Leibniz 1903/1961, с. 281). Если мы не создадим алфавита необходимых понятий, которые уже никакими толкованиями не объясняются («*quae nullis definitionibus clariores reddere possunt*», Leibniz, с. 435), мы не сможем правильно описать значения, выражаемые языком, потому что без этого важнейшего инструмента мы будем лишь переводить одни неизвестные в другие. Ибо, как пишет Лейбниц (с. 430), «*si nihil per se concipitur nihil omnino concipietur*» («если ничто не объясняется само собой, ничто вообще не будет понято»).

В 1960-х годах сходная программа была предложена в качестве возможного базиса для лингвистической семантики (см. Boguslawski 1966, 1970), а в 1972 году, опираясь на результаты эмпирических исследований в некоторых областях лингвистической семантики, я предложила в своей книге «Семантические примитивы» первый пробный перечень элементарных понятий. Он содержал 14 элементов: я (I), ты (you), кто-то (someone), что-то (something), этот (this), хотеть (want), не хотеть (don't want), думать (think), говорить (say), представлять себе (imagine), чувствовать (feel), часть (part), мир (world) и становиться (become).

С тех пор семантические исследования в рамках лейбницанского подхода были поставлены на широкую эмпирическую основу, с вовлечением ряда неиндоевропейских языков, например, африканского тано-конголезского языка эве в работе Ameka 1987, 1990, китайского в работе Chappell 1986a, 1986b, австронезийского языка мангап-мбула, на котором говорят в Папуа — Новой Гвинее, в работе Bugenhagen 1990 и языков австралийских аборигенов в работах Ewans 1994, Goddard 1990, 1994, Harkins 1986, 1990, Harkins, Wilkins 1994, Hudson 1985 и Wilkins 1986. Увеличение исследуемого материала наводило на мысль, что поиски алфавита человеческих мыслей следует связать — непосредственно и эксплицитно — с поисками лексических универсалий, то есть понятий, которые могут быть лексикализованы (в виде отдельных слов или морфем) во всех языках мира. Поскольку эмпирическая основа исследования расширялась, а теоретический анализ продолжался многие годы, первоначальный список примитивов был пересмотрен и расширен. В

настоящее время я полагаю, что список должен включать следующие примитивы:

«субстантивы»: я (I), ты (you), кто-то (someone), что-то (something), люди (people)

«детерминаторы и квантификаторы»: этот (this), тот же самый (the same), другой (other), один (one), два (two), много (many/much), все/весь (all)

«ментальные предикаты»: думать (o) (think (about)), говорить (say), знать (o) (know (about)), чувствовать (feel), хотеть (want)

«действия и события»: делать (do), происходить/случаться (happen (to))

«оценки»: хороший (good), плохой (bad)

«дескрипторы»: большой (big), маленький (small)

«время и место»: когда (when), где (where), после/до (after/before), под/над (under/above)

«метапредикаты»: не/нет/отрицание (no), потому что/из-за (because), если (if/would), мочь (can)

«интенсификатор»: очень (very)

«таксономия и партономия»: вид/разновидность (kind of), часть (part of)

«несстрогость/прототип»: подобный/как (like).

Несколько замечаний об этих концептуальных примитивах. Во-первых, в толкованиях в ряде контекстов некоторые из примитивов могут обозначаться разными словами. Это делается только для того, чтобы облегчить их чтение. Варианты зависят от того естественного языка, на котором сформулировано толкование. Так, например, в толковании могут встретиться элементы 'this' и 'someone'. Однако по-английски сочетание 'this someone' звучит странно и может сбить читателя с толку, поэтому как правило оно заменяется сочетанием 'this person'. Подчеркнем, что на концептуальном уровне имеется понятие 'this', определяющее понятие 'someone', но английская фраза 'this person' передает те же понятия и кажется читателю более естественной. Такая «аллолексия» (наличие двух или более форм, обозначающих одно и то же понятие) допускается в английском языке для следующих понятий: 'someone' выступает в виде 'person', 'something' в виде 'thing', 'what' или 'anything', 'then' в виде 'at a time' или 'sometimes', 'I' — 'me', отрицание имеет вид 'not', 'don't' или 'n't'.

Наряду с аллолексией, существует несколько сочетаний двух понятий, которые в английском языке более ясно выражаются одним словом. Так, слово 'everything' звучит гораздо лучше, чем неуклюжее 'all something'. Другие возможные комбинации: 'all someone' заменяется 'everybody', 'not someone' —

'no-one', 'can't not' — 'have to', 'at this time' (эквивалентное последовательности 'when', 'this') передается словом 'now'.

Последнее замечание, которое следует сделать, касается грамматики. В английском языке глагол *want* сочетается либо с именной группой (*the book*), либо с другим глаголом. В этом случае между глаголами вставляется слово *to* (*I want TO do this*). Поэтому в толковании между 'want' и идущим следом 'do' также стоит 'to'. Аналогично, в английском между существительным и «дескриптивной группой» должна стоять связка (форма глагола *to be*), например, *this IS good, someone WAS like a part of me*. Связка добавляется и в толкование, чтобы сделать его более легким для чтения. По той же причине добавляется и неопределенный артикль (*a*).

Толкования эмоциональных концептов, предложенные в данной работе, составлены исключительно из выперечисленных простейших понятий с учетом контекстной вариации. Обсуждение методологических проблем можно найти в работах Wierzbicka 1989a, 1989b (за недостатком места эти проблемы здесь затрагиваться не будут)⁴.

Существует два независимых эмпирических пути поиска универсальных семантических примитивов: (1) роль, которую играет данное понятие в толковании других понятий; (2) множество языков, в которых данное понятие лексикализовано. Например, понятие, выражаемое в английском языке словом *say* 'говорить', используется, среди прочих элементов, в толковании сотен английских глаголов речи вроде *ask* 'просить', *demand* 'требовать', *apologize* 'извиняться', *curse* 'проклинать', *scold* 'бранить', *persuade* 'убеждать', *criticize* 'критиковать' и т. п. (см. Wierzbicka 1987). Напротив, такие слова, как *chase* 'преследовать' или *persuade* 'убеждать' (предложенные, очевидно, совершенно серьезно, на роль врожденных понятий в работе Хомского: Chomsky 1987, с. 23) вовсе не столь полезны для истолкования других слов. Кроме того, понятие, выражаемое в английском языке как *say*, имеет точные семантические эквиваленты в сотнях языков: на самом деле, пожалуй, нет такого языка, в котором бы не было слова, выражающего это понятие. И наоборот, английские слова типа *chase* и *persuade* вряд ли имеют точные семантические эквиваленты хотя бы в одном языке мира, не говоря уже обо всех языках.

Соединение двух независимых критериев — объяснительной силы и универсальности — обеспечивает сильный контроль над множеством гипотез, которые могут быть предложены на основании простого наблюдения, и придает определяемой таким образом программе исследования строго эмпирический характер.

Когда великие мыслители 17 века (в первую очередь Декарт (Descartes 1952)) впервые сформулировали идею, что существуют врожденные понятия, они предложили два критерия для идентификации последних: (1) эти понятия должны быть интуитивно ясны и самообъясняющи, и (2) их невозможно определить. Например, утверждалось, что невозможно истолковать понятие 'мышление' (в частности, понятие *cogito* 'я думаю') и любая попытка такого истолкования ведет лишь к большей неясности и путанице. Кроме того, нет необходимости толковать данный концепт, поскольку его значение нам интуитивно понятно. Однако оказалось, что два критерия Декарта мало что говорят нам о том, как надо действовать: не всегда бывает ясно, может ли (или не может) данное понятие стать более определенным (без логического круга или возрастания неясности), а также является ли оно (или не является) столь же ясным и самоочевидным, как и любое другое понятие.

Лейбниц (Leibniz 1903/1961) добавил к двум критериям Декарта еще один, который оказался более полезен в качестве руководства к действию: (3) требование, чтобы самые «простые» элементы алфавита человеческих мыслей были бы не только понятны и неопределимы, но также способны стать «кирпичиками» в постройке других понятий. Именно этот критерий стал для Лейбница стимулом для широкого лексикографического эксперимента: для того, чтобы выяснить, какие понятия обладают способностью истолковывать другие понятия, нужно проверять их на большом массиве толкований.

В современных лингвистических работах к трем критериям, унаследованным от 17 века, добавлены еще два: (4) требование, чтобы предполагаемые врожденные и универсальные понятия выявлялись в описаниях многих языков мира (генетически и культурно различных), и (5) требование, чтобы понятия, оказавшиеся кирпичиками в толковании, также оказались лексическими универсалиями, т. е. понятиями, которые имеют свои собственные «имена» во всех языках мира. Среди кандидатов, предложенных Лейбницем, некоторые (например, 'я' и 'этот') удовлетворяют этим требованиям, а другие (например, 'воспринимать') — нет.

Необходимость лексических универсалий

Психологи, занимающиеся эмоциями и эмоциональными концептами, обычно сосредоточивают свое внимание на тех из них, которые лексикализованы в английском языке (т. е. в

языке, на котором они пишут). Но для понимания того, как человек концептуализирует эмоции, нам необходимо также обратиться к эмоциональным концептам, лексикализованным в других языках мира. Более того, нужно попытаться понять эти концепты «с точки зрения носителя языка» (см. Geertz 1984). Мы должны постараться открыть понятийный мир других людей и отказаться от нашей «англо»-перспективы в интерпретации этого мира.

Например, если мы посмотрим на язык ифалук, то увидим, что в нем отсутствует концепт, соответствующий английскому 'anger' 'гнев', но существует концепт 'song', не имеющий эквивалента в английском. (Более подробный семантический анализ см. Wierzbicka 1988a, 1992a.) Пытаясь объяснить, что значит слово *song*, Лутц дает ему английский эквивалент 'justified anger' 'справедливый гнев'. Но, как показывает комментарий Лутца, для носителей языка ифалук *song* не является «видом anger», а для англичан *anger* не есть «вид song». Говорить, что *song* является «justified anger» — значит рассматривать этот концепт сквозь призму английского языка (и аналогично, говорить, что *anger* — это «агрессивное song» значило бы интерпретировать этот концепт относительно языка ифалук). Каждый язык накладывает свою собственную классификацию на эмоциональный опыт человека, поэтому английские слова типа *anger* или *sadness* 'печаль' — это культурные артефакты английского языка, а не культурно-независимые инструменты анализа (см. Russell 1989). С другой стороны, понятийные примитивы типа 'good' — 'bad', а также 'want', 'know', 'say', 'think' не являются культурными артефактами английского языка, а принадлежат универсальному алфавиту человеческих мыслей. Они действительно имеют семантические эквиваленты во всех, или почти во всех, языках мира. Толкуя эмоциональные концепты, выражаемые в данном языке, через лексические универсалии, мы можем выйти из-под влияния родного языка и рассмотреть эти понятия с точки зрения носителя данного языка. В то же время у нас появится возможность сравнивать их с понятиями любых других языков.

Лутц (Lutz 1985, с. 68-69) утверждает: «При переводе этнопсихологий мы опираемся главным образом на наше собственное понимание и на понимание другими людьми концептов типа 'ум' 'mind', 'сам' 'self' или 'злость' 'anger'... Если мы не задумываемся над терминами нашего описания..., мы рискуем привести эмоциональный опыт других людей к общему знаменателю или наложить на них наш собственный».

Вопрос поставлен верно, хотя проблема не является неразрешимой. Мы можем избежать риска, толкуя эмоцио-

нальные концепты не через английские концепты типа 'mind', 'self' или 'anger', а через лексические универсалии, то есть концепты, представленные отдельными словами в любом естественном языке (такие, как 'хороший' или 'плохой', 'знать' или 'хотеть').

Очевидно, что идентифицировать лексические универсалии совсем не просто и что предложенный здесь список следует рассматривать как предварительный. Во-первых, в мире насчитывается несколько тысяч языков, и проверить гипотетический список по всем языкам невозможно. Во-вторых, для того, чтобы определить, имеет ли язык слово для данного понятия, необходим тщательный анализ. Например, почти вся статья Goddard 1990 посвящена тому, чтобы установить, что в языке австралийских аборигенов янкуиньятияра действительно имеется точный семантический эквивалент английского глагола *want* 'хотеть'. Нет нужды говорить, что мы не можем здесь рассказать о всех трудностях, сопряженных с анализом, и привести аргументы Годдарда из-за недостатка места.

Конечно, ничуть не легче установить, является ли 'чувствовать' настоящей лексической универсалией или нет. Так, Лутц (Lutz 1985, с. 47), утверждает, что в языке ифалук лексически не противопоставлены 'чувствовать' и 'думать' и что самое релевантное слово в этой области, *nuniwan*, «соотносится с ментальным событием, которое может быть как тем, что мы считаем мыслью, так и тем, что мы считаем эмоцией. Таким образом, *nuniwan* можно перевести как 'мысль/эмоция'. Лутц считает, что «мысль не просто вызывает эмоцию или сопровождается ею; мысль и эмоция неразрывно связаны». *Nuniwan* содержится в толковании различных слов, которые мы бы отнесли к эмоциональной лексике. Например, *yarofali* (чувство тоски/утраты) — это состояние «постоянного *nuniwan* [например] по отношению к умершей матери» (с. 48).

Но на самом деле данные, которые тщательно подобраны и прекрасно представлены Лутцем (Lutz 1985), допускают иную трактовку. А именно, *nuniwan* значит 'думать', а не 'думать/чувствовать', и его эмотивные коннотации скорее возникают под влиянием контекста, чем присущи самому слову. Например, один из информантов Лутца сказал про беременную женщину R, что «она имеет много *nuniwan*, потому что служба здоровья отбывает на ближайшем корабле, и она [R] *nuniwan*, что будет много хлопот с рождением ребенка» (с. 47). Это допускает интерпретацию, что *nuniwan* всегда значит 'думать', а эмоции привносятся контекстом.

Что касается примитива 'чувствовать', то и он имеет выражение в ифалук, но не в форме глагола, а в форме существительного. Таким словом является *niferash*. Лутц дает ему примерное толкование 'наши внутренности', но ее данные позволяют предположить, что оно может значить как 'внутренности', так и 'чувствовать'. Оно может соотноситься как с физическими, так и с психологическими переживаниями, подобно английскому глаголу *feel*. Высказывание 'ye ngaw niferai' (мои внутренности плохие) может значить либо то, что кто-то чувствует себя плохо в физическом отношении, либо то, что он переживает неприятные эмоции, либо и то, и другое сразу. Что именно имеется в виду, как и в случае английской фразы 'I feel bad', определяется контекстом.

Предположение о том, что *nipiwan* может неизменно быть связано с примитивом 'думать', а *niferash* — с 'чувствовать', подтверждается комментариями информантов, которые приводит Лутц. Например, «Т сказал, что если у нас было плохое *nipiwan*, то у нас будет плохо внутри, а если у нас было хорошее *nipiwan*, то будет хорошо внутри» (Lutz 1985, с. 47). Это скорее всего означает, что «плохие мысли» вызывают «плохое самочувствие». Об этом же свидетельствуют данные других языков (в особенности языков австралийских аборигенов), в которых слова, обозначающие внутренние органы (живот, сердце, печень) могут обозначать 'чувствовать'. Например, «у меня хороший живот» значит 'я чувствую себя хорошо', а «у меня плохой живот» значит 'я чувствую себя плохо' (Goddard, Wierzbicka 1994).

Выявление лексических универсалий является серьезной задачей современной сравнительной семантики культур. За десятилетие, которое было посвящено решению этой задачи, был получен список слов, который следует считать предварительным и подлежащим улучшению. Однако этот список можно использовать в качестве основы естественного семантического метаязыка, который сделал бы возможным эффективное описание и сравнение значений вообще и эмоциональных концептов в частности.

Необходимость прототипов и стереотипов поведения

Как заметил Локк (Locke 1959, с. 38), невозможно объяснить слепому человеку, что такое *красный* и какой субъективный опыт с этим связан. Точно так же невозможно передать, что стоит за словами типа *печаль* и *страх*. Однако неверно, что слова *красный* и *печаль* вообще не могут быть истолкованы. Они оба толкуются при помощи определенных

прототипов. Концепты-цветообозначения задаются прототипами, содержащими перечисление элементов окружающей среды и биологии человека (такими, как кровь, небо, растения и т. п.; см. Wierzbicka 1990a). Эмоциональные концепты задаются ситуациями, типичными для известных переживаний, и эти ситуации могут быть описаны посредством ментальных сценариев. Я полагаю, что мы в самом деле интерпретируем наше эмоциональное состояние при помощи таких сценариев, и моя гипотеза подтверждается тем, что эмоциональные концепты, выражаемые в различных языках, очень хорошо моделируются при помощи таких сценариев.

Например, английские слова *joy* 'радость', *sadness* 'печаль', *remorse* 'раскаяние' и *anger* 'гнев' связаны со следующими гипотетическими мыслями: 'случилось что-то очень хорошее' (*joy*), 'случилось что-то плохое' (*sadness*), 'я сделал что-то плохое' (*remorse*) и 'этот человек сделал что-то плохое' (*anger*). Это не значит, что чувства, обозначаемые этими словами, ДОЛЖНЫ быть вызваны соответствующими мыслями, ибо, как показано в Johnson-Laird, Oatley 1989, с. 92, «основные эмоции (типа печаль) могут возникать по неизвестным причинам» (ср., однако, Ortony, Clore 1989). Анализ на основе прототипических сценариев позволяет разрешить эту проблему: одно дело чувствовать что-либо ВСЛЕДСТВИЕ определенных мыслей, и другое, чувствовать себя ПОДОБНО человеку, который думал бы таким образом.

Как я пыталась показать в своих прежних работах, посвященных этой теме (Wierzbicka 1972, 1973; ср. также Iordanskaja 1974), мы часто описываем друг другу эмоции при помощи прототипических ситуаций («Я чувствовал себя, как чувствуют себя, когда...», «Я чувствовал себя так же, как кто-нибудь себя чувствовал бы, если...»). Я предполагаю, что имеющиеся в нашем распоряжении термины для эмоций (типа *печаль* и *радость*) сокращенно обозначают ситуации, которые воспринимаются носителями данной культуры как самые общераспространенные и заметные.

В качестве примерных иллюстраций я попробую истолковать пять английских слов: *frustration* 'фрустрация', *relief* 'облегчение', *disappointment* 'разочарование', *surprise* 'удивление', *amazement* 'изумление'.

Frustration

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
я хочу сделать что-то
я не могу сделать этого
поэтому этот человек чувствует что-то плохое
X чувствует что-то похожее

Relief

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
 произойдет что-то плохое
 я не хочу этого
поэтому этот человек чувствует что-то плохое
затем этот человек думает примерно так:
 теперь я знаю: этого не произойдет
поэтому этот человек чувствует что-то хорошее
X чувствует что-то похожее

Disappointment

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
 произойдет что-то хорошее
 я хочу этого
затем этот человек думает примерно так:
 теперь я знаю: этого не произойдет
поэтому этот человек чувствует что-то плохое
X чувствует что-то похожее

Surprise

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
 сейчас что-то произошло
 до этого я не думал: это произойдет
 если бы я подумал об этом, я бы сказал: этого не про-
 изойдет
поэтому этот человек чувствует что-то
X чувствует что-то похожее

Amazement

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
 сейчас что-то произошло
 до этого я не знал: это может произойти
 если бы я подумал об этом, я бы сказал: этого не мо-
 жет произойти
поэтому этот человек чувствует что-то
X чувствует что-то похожее

Нет нужды говорить, что экспликации такого рода сильно отличаются от так называемых классических толкований, состоящих из набора необходимых и достаточных условий, определяющих не понятие, а денотат (так что про любую экстралингвистическую сущность можно сказать, удовлетворяет ли она им или нет). Вышеприведенные толкования (которые можно было бы назвать «семантическими толкованиями») являются довольно точным и гибким инструментом концептуального анализа и позволяют нам обнаружить тон-

кие и трудноуловимые оттенки значения, которые традиционный анализ даже не пытался представить. Очень важно, что толкования в том виде, как они приведены здесь, интуитивно понятны и интуитивно верифицируемы. Поэтому их можно обсуждать с носителями языка и проверять на соответствие интуиции. В результате такой работы толкования будут приняты или опровергнуты. Если они не будут совершенны, их можно улучшать, а постоянный диалог с носителями всегда будет способствовать увеличению согласия.

В данной статье я буду толковать несколько десятков названий эмоций в английском языке тем же способом. Я сгруппировала их таким образом, чтобы на первый план были выдвинуты различия между наиболее тесно связанными концептами, например, *радость* и *счастье*, *печаль* и *горе*.

Возможно, предлагаемая группировка спорна, так как в любом языке названия эмоций образуют сложную сеть взаимосвязей и могут быть классифицированы множеством различных способов. Тем не менее в качестве естественной основы для классификации и рассмотрения выступают некоторые семантические категории.

Первую группу эмоциональных концептов объединяет общая (и, возможно, важнейшая) идея того, что происходит с нами или с другими людьми, плохое или хорошее. Вторая группа сообщает о том, что делают люди, опять же, хорошее или плохое. Критерий, по которому выделяется третья группа, не так бросается в глаза, но он не менее важен: это представление о том, что мы думаем о себе и что другие люди думают о нас. Четвертая группа, которая не будет рассматриваться за недостатком места, обозначает эмоциональное отношение к другим людям, например, *любовь*, *ненависть*, *уважение*, *жалость*, *зависть* (большинство понятий этого типа базируются на тех же основных элементах ('делать', 'происходить', 'хороший' и 'плохой'), что и исследуемые здесь понятия). Например, нетрудно выделить компонент 'с этим человеком случилось что-то хорошее' в понятии *зависть*). Таким образом, самые явные параметры, которые составляют мысли человека о его эмоциональных переживаниях и которые лежат в основе разъясняющей классификации эмоциональных концептов в языке и культуре, — это 'плохой', 'хороший', 'происходить', 'делать', 'хотеть', 'не-хотеть', 'я' и 'кто-то' (или 'все')².

Свидетельства в пользу толкований

Толкование (или экспликация) есть предположение о значении слова. Мы получаем его, рассматривая различные употребления слова, а затем удостоверяемся в его верности,

проверяя, удовлетворяет ли такое толкование этим употреблением. Например, если мы знаем, что сферы употребления двух слов частично совпадают, то необходимо получать толкования, которые бы также частично совпадали и объясняли сходства и различия.

Рассмотрим английское слово *happy* 'счастливый' и польское слово *szczęśliwy*, которое подается словарями как эквивалент *happy*. Как указывается в работе Wagańczak 1990, сс. 12-13, сферы употребления этих слов не совпадают.

Возьмем слово «happy», одно из самых употребительных слов американского стандарта. Открыв англо-польский или польско-английский словарь, мы легко обнаружим его эквивалент. Но на самом деле это не точный эквивалент. Польское прилагательное, соответствующее *happy* (я полагаю, что это справедливо и для других славянских языков), имеет более узкое значение. Обычно оно употребляется для обозначения редких состояний полного блаженства или совершенного удовлетворения, получаемого от таких серьезных вещей, как любовь, семья, смысл жизни и т. п. Поэтому оно не используется столь широко, как «happy» в разговорной речи американцев. Если вопрос «Is everybody happy?» (букв. «Все ли счастливы?») можно услышать на любой вечеринке, то польскую фразу, являющуюся его буквальным переводом, можно встретить разве что в метафизическом трактате или в политической утопии. Заметим, что славянские языки также не имеют точных эквивалентов для глагола «to enjoy». Нет, мы не хотим сказать, что американцы — это нация легкомысленных, компанейских весельчаков в противоположность нашим страдающим славянским душам. Мы лишь хотим привести пример семантической несовместимости, которая прочно укоренилась в языках и культурах, что иногда делает общение невозможным или превращает его в ритуальный обмен бессмысленными «хрю» и «мяу». «Are you happy?» — спрашивает радушный хозяин гостя из Восточной Европы, — «Yes, I am». «Are you enjoying yourself?» — «Sure am I». Что еще можно сказать? Как объяснить, что восточноевропейец может иметь в виду совсем не то же самое, что содержится в его американском слове?

Английское слово *happy* отличается не только от польского *szczęśliwy* или русского *счастливый*, но и от немецкого *glücklich* и французского *heureux* (см. Wierzbicka 1992b). Для того, чтобы объяснить эти различия, я приведу такие два толкования:

A. *X feels happy*

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
со мной произошло что-то хорошее
я хотел этого
я не хочу ничего другого
поэтому этот человек чувствует что-то хорошее
X чувствует что-то похожее

B. *X est heureux (glücklich, heureux и т. д.)*

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
со мной произошло что-то очень хорошее
я хотел этого
все хорошо
я не могу хотеть ничего другого
поэтому этот человек чувствует что-то хорошее
X чувствует что-то похожее

Эти толкования расходятся в трех пунктах. Во-первых, в В присутствует дополнительный компонент 'все хорошо' (который можно понимать как 'все, что происходит со мной'), во-вторых, 'хорошо' в А противопоставлено 'очень хорошо' в В, в-третьих, 'я не хочу ничего другого' в А противопоставлено 'я не могу хотеть ничего другого' в В. Я думаю, эти расхождения объясняют «абсолютные» коннотации слова *счастливый* и более ограниченный, прагматический характер слова *happy*, отмеченные в работе Wagańczak 1990. Это находит подтверждение в том, что можно сказать *quite happy*, но не **совсем счастливый* или **ganz glücklich* (остальные аргументы см. в Wierzbicka 1992b).

Таким образом, толкование представленного здесь типа является гипотезой о специфических психологических предписаниях о том, как себя вести, бессознательно используемых носителями данного языка для интерпретации собственного эмоционального опыта или опыта других людей. Предположение такого рода соотносится с потенциальной сферой употребления данного слова и, по необходимости, изменяется с целью как можно более полного соответствия ей. Поэтому предложенные толкования должны обладать большой предсказательной силой. Они являются не только полезным аналитическим приемом, подытоживающим наши знания об эмоциональной лексике языка, но и независимым предположением о глубинной психологической действительности.

Эмоции и чувства

При принятом здесь способе анализа большее внимание обращается на чувство, а не на прочие аспекты эмоциональ-

ного переживания. Поэтому в работе получают толкование именно предложения типа «She felt happy / angry / sad» (букв. 'Она чувствовала счастье / гнев / печаль') или «He felt joy / anxiety / irritation» 'Он чувствовал радость / волнение / раздражение', а не интуитивно более простые «She was happy / angry / sad / irritated» 'Она была счастлива / гневна / печальна / раздражена'. Я согласна со многими авторами, которые утверждают, что эмоции не могут быть сведены к чувствам (см. например Lyons 1980 и указанную там литературу). Выбор контекста «X felt...», а не «X was...» был продиктован основной задачей данной статьи, состоящей в сравнении эмоциональных концептов и выявлении сходств и различий между ними.

Главное различие между предложениями типа «X was afraid / sad, angry, etc.» 'X боялся / был печален, гневен и т. д.' и их коррелятами с «feel» («X felt afraid / sad, angry, etc.») состоит в том, что предложения первого типа, по-видимому, приписывают мысль (например, 'может произойти что-то плохое') экспериментеру, а в предложениях с «feel» мысль выступает лишь как часть прототипа (см. Ortony, Clore 1989).

В Armon-Jones 1986 (с.52) высказано наблюдение, что предложения типа «I am angry with you / ashamed of you» 'Я сержусь на тебя / мне стыдно за тебя' содержат негативную оценку, которая отсутствует в предложениях типа «I feel angry with you / ashamed of you» (на самом деле лучше сказать «I feel angry / ashamed», чем «I feel angry with you / ashamed of you»). Указанное различие между предложениями с «быть» и «чувствовать» подтверждает идею о том, что первые (но не последние) приписывают мысль экспериментеру.

Естественный семантический метаязык позволяет описать такое различие следующим образом⁶:

X is frightened 'X испуган'

X думает примерно так:

может произойти что-то плохое

я не хочу этого

поэтому я бы хотел что-нибудь сделать

я не знаю, что я могу сделать

поэтому X чувствует что-то плохое

X feels frightened 'X чувствует испуг'

иногда человек думает примерно так:

может произойти что-то плохое

я не хочу этого

поэтому я бы хотел что-нибудь сделать

я не знаю, что я могу сделать

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее.

Еще одно возможное различие между предложениями с «быть» и «чувствовать» — это роль разнообразных «физиологических факторов» в ситуации проявления эмоций (изменение кровяного давления, температуры тела, сокращение мышц и т. п.). Такие явления, очевидно, более существенны для предложений типа «X was afraid» 'X боялся' или «X was angry» 'X сердился', чем для соответствующих предложений с «feel» («X felt afraid», «X felt angry»). Тем самым, можно было бы предположить, что для противопоставления предложениям с «be» следует приписать компонент наподобие «поэтому внутри X-а (с X-ом) что-то произошло». Однако этот вопрос требует дальнейшего уточнения и здесь решаться не будет.

«Социальное построение эмоций»

В текущей литературе по эмоциям важнейшее место занимает дискуссия между сторонниками «ярлыкового» и «конструктивистского» подходов. Ключевой вопрос таков: верно ли, что названия эмоций являются ярлыками для эмоций, существующих независимо от них, или они содействуют созданию эмоций (путем наложения интерпретации на эмоциональное переживание и выдвигания определенных допущений, норм и ожиданий, которые могут управлять поведением и регулировать взаимоотношения между людьми)?

Анализ эмоциональных концептов, предложенный в данной статье, нейтрален по отношению к этому вопросу. С нашей точки зрения, важно не то, влияет ли понятие, передающееся английским словом *happy*, на эмоциональное переживание в англоязычных странах или нет: существеннее точно понять, что значит это слово и чем оно отличается от своих точных аналогов в других языках (таких, как немецкое *glücklich* или ифалукское *ker*), а также от своих ближайших родственников в самом английском языке (типа *joy*, *enjoy* или *pleasure*).

Я думаю, что теория социального конструктивизма эмоций (или по крайней мере одна из ее версий) во многом справедлива, и такие понятия, как *happy* в английском, *тоска* в русском, *song* в ифалук, *amae* в японском, действительно содержат определенные «сценарии», на основе которых носитель языка может интерпретировать чувства и моделировать свои эмоции и отношения с другими людьми. Именно поэтому такие понятия дают бесценный ключ к пониманию культур и обществ (см. Wierzbicka 1992a). Но для того, чтобы

использовать их в качестве такого ключа, их следует сначала строго проанализировать и точно понять.

Такая точка зрения не противоречит идее о возможном существовании универсальных эмоций; она обращает внимание на то, что опасно полагаться на непроверенные «общепринятые допущения нашей частной культуры» (Harré 1986, с. 4): «Не лучше ли вместо того, чтобы спрашивать “Что такое злой?”, начать с вопроса “Каким образом слово *злой* и другие тесно связанные с ним выражения используются в той или иной культурной среде в том или ином случае?” Мы можем получить потрясающие результаты. Разгадка правил употребления приведет нас в самое сердце теории эмоций и привнесет в исследование, включающее изучение физиологии эмоций, утонченность, которой ему, к сожалению, не хватает.

В первую очередь следует показать, что приоритет в исследовании должен быть отдан правильному пониманию того, как употребляется эмоциональная лексика» (с. 4).

Семантический анализ эмоциональной лексики (и другие лингвистические исследования, объясняющие грамматику, ср., в частности, Aneka 1990, Bugenhagen 1990), предпринятый в данной статье, в других моих работах и в работах моих коллег, указанных в списке литературы, является попыткой осуществить то, к чему призывали Арре и его единомышленники.

Следует добавить, что даже те ученые, которые верят в существование «естественных» и «фиксированных» эмоций, не могут не интересоваться семантикой эмоциональных слов естественного языка (из-за угрозы этноцентризма и «культурного империализма», что было признано (в явном виде) в Johnson-Laird, Oatley 1989, 1992).

В данной статье рассматривается прежде всего эмоциональные концепты, а не эмоции как таковые. Однако я присоединяюсь к мнению Арре (Harré 1986, с. 12) о том, что для дальнейшего прогресса в изучении эмоций господствующая теория должна быть обогащена новыми методологическими находками и что «первой находкой является приоритет, который должен быть отдан лингвистическому анализу».

К сожалению, мнение Арре часто недооценивается исследователями эмоций, в том числе и некоторыми другими «социальными конструктивистами». Так, в Coulter 1986 (с. 122) утверждается: то, что отличает горе от раскаяния, разочарование от стыда, — это не определенное внутреннее чувство, но реакция действия, оценки, ситуации в человеческом обществе. Это противоречит замечанию Арре о том, что «гневом может быть только то, для чего тот или иной народ

выбирает *anger* ‘гнев’ или что-нибудь приблизительно соответствующее ему в его культуре». Правила употребления англоговорящими людьми слов *grief*, *remorse*, *disappointment* или *shame* учитывают специфические внутренние чувства, качественно отличающиеся друг от друга, хотя значение каждого слова включает и другие компоненты (в частности, различные мысли и предположения)⁷. Это становится особенно ясным в конструкции с «feel» (X felt Adj/Participle/Noun):

I felt grief/remorse
I felt ashamed/disappointed
I felt sad/angry

Но и другие формы английского «рассказа об эмоциях» предполагают качественно различные чувства (хотя они могут предполагать также мысли, желания и другие элементы). В этой связи интересно отметить следующие противопоставления:

I felt/had a pang of regret/jealousy
букв. ‘Я чувствовал уколы сожаления/ревности’
?I felt/had a pang of joy/anger/indignation
букв. ‘Я чувствовал уколы радости/гнева/возмущения’.

Лингвистические данные указанного типа, возможно, не говорят много о природе эмоций как таковых, но раскрывают представление английского народа об эмоциях, отраженное в английском языке. Как «социальные конструктивисты» (Harré 1986), так и «натуралисты» (Johnson-Laird, Oatley 1989, 1992) сходятся во мнении, что нельзя пролить свет на природу эмоций, не обращая внимания на народные представления об эмоциях, отраженные в языке. Другими словами, неверно, что чувства, связанные с различными названиями эмоций, во всех случаях качественно различаются; я утверждаю лишь, что они получают интерпретацию в народных представлениях, отраженных в английском языке.

Семантические толкования не должны рассматриваться как средство идентификации независимо существующих и резко отличающихся друг от друга эмоциональных реалий. Это средство идентификации понятий, с которыми оперирует общество. А как и в какой степени эти понятия участвуют в создании эмпирических и социальных реалий — это уже другой вопрос, который должен быть задан независимо и который не может снять задачу разъяснения самих понятий.

Другие подходы к толкованию эмоциональных концептов

Попытки систематического анализа эмоциональных концептов с привлечением большого пласта лексики предпринимаются не слишком часто. Большинство авторов, пишущих об эмоциональных концептах, склонны приводить ad hoc лишь несколько примеров. В английской литературе последних лет из этого ряда заметно выделяются статья Johnson-Laird, Oatley 1989 и книга Ortony, Clore, Collins 1988. Для сравнения с моим подходом я привожу толкования слов *disappointment* 'разочарование' и *relief* 'облегчение', которые содержатся в упомянутых работах:

disappointment: печаль, вызванная неудачей при достижении цели (Johnson-Laird, Oatley 1989, с.112)

relief: счастье как результат того, что что-то положило конец страху или печали (Johnson-Laird, Oatley 1989, с.118)

disappointment: (неприятно) неоправдание надежд на желательное событие (Ortony, Clore, Collins 1988, с.122)

relief: (приятно) неоправдание ожидания нежелательного события (Ortony, Clore, Collins 1988, с.121).

При помощи формул такого вида авторы пытаются истолковать одно название эмоций через другие (например, *disappointed* через *sad* или *displeased*, *relieved* через *happy*, *pleased*, *sadness* или *fear*). Такой метод анализа делает невозможным сравнение эмоциональных концептов друг с другом (например, нельзя понять, как значение *sad* отличается от *displeased* или как *pleased* отличается от *happy*). Он также эмпирически неадекватен, так как позволяет делать неверные предсказания. Например, если предложенный анализ был бы верен, нельзя было бы сказать:

I am disappointed, but I am not sad.
'Я разочарован, но я не печален'
I feel relieved, but I don't feel happy.
'Я чувствую облегчение, но я не счастлив' —

как нельзя сказать:

*It is a spaniel, but it is not a dog.
'Это спаниель, но это не собака'
*It is a parrot, but it is not a bird.
'Это попугай, но это не птица'.

На самом деле облегчение не обязательно предполагает счастье (или радость), а разочарование — печаль. Кроме того, будучи сформулированы при помощи понятий, кото-

рые специфичны для англичан и не имеют семантических эквивалентов в большинстве остальных языков мира, толкования, предложенные в обсуждаемых работах, не дают возможности понять, как английские эмоциональные концепты (например, 'disappointed' или 'relieved') связаны с эмоциональными концептами в других языках мира. Вряд ли нужно напоминать, что английские слова типа *disconfirmation*, *prospect* и *goal* также не имеют эквивалентов в большинстве языков мира (в отличие от *know*, *want*, *think*, *do*, *happen*, *feel*, *good* и *bad*). Анализ, основанный на английских понятиях, которые не имеют эквивалентов в различных языках мира, не дает ученому никакой возможности добиться универсального взгляда на эмоции и на обычную концептуализацию эмоций в разных языках.

И наконец, что не менее важно: жесткая традиционная форма толкований (с помощью *genus proximum* и *differentia specifica*, т. е. «ближайшего понятия» и «специфического отличия», например, «холостяк — неженатый мужчина») не дает возможности раскрыть все разнообразие эмоциональных концептов, передаваемых языком, показать роль прототипов и сценариев этих понятий и продемонстрировать связи между тремя основными переменными: мыслями, желаниями и чувствами.

В чем польза толкований?

Как уже было сказано, необходимость толкования эмоциональных концептов часто признается когнитивными психологами. И все же, встречаясь с большой группой сложных и длинных толкований, некоторые читатели чувствуют себя немного обескураженными: в чем суть всего этого? Ради таких читателей, позвольте мне вкратце пересказать здесь несколько основных положений (более подробное изложение см., в частности, Wierzbicka 1986, 1992a, 1992b и 1993b).

1. Эмоции играют огромную роль в жизни человека. Изучение эмоций — насущная и необходимая часть психологии и когнитивных наук.

2. Эмоции исключительно трудно исследовать (настолько, что до настоящего времени они считались просто не поддающимися научному исследованию).

3. Глубокое проникновение в структуру эмоций и природы эмоциональной жизни обнаруживают народные представления об эмоциях (см. Johnson-Laird, Oatley 1992). Эти представления кристаллизуются в языке эмоций, особенно в эмоциональной лексике данного языка.

4. Ученые, желающие изучать эмоции, в значительной мере полагаются на эмоциональные концепты, выражаемые в их родном языке. Это неизбежно, и не обязательно плохо, если только они осознают факт такого влияния и не обманывают себя на тот счет, что, говоря, например, об 'anger', 'joy' или 'disgust', они ведут речь о каких-то биологически обусловленных, универсальных человеческих реалиях, и если они понимают, что рассматривают эмоциональные переживания человека сквозь призму собственного языка.

5. Изучая понятия, выражаемые английскими словами типа *disappointment*, *relief*, *distress* или *anger* с универсальной, не зависящей от языка точки зрения, мы можем, во-первых, узнать очень многое о системе мышления и знания, которой обладают носители английского языка, и, во-вторых, мы узнаем, как выйти за рамки этой системы и тем самым освободиться от смешения человеческих эмоций и английских эмоциональных концептов, которое наблюдалось (и все еще наблюдается) во многих работах по эмоциям.

6. Изучая английские названия эмоций, мы готовим базу для сравнительного изучения эмоциональных концептов в различных культурах, что является жизненно важной задачей для понимания как человеческой культуры, так и человеческого сознания.

Плохие происшествия

Многие английские эмоции связаны с «плохими вещами», происходящими с людьми. К ним относятся *sad*, *unhappy*, *distressed*, *upset*, *sorrow*, *sorry*, *grief*, *despair*, которые я буду последовательно толковать, пользуясь рассмотренным выше форматом.

Sad 'печальный' (например, X feels sad)

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

произошло что-то плохое

я бы хотел, чтобы это не произошло

поэтому, если бы я мог, я бы хотел что-нибудь сделать

я не могу ничего сделать

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее.

В прототипическом сценарии «плохое событие» локализуется в прошлом ('произошло что-то плохое', например, кто-то умер). Компонент 'я бы хотел, чтобы это не произошло' обозначает нечто вроде сожаления. Воображаемое — но только

воображаемое — стремление что-нибудь сделать ('я бы хотел что-нибудь сделать') в сочетании с чувством беспомощности ('я не могу ничего сделать') предполагает что-то вроде отказа от замысла.

Unhappy 'несчастный' (например, X feels unhappy)

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

со мной произошло что-то плохое

я не хочу этого

поэтому я бы хотел что-нибудь сделать

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее

Основное различие между *unhappy* и *sad* состоит в личном характере первого: если умирает близкий друг моего соседа, я могу быть *sad*, но не *unhappy*, но если умирает мой близкий друг, я скорее всего буду чувствовать себя *unhappy*.

Кроме того, *unhappy* предполагает более активное и менее смиренное настроение, чем *sad*. Например, если кто-то говорит «I am unhappy about it» 'из-за этого я несчастен', то он скорее всего собирается 'что-нибудь сделать в этой связи'. Напротив, если кто-то говорит «I am sad», он не намерен менять ситуацию; при этом нельзя сказать *«I am sad about it». Такая разница объясняется наличием компонента неприятия 'я не хочу этого' и отсутствием компонента уступки 'я не хочу ничего делать' в толковании *unhappy*.

Сочетание прошедшего события ('ПРОИЗОШЛО что-то плохое') с реакцией в настоящем ('я не хочу этого') может показаться нелогичным, но в естественном языке такие «нелогичности» — дело обычное. Характерный пример представляет собой плакат «НЕТ аннексии 1940», который несли литовские демонстранты в Вильнюсе в январе 1990 г.

Distressed 'огорченный'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

со мной сейчас происходит что-то плохое

я не хочу этого

поэтому, я бы хотел что-нибудь сделать

я не знаю, что я могу сделать

я хочу, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее

В статье Ekman 1973 и других работах по мимике эмоций слова *distress* и *distressed* часто употребляются по отношению к плачущим грудным младенцам, в то время как слово *sad*

стоит под фотографиями, запечатлевшими взрослых, которые не плачут и не режут (МОЖНО изобразить слезы печали, но только слезы, а не громкий плач или рев).

Такое расхождение в выборе обозначений находит соответствие в предложенных здесь толкованиях. Духовному состоянию плачущего младенца несомненно лучше отвечает личное отношение в настоящем, предусмотренное для *distressed* ('СО МНОЙ ПРОИСХОДИТ что-то плохое'), чем безличное размышление о прошлом, постулированное для *sad* ('ПРОИЗОШЛО что-то плохое').

Помимо этого, плачущий ребенок не принимает ситуацию спокойно, он активно противостоит ей ('я не хочу этого'). Ребенок может чувствовать беспомощность и быть не в состоянии справиться с ситуацией ('я не знаю, что я могу сделать'), но он не пассивен. Скорее, он пытается продемонстрировать свои чувства окружающему миру, неявно призывая на помощь ('я хочу, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал').

Общезвестное выражение *distress signals* 'сигналы бедствия', употребляемое по отношению к кораблям, указывает на похожую ситуацию. Судовой экипаж вполне может послать сообщение следующего характера: 'с нами произошло что-то плохое', 'мы не хотим этого', 'поэтому мы бы хотели что-нибудь сделать', 'мы не знаем, что можно сделать', 'мы хотим, чтобы кто-нибудь (другой) что-нибудь сделал'. Но любому кораблю не имеет смысла посылать *signals of sadness* или, если на то пошло, *signals of unhappiness* (сигналы печали или «несчастья»).

Слово 'сейчас' ('в это время') в толковании *distressed* может показаться излишним, поскольку настоящее время выражается в глаголе ('со мной ПРОИСХОДИТ что-то плохое'). Тем не менее его присутствие может быть оправдано тем, что оно подчеркивает краткость состояния *distress*. *Joy* и *worry* также ориентированы на настоящее ('ПРОИСХОДИТ что-то хорошее' и 'что-то ПРОИСХОДИТ'), но оба они соотносятся с «настоящим временем» в широком смысле. Напротив, *distress* всегда обозначает «настоящее время» в более узком, более определенном смысле. Например, если я знаю, что кто-то, кого я люблю, приезжает в следующем месяце, это может наполнять меня радостью в течение многих дней; и если я беспокоюсь о скромных успехах моих детей в школе, то я могу думать об этом месяцами, а не только днями или часами. *Distress* же предполагает немедленную реакцию на то, что происходит СЕЙЧАС (скорее «сегодня» чем «в настоящее время»).

В качестве последнего пункта доказательства рассмотрим выдержку из газетной статьи, сообщающей, что австралий-

ские академики испытывают *distress*, думая о том, что происходит с австралийским образованием в результате нынешней политики правительства (The Australian, 3 июля 1991 г. с. 11):

Мы говорим правительству: «опасно не обращать на это внимания». Мы делаем ему одолжение, демонстрируя свою озабоченность — до выборов еще 18 месяцев.

Мы хотим результатов. Мы не заинтересованы в судьбах коалиции или правительства, мы делаем это ради высшего образования. Люди огорчены тем, что творится с системой высшего образования.

Если бы академики сказали, что они скорее *sad*, а не *distressed*, это бы означало, что что-то плохое уже произошло и они ничего не могут с этим поделать. Следовательно, они были бы опечалены не ЧЕМ-ТО, а ИЗ-ЗА ЧЕГО-ТО. Выбор *distressed* предполагает здесь текущую ситуацию ('с нами происходит что-то плохое'), оппозицию к этой ситуации ('мы не хотим этого'), желание что-нибудь сделать ('поэтому мы бы хотели что-нибудь сделать'), незнание того, что можно сделать ('мы не знаем, что мы можем сделать') и призыв действовать к постороннему лицу, правительству ('мы хотим, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал')⁸.

Upset 'расстроенный'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

со мной сейчас произошло что-то плохое

я бы хотел, чтобы это не произошло

поэтому я бы хотел что-нибудь сделать

я не знаю, что я могу сделать

я не могу думать сейчас

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее.

Человек бывает расстроен тем, что произошло с ним 'до того', а не тем, что происходит с ним 'сейчас'. Но рассматриваемое событие произошло очень недавно, настолько, что экспериментер не имеет времени обрести душевное равновесие (ожидается, что он скоро это сделает).

Соединение в толковании прошедшего времени со словом 'сейчас' обозначает локализацию события в прошлом и его мгновенность (ср. подобную комбинацию в предложении «это произошло со мной только что»). В то же время экспериментер потерял равновесие и не может рассуждать как обычно. Его отношение не пассивно, он не примирился, как в случае *sadness* ('я не могу ничего сделать'). Лучше сказать, что он в замешательстве и временно не может совладать с собой

(‘я не знаю, что я могу сделать’). Но в отличие от человека, который огорчен, расстроенный человек не взывает о помощи и не привлекает к себе внимание никаким другим способом.

Sorrow ‘скорбь’

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

со мной произошло что-то очень плохое

я не мог не думать об этом до настоящего момента

я не могу не думать об этом сейчас

я бы хотел, чтобы этого не произошло

потому что я бы хотел что-нибудь сделать

никто не может ничего сделать

потому что этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее

Sorrow всегда относится к личной беде, в этом оно сближается с *distress* и *unhappiness* и противопоставляется *sadness* (‘СО МНОЙ произошло что-то очень плохое’). Оно более ‘интенсивно’, чем *sadness* (‘со мной произошло что-то ОЧЕНЬ плохое’). *Sorrow* вызвано каким-то событием в прошлом (чья-то смерть, другие большие потери), но прошлое как таковое не находится в фокусе. Точнее, *sorrow* предполагает длительное состояние, которое является результатом минувшего события или длительного существования в прошлом каких-то обстоятельств (например, бедности, неизлечимой болезни ребенка или супруга). Если экспериенсер сосредоточен на самом минувшем событии, то мы говорим о трагедии, а не о скорби. Скорбь имеет корни в прошлом, но акцент ставится на настоящем, длительном состоянии (‘я не мог не думать об этом до настоящего момента’, ‘я не могу не думать об этом сейчас’). В отличие от *distress* и *unhappiness* и подобно *sadness* оно может быть сопряжено с покоем и примирением. Оно похоже на продолжительное страдание или боль, но оно не допускает возмущения и противодействия.

В *sorrow* существует нечто окончательное и непоправимое, связывающее его с *grief* ‘горе’, к которому мы вскоре вернемся. *Sorrow* и *grief* связаны также тем, что экспериенсер концентрирует свое внимание на болезненном предмете; но в случае *grief* и *grieving* экспериенсер изначально сосредоточен на нем (‘я хочу думать об этом’), в то время как в *sorrow* заключена невозможность забыть это (‘я не могу не думать об этом’). Кроме того, *sorrow*, как уже было указано, предполагает что-то вроде допущения и примирения (с этим нельзя ничего сделать), в то время как *grief* — хотя и вызвано чем-то

столь же бесповоротным — не подразумевает этого и сопряжено с внутренним сопротивлением. Но прежде чем обратиться к *grief*, посмотрим на слово *sorry*, от которого образовано слово *sorrow*, несмотря на то, что в синхронном плане их значения различны.

Sorry ‘жаль’

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

с кем-то произошло что-то плохое

я бы хотел, чтобы этого не произошло

потому что этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее.

Данное толкование крайне просто, и оно верно предсказывает весь диапазон употребления слова. Если человек, с которым произошло что-то плохое, — это вы, а событие было спровоцировано мной, то слово *sorry* может выражать извинение. Если же я не являюсь виновником, но все же чувствую ‘что-то плохое’ из-за того, что с кем-то что-то случилось, то мое чувство *sorry* «за них» сродни сопереживанию. Если человек, с которым произошло что-то плохое — это я, то *sorry* может быть родственно сожалению. Например, можно сказать:

I'm sorry that it didn't happen to me.

букв. ‘Я сожалею, что этого не случилось со мной’

I'm sorry that I can't come (but I have an essay to write).

‘К сожалению, я не смогу прийти (я должен написать сочинение)’

I'm sorry I couldn't go to Verona.

‘Я сожалею, что не смог поехать в Верону’.

Но употребление *sorry* по отношению к себе подразумевает независимый и беспристрастный взгляд на себя как на ‘кого-то’, и оно реже сочетается с личным несчастьем типа болезни или аварии:

?I'm sorry that I had a car accident.

‘Я сожалею, что попал в автоаварию’

?I'm sorry that my house got burnt down.

‘Я сожалею, что мой дом сгорел дотла’.

В этих предложениях, сообщающих о подлинно личном несчастье, слово *sorry* звучит неуместно, так как его значение предполагает, что ‘что-то плохое произошло с КЕМ-ТО’, без указания на личный характер беды (‘что-то плохое произошло со МНОЙ’).

Grief 'горе'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

со мной произошло что-то очень плохое

кто-то был как бы частью меня

сейчас что-то произошло с этим человеком

поэтому этот человек не может быть как бы частью меня

я не хочу этого

я хочу думать об этом

я не хочу думать ни о чем другом сейчас

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее.

Первый когнитивный компонент толкования ('со мной произошло что-то очень плохое') сближает *grief* и *sorrow*, будучи «личным» ('СО МНОЙ'), интенсивным ('ОЧЕНЬ плохое') и указывающим на прошедшее время ('ПРОИЗОШЛО'). Однако, в отличие от *sorrow*, состояние *grief* не длительно: оно современно, свежо ('произошло СЕЙЧАС') и более активно ('я не хочу этого'). Оно сопровождается «потерей», точнее, потерей человека ('кто-то был как бы частью меня', 'что-то произошло с этим человеком сейчас', 'поэтому этот человек не может быть как бы частью меня').

В то же время экспериенсер поглощен мыслями о плохом событии ('я хочу думать об этом'), почти до исключения всего остального ('я не хочу думать о других вещах сейчас').

Как мы дальше увидим, некоторые компоненты связывают *grief* с *despair*.

Despair 'отчаяние'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

со мной произошло что-то очень плохое

я не хочу этого

поэтому я хочу что-нибудь сделать

я не могу ничего сделать

я не могу думать: со мной произойдет что-то хорошее

после этого момента

я не могу думать о других вещах

поэтому этот человек чувствует что-то очень плохое

X чувствует что-то похожее.

Despair, подобно *sorrow*, *grief* и *sadness*, относится к прошедшему событию ('ПРОИЗОШЛО что-то плохое'). Так же, как *sorrow* и *grief*, — но не *sadness*, — оно указывает на что-то очень плохое и что-то личное ('со МНОЙ произошло что-то ОЧЕНЬ плохое'). Однако, в отличие от *sorrow*, оно не совмес-

тимо с примирением и, подобно *grief*, предполагает внутреннее неприятие и противодействие тому, что произошло ('я не хочу этого'). Плохое событие может состоять в осознании своей ошибки и недостижимости того, чего очень хочется достичь, но также может рассматриваться как неудача, которая нас постигла.

Беспомощность *despair* ('я не могу ничего сделать') перекликается с беспомощностью *sorrow* и *sadness*, но, будучи связана с активным отрицанием фактов и с активным стремлением что-нибудь сделать ('я хочу что-нибудь сделать'), эта беспомощность предполагает страшное внутреннее противоречие, возможно, даже два противоречия: (1) 'со мной произошло что-то очень плохое', 'я не хочу этого' (но как можно желать, чтобы чего-то не произошло, если оно уже произошло) и (2) 'я хочу что-нибудь сделать', 'я не могу ничего сделать'.

Последний компонент *despair* ('я не могу думать о других вещах') описывает полное погружение экспериенсера в переживание, связывая его с *grief*, но это погружение еще более глубокое и более навязчивое, чем в случае с *grief* (ср. 'я хочу думать об этом' vs. 'я не могу думать о других вещах').

Этимология слова *despair* наводит на мысль, что это понятие может иметь другие грани, соотносящие его с надеждой (ср. с латинским *spere* 'надеяться', *desperare* 'терять надежду'). В самом деле, словарь английского языка издательства Лонгман (LDOTEL 1984) определяет *despair* или как «полную потерю надежды» или «причину крайней и неприемлемой беспомощности». Но потеря надежды совместима с примирением, а *despair* — нет, поэтому грубое толкование, предложенное LDOTEL, не может быть верно, но оно улавливает тот оттенок значения *despair*, который заключен в компоненте 'я не могу думать: со мной произойдет что-то хорошее после этого момента' (ср. с толкованием *hope* в контексте «X feels hope»):

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

я могу думать: со мной произойдет что-то хорошее

я хочу этого

поэтому этот человек чувствует что-то хорошее.

X чувствует что-то похожее

Другим понятием, связанным (негативно) с *hope*, является *depressed* 'подавленный', и о нем сейчас пойдет речь.

Depressed 'подавленный'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

я могу думать: со мной произойдет что-то плохое

я не могу думать: со мной произойдет что-то хорошее

я не могу думать: я сделаю что-то хорошее

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее.

Ближайшие родственники *depressed* — возможно, *in low spirits* 'не в духе', *downcast* (или *cast down*) 'удрученный' и *dejected* 'подавленный', но ни в коем случае не *despair*, хотя элемент безнадежности ('я не могу думать: со мной произойдет что-то хорошее') все же связывает *depressed* с *despair*. В отличие от *dejected* и *downcast*, *depressed* (или его прототип) не подразумевает того, что 'со мной произошло что-то плохое'. В этом отношении *depressed* ближе к *in low spirits*, которое также может не иметь специальной причины. Поскольку рассматриваемая здесь группа объединена общим компонентом 'произошло/происходит что-то плохое', то *depressed*, строго говоря, ей не принадлежит и, как и *hope*, может быть привлечено только для сравнения. Эмоциональные концепты, связанные с плохими происшествиями, которые МОГУТ или БУДУТ ИМЕТЬ место, обсуждались повсеместно (см. Wierzbicka 1990b), несмотря на то, что далеко не ясно, как проводить линию, разграничивающую эти две группы, только из-за того, что часто одни и те же понятия могут относиться как к тому, что происходит сейчас, так и к тому, что случится позже.

Хорошие происшествия

Эмоциональная лексика, связанная с «хорошими вещами», происходящими с людьми, представлена в английском языке менее широко, чем лексика, связанная с «плохими вещами» (см. Averill 1980). В ряде случаев различия, проводимые в области «хороших вещей», симметричны, или почти симметричны, различиям, проводимым в области «плохих вещей» (ср. *happy* и *unhappy*, *pleased* и *displeased*), однако в целом эти поля далеко не изоморфны, что мы увидим, когда рассмотрим названия наиболее распространенных «положительных» эмоций.

Joy 'радость' (например, X feels joy)

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

происходит что-то очень хорошее

я хочу этого

поэтому этот человек чувствует что-то очень хорошее

X чувствует что-то похожее.

Как показывает данное толкование, *joy* представляет собой очень простое понятие с двумя когнитивными компонентами и не имеет параллелей среди названий негативных эмоций. В частности, оно не похоже на *sadness* 'печаль', потому что *sadness* в прототипическом случае отсылает к прошедшим событиям, а *joy* предполагает, что что-то хорошее происходит в настоящем (хотя это может пониматься очень широко). К тому же, *sadness* содержит другие компоненты, которые определяют его довольно пассивный и лояльный характер, а *joy* не содержит таких компонентов и позволяет активное проявление (как в случае *weeping with joy* 'плачущий от радости').

Единственным названием отрицательной эмоции, которое содержит почти симметричные *joy* компоненты, является *distressed* ('со мной сейчас происходит что-то плохое', 'я не хочу этого'), но и это понятие включает другие компоненты, не находящие соответствия в толковании *joy*, и потому также не может считаться его прямой противоположностью.

В современном английском языке слово *joy* и его дериваты (такие, как *joyful* и *joyous* 'радостный') употребляются довольно редко (см. например, Kučera, Francis 1967). *Joy*, несомненно менее распространено в английском языке, чем слова *Freude* в немецком и *радость* в русском. Своей низкой частотностью *joy* обязано интенсивности чувства, которая не гармонирует с основными отношениями в англо-саксонской культуре, предпочитающей приглушенные и контролируемые эмоции. Как было указано ранее, английский слово *happy* гораздо менее «интенсивно», чем его ближайшие эквиваленты в других европейских языках (*glücklich* в немецком, *heureux* во французском, *счастливый* в русском). *Joy* не менее интенсивно, чем *Freude*, *joie* и *радость*, но оно употребляется реже. Для того, чтобы обозначить эту интуитивно осознаваемую интенсивность, я включила в два компонента толкования слово *очень* ('происходит что-то ОЧЕНЬ хорошее', 'этот человек чувствует что-то ОЧЕНЬ хорошее').

Кардинальное различие между *happy* и *joy* состоит в личном характере первого и неопределенном, и даже безличном характере последнего ('СО МНОЙ произошло что-то хорошее' vs. 'происходит что-то хорошее', см. толкование *happy* в разделе «Свидетельства в пользу толкований»). В этом отношении *happy* соответствует *unhappy*, а *joy* соответствует

sadness. Но в отличие от *sadness*, *joy* предполагает скорее настоящую, а не прошедшую перспективу ('ПРОИСХОДИТ что-то очень хорошее'), а *happy*, как и *unhappy*, подразумевает ретроспективу ('со мной ПРОИЗОШЛО что-то хорошее'). Кроме того, в отличие от *joy* и подобно *unhappy*, *happy* предполагает отсутствие дальнейших желаний ('я не хочу ничего другого'), что — в зависимости от контекста — может пониматься или в высоком смысле (полнота чувств «I am so happy...» 'я так счастлив'), или, более обыденно, как что-то родственное *contentedness* 'удовлетворенность' («I don't want to move — I am quite happy here» 'Я не хочу перемещаться — мне здесь вполне хорошо').

Представляется, что прилагательное *happy* (в современном языке) отличается в этом отношении от существительного *happiness* 'счастье' и что *happiness* ближе к словам типа *Glück*, *bonheur* и *счастье* в немецком, французском и русском языках. Чтобы подчеркнуть большую интенсивность понятия, выражаемого существительным *happiness*, мы должны включить в его толкование элемент 'очень' ('со мной произошло что-то ОЧЕНЬ хорошее'). Но прилагательное *happy* — в отличие от *glücklich*, *heureux* и *счастливый* — не предполагает такой интенсивности, и включение в его толкование компонента 'очень' было бы неоправданным (дальнейшее обсуждение и обоснование этой точки зрения см. в Wierzbicka 1992b).

Contented 'удовлетворенный'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

со мной происходит что-то хорошее

я хотел чего-то подобного

я не хочу ничего другого

поэтому этот человек чувствует что-то хорошее

X чувствует что-то похожее

Contentedness 'удовлетворенность' — это эмоция, которую можно приписать откормленному коту, сонно мурлыкающему в теплом местечке. Благополучие кота имеет место в настоящем (тепло, комфорт), и предполагаемая реакция кота на него — скорее пассивная и умеренная, чем активная, интенсивная или иступленная. *Contentedness* согласуется с умеренным выражением 'чего-то хорошего' (а не 'чего-то очень хорошего') и с существованием желания в прошлом ('я хотел чего-то подобного' скорее, чем 'я хочу этого').

Pleased 'доволен'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

произошло что-то хорошее

я хотел этого

поэтому этот человек чувствует что-то хорошее

X чувствует что-то похожее

Человек доволен, когда он видит, что все происходит согласно его плану; следовательно, его усилия приносят плоды; следовательно, его замыслы начинают реализоваться или создаются условия для их реализации; в общем, все происходит так, как он хотел бы.

«И сказал Бог: да будет свет: и стал свет. И увидел Бог, что свет хорош...» (Быт.1:3-4).

Я предполагаю, что когда Бог увидел, что свет хорош, он был *pleased* — не *happy*, *joyful*, *contented*, *relieved*, *delighted* или *excited* — но *pleased*. Если слово *pleased* в данном контексте звучит лучше, то толкование объясняет это.

Бог не был *happy*, потому что *happy* предполагает, что 'СО МНОЙ произошло что-то хорошее'. Он не чувствовал радости, потому что он оценивал результат, а *joy* предполагает теперешнее событие или теперешнее «желание». Он также не был *delighted* 'очарован', *excited* 'взволнован' или *relieved* 'успокоен' по причинам, которые будут изложены ниже.

Delighted 'восхищенный, обрадованный'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

сейчас произошло что-то очень хорошее

я не знал: это произойдет

поэтому этот человек чувствует что-то хорошее

X чувствует что-то похожее

По отношению к Богу *delighted* звучало бы как-то недостойно и неуместно — из-за того, что *delighted* включает в себе что-то вроде удивления ('я не знал: это произойдет') — что не согласуется с божественным всеведением. Кроме того, по-видимому, *delighted* предполагает отсутствие контроля (даже большее, чем у *joy*) и, следовательно, несовместимо с божественным всемогуществом.

В толковании нет воликативного компонента ('я хочу этого'), что отражает как отсутствие изначального ожидания, так и отсутствие контроля. *Joy* также предусматривает отсутствие изначального ожидания, но, во-первых, оно вообще не предполагает какого бы то ни было ожидания, и во-вторых, у *joy* «хорошее событие» и «ожидание» совпадают по времени ('происходит что-то очень хорошее', 'я хочу этого'). Напротив, в случае *delighted* хорошее событие рассматри-

вается как завершившееся ('произошло что-то хорошее'), и утверждение, что кто-то хочет какого-то хорошего прошедшего события, идет в разрез с интуицией. Интересно, что высказывание «Нет!» по отношению к минувшим событиям (ср. *grief*) не противоречит интуиции.

Excited 'приятно возбужденный'

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
я знаю: со мной произойдет что-то очень хорошее
я не знал об этом до настоящего момента
я хочу этого
поэтому я хочу что-нибудь сделать
я не могу думать ни о чем другом
поэтому этот человек чувствует что-то хорошее
X чувствует что-то похожее.

Женщина, которая очень хотела иметь ребенка, может быть *excited*, когда обнаружит, что она беременна. Она также может быть *excited* после рождения ребенка — думая о людях, которым она покажет своего ребенка, или о своей новой жизни — жизни матери. Но ребенок будет расти, и ее способность чувствовать *excited* по отношению к ее первенцу должна будет неминуемо уменьшиться. Состояние *happiness*, конечно, может продолжаться, чего нельзя сказать про *excitement*. *Excitement* обуславливается чем-то новым, и необходимо ожидание чего-то в будущем, даже если взволнованность вызвана чем-то, что уже произошло (произошло только что).

В ряде случаев *excited*, так же как и *upset*, обозначает пребывание в каком-то ненормальном состоянии. Человек не может 'думать о других вещах' и хочет 'что-нибудь сделать', но не способен контролировать свои мысли и направлять по верному руслу свою энергию. И все же, в отличие от *upset*, конечное чувство — хорошее ('поэтому этот человек чувствует что-то хорошее').

Люди, которые делают плохие вещи

В английском языке имеется множество эмоциональных слов, обозначающих ситуации, когда люди делают вещи, которые, по нашему мнению, не следует делать или которые мы считаем плохими. Среди них интуитивно наиболее фундаментальным является слово *anger* 'гнев'. Еще несколько слов обычно считаются обозначениями отдельных видов *anger*, особенно наиболее интенсивных (*fury* 'бешенство', *rage*

'ярость', *wrath* 'гнев', *mad* 'взбешенный' и т. п.). Слово *anger* и его более интенсивные гипонимы предполагают активное отношение к «плохим действиям». Другие слова отражают точку зрения наблюдателя (*shocked* 'шокированный', *appalled* 'потрясенный') или жертвы (*hurt* 'обидя'). Некоторые слова (например, *indignation* 'негодование') совмещают отношение наблюдателя с отношением (потенциального) деятеля. Изложенное ниже, без сомнения, не исчерпывает всех вопросов. В центре внимания будут пять понятий: *anger*, *indignation*, *shocked*, *appalled* и *hurt*.

Anger 'гнев'

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
этот человек сделал что-то плохое
я не хочу этого
поэтому я хочу что-нибудь сделать
поэтому я бы хотел сделать что-нибудь плохое этому человеку⁹
поэтому этот человек чувствует что-то плохое
X чувствует что-то похожее.

В прототипической ситуации 'anger' эмоция вызывается негативным суждением о чем-то совершенном кем-то ('этот человек сделал что-то плохое'). Такое суждение вызывает волевой ответ: отказ принять то, что случилось ('я не хочу этого') и желание действовать ('я хочу что-нибудь сделать'). Таким образом, отношение рассерженного человека является активным (он не приемлет ситуацию и поэтому хочет с этим что-нибудь сделать). Более точно, желание действовать принимает форму побуждения 'сделать что-нибудь плохое' виновнику, но, в отличие от ситуации *hatred* 'ненависть', этот импульс контролируется, и человек сдерживает себя: 'я бы хотел сделать что-нибудь плохое этому человеку' (ср. 'я хочу'). Но если внутренняя деятельность полностью подавляется, ситуации 'anger' больше не существует, по крайней мере, в обычном понимании (в противоположность профессиональному жаргону психологов, воспитателей и пр.).

Indignation (*indignant*) 'негодование — негодующий'

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
теперь я знаю: кто-то сделал что-то плохое
я не думал: кто-то может сделать что-то подобное
я не хочу этого
поэтому я бы хотел что-нибудь сделать
я хочу сказать, что я об этом думаю

поэтому этот человек чувствует что-то плохое
X чувствует что-то похожее.

Indignation похоже на *anger*, поскольку оно основано на суждении, что 'кто-то сделал что-то плохое', и оно скорее активно, чем пассивно. Однако в данном случае суждение в меньшей степени касается определенного человека ('кто-то', а не 'этот человек'), волевой импульс также в меньшей степени направлен против конкретного человека, и этот акт с меньшей вероятностью будет осуществлен.

Например, читая газетную статью о высокооплачиваемых чиновниках, требующих увеличения заработной платы и грозящих забастовкой, если их требование не будет удовлетворено, обычный человек станет с большей вероятностью негодовать, чем злиться. В такой ситуации можно услышать восклицания «Как они могли!» или «Какая самонадеянность!». Не приходится думать ни о каких ответных действиях, потому что обычно человек не имеет возможности воздействовать на виновных. Максимум, что он может сделать — написать негодующее письмо в газету. Если бы человек мог, он конечно 'захотел БЫ сделать что-нибудь' в связи с этим. Но не существует никакого намерения 'я ХОЧУ сделать что-нибудь', человек хочет главным образом выразить свое мнение по поводу «плохого действия» ('я хочу сказать, что я об этом думаю').

Наконец, *indignation*, по-видимому, как-то связано с *surprise* 'удивляться' (и поскольку это удивление вызвано чем-то плохим, оно также соотносится с *dismay* 'смятение' и *shock* 'шок'). Мысль, лежащая в основе этой эмоции, — это не просто 'кто-то сделал что-то плохое', но «Как они могли сделать такое!» В толковании подобный элемент неожиданности передается при помощи компонента 'я не думал: кто-то может сделать что-то подобное'.

Shocked 'шокированный'

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
сейчас что-то произошло
теперь я знаю: кто-то сделал что-то плохое
до этого я не думал: может произойти что-то подобное
я не знаю, что я могу подумать
поэтому этот человек чувствует что-то плохое
X чувствует что-то похожее.

Шок (существительное *shock*) можно получить от любого события, но если кто-то шокирован (прилагательное *shocked*),

то это обычно обусловлено неожиданным и «плохим» поведением других людей или его результатом. Осознание такого поведения происходит внезапно (хотя само по себе поведение могло иметь место ранее). Человек не только не ожидал этого, но и с трудом может в это поверить (похоже на ситуацию *amazement* 'изумление', но не *surprise* 'удивление'): 'я не знал до этого: подобное МОЖЕТ произойти'. Осознав это, экспериментер попадает в замешательство, путается в словах и в мыслях: 'я не знаю, что я могу подумать' (ср. *shell-shocked* 'контуженный'). У него нет никакого желания сделать что-нибудь, как в случае *anger* и даже *indignation*. Отношение пассивно, экспериментер как будто «поражен» своим открытием и по крайней мере временно обречен на бездействие.

Appalled 'в ужасе'

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
сейчас я знаю: произошло что-то плохое
кто-то сделал что-то очень плохое
я не думал: может произойти что-то подобное
я не хочу этого
поэтому я бы хотел что-нибудь сделать
поэтому этот человек чувствует что-то плохое
X чувствует что-то похожее.

Appalled обычно указывает на что-то плохое, имевшее место в прошлом (например, чьи-то ужасающие условия жизни), и мыслится как результат чьих-то 'очень плохих' действий (или 'очень плохого' бездействия). Оно также может обозначать само 'очень плохое' действие, если последнее рассматривается как плохое событие. Например, если кто-то слышит, как маленькие дети говорят ужасные, отвратительные вещи о других людях, то он может прийти в ужас — не потому что их действие по всей вероятности вызывает ситуацию 'происходит что-то плохое', но потому что оно может пониматься как что-то плохое, что уже произошло.

Плохое действие, естественно, противоречит ожиданиям и выходит за рамки того, что мы мыслим возможным. В этом отношении *appalled* очень похоже на *shocked*. Но *appalled* не предполагает замешательства или ослобнения ('я не знаю, что я могу подумать') и допускает идею о противодействии тому, что случилось ('я не хочу этого', 'поэтому я бы хотел что-нибудь сделать').

Hurt 'обида'

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:

ЭТОТ человек сделал мне что-то плохое

я не думал: этот человек может сделать мне что-то подобное

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее.

Hurt, как и *anger*, вызвано определенным человеком, но оно даже более персонально, чем *anger*: в данном случае происходит что-то плохое, что другой человек делает по отношению КО МНЕ. Плохое действие неожиданно, и в этом смысле *hurt* аналогично *shocked*, но в ситуации *hurt* подлинно неожиданным является не действие как таковое, а действие, рассматриваемое на фоне особого отношения: я не думал, что ЭТОТ ЧЕЛОВЕК сделает МНЕ что-то подобное. При этом интересно отметить, что вряд ли можно обижаться на врага; обычно мы обижаемся на друга. А может ли вообще обидеть нас прохожий? Это кажется невероятным, но не невозможным. Для того, чтобы не упустить эту возможность, я воздержалась от введения в толкование компонента 'я думал: этот человек хотел бы сделать мне что-то хорошее'. Как и в случае *shocked*, отсутствует побуждение к действию: в данном случае экспериментер скорее «пациент», чем потенциальный агент.

Думая о себе

Многие эмоциональные концепты предполагают размышление о самом себе и оценку того, что мы сделали, чего мы не сделали и что другие люди могут подумать о нас. В данном разделе я рассмотрю семь таких понятий: *remorse* 'раскаяние', *guilt* 'вина', *shame* 'стыд', *humiliation* 'унижение', *embarrassment* 'замешательство', *pride* 'гордость' и *triumph* 'триумф'.

Remorse 'угрызения совести'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

я сделал что-то плохое

я знал: это плохо

я не могу не думать: это было плохо

я бы хотел, чтобы я не делал этого

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее

Remorse несомненно базируется на мысли 'я сделал что-то плохое'. В этом отношении оно как-то связано со старомод-

ными понятиями типа *contrition* 'искреннее раскаяние' и *penance* 'покаяние'. Оно также связано с *regret* 'сожаление', поскольку *regret* подразумевает мысль 'я бы хотел, чтобы что-то могло произойти/не произойти', 'я знаю, что этого не может произойти'. Но *regret* может затрагивать как настоящее и будущее, так и минувшее событие, в то время как *remorse* ограничено прошедшим:

I regret very much that I won't be able to come to your party

'Я очень сожалею, что не смогу прийти к Вам в гости'

*When I think that I won't come to your party I feel remorse

'Когда я думаю о том, что не смогу прийти к Вам в гости, я испытываю угрызения совести'

Кроме того, *regret* может указывать на событие или положение дел, за которые мы не отвечаем и которые непосредственно нас не затрагивают, а *remorse* имеет отношение только к нашим собственным (намеренным) действиям. Например, болезнь какого-то человека и ее последствия могут служить поводом для нашего *regret*, но вряд ли поводом для нашего *remorse*.

Remorse — это приговор, выносимый нашей совестью, приговор, который постоянно не дает покоя нашей душе, хотим мы того или нет. Я сделал что-то плохое; я знаю, что это плохо, но я сделал это. Это не было ошибкой, это не было *faux pas* и не было ошибочным суждением. Это было то, за что я полностью отвечаю. Мне довольно неприятно думать об этом и я вероятно желал бы выкинуть из головы эти мысли, но я не могу. Тайный внутренний голос все время повторяет: «это было плохо», — и я не могу не слышать его, «я не могу не думать об этом».

Guilt 'вина'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

я сделал что-то

поэтому произошло что-то плохое

поэтому я не могу не думать о себе плохо

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее.

Guilt очевидно близко связано с *remorse*, и часто они могут почти полностью заменять друг друга. Например, если бы муж был неверен своей жене, он мог бы чувствовать как *guilt*, так и *remorse*. Но, с другой стороны, если я ненамеренно спровоцировал автомобильную аварию, в результате которой кто-то погиб или был тяжело ранен, я буду чувствовать

себя виноватым, даже если авария не была вызвана моей халатностью, безрассудством, управлением в нетрезвом виде и т. п. Достаточно того, что Я СДЕЛАЛ ЧТО-ТО, и в результате произошло что-то плохое. *Remorse* не могло бы быть использовано для обозначения этой ситуации, потому что *remorse* предусматривает, что Я СДЕЛАЛ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ, но не то, что я просто сделал что-то (вызвавшее что-то плохое).

И все же *guilt* подразумевает нечто большее, чем просто сожаление о том, что я случайно или не случайно спровоцировал что-то плохое ('я бы хотел, чтобы этого не произошло'). *Guilt* предполагает, что я чувствую какую-то ответственность и по совести я не считаю себя невиновным. То, что случилось, не было просто несчастным случаем, моя совесть говорит (как и в случае с *remorse*), что возможно я сделал что-то плохое. В обоих случаях я не могу забыть того, что произошло, и я чувствую бремя этой памяти. Я не могу не думать об этом.

Если ваш старый родственник очень болен, и вы понимаете, что вам необходимо остаться с ним, но вместо этого идете в гости, а родственник умирает, вы можете чувствовать как *guilt*, так и *remorse*, в зависимости от того, как вы смотрите на ситуацию. Если бы это был, например, ваш отец, и вы бы чувствовали моральную обязанность не покидать его и осознавали бы это в тот момент, то вы бы чувствовали *remorse*. Если бы это был ваш дальний родственник, и вы бы не чувствовали обязанности остаться с ним, но все равно было «плохо», что он умер в одиночестве, то вы бы чувствовали *guilt*. Возможно, я не сделал ничего плохого (просто пошел в гости), но я сделал что-то, и поэтому произошло что-то плохое (старый родственник умер в одиночестве). Мне тяжело вспоминать об этом, я не могу не думать об этом. Это *guilt*.

Хронически больной человек может чувствовать себя *guilty* из-за того, что на его лечение семья расходует большие деньги и это обременительно для нее, но он не будет чувствовать *remorse*. И даже чувствуя *guilt*, он должен рассматривать свою болезнь как каким-то образом связанную с чем-то, что он сделал или не сделал.

Грешник может чувствовать себя *guilty* перед Богом, когда он думает о том, как согрешение отделило и отдалило его от Бога и от других людей, но когда он размышляет о скверности своего поступка, а не о его последствиях, он, вероятно, чувствует *shame* 'стыд'.

Ashamed 'стыдно'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

все могут знать что-то плохое обо мне
поэтому все могут думать плохо обо мне
я не хочу этого

поэтому я бы хотел что-нибудь сделать

я не знаю, что я могу сделать

я бы хотел, чтобы никто не узнал об этом

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее

В типичной ситуации нам стыдно за что-то плохое, совершенное нами, и *shame* часто идет рука об руку с *remorse*. Но часто нам может быть стыдно за то, за что мы ни в коем случае не отвечаем. Например, нам может быть стыдно за наших родителей или на наше происхождение. Кроме того, нам может быть стыдно за наши физические недостатки, за неумение правильно писать, за одежду, которая не соответствует случаю. Для того, чтобы учесть все возможности, я сформулировала первый когнитивный компонент в виде 'все могут знать что-то плохое обо мне' (ср. 'я сделал что-то плохое').

Если имеются «позорящие» нас факты, которые мы бы хотели скрыть от других людей, то это потому, что мы не хотим, чтобы они ДУМАЛИ что-то плохое о нас. Понятие *shame*, конечно, больше ориентировано на то, что другие люди могут о нас подумать (чем на то, что они просто знают о нас), но плохое мнение, которого мы хотим избежать, должно основываться на знании, таким образом, именно это знание мы бы хотели не допустить на первый план ('я бы хотел, чтобы никто не узнал об этом'). Следовательно, мы бы хотели что-нибудь сделать, однако в общем случае мы не знаем, что бы мы могли сделать. (Для более подробного ознакомления с *shame* см. Dineen 1990, Harkins 1990.)

Humiliated 'униженный'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

со мной произошло что-то плохое

поэтому кто-то может думать плохо обо мне

я не могу не думать о себе плохо

я не хочу этого

поэтому я бы хотел что-нибудь сделать

я не могу ничего сделать

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее.

Humiliation связано с *shame*, поскольку мы знаем что-то плохое, что люди могут о нас подумать. Тем не менее, *humiliation* — это не только взгляд постороннего, но и взгляд изнутри. В данном случае важны не только мысли других людей, но и наши собственные. Можно сказать, что *humiliation* понижает самооценку ('я не могу не думать о себе плохо'), и это не менее болезненно и нежелательно, чем когда тебя осуждают другие люди.

В отличие от *shame*, *humiliation* должно быть обусловлено плохим событием. Например, нам может быть просто стыдно за свое происхождение вообще, но когда кто-то упоминает об этом при стечении народа насмешливым и враждебным тоном, мы чувствуем унижение. Таким образом, *humiliation* связано со специфическими обстоятельствами.

Ситуация, которая обуславливает наше унижение, не может заключаться в 'чем-то плохом', что сделали мы сами: отношение униженного человека обязательно является отношением жертвы ('со мной произошло что-то плохое'). *Shame*, которое во многих случаях является чем-то плохим, совершенным нами, часто можно сравнить с *remorse* и *guilt*, но не с *humiliate* — из-за того, что экспериментер ни в коем случае не чувствует себя ответственным за плохое событие (несмотря на сопутствующее понижение самооценки). Следовательно, униженный человек находится в более беспомощном положении: 'я не могу ничего сделать' (*humiliation*) vs. 'я не знаю, что я могу сделать' (*shame*).

Embarrassed 'смущенный'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

сейчас со мной что-то произошло

поэтому сейчас кто-то может что-то обо мне подумать

я не хочу этого

поэтому я бы хотел что-нибудь сделать

я не знаю, что я могу сделать

поэтому этот человек чувствует что-то плохое

X чувствует что-то похожее.

Embarrassed, подобно *humiliation*, связано с особой ситуацией, даже более определенной ('СЕЙЧАС со мной что-то произошло'). Оно также более преходяще и более ограничено во времени. После унижающего события мы можем довольно долго чувствовать что-то плохое. Даже если мы находимся одни дома, то, представляя, что люди могут подумать о нас, мы (когда мы унижены) думаем плохо о самих себе. Напротив, *embarrassment* скоротечно и ставит в центре внимания то, что люди думают о нас именно в настоящий момент, а не

их возможное мнение в будущем. В любом случае, мнение людей о нас, которого мы бы хотели избежать, не обязательно плохое: например, мы можем оказаться *embarrassed*, когда нас публично хвалят или благодарят. Тот факт, что основное внимание обращено на нас, весьма нежелателен (и вызывает «плохое чувство»), и нам хотелось бы избежать этого так же, как если бы мы хотели избежать «плохих мыслей» людей о нас.

Pride 'гордость'

X чувствует что-то

иногда человек думает примерно так:

все могут знать что-то хорошее обо мне

поэтому все должны думать хорошо обо мне

я могу думать хорошо о себе

я хочу этого

поэтому этот человек чувствует что-то хорошее

X чувствует что-то похожее.

Мы гордимся нашими достижениями или хорошими вещами, которые мы сделали, а также хорошими вещами, которые сделали близкие нам люди (если мы отождествляем себя с ними). Можно также гордиться своим происхождением или своим красиво звучащим голосом, и даже своими красивыми длинными волосами.

Грубо говоря, мы гордимся чем-то хорошим, что люди могут знать о нас; мы ожидаем, что люди будут думать о нас хорошо, и мы думаем хорошо о себе.

В ряде случаев *pride* является зеркальным отражением *shame*. Можно гордиться своими достижениями и испытывать стыд из-за своих неудач; можно гордиться своим скрытым талантом и стыдиться своих тайных слабостей; можно гордиться своим происхождением и семьей и можно испытывать стыд за свое происхождение и семью. Возможно, единственное различие заключается в том, что *shame* в большей степени сосредоточено на других людях, в то время как у *pride* главную роль играет представление о себе. Таким образом, человек, которому стыдно, пытается скрыть что-то от других людей, а человек, который чувствует гордость, не обязательно стремится привлечь внимание других людей к тому, чем он гордится (может быть, ему достаточно самому наслаждаться этим). Следовательно, я постулирую для *pride* компонент 'я могу думать хорошо о себе' (аналогично для *humiliation* 'я должен думать плохо о себе'), в то время как для *shame* такого компонента не постулируется.

Другая возможная связь между *pride* и *humiliation* состоит в имплицитном сравнении с другими людьми. Быть может,

для того, чтобы гордиться чем-то, человек должен чувствовать превосходство в некотором отношении над остальными людьми, а для того, чтобы быть униженным — чувствовать себя хуже остальных? Может быть, последние два понятия предполагают мысль вроде 'я не похож на других людей'? Во всяком случае, очевидно, что *shame* не предполагает таких сравнений.

Triumph

X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
я сделал что-то очень хорошее
все думали: ничего подобного не может произойти
все могут знать сейчас: это произошло
поэтому все должны думать очень хорошо обо мне
поэтому этот человек чувствует что-то очень хорошее
X чувствует что-то похожее.

Triumph, как и *humiliation*, связано с особой ситуацией, в данном случае, с каким-то выдающимся и неожиданным достижением ('я сделал что-то очень хорошее'). Здесь нет сравнения с другими людьми. Если мое достижение рассматривается как выдающееся, то не с точки зрения сравнения с другими людьми, а с точки зрения ожиданий. Это, можно сказать, поразительное достижение ('все думали: ничего подобного не может произойти'). *Triumph* даже имеет оттенок какого-то унижения остальных людей: они не верили, что я могу сделать подобное, и теперь они оказались неправы ('теперь они знают: это произошло'). Кто-то торжествует НАД чем-то: над препятствиями, а может быть, и над ожиданиями других людей. *Triumph* требует публики: люди ДОЛЖНЫ (не могут не) думать очень хорошо о человеке вследствие того, что он сделал.

Заключение

Данная статья демонстрирует, что эмоциональные концепты — включая так называемые базисные понятия, такие, как *гнев* или *печаль*, могут быть истолкованы через универсальные семантические примитивы типа 'хорошо', 'плохо', 'делать', 'происходить', 'знать' и 'хотеть'. Язык семантических примитивов позволяет строго и эксплицитно описать все пространство значений во всех языках.

Предложенные здесь дефиниции во многом отличаются от так называемых классических толкований. В частности, они

не отвечают аристотелевской модели, основанной на *genus proximum* и *differentia specifica*. Данные толкования больше похожи на прототипические модели поведения или сценарии, которые задают последовательность мыслей, желаний и чувств. Однако эти модели поведения можно рассматривать как формулы, предусматривающие строгое разграничение необходимых и достаточных условий (не для эмоций как таковых, но для эмоциональных понятий), и эти формулы не допускают того, что границы между понятиями «размыты». Напротив, небольшой набор используемых здесь универсальных семантических примитивов (который является результатом 20-летних исследований автора и его коллег) наглядно показывает, что даже такие очевидные синонимы, как *sad* (печальный) и *unhappy* (несчастный), предполагают разные — и вполне специфичные — понятийные структуры, и обнаруживает примечательную точность в проведении границ между понятиями, в том числе и между такими, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми или различающимися только «стилистически»¹⁰. При ближайшем рассмотрении человеческая концептуализация эмоций являет собой систему неосознаваемых противопоставлений невероятной чувствительности, тонкости и точности.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Сравни, в частности, Wierzbicka 1987, 1988b, 1991; также Ameka 1987, Boguslawski 1979, 1989, Chappell 1980, 1986a, 1986b, Goddard 1989a, 1989b, Harkins 1986, 1990 и Wilkins 1986.

²Я не возражаю против использования технических терминов, если они вводятся через нетехнические, но вся научная терминология должна строиться в конечном счете на ясных и интуитивно понятных концептах. В противном случае правильное понимание невозможно.

³'Feel' ('чувствовать') был введен в качестве универсального семантического примитива в работе Wierzbicka 1972. В последующих работах его репутация оказалась подмоченной, и он был удален из списка примитивов. Однако исследования последнего десятилетия показали, что первоначальная гипотеза была верна (см. Goddard, Wierzbicka 1994).

⁴Важно отметить, что семантические примитивы имеют свой собственный синтаксис и в совокупности с последним образуют естественный «мини-язык». Приведенный здесь «мини-словарь» лишь приблизительно отражает идею такого мини-языка. Толкования, включенные в данную статью, иллюстрируют, как используется мини-язык.

⁵Я не утверждаю, что данная классификация является исчерпывающей и единственно возможной. В частности, необходимо заметить, что понятия *surprise* 'удивление' и *amazement* 'изумление' не предполагают чего-то 'хорошего' или 'плохого', 'желаемого' или 'нежелаемого'. Ортоны и Тернер (Ortony, Turner 1990, с. 317) предположили, что *surprise* вообще не является эмоцией, потому что оно не «поляризовано», а толкования должны «поляризовать»

эмоции (или позитивно, или негативно). Но требование «поляризованности» является дискуссионным. Неприемлемость следующих предложений доказывает, что в естественном языке surprise и amazement считаются эмоциями:

*His face, full of amazement, betrayed no emotion.

'Его изумленное лицо не выражало никаких эмоций'.

*His face showed surprise, but it didn't betray any emotion.

'Его лицо выражало удивление, но не передавало никаких эмоций'.

⁶В статье Wierzbicka 1990b я предложила несколько другой способ интерпретации семантических различий между предложениями с «быть» и «чувствовать» (см. также Wierzbicka 1980).

⁷Лингвистические данные свидетельствуют, что названия эмоций могут отличаться тем, какое значение придается мыслям и чувствам соответственно.

Например, можно сказать по-английски:

I feel sad/happy today, I don't know why.

'Я сегодня грустен/счастлив, не знаю почему'

и даже

I don't know, why I am so happy today.

'Не знаю, почему я так счастлив сегодня',

но едва ли

*I feel disappointed/relieved today, I don't know why.

'Я сегодня разочарован/успокоился, не знаю почему'

(см. Johnson-Laird, Oatley 1989).

Лингвистические данные этого типа опровергают утверждение Култера (Coulter 1986) о том, что «испытывать эмоцию значит чувствовать что-то по отношению к кому-то или к чему-то» (с. 124), именно потому что МОЖНО сказать по-английски I feel sad/happy today, I don't know why (см. Griffith 1989).

⁸Ортоны и Тернер (Ortony, Turner 1990, с. 325) предложили использовать слово distress в самом широком смысле, с тем чтобы оно было применимо к любой эмоции, предполагающей «негативное аффективное состояние общей несчастности (unhappiness)», включающее, например, anger и fear: «невозможно быть в гневе (anger) без огорчения (distress) в данном понимании. Предполагается, что distress — более основное чувство, чем anger». Однако эти авторы, наверное, согласились бы, что это весьма произвольное употребление слова distress (а также слова unhappiness).

⁹Предложенное здесь толкование anger отличается в одном отношении от толкований, предлагавшихся в моих предыдущих работах по эмоциям. Семантика anger требует дальнейшего исследования (например, желает ли разгневанный человек, чтобы с его противником 'произошло что-то плохое' или чтобы противник 'чувствовал что-то плохое').

¹⁰Вопрос о дискретности эмоциональных концептов следует отличать от вопроса о дискретности самих эмоций. Некоторые исследователи эмоций (в частности, Кэрролл Изард и Пол Экман: Izard 1977, Ekman 1989) утверждают, что сами по себе эмоции (по крайней мере так называемые базисные) дискретны. Я не разделяю эту точку зрения. Напротив, я считаю, что дискретная интерпретация континуума эмоционального опыта наводится языком через эмоциональную лексику.

БИБЛИОГРАФИЯ

Ameka, F. 1987. A comparative analysis of linguistic routines in two languages: English and Ewe. *Journal of Pragmatics*, 11, 3: 299-326.

Ameka, F. 1990. The grammatical packaging of experiences in Ewe: A study in the semantics of syntax. *Australian Journal of Linguistics*, 10, 2: 139-182.

Armon-Jones, C. 1986. The thesis of constructionism. In: *The social construction of emotions*, R.Harré, ed., Oxford: Blackwells.

Armstrong, S.L.; Gleitman, L.; Gleitman, H. 1983. What some concepts might not be. *Cognition*, 13: 263-308.

Averill, J.R. 1980. On the paucity of positive emotions. In: *Advances in the study of communication and affect: Vol. 6. Assessment and modification of emotional behavior*. K.R.Blankstein, P.Pliner and J.Polivy, eds., New York: Plenum.

Barańczak, S. 1990. *Breathing under water and other East European essays*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bogusławski, A. 1966. *Semantyczne pojecie liczebniaka*. Wrocław: Ossolineum.

Bogusławski, A. 1970. On semantic primitives and meaningfulness. In: *Sign, language, culture*. A.J.Greimas, R.Jakobson and M.R.Mayenowa, eds. The Hague: Mouton.

Bogusławski, A. 1979. Wissen, Wahrheit, Glauben: Zur semantischen Beschaffenheit des kognitiven Vokabulars. In: *Wissenschaftssprache: Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und Deskription*. T.Bungarten ed. Munich: Fink.

Bogusławski, A. 1989. Knowledge is the lack of lack of knowledge, but what is that lack lack of? On Ziff's «coherence theory of knowledge». *Quaderni di Semantica*, 10, 1: 15-31.

Bugenhagen, R.D. 1990. Experiential constructions in Mangap-Mbula. *Australian Journal of Linguistics*, 10, 2: 183-216.

Chappell, H.M. 1980. Is the get-passive adversative? *Papers in Linguistics*, 13, 3: 411-452.

Chappell, H.M. 1986a. Formal and colloquial adversity passives in standard Chinese. *Linguistics*, 24, 6: 1025-1052.

Chappell, H.M. 1986b. The passive of bodily effect in Chinese. *Studies in Language*, 10, 2: 271-283.

Chomsky, N. 1987. Language in a psychological setting. *Sophia Linguistica*, 22: 1-73.

Coulter, J. 1986. Affect and social context: Emotion definition as a social task. In: *The social construction of emotions*. R.Harré ed. Oxford: Blackwells.

Descartes, R. 1952. *Oeuvres et lettres*. Bruges: Gallimard.

Dineen, A. 1990. Shame/embarrassment in English and Danish. *Australian Journal of Linguistics*, 10, 2: 217-230.

Ekman, P. 1973. Cross-cultural studies of facial expressions. In: *Darwin and facial expression: A century of research in review*. P.Ekman, ed. New York: Academic.

Ekman, P. 1980. The face of man: Expressions of universal emotions in a New Guinea village. New York: Garland STMP Press.

Ekman, P. 1989. The argument and evidence about universals in facial expressions of emotion. In: *Handbook of social psychophysiology*. H.Wagner and A.Manstead, eds. New York: Wiley.

Evans, N. 1994. Kayardild. In: *Semantic and lexical universals*. C.Goddard and A.Wierzbicka, eds. Amsterdam: John Benjamins. P. 203-228.

Fehr, B.; Russell, J.A. 1984. Concept of emotion viewed from a prototype perspective. *Journal of Experimental Psychology: General*, 113: 464-486.

Geertz, C. 1984. From the native's point of view: On the nature of anthropological understanding. In: *Culture theory: Essays of mind, self and emotions*. R.A.Shweder and R.A.LeVine, eds. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Goddard, C. 1989a. Issues in natural semantic metalanguage. *Quaderni di Semantica*, 10, 1: 51-64.

Goddard, C. 1989b. The goals and limits of semantic representation. *Quaderni di Semantica*, 10, 1: 297-308.

Goddard, C. 1990. The lexical semantics of «good feelings» in Yankunytjatjara. *Australian Journal of Linguistics*, 10, 2: 257-292.

Goddard, C. 1994. Lexical primitives in Yankunytjatjara. In: *Semantic and lexical universals*. C.Goddard and A.Wierzbicka, eds. Amsterdam: John Benjamins. P. 229-262.

Goddard, C., Wierzbicka, A., eds. 1994. *Semantic and lexical universals*. Amsterdam: John Benjamins.

Griffith, P.E. 1989. The degeneration of the cognitive theory of emotions. *Philosophical Psychology*, 2, 3: 297-313.

Harkins, J. 1986. Semantics and the language learner: Warlpiri particles. *Journal of Pragmatics*, 10: 559-573

Harkins, J. 1990. Shame and shyness in the Aboriginal classroom: A case for «practical semantics». *Australian Journal of Linguistics*, 10, 2: 293-306.

Harkins, J., Wilkins D.P. 1994. Mparntwe Arrente and the search for lexical universals. In: *Semantic and lexical universals*. C.Goddard and A.Wierzbicka, eds. Amsterdam: John Benjamins. P. 285-310.

Harré, R. 1986. An outline of the social constructionist viewpoint. In: *The social construction of emotions*. R.Harré, ed. Oxford: Blackwells.

Holy Bible (King James Version) 1966. Cleveland: Meridian.

Hudson, J. 1985. Selected speech act verbs in Walmatjary. In: *Pragmatics in non-Western perspective*. G.Huttar and K.Gregerson, eds. Dallas: Summer Institute of linguistics.

Iordanskaja, L. 1974. Tentative lexicographic definitions for a group of Russian words denoting emotions. In: *Machine translation and applied linguistics*. J.Rozenvejk, ed. Frankfurt, Athanaum.

Izard, C. 1977. Human emotions. New York: Plenum. [Русский перевод: Изард К.Е. Эмоции человека. М., 1980]

Johnson-Laird, P.N.; Oatley, K. 1989. The language of emotions: An analysis of a semantic field. *Cognition and Emotion*, 3: 81-123.

Johnson-Laird, P.N.; Oatley, K. 1992. Basic emotions, rationality, and folk theory function, folk theory and empirical study. *Cognition and Emotion*, 6: 201-233.

Kučera, H.; Francis, N. 1967. Computational analysis of present-day American English. Providence, RI: Brown University Press.

Leibniz, G.W. 1961. Opusculs et fragments inédits de Leibniz. L.Couturat, ed. Hildesheim: Georg Olms. (Впервые опубликовано в 1903).

Locke, J. 1959. An essay concerning human understanding. A.C.Fraser, ed. New York: Dover.

Longman Dictionary of the English Language (L.DOTEL). 1984. London: Longman.

Lutz, C. 1985. Ethnopsychology compared to what? Explaining behavior and consciousness among the Ifaluk. In: *Person, self, and experience: Exploring Pacific ethnopsychologies*. G.M.White and J.Kirkpatrick, eds. Berkeley: University of California Press.

Lutz, C. 1988. Unnatural emotions: Everyday sentiments on a Micronesian atoll and their challenge to Western theory. Chicago: University of Chicago Press.

Lyons, W. 1980. Emotion. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Ortony, A.; Clore, G.L. 1989. Emotions, moods and conscious awareness. *Cognition and Emotion*, 3, 2: 125-137.

Ortony, A.; Clore, G.L.; Collins, A. 1988. The cognitive structure of emotions. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Ortony, A.; Clore, G.L.; Foss, M.A. 1987. The referential structure of the affective lexicon. *Cognitive Science*, 11: 341-364.

Ortony, A.; Turner, T. 1990. What's basic about basic emotions? *Psychological Review*, 74: 315-331.

Osgood, C.E.; May, W.H.; Miron, M.S. 1975. Cross-cultural universals of affective meaning. Urbana: University of Illinois Press.

Pascal, B. 1964. Sur l'esprit de géométrie. In: B.Pascal *Oeuvres Completes*. L.Lafuma, ed. Paris. (Впервые опубликовано в 1667).

Pulman, S.G. 1983. Word, meaning and belief. London: Croom Helm.

Russell, J.A. 1989. Culture, scripts and children's understanding of emotions. In: C.Saarni and P.L.Harris (eds.), *Children's understanding of emotions*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Wierzbicka, A. 1972. Semantic primitives. Frankfurt: Athenäum.

Wierzbicka, A. 1973. The semantic structure of words for emotions. In: *Slavic poetics: Essays in honour of Kiril Taranovsky*. R.Jakobson, C.H.van Schooneveld and D.S.Worth, eds. The Hague: Mouton.

Wierzbicka, A. 1980. *Lingua mentalis: The Semantics of natural language*. Sydney: Academic.

Wierzbicka, A. 1986. Human emotions: Universal or culture-specific? *American Anthropologist*, 88, 3: 584-594.

Wierzbicka, A. 1987. English speech act verbs: A semantic dictionary. Sydney: Academic.

Wierzbicka, A. 1988a. L'amour, la colère, la joie, l'ennui: La sémantique des émotions dans une perspective transculturelle. *Langages*, 89: 97-107.

Wierzbicka, A. 1988b. The semantics of grammar. Amsterdam: John Benjamins.

Wierzbicka, A. 1989a. Semantic primitives and lexical universals. *Quaderni di Semantica*, 10, 1: 103-121.

Wierzbicka, A. 1989b. Semantic primitives — the expanding set. *Quaderni di Semantica*, 10, 1: 309-332.

Wierzbicka, A. 1990a. The meaning of colour terms: Semantics, culture, and cognition. *Cognitive Linguistics*, 1, 1: 99-150.

Wierzbicka, A. 1990b. The semantics of emotions: Fear and it relatives in English. *Australian Journal of Linguistics*, 10, 2: 359-375.

Wierzbicka, A. 1991. Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction. Berlin: de Gruyter.

Wierzbicka, A. 1992a. Semantics, culture, and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations. New York: Oxford University Press.

Wierzbicka, A. 1992b. Talking about emotions: Semantics, culture, and cognition. *Cognition and Emotion*, 6: 285-319.

Wierzbicka, A. 1993a. The alphabet of human thoughts. In: *Conceptualization and mental processing in language*. R.A.Geiger and B.Rudzka-Ostyn, eds. Berlin: Mouton de Gruyter. P. 23-51.

Wierzbicka, A. 1993b. Reading human faces: Emotion components and universal semantics. *Pragmatics and Cognition*, 1, 1: 1-23.

Wilkins, D.P. 1986. Particléitics for criticism and complaint in Mparntwe Arrente (Aranda). *Journal of Pragmatics*, 10: 575-596.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ*

A conceptual basis for cultural psychology. Ethos 1993, 21, 2: 205-231.

Ником образом не следует отказывать понятию значение в центральном положении в психологической науке на том лишь основании, что оно является чересчур «нечетким». Оно нечетко с точки зрения логика-формалиста вчерашнего дня. Мы через это уже прошли.

Дж. Брунер (Bruner 1990:65)

Психология культуры: наука универсальная или этническая?

Центральный вопрос, который встает перед психологией культуры, был задан Катрин Лутц в наводящем на размышления заголовке ее статьи: «С чем сопоставить этнопсихологию?» (Lutz 1985). Может ли эта новая дисциплина подняться над каждой частной, локально окрашенной этнопсихологией — прежде всего той, что получает свое выражение посредством английского языка, — и утвердить себя как повсеместно действенная наука о человеке, не искажаемая тяготением к англоцентризму? Сможет ли она преодолеть ментальную материализацию наших собственных (т. е. англоязычных) концептуальных категорий, подвергнутую критике в статье Лутц.

На данном этапе своего развития психология культуры пребывает-таки в зависимости от английского языка — не столько как средства выражения, сколько как источника для ее концептуального аппарата. Ничто не иллюстрирует эту зависимость ярче, чем та центральная роль, которую играют слова *self* '«я», *ego* и *emotion* 'эмоция' (употребляемые обычно бок о бок) в текстах даже у тех ученых, которые наиболее остро ощущают опасность англоцентризма в исследовании познания и культуры.

Так, та же Лутц, например, пишет: «О концептах, лежащих в основе этнопсихологического осмысления, свидетельствует прежде всего лексика, связанная с понятиями *self* и *interaction* 'взаимодействие'» (Lutz 1988:84). Но уже само это выражение: «лексика, связанная с понятием *self*», вызывает вопрос — является ли данное понятие тем инструментом, с которым можно на законных основаниях подходить к лексикону и дискурсу любого человеческого общества?

Сошлемся на Доринн Кондо: «Антропологи, когда они пишут об этнографии, ... сталкиваются с противоречивостью ... описаний, строящихся на приемах, обусловленных характером языка, истории и дискурса. Никому и никогда не удастся целиком избавиться от семантической нагрузки слова *self*, пока понятия деятельности, предельности и стабильности остаются неизгладимо вписанными в отстоявшуюся языковую историю этого термина... Мы не в состоянии просто взять и переступить через семантическую историю, запечатленную в термине «the self», даже если мы и попытаемся очистить его от этих свойств и тем самым открыть для мира» (Kondo 1990:42).

Выражение Кондо «отстоявшаяся языковая история термина» весьма точно бьет в цель. Если принять во внимание то, — на это указывают Ч. Тейлор (Taylor 1989) и другие, — что даже в самом английском языке слово *self* (как существительное) оказывается относительно поздним образованием, отражающим весьма специфическую культурную перспективу человеческого существования, современное использование этого слова как одного из основных концептуальных инструментов в анализе различных мировых культур должно быть поставлено под вопрос. Вот еще одна цитата из Кондо¹: «Принимаемые в антропологической литературе допущения о наличии и целостности понятия «the self», а также использование в качестве отправной точки бинарной оппозиции *self/society* 'общество' прочно усваиваются в ней благодаря риторическим стратегиям, акцентирующим референциальные значения, деконтекстуализированные примеры и всеобъемлющую завершенность повествования. Если говорить о «понятии *self*» в отрыве от контекстов, обусловленных спецификой истории, культуры и политики, то это уже само по себе открывает путь представлением о некоей абстрактной сущности понятия «самости» (*selfhood*), которую мы можем описать, перечисляя его дифференциальные признаки. Разглагольствования о культуре и «я» (*self*), о концепте «я» (*self*), об идее личности тесно связываются со статическими, сущностными, глобальными признаками» (Kondo 1990:36).

* Reprinted by permission of the American Anthropological Association from ETHOS 21:2, June 1993. Not for further reproduction.

Поднимая, однако, весьма важные вопросы, Кондо не пытается предлагать их решение и, между прочим, признает, что сама запуталась в тех парадоксах и дилеммах, которые кроются в попытке выйти за пределы своей собственной культуры: «Современные антропологи, интересующиеся спорными аспектами понятий *self*, *emotion* и *personhood* 'личность', в том числе и я сама, пребывают в состоянии борьбы с трудностями и парадоксами наглядного представления культурно обусловленной специфики понятия *selfhood* 'самость'. Мы «очищаем» эту категорию и, в то же время, работаем, не выходя за пределы некоего канона и условности изложения, где почти неизбежно отражается противопоставление *self/society*. Живучесть этих общепризнанных надежд на установление тождества понятия самому себе можно наблюдать у авторов младшего поколения в ряде их последних работ о *self*; что же касается моих критических замечаний, высказываемых здесь, то их следует воспринимать как комментарии сочувствующего сотоварища по нашему общему делу. Изучив, каким именно образом и данный предмет как некое унифицированное целое, и фигура речи *self/society* продолжают с коварным упорством присутствовать даже и в тех работах по антропологии, которые претендуют на их преодоление, мы вероятно сможем найти способ поставить подобные надежды под вопрос и постепенно изжить их» (Kondo 1990:37).

Reductio ad absurdum

Но, допустим, что мы уже поставили под вопрос такие наши ключевые понятия, как *self*, *emotion*, *mind* 'сознание, ум', *person* и *society*, подвергли их критическому анализу и обнаружили, что их у нас просто нет (как это утверждают Лупц, Кондо и другие) — что дальше? Следует ли нам отказаться и от всей затеи с попытками интерпретировать иные культуры как от неосуществимой и исходно противоречащей самой себе?

Для некоторых ученых такой подход представляется логическим — по принципу *reductio ad absurdum* («сведение к абсурду») — финалом той капитальной критики «западных теорий», что была предпринята в последнее время. Кавычки использованы здесь умышленно: когда М. Спиро говорит, например, о «западных» (в кавычках) теориях, он хочет отмежеваться от того сомнения, которому, благодаря прилагательному «западный», подвергают универсальную значимость этих теорий.

Высказываясь против «нового подхода в антропологии», берущего под сомнение существование и/или возможность описания «надкультурных признаков сознания (*mind*) рода человеческого», Спиро пишет: «Разнообразие культур, с точки зрения этого нового подхода, представлено поистине Вавилонской башней голосов, каждый из которых предлагает случайный набор идей, кодируемых случайным же набором символов. Несοизмеримость культурных структур делает их невразумительными друг для друга и не поддающимися научному объяснению.

Отсюда у нас не может быть, например, межкультурной теории табу на инцест, так как «инцест» в разных культурах имеет разные значения; не может у нас быть и межкультурной теории религии, так как «религия» в разных культурах означает нечто весьма различное, и т. д.

Такой подход, на мой взгляд, неверен... Ибо если предпосылки этого нового подхода станут общепринятыми, можно будет настаивать — как уже и настаивают некоторые — на том, что, исходя из данных предпосылок, мы сможем сделать какое-то одно или же несколько из предлагаемых ниже заключений:

(1) Антрополог не в состоянии адекватно описывать, не говоря уже о том, чтобы объяснять, никакую культуру, отличную от его собственной.

(2) Описывать и понимать какую-то культуру адекватно может только антрополог, который в нее внедрил сам.

(3) Чтобы этот антрополог мог дать адекватное представление об идеях и установлениях данной культуры, сведения об этом должны быть изложены на принадлежащем ей языке, поскольку адекватного способа передачи понятийных систем одной культуры посредством понятий другой не существует... Любая культура обусловлена спецификой своего этноса» (Спиро 1984:345).

Вывод о том, что «любая наука обусловлена спецификой своего этноса», представляется Спиро нелепым и свидетельствует, таким образом, о нелепости указанных предпосылок. С моей точки зрения, защищая столь горячо универсализм, Спиро, частично по крайней мере, заблуждается, и его утверждение о том, что «сознание человека работает (или способно работать) везде и всюду одинаково» (с. 141), требует уточнений; а то, что он, в частности, представляет эмоции человека как нечто универсальное и относимое к «надкультурным признакам сознания рода человеческого» (с. 149), вступает в противоречие с последними эмпирически полученными данными (подробнее об этом см. Wierzbicka

1992a; см. также Goddard 1991; Lutz 1988; Myers 1986; Rosaldo 1980; и статьи в Wierzbicka, ed. 1990).

Но я, пожалуй, согласна с ним в том, что вывод об обусловленности любой науки ее этносом является излишним и нежелательным. Как и Спино, я полагаю, что старый лозунг о «духовном единстве человечества» несет в себе немало истины, и нам бы следовало его поддерживать, и что «надкультурные признаки человеческого рода» все-таки существуют и могут быть подтверждены документально. Задача состоит в том, чтобы установить, чем именно данные признаки являются и — что очень важно — какого рода языком мы можем пользоваться, пытаясь их определить (так, чтобы при этом мы не повернули вспять к англоязычным артефактам типа *self*, *emotion* или *mind*).

В таком же духе Хилл и Маннхайм высказываются о том, что они называют «все более тонким пониманием характера языковых явлений, способных стать универсальными аспектами психобиологии человека»: «Допуская вероятность наличия подобных универсалий, большинство антропологических исследований настаивает на том, что эпистемологические и методологические основы лингвистического исследования, посредством которого предполагаемые универсалии устанавливаются как таковые, должны быть подвергнуты тщательному рефлексивному анализу, поскольку — совсем по Уорфу — вполне возможно, что эти основы суть артефакты западных воззрений на язык» (Hill, Mannheim 1992:384).

Лексические универсалии

Гипотеза, которую я хочу предложить, состоит в следующем. В попытке выявить концептуальные универсалии и разработать язык, который может быть использован для сравнения культур без этноцентрической предвзятости, решающую роль можно отнести языковым и, в частности, лексическим универсалиям.

Последние исследования по межъязыковой семантике обнаруживают, что если одни из широко используемых в межкультурных исследованиях понятий являются сугубо западными, или же сугубо англоязычными, то другие распространяются на разные культуры в гораздо большей степени, а некоторые, по всей видимости, оказываются универсальными. Универсальные понятия обеспечивают куда более прочный фундамент для непредвзятого изучения культур чем те, которые замкнуты в одной культурно-языковой системе или

же в одном культурном ареале (например, северозападная Европа).

Под универсальными понятиями я подразумеваю те, которые универсально лексикализованы, т. е. во всех языках воплощены в словах. Говоря это, я не собираюсь отрицать наличие также и универсальных понятий, но воплощенных в словах. Но для того, чтобы описывать и сравнивать культуры, нам, во-первых, нужны слова, — бесплотные понятия здесь просто не годятся, и, во-вторых, слово дает осязаемое свидетельство существования понятия.

Если, например, кто-нибудь возьмется утверждать, что *self* может быть общим для всех людей понятием, которое лишь по воле случая лексически воплощено только в английском, а не в других языках мира, и потому разумно использовать его в качестве инструмента концептуального анализа языков и культур, то это не более, чем слегка завуалированная форма англоцентризма: ибо почему «общим для всех людей понятием» надлежит быть воплощенными скорее английским языком, чем языками ифалук, илонгот или пияньтяря?

Исследования последнего времени по межъязыковой семантике показывают, между прочим, что многие понятия, которые были особенно полезны при анализе различных культур (включая сюда и психологию этноса), оказываются лексически воплощенными во всех языках мира. Эти понятия могут образовать прочный фундамент для наших попыток построить непредвзятую, универсально значимую психологию культуры и позволят нам говорить о «духовном единстве человечества», несмотря на все громадное разнообразие его культур. Наличие универсальных понятий такого рода дает нам известные основания не отказывать сравнительной антропологии в способности решить ее «двойную задачу толкования различных культурных миров, охватывая при этом разнообразие человеческой культуры с помощью такого подхода, который способен представить их как значимые и доступные пониманию... и как, в то же время, сопоставимые со всеми иными» (Spino 1990:52)².

Self '«я»', person 'человек/личность' и I 'я'

Кондо ставит под вопрос универсальность не только понятия *self*, но и понятия *person*. Она пишет: «Являются ли термины *self* и *person* продуктами именно наших языковых и культурных условностей? Если процессы, протекающие «внутри» нас, осмысливаются под воздействием культуры,

при том, что само их существование опосредовано обусловленным культурой дискурсом, можем ли мы говорить о «внутренней, рефлексивной сущности» или о «внешнем, объективном мире» иначе, чем как о конструктах, чей смысл и специфика обуславливаются культурой?

Противопоставления «внутреннее — внешнее», «субъект — мир», остаются в антропологических исследованиях основополагающими со времени самого Мосса, который связывает эти представления с культурой и историей. За отправную точку в классической работе Мосса (Mauss 1938) принимается *la notion de personne* (франц. 'понятие личности') как *tout simplement et provisoirement* (франц. 'всего лишь предварительно принятая') аристотелевская категория, пример одной из фундаментальных категорий в мышлении человека» (Kondo 1990:34-35).

Кондо рассматривает подобное некритическое отношение к понятиям *person* и *self* как неправомерное и этноцентрическое. В то же время, однако, добытые за два последних десятилетия языковые данные показывают, что, если *self* и является в высшей степени культурно обусловленным образованием, то *person* таковым не является — то или иное слово со значением *person* или *someone* 'кто-то' присутствует во всех языках, что самым неопровержимым образом свидетельствует о существовании соответствующего понятия в том концептуальном универсуме, в котором участвуют говорящие на любом из имеющихся языков.

Поскольку во всех языках лексически различаются «кто-то» и «что-то», «кто» и «что» (об этом свидетельствуют полученные данные), представление о том, что понятие 'лицо (кто-то)' есть продукт западной культуры, является просто несостоятельным. Разумеется, в различных культурах это фундаментальное понятие конкретизируется различным образом и может гнездиться в этнически различных общенародных представлениях, однако как таковое оно присутствует всегда. Так, например, в японской культуре (являющейся предметом особого внимания в книге Кондо) это понятие кодируется словом *dareka* (оно не предполагает ни каких-либо социальных ролей, ни межличностных отношений, но семантически может быть соотнесено с английским словом *someone* 'кто-то'; подробнее см. Onishi 1994).

Подобно многим другим современным авторам, различие между понятиями *person* и *self* Кондо проводит не всегда, а порой она даже объединяет одно с другим: «Хотя то, что предвидел Мосс, подхватили и разрабатывали самыми разными способами, в большинстве антропологических исследований риторика понятий *the self* и *the person* остается не-

тронутой, и они представляются как «психологическое самосознание» и как «самопознание», что создает впечатление о референциальной устойчивости и единстве понятия *self*» (Kondo 1990:35).

Идея «психологического самосознания» и идея «самопознания», оставаясь значимыми для англоязычного понятия *self*, оказываются чуждыми универсальному понятию «личности» («кто-то»). Идея же «референциальной устойчивости» и «единства» для этого фундаментального понятия несомненно значимы. Теоретики, конечно, могут рассуждать о том, что — по каким бы то ни было причинам — «личность в собственном смысле может быть лучше осознана... не как подлинное и прочное ядро, а как совокупность и множество соучастий» (Perkins 1990, цитируется по Bruner 1990:107). Однако наличие во всех языках слов, означающих «кто-то» или «кто» (в той же мере подразумеваемыми «устойчивость», «единство» и «прочность», как и соответствующие английские слова), свидетельствует о том, что мир в наивной картине носителей языка населен «референциально устойчивыми» личностями с «единством» и «прочным ядром», а не просто совокупностями и множествами соучастий³.

Я вернусь к этому ниже, после того, как мы рассмотрим понятие *mind*. Но перед тем, однако, отметим общую тенденцию отождествлять *person* и *I*, как это сделал в одном случае Мосс (Mauss 1938), избрав для своей классической работы подзаголовок: *la notion de personne, celle de moi* (франц. 'понятие личности, понятие я').

В действительности *person* и *I* — это два разных понятия, которые (насколько нам известно) лексикализованы (каждое по отдельности) во всех языках мира. Стоит признать, что материал, свидетельствующий о наличии лексически воплощенного понятия 'я', не всегда поддается толкованию с легкостью; поверхностный же анализ данных может иногда привести к выводу, что в том или ином языке отсутствует слово для 'я' (то есть для 'я' в «чистом» виде, без каких либо добавочных семантических элементов); однако анализ строгий и тщательный, подобный тому, что мы находим в Diller 1994 или Durie, Daud, Hasan 1994, показывает, что даже в языках Юго-Восточной Азии, о которых писали часто как о не имеющих слов для понятия 'я' в «чистом», «незамутненном» виде, на самом деле такие слова есть.

Как это было блистательно «предугано» Гумбольдтом почти два столетия назад, когда еще не были доступны разнообразные эмпирические данные, и понятие 'я', и понятие 'ты' являются в полной мере фундаментальными для челове-

ческого познания и коммуникации, и не может быть такого человеческого языка, в котором не были бы представлены соответствующие слова.

Mind

Понятие mind 'сознание, ум, разум' укоренилось в психологии, философии и каждодневном дискурсе англоязычного мира настолько прочно, что его широко используют в качестве само собой разумеющейся отправной точки. В действительности, однако, понятие mind — в отличие от person или I — есть весьма специфический продукт английского языка, не имеющий эквивалентов в других языках мира. Так, например (о чем я уже писала подробнее в Wierzbicka 1989, 1992a), французским словом esprit или немецким geist переводят с английского и mind и spirit, и потому точными эквивалентами для mind считать их нельзя, а русское «ум» соответствует скорее слову reason, чем mind.

За пределами же Европы бывает еще труднее обнаружить для англ. mind что-нибудь похожее на семантические эквиваленты (ср., например, Diller, Juntamalaga 1990). Вся эта этническая модель личности, которая рассматривает каждую личность как состоящую из материального компонента — тела (body) и «интеллектуального» — mind, является отражением так называемого «картезианского дуализма», а также сосредоточенности на мысли (thinking) и знании (knowing), находящимися вне сферы чувств, духа или бессознательного.

Это не предполагает, тем не менее, что такие «ментальные предикаты», как 'думать' и 'знать' включены в модель личности только в «западной» или же англо-саксонской культуре. В тех же самых межъязыковых исследованиях, в которых показано, что понятие mind является в высшей степени культурно обусловленным, говорится также, что таковыми не являются понятия, соответствующие 'думать', 'знать', 'чувствовать' и 'хотеть', и что они, по всей вероятности, воплощены лексически во всех языках мира.

Брунер утверждает: «Очевидная предпосылка психологии нашего этноса состоит, например, в том, что у людей есть убеждения и желания: мы полагаем, что мы хотим чего-то, что что-то одно значит для нас больше, чем другое, и т. д. ... Личностное есть конституирующее понятие психологии нашего этноса само по себе» (Bruner 1990:39).

Данные, полученные в межъязыковых семантических исследованиях, говорят о том, что многое в представленной выше этнической модели («психология нашего собственного

этноса», ср. также D'Andrade 1987) на самом деле соответствует этнической модели, действующей в любой другой культуре мира: несмотря на весьма существенные различия в психологии разных этносов, описанные в литературе представления о 'личности', которая 'думает', 'хочет', 'чувствует' и 'знает' (равно как то или иное 'говорит' и 'делает'), оказываются универсальными. А тот факт, что у всех языков в наличии оказываются и слова для всех этих понятий (но не для 'полагать' или 'желать' в отличие от 'думать' и 'хотеть'), есть свидетельство универсальности данной модели.

Брунер пишет: «Существуют определенные классы значений, на которые люди настроены внутренним слухом и которые они активно ищут. На доязыковой стадии эти знания существуют в примитивной форме как протоязыковые представления о мире, полное же постижение его зависит от языка как орудия культуры... Короче, мы уже изначально обладаем, если и не «теорией» сознания (mind), то, во всяком случае, некоторым набором способностей к истолкованию социума специфическим образом и к действиям в соответствии с нашими толкованиями. Это равноценно утверждению о том, что мы появляемся на свет, обладая уже некоей психологией своего этноса в ее примитивной форме» (Bruner 1990: 72-73).

Я полагаю, что так оно и есть, и что данные о лексических универсалиях позволяют нам выделить определенный аспект этой врожденной рудиментарной формы психологии этноса. Существо этой психологии может быть связано с универсальными понятиями 'кто-то', 'думать', 'знать', 'хотеть' и 'чувствовать' (равно как и 'делать' и 'говорить')⁴.

У Клиффорда Герца (Geertz 1984:126) в его знаменитой формуле западного понятия личности говорится, что с западной точки зрения личность представляет собой «ограниченный, уникальный, более или менее целостный универсум мотивации и познания, динамический центр осознания, эмоций, суждений и действий, сформированный как нечто единое». Как свидетельствуют межъязыковые данные, модель личности, не столь уж отличная от предложенной в формуле Герца, оказывается присущей всем людям, она повсеместно удостоверяется такими лексикализованными понятиями, как 'кто-то', 'думать', 'знать', 'хотеть', 'делать' и 'говорить'; из них 'думать' можно соотнести приблизительно с «познанием» у Герца, 'знать' с «осознаванием», 'хотеть' с «мотивацией», 'чувствовать' с «эмоциями», а 'делать' с «действиями»; говорить' остается единственным универсальным компонентом личности, пропущенным в формуле Герца (сведение всех этих различных сторон личности в некое осязаемое целое обеспечивается, так сказать, самим универсаль-

но лексикализованным понятием 'личность' или 'кто-то', вполне способным выступать в качестве антецедента анафоры).

Говоря это, я не намереваюсь брать под сомнение уместность или значимость характеристики, данной Герцем тем глубоким различиям между «западной» (или «англо-саксонской») концепцией личности и всеми другими этническими обусловленными представлениями о ней, которые выявили антропологи (ср., например, Shweder, Bourne 1984; Johnson 1985; White, Kirkpatrick 1985). Не может быть, например, никаких сомнений в том, что в японской этнической теории, детально описанной в обширной литературе, делается гораздо меньший упор на уникальность и замкнутость личности как ощущаемого целого с устойчивой, индивидуализированной оболочкой и твердыми границами, чем это делается в англо-этнической теории (ср., например, Clancy 1986; Kondo 1990; Lebra 1974; Roland 1988; Smith 1983; Wierzbicka 1991b). Специфика японской концепции отражена, между прочим, в японском культурном лексиконе, в таких, например, понятиях, как *amae* (ср. Doi 1974; Wierzbicka 1991b), или *omoiyari* (ср. Travis 1992), или же в инвентаре и употреблении японских личных местоимений (ср., например, Kondo 1990; Suzuki 1986). Тем не менее, факт остается фактом — понятия 'кто-то', 'думать', 'знать', 'чувствовать', 'хотеть', 'делать' и 'говорить' лексикализованы также и в японском языке, чем подтверждается реальное присутствие универсальной этнической модели и в культуре японцев².

Но если понятие личности с сопутствующим ему набором «личностных» предикатов все-таки является универсальным, то таковым отнюдь нельзя считать понятие *mind*, и общепринятая практика описывать психологию различных этносов сквозь призму понятия *mind* оказывается, на мой взгляд, безуспешной (если только ее сознательно не применяют в качестве побуждающего к размышлению риторического приема). Так, например, когда Пэриш (Parish 1991) впервые представил центральное понятие неварской этнической психологии — *nuga*: — как «священный разум» (в заглавии самой работы), то этот первый шаг оказался, на мой взгляд, весьма эффективным средством привлечь внимание читателей к фундаментальному отличию неварской этнической психологии от англоязычной — отличию, сконцентрированному в данных двух понятиях (*mind* и *nuga*:). Когда же Пэриш в самом тексте этой, в общем и целом весьма penetrating, работы продолжает употреблять слово *mind* 'сознание' равно как и *heart* 'сердце', явно имея в виду *nuga*:, то такое употребление привносит сюда излишне англоцен-

трический ракурс. Формулировками типа «неварские понятия, связанные с сознанием»... (а не с личностью, что было бы вернее) или же «сакрализация и этизация сознания» в неварской культуре (с. 34) абсолютизируется англоэтническое понятие *mind*, они привносят сюда чужую (англоязычную) точку зрения, и эта чужая точка зрения приписывается порой самим неварцам, как, например, в высказываниях: «сознание у неварцев обретается в сердце, а не в голове» или «в неварской культуре добродетельное божество оживает сознание» (с. 316), тогда как на самом деле добродетельное божество оживает у неварцев не «сознание», а то, что они называют *nuga*:.

Поскольку *nuga*: есть не только «местопребывание познания, памяти и восприятия» (с. 317), но и «местоположение эмоционального опыта» (с. 317) и, более того, поскольку это прежде всего то место, в котором обитает и воодушевляет его нравственное божество, ясно, что данное ключевое понятие представляет «личность» в ракурсе, весьма отличном от даваемым английским словом *mind* и англоязычной противоположностью «сознания» и «тела» (на самом деле понятие *nuga*: оказывается гораздо ближе русскому «душа», чем английскому *mind*, хотя его нельзя отождествлять ни с тем, ни с другим).

Психолог Джордж Мандлер, цитируемый в работе Пэриша, утверждает, что этнически обусловленные понятия и их различия изображают психологические процессы в ложном свете и несущественны в «конечных описаниях структуры действительности» (Mandler 1975:8). Согласно Мандлеру, полагать, что «окончательная истина» может быть выведена «в ходе правильного исследования наших феноменальных «я» (*selves*) или в ходе правильного языкового анализа, есть не что иное, как возведение препятствий, а в худшем случае, — стен, что не дает нам играть в самую продуктивную для человека игру — науку» (с. 9). Но и Мандлер тоже невольно держится за те отличия и понятия, которые берутся из какого-то одного обычного языка (например: *mind* 'сознание/ум', *anxiety* 'страх/боязнь', *depression* 'подавленное состояние, депрессия', *guilt* 'вина' или *panic* 'паника/боязнь', подробнее см. Wierzbicka 1992b, c).

Бросают или же не бросают этнические представления «ложный в своей основе свет на психологические процессы», но психологической науке совершенно необходимо подобными представлениями заниматься, с той хотя бы целью, чтобы научиться распознавать те этнические представления, которые неотъемлемы от своей собственной культуры и от своей собственной традиции. Я бы добавила — для того,

чтобы «конечные описания» были в состоянии что-то объяснить, в них придется прибегнуть к таким общим для всех людей понятиям, как 'думать', 'знать', 'чувствовать' и 'хотеть', равно как и к основополагающему понятию 'кто-то'.

Как указывает Апре (Harre 1989), подчеркивая «необходимость подкреплять экспериментальную психологию лингвистическим анализом» (с. 20), «вездесущность языка делает его, даже и теперь, невидимым» (с. 23). Апре полагает, что «эксперимент обретает смысл, только когда диапазон исследуемых явлений картографируется при тщательном учете правил употребления соответствующей лексики», и что «явления, подлежащие изучению в психологических исследованиях, суть те, что соответствующая лексика отбирает, а ее употребление творит» (с. 20).

Понятие *mind* — хороший тому пример.

Emotion

Является ли *emotion* 'эмоция' общим для всех людей понятием? Многие ученые — психологи, антропологи, философы и т. д. — казалось бы, считают это чем-то само собой разумеющимся. У других, однако, здесь возникает сомнение. Так, например, Расселл (Russell 1991:444) пишет: «Если категории, связанные в английском языке с эмоциями, не являются универсальными, то у нас нет никакой гарантии, что названия *emotion*, *anger* 'гнев', *fear* 'страх' и т. д., обозначают некие универсальные категории, которые биологически обусловила природа. Они являются тогда скорее гипотезами, которые сформулировали наши языковые предки».

Что касается *anger* и *fear*, то теперь уже хорошо известно, что они не являются универсальными категориями, обусловленными природой. Так, например, было достаточно убедительно доказано, что понятия *liget* в языке илонгот, *song* в языке ифадук, *rika* в языке питьянтьятъяра или понятие *gniew* в польском языке нельзя приравнивать к понятию *anger* в английском (ср. Rosaldo 1980; Lutz 1988; Goddard 1991; Wierzbicka 1992a, 1992b). Таким же образом, понятие *gurakadj* в языке гиджингали, которое охватывает как сферу *fear*, так и сферу *shame* 'стыд' (ср. Wierzbicka 1986, 1992a), вряд ли можно приравнивать к английскому *fear* как таковому.

Но если такие понятия, как *anger*, *fear*, *happiness* 'счастье', или *disgust* 'отвращение' начинают все шире и шире рассматриваться как артефакты англо-саксонской культуры, то сама

мысль, что то же верно и для понятия *emotion* как такового, до сих пор способна вызвать скорее недоверие и даже шок.

И тем не менее, для подтверждения не надо ходить далеко, а можно обратиться к таким хорошо известным европейским языкам, как немецкий, французский и русский, чтобы найти в них соответствия английскому слову *feeling* (нем. *Gefühl*, фр. *sentiment* и русск. *чувство*), но не английскому слову *emotion*.

И действительно, еще в 1975 г. психолог Дж. Мандлер писал: «Где границы для теории эмоций? Каких обозначений обычного языка требуют для разъяснения эти референты? И, хуже того, существует ли потребность в подобной теории хотя бы у немцев, раз в немецком языке нет полноценного эквивалента для английского обозначения *emotion*?» (Mandler 1975: 10).

Но если понятие *emotion* есть понятие, обусловленное спецификой англо-саксонской культуры, становится совершенно ясно, что в качестве концептуального инструмента в психологии культуры (как и в любой другой) оно неприменимо.

Конечно же, я не хочу сказать, что обозначение *emotion* необходимо запретить, что такие журналы, как «*Cognition and Emotion*» необходимо переименовать, а «Международное общество по изучению эмоций» — распустить. *Emotion* является нужным для английского языка словом, и отказывается от него в англоязычном дискурсе, включая академический, нет никаких оснований. Нужно, однако, отдавать себе отчет в сложности и культурно обусловленной специфике данного понятия и не использовать его как нечто само собой разумеющееся в качестве вполне приемлемого орудия при исследовании иной культуры и психологии иного этноса.

Следует, помимо того, признать, что если *emotion* остается понятием, обусловленным спецификой англо-саксонской культуры, то 'чувство' (или 'чувствовать') относится, по всей вероятности, к концептуальным и лексическим универсалиям, на которых может надежно строиться культурологическая психология.

Говоря это, я не пытаюсь «свести» эмоции к чувствам или же отрицать наличие существенной связи между чувствами личности, с одной стороны, и взаимодействием людей, — с другой. Ясно, что такие понятия, как 'стыд', 'негодование' или 'унижение' обладают социальной значимостью, и если в англоязычной лексике чувства связываются иногда с социальной и моральной озабоченностью, в лексике многих незападных языков это имеет, по-видимому, место в гораздо большем масштабе (ср., например, Geertz 1974; Lutz 1988;

Myers 1986; Rosaldo 1980; White 1990). Тем не менее, следует признать, что универсальные строительные блоки понятий, которые мы можем надежно использовать при сопоставлении культур, включают в себя понятие 'чувствовать' (вместе с 'хотеть', 'думать', 'знать', 'говорить' и 'делать') и не включают понятия 'эмоция' (или 'намерение', 'побуждение', 'сознание/ум', 'информация', 'я/самость', 'разум' и т. д.).

В набор универсальных понятийных кирпичиков понятий в обязательном порядке входят также понятие *people* 'люди', равно как понятия 'хороший' и 'плохой', и это все, что требуется для построения составных понятий, сочетающих 'чувство' с социальной и моральной озабоченностью (посредством ссылок на то, о чем 'люди говорят, что это хорошо' и о чем 'люди говорят, что это плохо', подробнее см. Wierzbicka 1992a).

Лутц пишет: «Внутренние ощущения выступают, по общему мнению, в качестве первичных референтов слов, обозначающих эмоции в западном мышлении, как в общественно-научном, так и в повседневном... Изучение того, как используются слова для обозначения эмоций у нескольких народностей Океании..., обнаруживает противоположный подход к эмоции. В этих сообществах слова, обозначающие эмоции, рассматриваются скорее как сообщения о связи лица и события (в особенности затрагивающего другое лицо), чем сообщение об интроспекции своих собственных состояний» (Lutz 1982:113).

Рассел так комментирует это высказывание: «Для меня данное заявление означает, что, например, слово *song* в языке ифалук, которое обычно переводят как *гнев*, имеет в виду... не внутреннее состояние разгневанного, а нечто внешнее. Здесь можно спросить: во-первых, совпадает ли это утверждение Лутц с ее же собственными этнографическими данными. Ранее Лутц (Lutz 1980) показала, что *song* соотносится с *niferash*, что она переводит, как *наши внутренности*. А во-вторых, встает и концептуально спорный вопрос — каким образом слово любого языка, которое не имеет в виду внутреннего состояния, можно считать словом, обозначающим эмоцию» (Russell 1991:445).

Я думаю, что Расселл прав. Во-первых, слово, не подразумевающее внутреннего состояния, нельзя считать словом, обозначающим эмоцию. Во-вторых, такие слова в языке ифалук, как *song*, подразумевают-таки (по данным Лутц) *niferash*, а *niferash* (тоже по данным Лутц) означает: (1) наши внутренности и (2) чувствовать. Конечно, и Лутц права, когда она подчеркивает значимость социальных и моральных аспектов таких понятий, как *song*, но это ведь вполне соот-

ветствует тому, что 'чувствовать' (в большей степени, чем 'эмоция') образует общее для всех людей понятие и что люди во всех уголках земли (в том числе и на атолле Ифалук) связывают в системах своего языка и своей культуры 'чувства' с представлениями о том, что они говорят и делают и что они рассматривают как 'хорошее' или же как 'плохое', личность и общество.

Наряду с понятиями 'личность' и 'я' (*self*) Кондо подвергает сомнению еще одно ключевое понятие — *society* 'общество'; в частности, она относится критически к утверждению, будто разграничение 'личности' и 'общества' является действующим повсеместно. Приводя, например, цитату из вступительной статьи Уайта и Киркпатрика в их ценной антологии: «Мы надеемся узнать, на каких основаниях может быть воздвигнуто в разных культурах личностное» (White, Kirkpatrick 1985: 9), Кондо отмечает: «Обратите внимание на то, что категории «личный» и «социальный» приобретают здесь относительный характер, но сами категории остаются... Наконец, обращение к основаниям личностного мешает критически отнестись к личности как таковой, сохраняя ее как фундаментальную человеческую сущность, которая может разниться в деталях ее определений, но продолжает быть краеугольным камнем дискурса в каждой культуре. Категории «личного» и «социального» расширяются, но сами термины, в результате, прочно занимают свои места» (Kondo 1990: 38).

Межъязыковые данные показывают, однако, что в действительности краеугольным камнем в дискурсе каждой культуры является, пожалуй, наряду с понятием 'кто-то' понятие 'люди'. Решающим в данной области эмпирическим свидетельством оказалось то, что во всех языках есть, по видимому, слова для понятия 'люди' и что это повсеместно обнаруживаемое понятие нельзя свести к простому множеству человеческих индивидов. Ссылки на то, что 'люди говорят' или что 'люди делают', играют важную роль в дискурсе во всех культурах и указывают на обоснованность предшествующего теоретизированию интуитивного знания о том, что понятие 'люди' действительно является фундаментальным в концептуализации человека мира и своего в нем существования.

Рассмотрим в качестве примера английское слово *people*. Можно не сомневаться, это слово не соответствует в точности терминологизированному понятию 'общество', но его основная направленность явно социальная, а не индивидуальная. Характерно, что у этого слова нет формы единственного числа (то есть формы, которая могла бы обозначать

человека как индивида), и чтобы представить выделяемого из категории *people* индивида, приходится прибегать к искусственному, в определенной степени, выражению *human being* 'человеческое существо'⁶.

Аналогичным же образом значение японского слова *hito*, взятого без определенных обычно воспринимаемых скорее как *people*, чем как 'отдельно взятый человек' (ср. Onishi 1994). В других языках, например, в русском и немецком, есть слово для обозначения отдельно взятого человека (русск. *человек*, нем. *Mensch*), но есть и неродственные им слова, соответствующие *people* (русск. *люди*, нем. *Leute*), и явления подобного рода, как выясняется, весьма широко распространены (ср. Goddard, Wierzbicka 1994).

В некоторых других языках слова для обозначения *people* и *someone* 'кто-то' связаны морфологически, и может показаться, что эти два понятия объединены, но при более тонком анализе часто выявляется некоторое семантическое различие между формой множественного числа, указывающей на *people*, и формой единственного, указывающей на *someone* (в значении человек или дух).

Таким образом, понятие *people* как социальная категория утвердилось, по всей видимости, в качестве неотъемлемого компонента концептуализации человеком мира.

К. Герц сопроводил свое знаменитое описание «западной концепции личности» следующей фразой (которая, как отмечается в Shweder, Sullivan 1990 цитируется весьма редко): «Но, во всяком случае, хоть какое-то представление о том, что являет собой человеческий индивид по сравнению со скалой, зверем, грозой или божеством, оказывается, насколько я могу судить, универсальным» (Geertz 1984:126).

Языковые данные подтверждают эту точку зрения в той степени, в какой понятие *people* является засвидетельствованным повсеместно. Интересно отметить, однако, что универсально лексикализованным оказывается все-таки не понятие 'человеческое существо', а понятие 'люди' и что последнее является, вероятно, более существенным и более специфичным, чем первое (как было указано выше, понятие 'индивид' в значении 'кто-то', в отличие от 'что-то' также засвидетельствовано повсеместно, относится необязательно к человеку).

'Личности', сформированные культурой

Согласно Швидеру (Shweder 1990:25) «цель психологии культуры состоит в том, чтобы ликвидировать разрыв между «духом» и «культурой», рассуждая о них по-новому». Я полагаю,

что в целях ликвидации этого разрыва между «духом» и «культурой» рассуждать о них по-новому в одном из случаев можно в терминах «культурно обусловленных сценариев».

Однако прежде чем пояснить, что такое «культурно обусловленные сценарии», я хотя бы бегло упомяну о двух лингвистически ориентированных методах «ликвидации разрыва между духом и культурой», которые, не будучи вполне новыми, только недавно начали применяться строго и систематически. Эти два метода — семантический анализ специфического для данной культуры «психологического» лексикона и семантический анализ специфических для данной культуры аспектов грамматики.

Так, например, решающее значение для дела «ликвидации разрыва между духом и культурой Японии» имеют такие ключевые психологические понятия, как *amae* или *enryo* (ср. Doi 1974; Wierzbicka 1991b). А русские ключевые понятия «душа» или «тоска» столь же значимы для психологии русской культуры (ср. Wierzbicka 1990, 1992a).

Так же значима для психологии русской культуры и богатая система словообразования, которой располагает русский язык для формирования широкого диапазона межличностных отношений и выражения чувств посредством экспрессивных манипуляций с именами собственными (например, *Катя, Капюша, Катенька, Катька, Катик, Катенок*); или же диапазон грамматических конструкций, позволяющих носителям русского языка (и, более того, подстрекающих их) различать «активные» (произвольные) и «пассивные» (непроизвольные) эмоции (подробнее см. Wierzbicka 1992a).

В настоящей статье, однако, я не буду далее рассматривать два эти метода «ликвидации разрыва между духом и культурой», а уделю больше места другому — а именно, появившейся лишь недавно и менее известной теории «культурно обусловленных сценариев». Вкратце «культурно обусловленные сценарии» — это краткие предложения или небольшие последовательности предложений, посредством которых делается попытка уловить негласные нормы культуры какого-то сообщества «с точки зрения их носителя» и одновременно представить эти нормы в терминах общих для всех людей понятий.

В частности, в «культурно обусловленных сценариях» выражаются такие негласные правила, которые говорят нам, как быть личностью среди других личностей, т. е. как думать, как чувствовать, как хотеть (и как действовать согласно своему хотению), как добывать или передавать знания и, что важнее всего, как говорить с другими людьми. Правила подобного рода обычно являются для данной культуры спе-

цифическими (в большей или меньшей степени); поскольку, однако, они могут быть сформулированы на «естественном семантическом метаязыке», они сопоставимы и доступны пониманию в контекстах разных культур. Из экономии места я проиллюстрирую эту идею всего лишь несколькими сценариями, сводя рассмотрение их к минимуму⁷.

Сценарии чувств

Наиболее ярким примером культурно-специфических «сценариев чувств» служат «сценарии китайской сдержанности». В качестве иллюстрации я приведу один из рассказов о китайских обычаях:

«Жил давным давно один почтенный старик, который разводил прекрасных лошадей. Как-то раз у него бесследно исчез призовой жеребец. Когда об этом узнали в округе, многие из его друзей пришли к нему выразить по-соседски свое сочувствие. К великому их изумлению, старика пропаша, по всей видимости, никак не беспокоила. Когда же его спросили о причине такого безразличия, он многозначительно сказал: «Пропаша моего жеребца еще не означает, что потом не последует какого-либо возмещения». Удивительно, но несколько месяцев спустя жеребец вдруг появился снова, а вместе с ним и красавица-кобыла — ценное пополнение для прекрасной конюшни. Теперь друзья пришли уже поздравить старика с удачей. И снова они нашли, что он взволнован меньше, чем можно было бы ожидать. «Это еще не значит, что следом не произойдет какой-нибудь беды» — были его слова. А тем временем красавица-кобыла стала любимой верховой лошастью его единственного сына. Однажды, когда тот ехал на ней верхом, его выбросило из седла, и он сломал себе ногу. Ходить нормально он уже больше не мог. Старик отнесся к этому вполне оптимистически. «Хоть это и был несчастный случай, но все же и не смертельный. Может быть, он приведет в конце концов к чему-то хорошему» — таковы были его слова на этот раз. Прошел еще год, и на их сторону напало соседнее государство. Была объявлена война. От общего призыва в армию сына старика освободили из-за его хромоты. На той войне убили многих» (из Lai 1960:104-105, цитируется по Bond 1992:4).

Бонд так комментирует эту историю: «Рассказ учит отрешенности от превратностей жизни и тому, насколько важна широкая временная перспектива в оценке того или иного события. Это классический пример китайского кредо — уме-

ренности (следования средним путем) — в применении к своей личной и общественной жизни» (Bond 1992:5).

Но такими словами, как «отрешенность» и «умеренность» отдать должное китайским нормам не удастся. Это — «западные слова» (ср. Оно 1976:26), они не передают точку зрения китайца с точностью. К примеру, слово «отрешенность» тесно связано с христианской традицией, укоренившейся в классических западных словах, как это имеет место в «Подражании Христу» Св. Фомы Кемпийского. Само собой разумеется, что эта традиция весьма отлична по содержанию и духу от китайского «среднего пути». Чтобы обрисовать обсуждаемые китайские нормы более точно, я могу предложить следующие культурно обусловленные сценарии (составленные из лексических универсалий):

Китайский сценарий

когда что-то плохое случается со мной,
хорошо думать что-то вроде:
«что-то хорошее может случиться со мной из-за этого (после этого)»
если я буду думать что-то вроде этого,
я не буду чувствовать что-то очень плохое
это хорошо
когда что-то хорошее случается со мной,
хорошо думать что-то вроде:
«что-то плохое может случиться со мной благодаря этому (после этого случая)»
если я буду думать что-то вроде этого,
я не буду чувствовать что-то очень хорошее
это хорошо.

Представление о том, что не следует позволять себе чувствовать 'что-то очень плохое' или же 'что-то очень хорошее', подтверждается и другими данными, например, следующим фрагментом из «Классического труда по внутренним болезням Желтого императора» (также цитируется по Bond 1992: 18-19):

Чувства радости и гнева
губительны для духа;
холод и жара губительны для тела,
при несдержанности в радости и гневе
холод и жара превосходят всякую меру,
и жизнь перестает быть безопасной.
Уделять внимание Инь и Ян следует
в равной степени.

Это можно записать в форме следующего сценария:

если кто-то часто чувствует что-то очень плохое,
это плохо для данного лица
если кто-то часто чувствует что-то очень хорошее,
это плохо для данного лица.

Сценарии подобного рода совпадают с имеющимися данными о том, что «в действительности китайцы говорят о переживаемых ими эмоциях с меньшим пылом и короче, чем представители многих других культурных групп» (Bond 1992: 22).

Хорошим примером англо-американского «сценария чувств» может послужить сценарий «чувствовать что-то хорошее» (ср. Burns 1980; Kitayama, Markus 1992; Wierzbicka 1994):

хорошо чувствовать что-то хорошее все время.

Как указывают Китаёма и Маркус, сценарий подобного рода чужд культуре японцев, где ожидается, что человеку часто приходится «чувствовать что-то плохое» и что следует высказать это ради социальной гармонии и хороших социальных отношений.

Сценарии того, как думать

Одним из самых характерных англо-американских «правил мышления», о котором много говорят, является постулат «позитивного мышления». Это правило можно сформулировать следующим образом (ср. Peale 1953):

хорошо часто думать что-то вроде:
я могу сделать что-то (очень) хорошее.

Еще одно англо-американское правило, которое я приведу здесь, можно назвать правилом «уверенности в себе» (ср., например, Bellah et al. 1985; Stewart 1972):

плохо часто думать что-то вроде:
кто-то другой сделает для меня хорошее
мне не надо ничего делать
хорошо часто думать что-то вроде:
если я хочу, чтобы со мной случилось что-то хорошее,
мне надо делать что-то для этого
я могу это делать.

Сценарии того, как хотеть

Англо-американская культура поощряет своих носителей говорить о том, чего ты хочешь сам и давать другим людям право выбора. Это может быть представлено следующим образом:

каждый может говорить другим людям что-то вроде:
я хочу этого, я не хочу этого
так говорить хорошо
хорошо говорить другим людям что-то вроде:
я хочу знать, что ты хочешь.

Японская культура, наоборот, настаивает на почти диаметрально противоположных сценариях (ср. Mizutani, Mizutani 1987; Wierzbicka 1991b):

я не могу говорить другим людям что-то вроде:
я хочу этого, я не хочу этого.

Не поощряются в японской культуре и вопросы к другим людям о том, чего они хотят. Вам, скорее, приходится угадывать потребности других и стараться удовлетворять их, не заставляя других людей говорить что бы то ни было (принцип *omoiyari*; ср. Clancy 1986; Lebra 1976; Travis 1992):

я не могу сказать другим людям что-то вроде:
я хочу знать, что ты хочешь
хорошо знать, что другие люди хотят (и думают, и чувствуют)
когда они ничего не говорят.

Сценарии того, как говорить что-либо

Англо-американская культура поощряет ее носителей отзываться с похвалой о других людях, чтобы получать от них положительную ответную реакцию и поднимать их в их собственных глазах (ср., например, Kitayama, Markus 1992; Stigler, Perry 1990).

Это можно представить следующим образом:

хорошо часто говорить другим людям что-то вроде:
ты сделал (делаешь) что-то (очень) хорошее.

В японской культуре, наоборот, похвала в лицо не поощряется (ср. Honna, Hoffer 1989; Mizutani, Mizutani 1987):

нехорошо говорить другим людям что-то вроде:
ты сделал что-то хорошее.

С другой стороны, в японской культуре вполне поощряется говорить о себе «плохие вещи» по такому принципу (ср. Coulmas 1981; Lebra 1974):

хорошо часто говорить другим людям что-то вроде:
я сделал что-то плохое
я чувствую что-то плохое благодаря этому.

Множить примеры можно до бесконечности, но уже и те, что были приведены здесь, в достаточной степени иллюстрируют (если и не подтверждают адекватным образом) заявление о том, что культурно обусловленные сценарии могут рассматриваться в качестве места, где встречаются «культура» и «дух», и что, будучи обусловлены спецификой культуры, они и переводимы и сопоставимы в диапазоне различных культур.

Заключение

Швидер (Shweder 1984a: 60) пишет: «сопоставляя наши идеи с идеями других, мы всегда сможем обнаружить, что в каких-то отношениях наши идеи похожи на идеи других (универсализм), а в каких-то отношениях они различаются». Здесь важно добавить, однако, что мы не можем даже приступать к сопоставлению наших идей с идеями других, пока у нас не будет какой-то единой меры, способной обеспечить необходимый «tertium comparationis» ('третье в сравнении', то есть то общее двух сравниваемых предметов, которое служит основанием для сравнения).

Арре (Arré 1989:60) утверждает, что «задача психологии (даже не «психологии культуры», а просто «психологии» — А.В.) состоит в том, чтобы обнажить систему наших норм и затем огромное разнообразие систем сопоставлять и противопоставлять». И опять-таки, имеющему смысл сопоставлению необходима общая мера, то есть tertium comparationis.

Если «цель психологии культуры состоит в том, чтобы разработать концепцию психологического плюрализма или психологии групповых различий, что можно охарактеризовать как «универсализм без единообразия» (Shweder, Sulli-

van 1990, с. 38), то для такой теории требуется концептуальный аппарат, способный представлять как универсальные, так и специфические для данной культуры аспекты концептуализации мира.

Нарождающаяся наука — психология культуры — требует прочных концептуальных основ. Я считаю, что такие основы могут быть обеспечены, в какой-то своей части, общими для всех людей понятиями, которые лексикализировались во всех языках мира и в терминах которых все комплексные и специфические для данной культуры значения могут быть установлены с тем, чтобы затем использовать их в различных сопоставлениях.

Конечно же, предлагая набор общих для всех людей понятий (выведенный на основе языковых данных) в качестве возможных концептуальных основ для психологии культуры, я не собираюсь произвести акцию лингвистического империализма. Очевидно, что есть место и многочисленным разным моделям, и многочисленным разным точкам зрения. Но, как это ясно видели Боас, Сепир и Уорф (среди прочих), языковые данные обладают совершенно особой значимостью для попыток пролить свет на категории мышления «как в специфическом для отдельной культуры, так и во всеобщем смысле» (Hill, Mannheim 1992:385). Пришло время, когда эти данные должны, наконец, удостоиться того внимания, как-то они заслуживают.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Я использую как отправную точку книгу Кондо и неоднократно ее цитирую в настоящей статье, поскольку нахожу ее эталонным источником, но не выношу здесь никаких оценочных суждений.

² Поиск общих для всех людей понятий предполагает наличие хорошо продуманных теоретических оснований и скрупулезной методики. Данные о концептуальных универсалиях, которые составляют предмет настоящей статьи, есть результат эмпирических исследований, выполненных рядом ученых в рамках теории семантических примитивов, о чем подробнее см. Wierzbicka 1991a, 1991c, 1992a, 1992d; см. также Goddard, Wierzbicka 1994. Из экономии места ни сама теория, ни методика этих исследований здесь не обсуждаются, интересующийся читатель прочтет об этом в указанных работах (см. также прим.7).

³ Ср. утверждение Левина о том, что «во всех культурах существует понимание self как чего-то непрерывно существующего во времени и как, в некотором смысле, одной и той же личности» (Shweder 1984b:14). Швидер и Салливан так комментируют это утверждение: «Во всех других словах, хотя границы между внешним и внутренним могут варьироваться в охвате и по проницаемости среди культурных сообществ, понятие индивидуализированной личности, или self, является широко распространенным» (Shweder, Sullivan 1990, с. 3). Допустив, что словосочетание «person or self» можно заменить просто

словом person, я бы даже выразилась сильнее — не только «широко распространенными», но и, по всей видимости, универсальными.

4 Лутц (Lutz 1985, 1988) утверждает, что в микронезийском языке ифалук 'думать' и 'чувствовать' лексически не различаются, и оба эти понятия покрываются одним и тем же словом *lupiwap*. В действительности же, однако, приведенный ею материал полностью соответствует гипотезе о том, что *lupiwap* означает скорее 'думать' (а не 'думать/чувствовать'), тогда как понятие 'чувствовать' лексикализуется другим словом, *liferash*, которое Лутц толкует как 'наши внутренности'. Так, например, на что указывает сама Лутц, чтобы сказать 'я себя чувствую хорошо' или 'я себя чувствую плохо', употребляют слово *liferash* в сочетании с предикатами, соответствующими «хорошо» или «плохо» (ср. Wierzbicka 1992a). В последних межязыковых исследованиях показано, что во многих языках слово для передачи 'чувствовать' бывает омофоном слова 'желудок', 'живот' или 'внутренности' (ср., например, Goddard 1994, Evans 1994). Иногда утверждают, что в том или ином языке нет слова для 'хотеть', но при более пристальном рассмотрении и это тоже оказывается несостоятельным.

5 Излагая свои впечатления о Японии в терминах таких понятий, как «скользящая шкала self и всего остального» и «проницаемость selves», Кондо пишет: «Мне никогда не давали быть самостоятельным, свободным в поступках индивидуумом. Как жителя своего квартала, как друга, коллегу, преподавателя, знакомую, «квази-дочь». Так определяли мои обязанности по отношению к другим и связь с ними. Я была «всегда уже» в сетях таких взаимоотношений, в которых ласковая забота неотделима от власти, где взаимоотношения определяли тебя, а тебе давали возможность определять других. Момент прозрения, когда я осознала, что всякое «личное я» (personal self) равно ничего и не значит вне обязанностей перед обществом, стал самым красноречивым за время моего пребывания там, хотя это была лишь кристаллизация тех мотивов, которые составляли уже существенную часть моего жизненного уклада. Но такие «я» (selves) разыгрываются каждый день — каждый раз, когда японцы говорят по-японски» (Kondo 1990:26).

Достоверность исходящих от Кондо свидетельств не может быть оспорена. Важно, однако, отдавать себе отчет в том, что подобного рода свидетельства вполне совместимы с данными о наличии все же в японском языке слова для «ограниченной» и «целостной» личности ('кто-то'), а именно — *dareka* и что это слово тоже является убедительным свидетельством существования в японской культуре понятия 'кто-то'.

6 В отличие от слова *people* (и его эквивалентов в других языках), такие слова, как 'кто-то' или 'кто' относятся не только к человеку, но и к существам иного рода (то есть к различным сверхъестественным существам). Можно ли английское слово *person* отнести подобным же образом к существам, не принадлежащим к роду человеческому, остается под вопросом.

7 «Естественный семантический метаязык», используемый в настоящей статье (и в других работах автора, таких, как Wierzbicka 1987, 1988, 1991a, 1991b, и 1992a), является результатом эмпирических исследований широкого диапазона языков, проводимых в большом объеме в течение более двух десятилетий автором и ее коллегами. На основе этих разысканий был установлен предварительный набор лексических универсалий (см. Goddard, Wierzbicka 1994) и разработан универсальный метаязык. Поскольку этот лексикографический метаязык вырабатывается из естественного языка и его можно понять через естественный язык, он и был назван «естественным семантическим метаязыком». Самый последний вариант лексикона этого метаязыка, к которому пришли методом проб и ошибок на основе двадцатилетних межязыковых лексикографических исследований, включает в себя следующие элементы:

(субстантивы) я, ты, кто-то, что-то, люди
(детерминаторы, квантификаторы) этот, тот же, другой, один, два, много, все/весь
(ментальные предикаты) знать, хотеть, думать, чувствовать, говорить
(действия, события) делать, происходить/случаться
(оценки) хороший, плохой
(дескрипторы) большой, маленький
(интенсификатор) очень
(метапредикаты) мочь, если, потому что/из-за, не/нет (отрицание), подобный/как
(время и место) когда, где, после, до/раньше, под, над
(таксономия, партономия) вид/разновидность чего-либо, часть чего-либо.

У этих элементов есть свой собственный, независимый от языкового, синтаксис. Например, подобные глаголу элементы 'думать', 'знать', 'говорить', 'чувствовать' и 'хотеть' сочетаются с «номинативными» персональными элементами 'я', 'ты', 'кто-то' и получают сложные пропозиционноподобные добавления (такие, как «я думаю: ты сделал нечто плохое») (подробнее см. Wierzbicka 1991c).

БИБЛИОГРАФИЯ

- Bellah, Robert N. et al. 1985. *Habits of the heart*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Bond, Michael Harris. 1992. Finding the middle way; The role of emotions in Chinese life. Paper presented at the International Conference on Emotion and Culture, University of Oregon, June 10-14, 1992.
- Bruner, Jerome S. 1990. *Acts of meaning*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Burns, David D. 1980. *Feeling good: The new mood therapy*. New York: Avon Books.
- Clancy, Patricia. 1986. The acquisition of communicative style in Japanese. In: *Language socialization across cultures*. B.B.Schiffelin and E.Ochs, eds. P.213-250. Cambridge: Cambridge University Press.
- Coulmas, Florian. 1981. Poison to your soul: Thanks and apologies contrastively viewed. In: *Conversational routine*. F.Coulmas, ed. P.69-91. The Hague: Mouton.
- D'Andrade, Roy G. 1987. A folk model of the mind. In: *Cultural models in language and thought*. D.Holland and N.Quinn, eds. P.112-150. Cambridge: Cambridge University Press.
- Diller, Anthony 1994. Thai. In: *Semantic and lexical universals*. C.Goddard and A.Wierzbicka, eds. Amsterdam: John Benjamins. P. 149-170.
- Diller, Anthony, Juntanamalaga Preecha. 1990. «Full hearts» and empty pronouns in Thai. *Australian Journal of Linguistics* 10: 231-255.
- Doi, Takeo. 1974. *Amac: A key concepts for understanding Japanese personality structure*. In: *Japanese culture and behavior*. T.S.Lebra and W.P.Lebra, eds. P.145-154. Honolulu, HI: University of Hawaii Press.
- Durie, Mark; Daud, Bukhari; Hasan, Mawardi. 1994. Acehese. In: *Semantic and lexical universals*. C.Goddard and A.Wierzbicka, eds. Amsterdam: John Benjamins. P. 171-201.
- Evans, Nicholas. 1994. Kayardild. In: *Semantic and lexical universals*. C.Goddard and A.Wierzbicka, eds. Amsterdam: John Benjamins. P. 203-228.
- Geertz, Clifford. 1984. «From the native's point of view»: On the nature of anthropological understanding. In: *Culture theory: Essays on mind, self, and emotion*. R.A.Shweder and R.A.LeVine, eds. P.123-136. Cambridge: Cambridge University Press.

- Geertz, Hildred. 1974.** The vocabulary of emotion: A study of Javanese socialization processes. In: Culture and personality: Contemporary readings. R.A.LeVine, ed. P.249-264. Chicago: Aldine.
- Goddard, Cliff. 1991.** Anger in the Western Desert: A case study in the cross-cultural semantics of emotion. *Man* (n.s.) 26: 265-279.
- Goddard, Cliff. 1994.** Lexical primitives in Yankunytjatjara. In: Semantic and lexical universals. C.Goddard and A.Wierzbicka, eds. Amsterdam: John Benjamins. P. 229-262.
- Goddard, Cliff; Wierzbicka, Anna, eds. 1994.** Semantic and lexical universals. Amsterdam: John Benjamins.
- Harré, Rom. 1989.** Language games and texts of identity. In: Texts of identity. J.Shotter and K.J.Gergen, eds. P.20-35. London: Sage.
- Hill, Jane; Mannheim, Bruce. 1992.** Language and world view. *Annual Reviews of Anthropology* 21: 381-406.
- Honna, Nobuyuki; Hoffer, Bates, eds. 1989.** An English dictionary of Japanese ways of thinking. N.p.: Yukikaku.
- Johnson, Frank. 1985.** The Western concept of self. In: Culture and self: Asian and Western perspectives. A.Marsella, G.DeVos and F.Hsu, eds. P.91-138. New York: Tavistock.
- Kitayama, Shinobu; Markus, Hazel Rose. 1992.** Construal of the self as cultural frame: Implications for internationalizing psychology. Paper presented at the Internationalization and Higher Education Symposium, University of Michigan, May 6-8, 1992.
- Kondo, Dorinne K. 1990.** Crafting selves: Power, gender, and discourses of identity in a Japanese workplace. Chicago: University of Chicago Press.
- Lebra, Takie S. 1974.** Reciprocity and the asymmetric principle: An analytical reappraisal of the Japanese concept of ON. In: In: Japanese culture and behavior. T.S.Lebra and W.P.LeBra, eds. P.192-207. Honolulu, HI: University of Hawaii Press.
- Lebra, Takie S. 1976.** Japanese patterns of behavior. Honolulu, HI: University of Hawaii Press.
- Lutz, Catherine. 1980.** Emotion words and emotional development on Ifaluk atoll. Ph.D. Thesis, Harvard University, Cambridge, MA.
- Lutz, Catherine. 1982.** The domain of emotion words on Ifaluk. *American Ethnologist* 9: 113-128.
- Lutz, Catherine. 1985.** Ethnopsychology compared to what? Explaining behavior and consciousness among the Ifaluk. In: Person, self, and experience: Exploring Pacific ethnopsychologies. G.M.White and J.Kirkpatrick, eds. P.35-79. Berkeley, CA: University of California Press.
- Lutz, Catherine. 1988.** Unnatural emotions: Everyday sentiments on a Micronesian atoll and their challenge to Western theory. Chicago: University of Chicago Press.
- Mandler, George. 1975.** *Mind and emotion*. New York: John Wiley.
- Mauss, Marcel. 1938.** Une catégorie de l'esprit humain: La notion de personne, celle de «moi». *Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 68: 263-281.
- Mizutani, Osamu; Mizutani, Nobuko. 1987.** How to be polite in Japanese. Tokyo: The Japan Times.
- Myers, Fred R. 1986.** Pintupi country, Pintupi self: Sentiment, place, and politics among Western Desert aborigines. Washington, DC: Smithsonian.
- Onishi, Masayuki. 1994.** Semantic primitives in Japanese. In: Semantic and lexical universals. C.Goddard and A.Wierzbicka, eds. Amsterdam: John Benjamins. P. 361-385.
- Ono, Setsuko. 1976.** Fragile blossom, fragile superpower — a new interpretation? *Japanese Quarterly* 23: 12-27.
- Parish, Steven M. 1991.** The sacred mind: Newar cultural representations of mental life and the production of moral consciousness. *Ethos* 19: 313-351.
- Peale, Norman V. 1953.** The power of positive thinking. Kingswood, UK: World's Work.
- Perkins, David. 1990.** Person plus. Paper presented at the Symposium on Distributed Learning at the A.E.R.A., Boston, MA.
- Roland, Alan. 1988.** In search of self in India and Japan: Toward a cross-cultural psychology. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rosaldo, Michelle Z. 1980.** Knowledge and passion: Ilongot notions of self and social life. Cambridge: Cambridge University Press.
- Russell, James A. 1991.** Culture and the categorization of emotions. *Psychological Bulletin* 110(3): 426-450.
- Shweder, Richard A. 1984a.** Anthropology's romantic rebellion against the enlightenment, or There's more to thinking than reason and evidence. In: Culture theory: Essays on mind, self, and emotion. R.A.Shweder and R.A.LeVine, eds. P.23-66. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shweder, Richard A. 1984b.** Preview: A colloquy of culture theorists. In: Culture theory: Essays on mind, self, and emotion. R.A.Shweder and R.A.LeVine, eds. P.1-24. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shweder, Richard A. 1990.** Cultural psychology — What is it? In: Cultural Psychology: Essays on comparative human development. J.W.Stigler, R.A.Shweder and G.Herd, eds. P.1-43. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shweder, Richard A.; Bourne, Edmund J. 1984.** Does the concept of the person vary cross-culturally? In: Culture theory: Essays on mind, self, and emotion. R.A.Shweder and R.A.LeVine, eds. P.158-199. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shweder, Richard A.; Sullivan Maria A. 1990.** The semiotic subject of cultural psychology. In: Handbook of personality. L.Pervin, ed. New York: Guilford. P. 399-416.
- Smith, Robert J. 1983.** Japanese society: Tradition, self and the social order. Cambridge: Cambridge University Press.
- Spiro, Melford E. 1984.** Some reflections on cultural determinism and relativism with special reference to emotion and reason. In: Culture theory: Essays on mind, self, and emotion. R.A.Shweder and R.A.LeVine, eds. P.323-346. Cambridge: Cambridge University Press.
- Spiro, Melford E. 1990.** On the strange and the familiar in recent anthropological thought. In: Cultural Psychology: Essays on comparative human development. J.W.Stigler, R.A.Shweder and G.Herd, eds. P.47-61. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stewart, Edward C. 1972.** American cultural patterns: A cross-cultural perspective. Yarmouth, ME: Intercultural Press.
- Stigler, James W.; Perry, Michelle. 1990.** Mathematics learning in Japanese, Chinese, and American classrooms. In: Cultural Psychology: Essays on comparative human development. J.W.Stigler, R.A.Shweder and G.Herd, eds. P.47-61. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suzuki, Takeo. 1986.** Language and behavior in Japan: The conceptualization of personal relations. In: Japanese culture and behavior. T.S.Lebra and W.P.LeBra, eds. P.142-157. Honolulu, HI: University of Hawaii Press.
- Taylor, Charles. 1989.** Sources of the self: The making of the modern identity. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Travis, Catherine. 1992.** How to be kind, compassionate and considerate in Japanese. Honours thesis, Department of Linguistics, Australian National University.
- White, Geoffrey M. 1990.** Moral discourse and the rhetoric of emotions. In: Language and the politics of emotion. C.A.Lutz and L.Abu-Lughod, eds. P.46-68. Cambridge: Cambridge University Press.
- White, Geoffrey M., Kirkpatrick John, eds. 1985.** Person, self, and experience: Exploring Pacific ethnopsychologies. Berkeley, CA: University of California Press.
- Wierzbicka, Anna. 1986.** Human emotions: Universal or culture-specific? *American Anthropologist* 88: 584-594.

- Wierzbicka, Anna. 1987.** English speech act verbs: A semantic dictionary. Sydney: Academic Press.
- Wierzbicka, Anna. 1988.** The semantics of grammar. Amsterdam: John Benjamins.
- Wierzbicka, Anna. 1989.** Soul and mind: Linguistic evidence for ethnopsychology and cultural history. *American Anthropologist* 91: 41-58.
- Wierzbicka, Anna. 1990.** Duša (=Soul), Toska (=Yearning), Sud'ba (=Fate): Three key concepts in Russian language and Russian culture. In: *Metody formalne w opisie języków słowiańskich*. Zygmunt Saloni, ed. P.13-36. Białystok: Białystock University Press.
- Wierzbicka, Anna. 1991a.** Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Wierzbicka, Anna. 1991b.** Japanese key words and core cultural values. *Language in Society* 20: 333-385.
- Wierzbicka, Anna. 1991c.** Lexical universals and universals of grammar. In: *Meaning and grammar: Cross-linguistic perspectives*. M.Kefer and J.van der Auwera, eds. P.383-415. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Wierzbicka, Anna. 1992a.** Semantics, culture and cognition: Universals human concepts in culture-specific configurations. New York: Oxford University Press.
- Wierzbicka, Anna. 1992b.** Talking about emotions: Semantics, culture and cognition. *Cognition and Emotion* 6: 285-319.
- Wierzbicka, Anna. 1992c.** Defining emotion concepts. *Cognitive Science* 16: 539-581.
- Wierzbicka, Anna. 1992d.** The search for universal semantic primitives. In: *Thirty years of linguistic evolution*. M.Pütz, ed. P.215-242. Amsterdam: John Benjamins.
- Wierzbicka, Anna. 1994.** «Cultural scripts»: A new approach to the study of cross-cultural communication. In: *Language contact and language conflict*. M.Pütz, ed. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. P. 69-87.
- Wierzbicka, Anna, ed. 1990.** *Australian Journal of Linguistics* 10, 2 (special issue on the semantics of emotions).

КНИГИ

Анны Вежицкой на польском и английском языках

1965. System składniowo-stylistyczny polskiej prozy renesansowej. Warszawa: PIW.
1965. O języku dla wszystkich. Warszawa. (Второе издание в 1967 г.)
1967. Praktyczna stylistyka. Warszawa. (Совместно с Петром Вежицким; Piotr Wierzbicki — несколько изданий.)
1969. Dociekania semantyczne. Wrocław: Ossolineum.
1971. Kocha — lubi — szanuje: Medytacje semantyczne. Warszawa: Wiedza Powszechna.
1972. Semantic primitives. Frankfurt: Athenäum (Linguistische Forschungen 22).
1980. The case for surface case. Ann Arbor: Karoma.
1980. *Lingua mentalis: The semantics of natural language*. Sydney: Academic Press.
1984. Mały portret języka polskiego — dla młodzieży w krajach anglosaskich. Adelaide: South Australian Department of Education.
1985. Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor: Karoma.
1987. English speech act verbs: A semantic dictionary. Sydney: Academic Press.
1988. *The semantics of grammar*. Amsterdam: John Benjamins.
1991. Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction. Berlin: Mouton de Gruyter.
1992. Semantics, culture and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations. New York: Oxford University Press.
- В печати. Semantics, primes and universals. Oxford: Oxford University Press.

**КНИГИ,
в которых Анна Вежицкая выступала как редактор**

1972. *Semantyka i słownik*. Wrocław: Ossolineum.
 1986. *Journal of Pragmatics* 10, 5 (special issue on particles)
 1990. *Australian Journal of Linguistics* 10, 2 (special issue on the semantics of emotions).
 1994. *Semantic and lexical universals: Theory and empirical findings*. Amsterdam: John Benjamins. (Совместно с Клиффом Годдардом; Cliff Goddard.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

От ответственного редактора.....3
Е. В. Падучева. Феномен Анны Вежицкой5

РУССКИЙ ЯЗЫК (перевод Г. Е. Крейдлина)33

1. Культурные темы в русской культуре
 и языке.....33
 1.1. Эмоциональность.....34
 1.2. Склонность к пассивности и к фатализму35
 1.3. Антирационализм.....36
 1.4. Любовь к моральным суждениям37
 2. Эмоциональность38
 2.1. «Активные» эмоции.....38
 2.1.1. Английский язык38
 2.1.2. Русский язык42
 2.2. Неконтролируемость чувств.....44
 2.3. Личные имена и отношения между людьми.....47
 2.4. Уменьшительные прилагательные50
 3. Неконтролируемость55
 3.1. Инфинитивные конструкции.....55
 3.1.1. Инфинитивные конструкции с предикатами
 необходимости и возможности55
 3.1.2. Инфинитивные конструкции без
 модальных слов.....59
 3.2. Рефлексивные конструкции67
 3.3. Русский язык в противоположность английскому.....70
 4. «Иррациональность»73
 4.1. «Иррациональность» в синтаксисе73
 4.2. Русское авось76
 5. Категорические моральные суждения79
 5.1. Негативные оценки79
 5.2. Позитивные суждения83
 6. Выводы85

**ЛИЧНЫЕ ИМЕНА И ЭКСПРЕССИВНОЕ СЛОВО-
ОБРАЗОВАНИЕ (перевод Е. Л. Марголис) ...89**

1. Английские личные имена90
 1.1. Термины семейного родства.....103

2. Русские полные имена	107
2.1. Полные формы и краткие формы	111
2.1.1. Полные формы	111
2.1.2. Краткие формы с основами на мягкий и на твердый	113
2.1.3. Краткие основы с суффиксом <i>-ша</i>	116
2.1.4. Полные и краткие формы русских имен. Заключение	117
2.2. Русское экспрессивное словообразование	118
2.2.1. Суффикс <i>-очка</i>	118
2.2.2. Суффикс <i>-енька</i>	120
2.2.3. Суффиксы <i>-чик</i> и <i>-ок</i>	124
2.2.4. Суффиксы <i>-енок</i> и <i>-еныш</i>	127
2.2.5. Суффикс <i>-ушка</i>	128
2.2.6. Суффикс <i>-уша</i>	132
2.2.7. Русское экспрессивное словообразование. Заключение	136
2.3. Семантика русских имен на <i>-ка</i>	137
2.3.1. Универсальность суффикса <i>-ка</i>	137
2.3.2. Два типа форм на <i>-ка</i> : положительные и нейтральные	139
2.3.3. Три подтипа нейтральных форм на <i>-ка</i>	141
2.3.4. Русские формы на <i>-ка</i> . Заключение	147
3. Польские личные имена	149
3.1. Полные первые имена	150
3.2. Краткие формы	152
3.2.1. Формы с мягкой основой и формы с твердой основой на <i>-ек</i>	152
3.2.2. Женские формы на <i>-ка</i> (два слога, твердая основа; например, <i>Janka</i> 'Янка')	156
3.2.3. Краткие формы польских имен. Заключение	157
3.3. Формы с экспрессивными суффиксами	158
3.3.1. Формы с суффиксом <i>-eńk(a)</i>	159
3.3.2. Формы с суффиксом <i>-eczka</i>	160
3.3.3. Формы с суффиксом <i>-cia</i>	161
3.3.4. Формы с суффиксами <i>-usia</i> и <i>-uś</i>	162
3.3.5. Формы с суффиксом <i>-unia (-unio)</i>	165
3.3.6. Формы с суффиксами <i>-ulka</i> или <i>-ulek</i>	167
3.3.7. Ласковое «коверкание»: имена на <i>-ik</i> , <i>-usik</i> и <i>-atko</i>	168
3.3.8. Польские экспрессивные суффиксы. Заключение	169
3.4. «Аугментативные» (увеличительные) формы	171
3.4.1. Формы на <i>-ch</i>	171
3.4.2. Формы на <i>-cho</i> или <i>-chu</i>	173
3.4.3. Формы на <i>-cha</i>	174
3.4.4. Формы на <i>-ucha</i> , <i>-uch</i>	178
3.4.5. Формы на <i>-chna</i> и <i>-uchna</i>	179
3.4.6. Польские 'увеличительные' имена. Заключение	181
3.5. Экспрессивные формы на <i>-ка</i> и <i>-ек</i>	182
3.5.1. Положительные формы на <i>-ка</i> и <i>-ек</i>	183

3.5.2. Формы на <i>-ka</i> , выражающие неопределенные эмоции	185
3.5.3. Формы на <i>-ek</i> , выражающие неопределенные эмоции	187
3.6. Формы с суффиксом <i>-uška</i>	188
3.6.1. Польские формы на <i>-ek</i> , <i>-ka</i> и <i>-uška</i> . Заключение	190
4. Заключительные замечания	192

ПРОТОТИПЫ И ИНВАРИАНТЫ (перевод

<i>Г. И. Кустовой</i>)	201
1. Введение	201
2. Подход, основанный на принципе «Прототип спасает»	202
2.1. Значение слова ЛОДКА	202
2.2. Значение слова ХОЛОСТЯК	202
2.3. Значение слова ПОЗДРАВЛЯТЬ	204
2.4. Значение слова ПТИЦА	204
2.5. Значение слова ЛГАТЬ	205
2.6. Значение слова МАТЬ	208
2.7. Значение слова МЕБЕЛЬ	209
2.8. Значение слова ИГРУШКА	211
2.9. Значение слова ИГРА	212
3. О пользе понятия «прототип» для семантики	215
3.1. Семантика цветообозначений	215
3.2. Значение слов, обозначающих эмоции	216
3.3. Значение слова ЧАШКА	217
3.4. Значение слова ДЯДЯ	217
3.5. Значение слова ПТИЦА	218
3.6. Значение слов ПОМИДОР: КАПУСТА и ЯБЛОКИ	220
3.7. Значение слова ВЗБИРАТЬСЯ	221
Заключение	223

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА И УНИВЕРСАЛИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ (перевод

<i>Т. Е. Янко</i>)	231
1. Введение	231
2. Значение и научное знание	235
3. Значение и цветовые таблицы	240
4. Значение и психологическая реальность	243
5. Цветообозначения как цитаты	245
6. Черное и белое, темное и светлое	249
7. Green (английское), gwyrdd (валлийское), latuu (хануо)	253
8. Голубой и синий (русские), blue (английское), niebeski (польское), aoi (японское), faa (тайское)	257
9. Красный и желтый	263
10. «Макро-белый» и «макро-черный»	267
11. «Макро-красный» и «grue»	273
12. Названия «смешанных» цветов	276

13. 'Коричневый'	279
14. Названия прототипических референтов	282
15. Заключение: хроматология, мышление и культура	283

СЕМАНТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ И «ПРИМИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ»

(перевод М. Б. Бергельсон)	291
Введение	291
Какие понятия должны получать лексическое воплощение	296
Полисемия и различные уровни употребления	297
'Если' в австралийских языках	302
Необходимость понятия 'весь' / 'все'	303
Ресурсы и стратегии	309
Обязательность предикатов интеллектуальной деятельности ('знать' и 'думать')	311
Заключение	319

ТОЛКОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ

КОНЦЕПТОВ (перевод О. Н. Ляшевской)	326
Можно ли истолковать эмоциональные концепты?	326
Необходимость семантических примитивов	328
Поиски семантических примитивов	329
Необходимость лексических универсалий	333
Необходимость прототипов и стереотипов поведения	336
Свидетельства в пользу толкований	339
Эмоции и чувства	341
«Социальное построение эмоций»	343
Другие подходы к толкованию эмоциональных концептов	346
В чем польза толкований?	347
Плохие происшествия	348
Хорошие происшествия	356
Люди, которые делают плохие вещи	360
Думая о себе	364
Заключение	370

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ (перевод

А. И. Полторацкого)	376
Психология культуры: наука универсальная или этническая?	376
Reductio ad absurdum	378
Лексические универсалии	380
Self '«я»', person 'человек/личность' и 'I' 'я'	381
Mind	384
Emotion	388
'Личности', сформированные культурой	392
Сценарии чувств	394

Сценарии того, как думать	396
Сценарии того, как хотеть	397
Сценарии того, как говорить что-либо	397
Заключение	398

Книги Анны Вежицкой на польском и английском языках	405
Книги, в которых Анна Вежицкая выступала как редактор	406

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕЖБИЦКАЯ

Анна

ЯЗЫК

КУЛЬТУРА

ПОЗНАНИЕ



Издательство «Русские словари»

Лицензия ЛР № 06224 от 4 февраля 1993 г.

Адрес для переписки: 119530 Москва а/я 90

Телефон/факс 201 22 76

Телефон 202 45 52

Заказ № 704.

Тираж 2000

АО «Астра-семь»

121019, Москва, Филипповский пер., 13